

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 1

Евгений Витковский

ОТ АВТОРА

Несколько слов от автора к трехтомному роману, на который у меня ушла чуть не вся жизнь, ничего уже не прибавят, но сказать кое-что необходимо. Ибо роман, двигавшийся от писателя к читателю двадцать лет, давно уже обрел собственную жизнь. Его несколько раз пришлось переписывать: ряд фантастических эпизодов стал за минувшие годы такой скучной действительностью, что автор сам начал казаться себе историческим писателем, – а на роль ясновидца автор менее всего претендует, – больно не хочется быть Кассандрой, которую первую же и бьют, когда предсказание сбывается.

Перед читателем – фантастический роман, написанный, как считает автор, в принципиально новом жанре: в жанре реалистического реализма (иногда это обзывают реализмом магическим, но это все одно что бегемот супротив гиппопотама). Название это отнюдь не тавтологично: для того, чтобы изобразить окружающую нас действительность, традиционный реализм бессилён, простая запись происходящего выглядит непомерным преувеличением, бумага краснеет и готова загореться. Поэтому автор использует вполне последовательно метод “литотизации” – т. е. “преуменьшения”, дабы описываемые события выглядели реалистически. Отсюда и название – РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.

Жанр не может быть полностью кристаллизован в своем первом образце. Пройдут столетия, на полках библиотек запылятся тысячи более или менее удачных произведений, лишь очень и очень скоро должен возникнуть последний и главный шедевр, который обеспечит жанру бессмертие: кто-то создаст серьезную, весьма издевательскую пародию на него, и вот она-то и послужит в грядущих веках гарантом бессмертия реалистического реализма. Сомневающимся в этом предсказании могу лишь отослать к истории литературы: много ли читали мы рыцарских романов? Зато все читали “Дон-Кихота”, а что такое “Дон-Кихот”, как не итоговое, высшее достижение жанра – пародия, к тому же отчасти сочиненная со скуки? Из нынешних времен, из темного прошлого, автор “Павла Второго” шлет в мрачное, отвратительное будущее автору грядущего, предположим, “Дон-Пабло” свой печальный привет. Жанр реалистического реализма подразумевает весьма фривольные отношения с действительностью, и действительность уже отомстила автору: она явилась его первым и главным плагиатором. Сравнительно давно написанные страницы пришлось при отправке в печать хоть немного, но подправлять, ибо вымысел стал сухим репортажем, а меньше всего автора тянуло в журналистику. Но к журналистике тяготела жизнь, и вот – налицо первый конфликт жанра и жизни: ничего нельзя придумать. Сочиняй не сочиняй – все сбудется. Поэтому, дорогой читатель, прежде чем начинать читать роман, не только перекрестись на икону в

красном углу, но вежливо поклонись висящему, конечно, в твоей комнате портрету всероссийского венценосца.

Впрочем, как ни определяй метод и жанр, роман уже написан. Пусть читатель рассматривает его как фотографию с натуры, как “фэнтези”, как современный плутовской роман – автор на все согласен.

В соответствии с требованиями реалистического реализма, автор настаивает на том, чтобы все намеки, ассоциации, аллюзии, заимствования и прочие элементы читатель считал намеренными и умышленными. Если за кем-то из персонажей возникает знакомый читателю прообраз – ну, значит, именно с него и писался герой. В этом романе все, все – как в жизни, только во много раз преуменьшено. Так что отнюдь не классическое “За мной, читатель!” предлагаю я.

Я скромно отхожу на шаг в сторону и пропускаю читателя вперед, предлагая ему быть моим соавтором, домысливать все, что захочется.

Дверь открыта, дорогой читатель. Милости прошу.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РОМАНУ “ПАВЕЛ II”

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ДОМА “СТАРШИХ РОМАНОВЫХ” И ТЕ, КТО ИМЕЕТ К ЭТОМУ ДОМУ ОТНОШЕНИЕ:

Федор Кузьмич, он же Александр Павлович Романов, в прошлом государь Александр I, в добровольной отставке, числится умершим, однако слуху этому ни в коем случае не следует верить, не прочитав хотя бы первые три тома романа, а дальше тем более. На всякий случай должен пояснить, что это не совсем тот Федор Кузьмич, который умер сперва в 1825 году, потом в 1864 году. Подробности смотри в романе!

Алексей Александрович Романов, сын последнего от его супруги Анастасии Николаевны, в девичестве Скоробогатовой, из рода смоленского посадского времен Смутного Времени Сидора того же прозвища, ныне давно покойный. В романе отсутствует, но много раз упоминается. Цесаревич.

Елизавета Григорьевна Романова, в девичестве Свиблова, жена последнего. В романе отсутствует. Равнородна (пожалованием).

Михаил Алексеевич Романов, сын предыдущего, погиб от рук большевиков при невыясненных обстоятельствах. В романе отсутствует, но для книги важен, ибо на его смерть отец главного героя оставил очень много откликов. Равнороден.

Анна Вильгельмовна Романова (девичья фамилия пока неизвестна, на самом деле Гистрова, т.е. фон Гюстров-Померанская, княгиня Мекленбургская) Романова, жена последнего. Известно, что происходила из необычайно знатного, хотя и немецкого рода. Нелегально эмигрировала вместе с дочерью Александрой в 1918 году. В романе отсутствует. Равнородна.

Федор Михайлович Романов, сын М. А. Романова и Анны Гюстров,

преподаватель русской литературы в средней школе, умер только что, однако периодически дает о себе знать. Равнороден.

Рахиль Абрамовна Романова, урожденная Керзон, первая жена последнего, умерла очень давно, в романе отсутствует.

Валентина Романова (девичья фамилия неизвестна, на самом деле Валентина Ивановна Волинская, княгиня), вторая жена Ф.М. Романова, тоже умерла давно. В романе отсутствует, точно известно, что была знатного дворянского рода самое малое – числилась в Бархатной книге, – по крайней мере посмертно. Предполагается, что происходит из рода князей Волинских, Гедиминовичей. Равнородна (признана)

Лариса Борисовна Коломиец, роду не знатного, добрая возлюбленная последнего, что начисто отрицает (как и его отцовство по отношению к своему сыну, хотя анализы на генном уровне говорят обратное). В романе почти отсутствует.

Павел Федорович Романов, сын Ф. М. Романова, преподаватель истории в средней школе, основной к началу романа претендент на российский престол, да и вообще – Павел II. Равнороден.

Екатерина Васильевна (Власьевна, Вильгельмовна) Романова, урожденная Бахман, гражданская жена последнего, в будущем царица, но отнюдь не по тем причинам, по которым может ожидать читатель.

Ее родня: Елизавета в Славгороде, тетка Марта, тетка Мария, тетка Гизелла (та, которая масло делает), все – Бахман, в романе практически отсутствуют, но часто упоминаются.

Софья Федоровна Глущенко, урожденная Романова, старшая сестра Павла Романова (от первого брака отца). Желающие могут ознакомиться с ее внешностью на известной картине запрещенного художника Репина. По отцу равнородна.

Соломон Абрамович Керзон, знатный пушкинист, дядя Софьи Глущенко (Романовой). Автор знаменитой книги “Пушкин вокруг нас”. Умирает по ходу романа. Вообще-то списан с трех реальных прототипов.

Александра Михайловна Романова, младшая сестра Федора Михайловича Романова, увезена за границу в детстве. Лучше б ей в романе не появляться вовсе, но ничего не поделаешь: есть. Равнородна.

Виктор Пантелеймонович Глущенко, директор автохозяйства, муж Софьи Романовой. Всю жизнь пытается опохмелиться, но очень уж здоровые у него гены.

Всеволод Викторович Глущенко, сын последнего от первого брака (мать – знаменитая конькобежка). Человек о двух измерениях.

Гелий Станиславович Ковальский (Романов), внебрачный сын Софьи Романовой. Собственно, лицо роду не совсем мужского... но спишем обстоятельства, ибо он фигура трагическая.

Станислав Казимирович, отец последнего, сорок дней как покойный к моменту, когда мог бы понадобиться.

Иван Павлович Романов, внебрачный сын Павла Федоровича Романова, фигура блеклая, но постепенно набирающая расцветку.

Алевтина Туроверова, мать последнего, казачьего роду.

Петр Федорович Коломиец, внебрачный сын Федора Михайловича Романова от Л. Б. Коломиец, в романе долго отсутствует, но однажды еще появляется.

Никита Алексеевич Романов, он же Громов, он же Лука Пантелеевич Радищев, младший брат Михаила Алексеевича Романова, сокрывшийся в 1918 году в Брянских лесах. Подарок для русской речи, ибо имеет особую профессию.

Равнороден.

Ярослав-Георгий Никитич Романов, законный сын последнего от венчаной жены Устиньи, ныне известен под именем Хорхе Романьос, – рецензенты романа иногда называют его “Третья сила”. По-испански говорит без акцента.

Георгий-Ярослав Никитич Романов, младший брат последнего, очень музыкален и знает семь мелодий для дудочки.

Устинья, урожденная Зверева, в первом (нецерковном) браке Садко, жена князя Никиты, ужас чьей жизни она и составляет.

Клавдия, дочь (старшая) последней от первого (гражданского) брака со Степаном Садко, женщина мощная, умелая гадалка.

Множество незаконных детей, двойников, матерей, отцов, заметной роли в повествовании не играющих.

СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА ОПТИМИЗАЦИИ ИСТОРИИ, ОН ЖЕ ИНСТИТУТ АУТЕНТИЗАЦИИ, ОН ЖЕ ИНСТИТУТ ФОРБСА – И ОСТАЛЬНЫЕ С “ТОЙ” СТОРОНЫ

Артур Форбс, генерал, австралиец, директор Проекта Реставрации Дома Романовых (“Колорадского института оптимизации всеобщей истории”), мормоно-конфуцианец, телепат, но слабый. Работу свою не любит, но делает хорошо.

Геррит ван Леннеп, голландец, предиктор. Бывший шахматист, что в его судьбе сыграло некоторую роль. Католик.

Джереми Уоллас, американец, слепой предиктор, давно покойный. В романе отсутствует, хотя мелькает тенью. Инициатор создания Института Форбса. Квакер.

Луиджи Бустаманте, итальянец испанского происхождения, очень сильный маг, человек мстительный. Католик.

Атон Джексон, индеец-чероки, телепат-нетрезвовик, отчего и трезв бывает нечасто, – да и зачем бы? Известен как потомок богатейших индейцев-рабовладельцев, вместе с рабами борющихся против отмены рабства.

Джузе Кремона, мальтиец, вампир, оборотень, мастер художественного свиста, см. также в разделе “живые трупы”. Характер имеет легкий, “средиземноморский”, отчего почти всеми любим.

Мозес Янкелевич Цукерман, еврей, маг, в прошлом советский майор.

Тофаре Тумасесе Туилаэпа Тутуила, самоанец, маг, чудеса творит редко, неохотно и не любит одеваться ни во что, кроме цветочных гирлянд.

Эберхард Гаузер, австриец, мастер наваждения, чудо-алкоголик, асексуал.

Герберт Киндзерски, Роджер, Роберт, Бригитта, Эрна, Лола (вместе с Гаузером

известны как “Семеро пьяных”). Пригодились однажды умением свиней пасти. Господин Ямагути Кайоши, японец, медиум, – нет слов, чтоб его описывать. Джеймс Карриган Найпл, уроженец Ямайки, незаконный сын знаменитого писателя-анонима, шпион, мастер своего дела во всех отношениях: претендует в романе на роль главного героя, но попадает оному всего лишь в лучшие друзья и молочные братья.

Дионисиос Порфириос, грек, множественный оборотень, бывший руководитель сектора трансформации, ушедший на пенсию и непрерывно с нее возвращающийся: не в силах он бросить своих необученных на произвол судьбы.

Жан-Морис Рампаль, француз, оборотень, тоже много чего большой мастер, до середины второго тома человек, дальше – нечто куда большее, он же – Дириозавр, в каком-то облике описать его уже можно лишь как нечто огромное, сумчатое, женского рода и вертикального взлета.

Вацлав Аксентович, якобы поляк, глава сектора трансформации, на самом деле советский шпион генерал Артемий Хрященко, перебежчик, производитель.

Множество магов, телепортачей, шпионов, оборотней, референтов, руководителей, клерков, курьеров и прочих, заметной роли в повествовании не играющих.

МИНИСТЕРСТВО БЕЗОПАСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ТЕ, КТО К НЕМУ ПРИМЫКАЕТ

Глеб Леонидович Углов, полковник, позднее сумасшедший проповедник учения Святого Зии Муртазова, позднее дипломат.

Игорь Мовсесович Аракелян, подполковник, позднее полковник, заместитель Углова, свояк своего прямого начальника и кулинар исключительный.

Наталья Эдуардовна, урожденная Корягина, жена последнего. Некогда была полной русской женщиной.

Елена Эдуардовна Шелковникова, старшая сестра последней, жена Георгия Шелковникова. Хоть и немолода, но очень хороша собой, главное же – предприимчива.

Георгий Давыдович Шелковников, заместитель главы Организации, масон, Брат Червонец, позднее канцлер. Человек очень толстый, имеет два реальных прототипа.

Ромео Игоревич Аракелян, старший из сыновей Игоря Аракеяна.

Тимон, второй сын, знаток попугаев

Цезарь, третий сын, знаток кюфты

Гораций, четвертый сын, себе на уме

Эдуард Феликсович Корягин, отец Натальи и Елены, знатный специалист по разведению попугаев, врач с заграничным дипломом, стерый зэк, в масонских делах – брат Лат.

Зия Мамедович Муртазов, телепат-ударник, икарийский татарин. Намертво прикован к постели.

Зульфия, его жена.

Нинель Зияевна, их дочь, пророчица.

Доня, дочь Рампаля и Хрященко, некоторое время свинья, позже красивая девушка, даже, говорят, масонка.

Михаил Макарович Синельский, офицер-оперативник, человек пьющий и исполнительный.

Маргарита Степановна Булдышева, вдова, мать последнего.

Валентин Гаврилович Цыбаков, врач-бальнеолог. В романе появляется редко, но знаменит как изобретатель искусственного инфаркта.

Дмитрий Владимирович Сухоплещенко, сын директора сберкассы из Хохломы, быстро растущий в чинах офицер при Шелковникове, сперва капитан, потом все выше – до бригадира.

Подполковник Заев, безнадежно убитый утратой Черной Магии. Погибает по ходу романа.

Валериан Иванович Абрикосов, владелец служебной собаки, ирландского терьера по кличке Душенька, маг-предиктор, автор культовых книг “Нирвана” и “Павана”, полковник.

Антонина Евграфона Штан, по новым документам Барыкова, чаще Тонька, сотрудница Углова и Аракеяна; собственно, главная героиня романа, но читателю об этом временно рекомендуется не помнить.

Татьяна Вайцякаускайте (урожденная Пивоварова), ее подруга по роли, чаще Танька, в будущем княгиня Ледовитая, по мужу – Романова.

Винцас Вайцяускас, литовец, летчик, муж последней, несчастный человек.

Ыдрыс Эгембердыевич Умералиев, киргиз, газообразный оборотень, человек верный как хребты Тянь-Шаня.

Мустафа Шакирович Ламаджанов, литературный негр; по ряду сведений – автор “Павла Второго” или какой-то части этой книги. Под своим именем известен как автор знаменитой военной песни “Тужурка”.

УПОМИНАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВСЕ ЛИШНИЕ, НО ПЕРЕЧИСЛЕННЫ ЗДЕСЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ.

Илья Заобский, министр безопасной государственности.

Юрий Иванович Сапрыкин, генерал-майор безопасной государственности, погибает в ходе романа.

Ливерий Устинович Везлеев, маршал, министр обороны, очень старый, гордится тем, что у него тринадцать орденов Ленина.

Устин Феофилович Кирпичников, министр культуры.

Паисий Собачников, прежний министр культуры.

Филат Супов, глава национальной политики.

Марья Панфиловна, кто-то в правительстве.

Миконий Филин, министр иностранных дел.

Хруслов, главный по идеологии, во втором томе помер.

Куропятников, тоже.

Блудун, еще раньше.

Дарий Шкипитарский, последний (чисто формальный) генсек.

Танковое ведомство:

Ивистал Максимович Дуликов, маршал бронетанковых войск, заместитель министра обороны, сын одного важного героя романа (о чем сам не знает) и отец другого, менее важного (об этом не знает тоже).

Фадей Ивисталович Дуликов, его сын (мать – знаменитая конькобежица). Известен также под другим именем.

Авдей Васильев, конюх, сальварсанский резидент

Горничные, истопники, садовники, повара и т.д.

Василий Докуков, адмирал, некогда наркомвоенмор.

Жители Свердловска:

Петр Вениаминович Петров, работник винного магазина, фигура глубоко трагическая.

Борис Борисович, инвалид-отморозок Финской кампании, пьет прямо желудком.

Братья Ткачевы из соседнего двора, вроде бы непьющие.

Леонид Робертович Берцов, хвостоволог.

Степан Садко, бывший зек, ныне сумасшедший и псевдо-маньчжурский псевдо-шпион.

Хуан Цзы-ю, он же Лхамжавын Гомбоев, шпион.

Люся, его сожительница и мать не менее чем троих его детей.

Александр Сафонов краснодеревщик из Свердловска. р. 1930, мелькает, всерьез появится не скоро.

Жители села Нижнеблагодатского (Зарядья-Благодатского)

Настасья, она же почтальонша Алена Сухарева

Настасья, она же Полина Башкина

Настасья, она же Настасья Башкина

Настасья, она же Настасья Коробова

Настасья, она же Степанида, бабушка последней

Настасья, она же Дарья Телятникова

Настасья, она же старая дура Палмазеиха (Полумазова)

Настасья, она же Дарья Батурина

Настасья, она же Клавдия Лутохина

Настасья, она же Настасья Баркасникова

Настасья, по фамилии Лучкина

Настасья, жена Антона-кровельщика

Настасья Небезызвестная, мастерица по растоптухам

Настасья, она же Бомбардычиха

Настасья, она же Феврония Кузьминична, в просторечии Хивря,

Настасья, она же Мария Мохначева (см.волки), по мужу Волчек

Настасья Стравусиха, в прошлом Грязнуха, пропадает в Эгейском море, находится возле Кейптауна и там приходится к месту
Сокольник Ильич Хиврин, приبلудный цыган
Николай Юрьевич, председатель колхоза, сын Натальи Баркасниковой и сношаря.

Василий Филиппович, кузнец, “Бомбарда”

Антон, кровельщик

Старик Матвей, разводящий индеек

Марфа Лукинична, дочь попа-непротивленца, пивоварша

Матрена Лукинична, сестра последней

Отец Викентий Мощеобрященский, сельский священник

Обитатели коммуналки на Молчановке и (позднее и не все) особняка в Староконюшенном

Белла Яновна Цукерман, из Бреста, сестра мага Цукермана

Испанский коммунист на стремянке, деверь Беллы Яновны

Его пасынок для игры в шашки

Абдулла, кухонный мужик

Мария Казимировна Ковальская, тоже из Бреста, – ее брат Мозес перебежал к американцам.

Иуда Ивановна, дочь родителей-безбожников, машинистка-надомница, лицо очень эпизодическое и к особняку не особо относящееся.

Клюль Джереми, псевдо-чукча, на самом деле алеут-сепаратист, шпион.

Голубые

Аким Парагваев, знаменитый кинорежиссер, хозяин квартиры № 73. В романе отсутствует и ролей не играет.

Милада Половецкий, старая, увядшая, но еще сохранившая свой аромат хризантема, лейтенант, потом выше. Масон – Брат Куна.

Анатолий Маркович Ивнинг, в далеком будущем получит прозвище Железный Хромец, а пока хромает и только.

Мара (Владислав Арсенович), кинорежиссер, научник-попник.

Каролина, Анжелика, Фатаморгана и прочая голубая массовка, которую читатель волен дополнять любыми именами (женскими), которые сумеет вспомнить или сочинить).

Масоны

Владимир Герцевич Горобец, брат Стольник, верховный масон всех трех главных лож Москвы, данных о происхождении нет.

Композитор Фердинанд Мелкумян, Брат Импераал, генерал.

Брат Четвертной, директор Мособлкниготорга.

Брат Полтинник, в прошлом известный спортивный комментатор.

Брат Пятиалтынный, директор одного из московских рынков.
Бибисара Майрикеева, целительница, масонша, приуготовитель-Вредитель,
Сестробрат Ужаса.
Хамфри Иванов, экстрасенс-психопат, секретарь-вредитель
Баба Лёля, ритор-вития
Прохор Бенедиктович (хамит из ЦДЛ), личность вполне историческая, еврей,
но православный

Граждане государства Сальварсан

Эрмано дель Пуэбло, по прозвищу Брат Народа, убит ледяным метеоритом. В романе отсутствует, но имеет сходство с реальным лицом.
Доместико Долметчер, креол, ресторатор, посол Доминики в Сальварсане, а также посол Сальварсана в Российской империи, Югославии и других странах, виртуальных в том числе, масон, Брат Цехин; вообще-то автопортрет автора романа, но идеализированный и чернокожий.
Марсель-Бертран Унион, жрец-вудуист, генерал.
Бенито Фруктуосо Корнудо, диктатор, давно свергнут, в романе отсутствует, но имя у него красивое
Тонто де Капироте, верховный жрец Мускарито
Мария-Лусия, знаменитая бандерша
Мама Дельмира (Дельмира Ферреа), престарелая куроизобразительница
Умберто, пуморотень из племени ягуачо

Жители Виллы Пушечникова

Алексей Пушечников, русский писатель, лауреат Нобелевской премии. В Сальварсане никогда не был, но президент верит, что когда-нибудь приедет, ибо Пушечников удостоен звания Почетного гражданина Сальварсана.
Мерлин (на самом деле – Эдмунд) Фейхов, секретарь Пушечникова, борец за права советских негров.

Жители независимой Гренландии

Эльмар Туле, экс-президент, впоследствии посол Сальварсана на Клиппертоне и Кергелене
Сендре Уперनावик, последний президент Гренландии.
Никанор Безвредных (Безродных, Безредных), политический беженец, первый император Гренландской Империи
Его жена, казачка.
Первая дочь, алкоголичка
Вторая дочь, алкоголичка, коллекционирует малахитовые шкатулки
Третья дочь Дарья, алкоголичка, незамужняя до времени.
Четвертая дочь, алкоголичка
Первый зять, мексиканец

Второй зять, Ванька из Вязников, дрессировщик стерлядей
Самый младший зять Али, негр, из какой страны – не помнит.

Участники событий на Роделанде

Отец Маркел, богумил и колдун Черного Братства. Фигура изолированная
Григорий (Йорис) Арвович Морейно, самозванный губернатор Роделанда
Ксенофонт Тимофеевич Бурундук, датский подданный, невольный слуга Черного
братства, глава горной стражи Роделанда, потомственный терской казак,
Иероним Крюков, множественный оборотень, он же Черное братство

Милиционеры и прибившиеся к ним

Леонид Иванович, милиционер из Нижнеблагодатского, человек пришлый, в
лагере неожиданно – пахан барака

Гэбэ (Главный Блудодей), пахан в другом бараке, людоед, умеет играть в
бридж. бывший чемпион Эстонии по оному

Алексей Трофимович Щаповатый, из Свердловска, в будущем Господин
Московский

Григорий Иванович Днепр (Дунч-Духонич), спецпредст из Костромы

Имант Заславскис, чахоточный радист, в прошлом кандёр, сын латышски
стрелков.

Партугалска (Гирин), осведомитель, латинист

Милиционер от Канадского посольства – любитель журналов и звезд

Милиционер от Канадского посольства – любитель хоккея и класть бабу на
стол, он же Канада (сменщик предыдущего)

Половой демократ с одним глазом (из Красноселькупа), ну никак не пахан, он
же Мулында

Николай Платонович Фивейский, зам. Днепра, тоже паратый

Техничный Мужик, сын Сношаря, присутствует только в воспоминаниях
Иманта, но списан с натуры.

Сотрудники Московского зоопарка

Юрий Арсеньевич Щенков, потомок князя Василия Щенятева, (граф Свиблов),
граф, смотритель броненосцев, друг Э. Ф. Корягина, что важно для романа.

Истрат Натанович Мендоса, пресс-секретарь, почти что с натуры списан, но
внесена одна поправка, о которой читатель может даже не гадать.

Трое Львовичей (Лев, Арий, Серафим, – последний тот, что набил морду кобре,
пьющий за девять Чинов Ангельских, – а к ним еще и некомплектный Рувим
Львович и овцебык с той же кличкой Серафим)

Белоспинный самец гориллы по кличке Роберт Фрост

Кондор Гуля

Бородавочник и прочие свиньи.

Иные обитатели зоопарка, стыдливо в романе не упомянутые, но без них роман

никогда не был бы написан.

Собаки:

С/б (служебно-бродячий) Володя, старый кобель, но силу хранит немалую; сперва капитан, позже ара.

С/б Витя, его внук (то ли внучатый племянник), музыкально одаренный пес. Русский спаниель Митька, любимый пес Павла Романова, съевший часть архива Ф.М. Романова; основную часть романа проводит в холодильнике, да и вообще заметной роли в книге не играет.

Четверо мексиканских бесшерстных собак при Атоне Джексоне: все голые, горячие и неполнозубые. Заметной роли в книге не играют.

Душенька, ирландская терьер, служебная сука, кормилица Абрикосова, некоторое время – подруга Володи.

Волки (все – оборотни)

Бабушка Серко

Тимур Волчек, неженатый

Его двоюродные братья:

Артем Волков, женатый на лисобабе

Тимофей Волков

Анфиса Макаровна, его жена, бухгалтер

Антип Волков

Пелагея, его жена

Антон Волков

Варвара, его жена

Кондрат Волков

Акулина, его жена

Еще четверо братьев-Волковых, непоименованных, их жены

Глафира, Ефросинья, Клавдия, Аксинья

При волках:

Тюлька (Тюльпан, т. е. Пантелей Крапивин), не волк вовсе, судомой, высокогорич

Степанида Патрикеевна (Стеша), жена Артема Волчека, лиса

Попугаи (все – гиацинтовые ара)

Рыбуня (старший)

Михася (сын последнего, рыночный образец)

Пушиша (употребляем Тимоном Аракеляном как магнитофон)

Беатрисса (старшая)

Кунигунда

Розалинда

Лакс, попугай мисс Норман

Живые покойники:

Олександр Александрович Грибашук, первый секретарь Кировоградского обкома КПСС.

Еремей Металлов, член КПСС с 1885 года, чистый душой коммунист.

Хлыстовский, рецидивист с Шантарских островов.

Безымянный прах из кремлевской стены.

Джузе Кремона – см. среди героев Института Форбса

Писатели:

Петр Подунин, умер только что, в романе отсутствует.

Виталий Мухоль (Мухль), писатель-озаренец, упомянут случайно

Сидор Маркипанович (Исидор Дуппиус) Вальной, поэт-мутатор, метис по национальности.

Дириозавр – см. Рампаль Жан-Морис

В эпизодах

Хур Сигурдссон, знаменитый путешественник

Андрей Станюкевич, врач на секвойе

Порфирий Иванович, десятиязычный секретарь царя

Никита Глюк, колдун, владелец магазина “Кадудейные товары”.

Жюль Бертье, бывший посол Люксембурга в СССР.

Федор Фризин из Борисоглебска, попугайщик по линии жако.

Аделаида ван Патмос (Тяжелова), сотрудница “Голоса Америки”.

Альфред Хотинский, руководитель ансамбля коз-баянисток

Освальд Вроблевский, профессор Гарварда, автор книг “Федор Кузьмич: конец тайны” и “Анастасия”, еще двадцати романов, телесериала “Старшие Романовы”, американский писатель.

Полковник Василий Джанелидзе. В романе отсутствует.

Сакариас Альварадо, диктатор Страны Великого Адмирала, из чужой книги, в романе отсутствует.

Табата Да Муллонг, метательница молота из Нижней Зомбии

Абдул Абдурахманов, советолог, в романе почти отсутствует.

Брат Грош, масон, секретарь предиктора Класа дю Тойта, в романе отсутствует.

Хулио Спирохет, престарелый диктатор Очень Длинной Страны.

Эрлик-Хан, алтайский дьявол

Макс Аронович Шипс, дирижер оркестра им. Александрова

Ицхок Бобринецкий, коммунист

Орест Непотребный, скульптор по надгробиям

Гавриил Назарович Бухтеев, полковник, начальник резервной авиабазы

Троицкого испытательного аэродрома, масон
Эдмунд Никодимович Арманов, глава русских фашистов, неудачник
Исаак Абрамович Матвеев, «дядя Исаак», ассириец
Фотий, митрополит Опоньский и Китежский
Луиза Гаспарини, о которой лучше узнавать из романа, чем из аннотации.
Вильгельм Ерофеевич Сбитнев, обер-благонер России.
Тадеуш Вардовский, миллиардер
Мисс Норман, гадалщица в Англии
Михаил Дерюжников, в прошлом завуч школы Павла, затем Тамбовский
генерал-губернатор, позднее узник Эмалированная Маска, В романе
отсутствует.
Досифей Ставраки, обер-прокурор
(Не)известный молодой человек с топором (в Питере)

А также:

Милиционеры, ученые, медики, колдуны, артисты, посетители трактира
“Гатчина”, писатели, жители Аляски, рынды, скопцы-субботники, поручики,
рыбоводы, жеребцы, скопцы, певцы, волки, лисы, призраки, древние боги,
скандинавские короли, дипломаты, креолы с Аляски, митрополиты, артисты,
рыбы, куры, петухи, аисты и живые покойники.

...толковый и способный, со значком, возражая товарищам, которым казалось
ни к чему знать такие грамматические тонкости, как сказуемое и подлежащее,
сказал не без сердца: «Если мы свой родной язык не будем знать, то дойдем и до
того, что потеряем свою православную веру и крест снимем с шеи, какие же мы
после этого коммунисты?»

Алексей Ремизов. Взвихренная Русь

I

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет...
Осип Мандельштам

Отца похоронили в самом начале сентября. Умер он в больнице, говорили, что
легко, во сне – сказалося больное сердце. Денег на похороны, особенно на
поминки, ушло порядочно, но Павлу было не жалко, отца он любил; к тому же и
Павел, и Софья унаследовали от него по солидному срочному вкладу, около
восьми тысяч каждый. Скуповатый отец копил всю жизнь, и “все – вам –
останется” в эти сентябрьские дни облеклось тощей плотью завещательной
сберкнижки.

На поминках много пили, долго и прочувствованно повторяли, что “Федор Михайлович всю жизнь был истинным педагогом – и этим все сказано”, что “Федор Михайлович всю жизнь стоял на посту настоящего советского учителя”, – разное другое в том же духе. Павел и его жена Катя мыли посуду после поминок, обсуждая возможность встать в очередь на “Ниву”, – правда, еще дозаять надо немного, – но у Софьи просить было явно бесполезно, она мало того что посуду мыть не помогла, а слиняла с середины поминок с благоверным Виктором, – но до того успела проесть Павлу и Кате плешь за неэкономный мясной пирог с хреном, “испеченный в честь охотничьих страстей покойного”, на который, по мнению Софьи, можно было бы поехать в Цхалтубо. Да и вообще Софья заявила прямо, что оставит деньги на срочном вкладе.

Собственно, Павла и Софью теперь ничто не связывало. Она была его сестрой только по отцу; ее мать, первая жена отца, Рахиль Абрамовна, умерла через две недели после родов. Еще через шестнадцать месяцев вторая жена отца, Валентина, выйдя из роддома с маленьким Павлом, занялась воспитанием обоих детей.

Секрета не получилось: с самого раннего детства Павел и Софья знали, что мамы у них разные. И очень рано затлел в душе Павла нехороший огонек – его мать тоже умерла, отец явно любил дочку больше, нежели сына, при этом Софья считала своего младшего брата сущим ничтожеством.

Перед самым снятием кукурузного премьера Павел получил в школе аттестат, отслужил пакостную нестроевую, поступил в педагогический. Еле-еле окончил и пошел работать в ту же школу, что и отец, только тот преподавал литературу, а сын – историю. Павел женился, но детей как-то не намечалось, жили втроем – Федор Михайлович и сын с невесткой. Софья ушла замуж, когда Павел был еще в институте, и проживала с мужем – старше ее лет эдак на полтора десятка, Виктором Глущенко, директором автохозяйства. У нее детей – деликатно говоря, официальных – тоже не было, а сын Глущенко от первого брака, Всеволод, к моменту смерти Федора Михайловича отбывал одиннадцатый год исправительно-трудовых работ за некую ошибку юности, о которой слухи ходили самые разноречивые – не то он отделение милиции ограбил, не то группу милиционеров изнасиловал. Павел, во время совершения оных невероятных событий сдававший экзамены за четвертый курс, вовсе ни в чем разобраться не мог, но знал, что Глущенко публично от сына отрекся. Знал и то, что Глущенко панически боится возвращения сына, которому к отбытию полного срока должно было стукнуть неполных тридцать три года.

Школьники старших классов, вот уже десять лет проходившие под руководством Федора Михайловича “Преступление и наказание” (до того Достоевский в программе отсутствовал вовсе), из поколения в поколение звали его безобидным прозвищем “Достоевич”. Совпадение имени и отчества как бы перевешивало бесцветную фамилию, она отходила на задний план, в прозвища не просилась. Не то получилось с сыном. Преподаватель истории П. Ф. Романов скоро и единодушно был прозван “Павел Второй”. Особой популярности прозвище не имело: изысканно чересчур и уму простого школьника недоступно. Злило только отчего-то отца.

Отец копил деньги – ясное дело, не из учительского жалования. Все свободное от работы и охотничьих сезонов время он посвящал главной своей страсти – художественной резьбе по рисовому зерну. Выгравированные им на рисовом зернышке, а то и на восьмушке такового, тексты “Интернационала”, Коммунистического Манифеста, статей Мичурина, Горького, Сталина, а позднее “Слова о полку Игореве”, “Теркина на том свете”, “Судьбы человека” и “Каштанки” приносили ему бесчисленные грамоты ВСХВ (позднее – ВДНХ) и разных других выставок. Скажем, трудно ли было народному умельцу-самоучке Федору Романову, прослышав, что во Фрунзе открывается республиканская выставка, послать ей в подарок какое-нибудь самое лучшее стихотворение великого акына Токтогула на языке оригинала, снабженное портретом автора, не очень, правда, похожим, – отец рисовал весьма средне, – на половинке там или на тридцатидвушке; за подарком неизменно следовала премия, а за премией – один-два хорошо оплачиваемых заказа. Вот от этих-то премий, а порою и от продажи своих шедевров и получал Федор Романов те деньги, которых хватило ему на покупку нового ружья, породистого щенка настоящего русского спаниеля, на второй микроскоп, главное же – на сберкнижку “все – вам – останется”, точнее на две сберкнижки, ибо не единожды доводилось Павлу слышать, что более всего на свете не хотел бы отец, чтобы дети перессорились после его смерти. Они, впрочем, перессорились гораздо раньше, а из-за чего – так верней всего из-за того, что “слово по слову – банником по столу”, как выражался Виктор Глушенко, пускаясь затем в долгие объяснения, что такое банник.

О раннем отрезке жизни отца Павел знал совсем мало. Из того, о чем родитель раз в год проговаривался, Павел уяснил, что родился папаша за несколько лет до революции, в семье сельского, что ли, учителя, что деда звали Михаил Алексеевич, и что погиб дед при каких-то темных обстоятельствах в 1918 году. Судя по плохо скрываемой злости, с какой отец произносил слово “погиб”, Павел догадался, что деда, похоже, расстреляли. Дальше спрашивать было бесполезно, других же родственников у Романовых не имелось.

Впрочем, года за три до кончины Федора Михайловича уверенность Павла в том, что никаких родственников у него больше нет, поколебалась. Почтальон вручил отцу необычной формы голубой конверт без фамилии адресата, но с их адресом – Восточная, 10. Внутри лежал плотный кусочек картона, и на нем стояла одна фраза по-русски, печатными буквами:

“Сообщите, что известно о судьбе Михаила А. Романова и его сына Федора по адресу: Лондон...”

Адрес Павел прочесть не успел, но заметил, что руки у Федора Михайловича задрожали. Отца он изучил хорошо, не задал ему ни единого вопроса. Через час отец не выдержал сам.

– Помнишь письмо? – спросил он, когда Катя вышла в магазины. – Это тетка твоя объявилась, Александра. Я-то думал, ее на свете давно нет. Решил – отвечать не буду. Ты как?

– Не отвечай, если не хочется, – сказал Павел с видом полного равнодушия, что и возымело свое действие; отец разговора не оборвал, как сделал бы в любой

другой раз, а продолжил:

– Она ведь с отцом вместе погибла. Я так думал. Говорили, что жива. Не верил. И с анкетами что теперь делать? Узнают ведь.

– Насчет родственников за границей?

Это была промашка, надо бы в разговоре с отцом ничего не понимать, сидеть пень пнем, тогда, глядишь, он о чем-нибудь и еще проговорился бы. Но отец, видимо, тут же принял какое-то решение, а стало быть – и обсуждать с сыном было больше нечего. Позже вел он себя так, словно ни письма, ни разговора не было. Приступил к новой работе: резал на рисовом зерне текст сохранившихся отрывков десятой, уничтоженной главы “Евгения Онегина”. Казалось, работа не только всецело поглотила его, но в ней находил он силы справляться решительно со всем, даже с приступами стенокардии. Двух-трех минут возле столика с микроскопами хватало ему, чтобы сердце отпустило. Отчего-то строки Пушкина, которые сам Федор Михайлович называл не самыми сильными, стали его последним жизненным утешением.

Рисовые занятия не принесли отцу семейного уважения. Давно покойная Валентина любила повторять о муже: “Велик в мелочах”, добавляя, что вот как только о чем серьезном попросишь, так, мол, уже не особенно велик. Даже бесчисленные грамоты отца, которые он развешивал в кабинете и коридоре, вызывали у нее только кислую гримасу: “Пылища”. Впрочем, мать Павла умерла слишком давно, а детям Федор Михайлович свою деятельность критиковать не позволял категорически. Незадолго до смерти составил он каталог своих работ и положил его под стекло на микроскопном столике. “Твое наследство, Павел”.

Схоронив отца, Павел спросил Софью – хочет ли она узнать, что осталось от отца помимо сберкнижек: библиотека, охотничье снаряжение, микроскопы, спаниель. Софья немедленно заявила, что библиотеку заберет, а прочее брат может продать и деньги себе оставить: “У Митьки диплом, он, небось, большие деньги стоит”. Сколько стоит русский спаниель с дипломом на двенадцатом году жизни, Павел примерно представлял, но книги отдал, лишь бы порвать поскорее последнюю ниточку, связывавшую Романовых и Глущенко. Таким образом, если не считать охотничьего снаряжения и Митьки, который на десятый день после смерти хозяина все же стал кое-что жрать – к великой радости любившей пса Кати, – Павел получил в наследство только две пухлые папки с грамотами отца, еще одну со всякими документами, два микроскопа, две дюжины коробочек с рисовыми шедеврами, банку с рисом, на коем отец собирался, видать, начертать еще не одну славную главу, – ну, и сберкнижку, конечно.

Получалось так, что все семейные тайны, весьма интересовавшие романтически настроенного Павла, отец унес в могилу. Павел тщательно перебрал все бумаги и документы, перетряхнул книги, особенно те, что отдавались Софье, – ничего, ни малейшего следа истории семьи. Адрес лондонской тетки отец, конечно же, уничтожил. Письмо тоже.

Через несколько дней, шестнадцатого, возвратившись с родительского собрания, мучась головной болью, разжевывая горькую таблетку, опустился

Павел в отцовское кресло у “рисового” столика. Голова гудела нещадно. Тщетно попытавшись остудить лоб о поверхность положенного на стол оргстекла, Павел машинально включил подсветку под меньшим из микроскопов. Глянул в окуляр, настройка оказалась сбита, он покрутил колесико. На предметном столике лежало белое, чуть желтоватое, припорошенное уже пылью, рисовое зернышко. А на матовой его поверхности уверенным отцовским резцом было проставлено:

ПАША И СОНЯ, НЕ МЕЧИТЕ РИС ПЕРЕД СВИНЬЯМИ.

И больше – ни слова, хотя места на поверхности зернышка оставалось еще на пол-“Каштанки”. Павел неловко взял пинцет из стаканчика, попробовал зернышко повернуть и уронил его на пол. Долго подбирал, снова водрузил на предметный столик вместе с ключьями пыли, – таковые под микроскопом приобрели хищный какой-то, чем-то даже тропический вид. Снова глянул.

ПАША И СОНЯ, НЕ МЕЧИТЕ РИС ПЕРЕД СВИНЬЯМИ.

Павел не сразу даже и заметил, что это другая надпись, сделанная как бы готической вязью на русский манер. Подобных сентенций отец не произносил никогда. Неужто писал не он? Павел поворошил зернышко, нашел прежнюю надпись – на другой стороне зерна. А уж заодно и еще две таких же надписи, двумя другими разновидностями шрифта. Отец очень хотел отчего-то, чтобы Соня и Паша вняли его требованию не метать рис. Рядом с микроскопом нашлась коробочка, а в ней пять зерен удлиненного, “мексиканского” риса. Павел сунул первое же на предметный столик. Никакого текста на зерне не было, только мелкая-мелкая сеточка как бы наштрихована. Павел догадался, что требуется дополнительное увеличение. На этот случай рядом стоял более мощный микроскоп, купленный на “мичуринские” деньги, отец им очень гордился. В самом деле, при помощи второго микроскопа дело пошло на лад. Необъятную поверхность зернышка покрывали тысячи и тысячи строк, но все – на неведомом Павлу французском языке. Впрочем, присмотревшись к тексту, Павел заметил несколько русских имен, написанных французскими буквами, и догадался, что перед ним перевод чего-то русского. Французский знала Катя, она его преподавала в той же школе. Но она уже легла, и Павел решил поискать чего-нибудь на понятном наречии. Павел оглядел стол, не замечая, что голова больше не болит. Стеклянная банка, аккуратно завинченная, стояла прямо перед ним, и в ней содержалось килограмма два с половиной рисовых зерен. И, может быть, все они были исписаны отцом. Павел вспомнил слова Федора Михайловича о том, что на выставки принимались исключительно произведения на русском языке и на языках союзных республик. Лишь много лет назад получил Федор Михайлович заказ на подарок алжирскому президенту Ахмеду Бен Белле: предстояло вырезать на четверти зерна текст “Песни о Соколе”, но на арабском языке, – однако куда искали текст для умельца, куда шлифовали линзы для микроскопа, который предполагалось подарить с рисом вместе, Бен Беллу сняли с работы, заказ пропал, а Федор Михайлович работать на экспорт закаялся. Так что французские записи могли быть только его частным рукодельем.

Несколько первых зерен в банке оказались пустыми. На седьмом по счету

обнаружились стихи. Сверху шла какая-то волнистая черточка, потом вторая покороче, а ниже – стихи. И, хотя Павел преподавал историю, а не литературу, он понял, что это, всего вероятнее, собственные стихи отца. Уж больно они были плохи и написаны теми самыми выражениями, которыми рассказывал отец своим ученикам – в том числе и Павлу, – что, вот, мол, “погиб поэт, невольник чести”. Только речь тут шла явно не о Пушкине.

Народ, по глупости воспрянув,
Тебя казнил в толпе тиранов,
Глумились над тобой в тиши
Китайцы, венгры, латыши.

И дальше в том же духе. Верхние черточки, догадался Павел, читать полагалось в “мичуринский” микроскоп. Павел взмахнул пинцетом – ловкость пришла вместе с азартом поиска.

“Памяти моего незабвенного отца, Михаила Алексеевича Романова, погибшего 7 июля 1918 года в Екатеринбурге, или 22 сентября того же года во Пскове, или 5 октября того же года во Пскове, но до 20 декабря того же года”.

“Вот это уже лишнее”, – подумал Павел, однако любопытство разгорелось как никогда прежде: может быть, перед ним, Павлом, откроются сейчас сокровенные семейные тайны, желательно все. Различные тщеславные подозрения пересилили в нем страх перед отделом кадров и другими сходными институтами, и он стал лихорадочно раскапывать пинцетом верхние слои риса в банке. Почти все зерна, попадавшие на предметный столик, оказывались исписаны – в одном из двух масштабов. В случае, когда отец пользовался более крупным вариантом записи, на зернышке оказывались награвированы одна-две фразы, чаще всего это были короткие биографические справки и относились они по большей части к людям, Павлу совершенно неизвестным.

ТАВЕРНЬЕ, Афанасий Павлович. Род. 4.7.1775 в Марселе, ум. 10.11.1825 близ Мариуполя. R.I.P.

СОЛОМКО, Сергей Сергеевич. Род. 1855 (близ Харькова?), ум. 1928 в Париже. Глупый акварелист.

СОЛОМКО (САЛОМКА), Афанасий Данилович 1787, Кролевецкий уезд – 1872, Санкт-Петербург, обер-вагенмейстер. Возможно, декабрист, не преследовался. Вместе с А. П. посетил Екатеринбург. Видимо, дед придворного акварелиста. Сопровождал А. П. туда, барона обратно. Роль неясна

ВОЛКОНСКИЙ, Петр Михайлович, св. князь. Род. 1776, ум. 1865. Скотина.

РОМАНОВ, Михаил Николаевич. Род. 22.11.1878, расстрелян в Перми в ночь с 12 на 13.6.1918. Подтвердилось.

ГРОМОВ, Никита Алексеевич (Романов). Род. 2.1.1902, пропал без вести в начале февраля 1918. Хоть бы так!

СВИБЛОВ, Игнатий Михайлович (монах Иннокентий), граф. Род. 6.12.1810, ум. 25 дек. (ст. стиль) 1898 в Томске. Мог бы и еще пожить.

ВИЛЛИЕ, Яков Васильевич. Род. 1765 в Эдинбурге, ум. 1854. сволочи всякой сдавал квартиру, вот теперь и расхлебывай!

РОМАНОВ, Александр Николаевич. Род. 17.4.1818, ум. 1.3.1881 г. в Петербурге. Жалко, но нечего было сволочи волю давать.

Трижды или четырежды попало зернышко с одним и тем же текстом, повествовавшим, что –

РОМАНОВ Михаил Алексеевич. Род. 11.3.1881 в Томске, ум. между 7 июля и 20 декабря 1918 в Екатеринбурге, или Пскове, или Креславле, или Перми, или Алапаевске.

На зернышках с более мелким текстом, как правило, умещались сотни и сотни фраз, чаще всего на французском, реже на немецком языке. Попало и зернышко, целиком исписанное одними цифрами, только цифры, много тысяч цифр и между ними значки непонятные. Были и русские тексты, но чаще всего ими оказывались стихи, всегда плохие, всегда на одну тему, с тем же посвящением, – стихи, впрочем, были в разных стилях: одно с вовсе уж откровенным “Погубила безвинного родина светлая”, другое отчего-то гекзаметром, третье начиналось: “Тишь да гладь. И я на сцену вылез” – в нем Павел ничего не понял, заподозрил, что это плагиат какой-то или перевод в крайнем случае. Потом попало и такое зернышко:

РОМАНОВ Павел Федорович. Род. 31.5.1947 в Екатеринбурге.

Через час Катя вошла в кабинет свекра, ставший теперь комнатой Павла. “Чего спать-то не идешь”, – застряло у нее в горле. Муж лихорадочно ковырял пинцетом в банке с рисом – и ее, Катю, не видел и не слышал. Катя вспомнила свекра, поняла, что демон рисовой каллиграфии переселился теперь в Павла, снова спать пошла.

Павел же тем временем перебирал бесконечные биографические справки, в которых теперь стали попадаться и личности весьма известные – Аракчеев, архимандрит Фотий, министр Канкрин, канцлер Горчаков, вперемешку с какими-то князьями Щенятевыми, Бирюлевыми, Игнашками, сыновьями Михайловыми, беглыми бабами Настасьями и еще Господь разберет с кем. Встречались и личные записки отца, из них явствовало пока немного, но и это немного было для Павла откровением: скажем, он лишь сейчас узнал, что мать отца – его, Павла, стало быть, родную бабушку – звали Анной Вильгельмовной! Сроду не слышал Павел ни про каких Вильгельмов-предков, всегда полагал себя чистокровным русским. Становилось ясно, что все сколько-нибудь важное доверял покойный Федор Михайлович только рису: как подумалось Павлу, “чтоб съесть было попроще, если надо будет”. А тут еще на одном из зернышек обнаружилась такая надпись:

РОМАНОВ Алексей Федорович (Александрович). Род. 1835, ум. 7.6.1904 в Дерпте. Сын Федора Кузьмича.

И тогда Романова Павла Федоровича, преподавателя истории средней школы № 59 г. Свердловска, русского, беспартийного, женатого, бездетного, именно в силу того, что был он учителем истории, а не ботаники, прошиб холодный пот. Если раньше он искал неведомо что, секрет какой-нибудь семейный или там легенду, то теперь получалось, что прадед Павла был и в самом деле человеком необычайным. Еще бы, он был сыном Федора Кузьмича Романова! Сам Федор Кузьмич не замедлил объявиться на каком-то из очередных зерен, и даты его

жизни подтвердили все, о чем Павел и так догадался и чем рад бы не думать вовсе:

РОМАНОВ Александр Павлович. Род. в СПб 12 декабря 1777 года, умер 20 января 1864 года близ Томска под именем старца Федора Кузьмича.

Каким образом у почти шестидесятилетнего старца в 1835 году родился прадед Павла – еще предстояло выяснить. Одно было несомненно: при всей романтичности этой истории, лично Павлу она ничего хорошего не сулила. О старце Федоре Кузьмиче Павел знал, конечно, не из педвузовского курса истории, а из научно-популярных статей с вечно издевательской интонацией, иной раз мелькавших в советских журналах. Чтобы прояснить сей вопрос до конца, предстояло, видимо, перебрать еще очень много риса. Но на дворе была глухая ночь, и Павел внезапно почувствовал, что ему необходимо выпить водки.

Он прошел на кухню и вытащил из холодильника початую, от поминок оставшуюся бутылку, стал пить прямо из горлышка. Не прошло и нескольких секунд, как потекли по всему телу тепло и спокойствие. Усталого Павла забрало, мысли постепенно пояснели, округлились, еще небольшое усилие – и Павел понял, что, буде не объявятся другие, пока неведомые факторы, на сегодняшний день его права на российский престол, вероятно, очень серьезные и почти неоспоримые. Мысль о том, что в 1835 году престолонаследие стало совершенно незаконным и узурпаторским, явилась как-то сразу и показалась весьма любопытной.

Как быть, – степенно рассуждал Павел в пустой кухне, отхлебнув еще разок. Большой ли профит обнаружить, что ты доводишься – Павел прикинул в уме – пятиюродным братом убиенному царевичу Алексею, правнуку королевы Виктории? Прежде всего, если узнают, ясное дело, могут расстрелять как недорасстрелянного. Но вряд ли. Времена другие. Посодют. Это – если не молчать. А если молчать? Тогда... не посадят. Как отец знал об этом всю жизнь, тихо радуясь, что он Романов, царь Федор не то третий, не то четвертый. И все записи вел так, чтобы ничего не бояться, чтобы в любую минуту кашу из них сварить.

Страшное подозрение охватило Павла. Ему вспомнилась банка с рисом на отцовском столе такой, какой была всего недели три тому назад, – тогда она стояла почти полная. Теперь в ней было даже меньше двух третей. Павел бросился к спящей Кате. Та открыла один глаз и прежде всего обиделась: насчет того, что, во-первых, если он будит жену из-за рисовой каши и другого повода разбудить ее не имеет, то искал бы себе в жены рисовую кашу, и что, во-первых, она, слава Богу, в своем доме и не обязана давать отчет, и что, во-первых, должен же он понять, что Митька после смерти Федора Михайловича десять дней жрать ничего не хотел, а Федор Михайлович пса к рисовой каше приучил, а риса в магазине нет, а у нас весь кончился, а должна же собака поесть, вот она кашу и сварила, и всего-то один раз, а он совсем обнаглел...

Павел в отчаянии вернулся к себе. Митька уютно и по-стариковски сопел на диване, задрав все четыре лапы. Павел поглядел на его брюхо и мысленно попрощался с какой-то частью семейных тайн, которые попали именно туда. Оставалось надеяться на то, что все самое важное отец записывал по несколько

раз. “Тоже наследник”, – с грустью подумал Павел, снова присаживаясь к микроскопу. Заодно и отхлебнул еще разок – бутылку он взял с собой.

Взгляд его упал на покоящийся под стеклом стола список “трудов” отца. Здесь были обозначены и “Слово о полку Игореве”, на четырех рисовых зернах, переданных в дар Историческому музею в Москве, и статья “Головокружение от успехов”, на одном рисовом зерне, дар музею в Гори, и еще много такого же. Никакого отношения к содержимому заветной банки список не имел. Зато первое же зернышко, сунутое после бесплодного изучения “списка” на предметный “мичуринский” столик, принесло разгадку – что же все-таки переводил отец с русского на французский, не поленившись испещрить бисерной вязью многие сотни зернышек. На этом же зерне отыскался как бы “титульный лист” – французского-то Павел не знал, но латинские буквы были понятны сами по себе. Опасаясь – обыска, что ли, – но, видимо, желая сохранить для себя текст полюбившегося произведения, перевел Федор Михайлович на французский язык роман Бориса Пастернака “Доктор Живаго”. Отсюда и русские фамилии. Павел тихо выругался, сунул зерно в банку. Литература его интересовала мало, разве что детективная, о Пастернаке он знал только, что с этим романом связан какой-то большой государственный скандал эпохи его, Павлова, детства. Однако чего же только человек не сделает со страху.

Рису в банке было много, Павел понимал, что прочитано только самое начало. Вдруг у старца Федора Кузьмича были и другие дети? Да и где окончательные доказательства того, что старец Федор Кузьмич – император Александр Первый? Сколько сестер и братьев было у деда? У прадеда? Да и вообще, с чего это вдруг заниматься своим происхождением? Денег это не принесет, счастья тоже, а жизнь себе очень даже запросто испортить можно. Были уже в России Лжедмитрии всякие, княжны Таракановы, прочих самозванцев, можно сказать, от пуза. У всех получалось очень плохо. Ночь наваливалась на Павла духотой, головной болью, предчувствиями. Потирая левый висок, сунул он на предметный столик очередное зернышко. На нем отец, видимо, пробовал новый резец, только одна надпись ясно просматривалась среди совершенно бессмысленных штрихов:

Я БЫ ТВОЮ МАТЬ.

В пятом часу утра Павлу стало плохо. Зверски ломило спину, и понял он, что на работу пойти не сможет, – а ведь уже в восемь тридцать предстояло восьмому “бе” что-то рассказывать про историческую неизбежность падения дома... получалось, своих же собственных предков? Да нет же, младшей ветви! Павел проникался ненавистью к просвещенному солдафону Николаю Первому, к освободившему всякое быдло Александру Второму, к алкоголику Александру Третьему, к погубителю России Николаю Второму. Все эти узурпаторы были ему мерзки и отвратительны без всяких оговорок, даже железные дороги Москва – Петербург и Великую Транссибирскую магистраль позабыл Павел в пылу ночного и не совсем трезвого гнева. Голова болела все сильнее, озноб начался. Тогда встал он через силу и пошел на кухню. Выпил от похмелья таблетку аспирина, потом вторую, третью. От кислого вкуса накатило на Павла

некое наитие, и он стал есть таблетки одну за другой, покуда не съел все, что нашел, – две полоски лекарства, двадцать таблеток. А дальше пошел, бухнулся к Митьке на диван, ничего не помнил уже.

Проснулся поздно, в пол-одиннадцатого. Было непривычно тихо, Катя давно ушла в школу, но звуки исчезли из мира Павла чуть ли не все, тишина была гуще, чем в деревне в полдень. Павел полежал немного, с трудом разделся и переполз в постель; температура, позже измеренная, оказалась 38° с длинным хвостиком, и живот начал болеть, килограмм же недочитанного риса манил, как сто томов “Библиотеки современного детектива”, окажись таковая под рукой. С трудом набрал Павел номер поликлиники, вызвал врача, сказал адрес, никаких ответов не слыша. Опять заснул и сон увидел странный: будто в том самом ЗАГС’е, где он сколько-то лет назад с Катей расписывался, подводят к красному столу двух каких-то дюжих молодоженов с расплывчатыми лицами, и совершается над ними обряд социалистического венчания – именно так это называлось во сне и странным совсем не показалось. Дали в руки невесте здоровенный серп, – Павел не понял сперва – затем, что ли, чтобы в случае неверности мужниной покарать его было чем? – а жениху – молот, тоже здоровенный, чтоб, наверное, стучал лучше в эту, как ее, – стальную грудь, – и поставили перед красным столом, а стол сразу выше стал как-то, алтарней, что ли, – в позу знаменитой скульптурной группы Мухиной “Рабочий и колхозница”, – так и оставили стоять. Дальше сон заволокло какими-то наплывами, рабочий от колхозницы так же, как и она от него, отодвигаться стали, повернулись лицом друг к другу и неожиданно заняли левосторонние фехтовальные позиции. Колхозница сделала сначала резкий выпад в правый нижний кварт, норовя застигнуть рабочего врасплох, но он был начеку, рванул в ремиз и взмахом молота парировал удар, сам сделал прямой выпад, но лишь громыхнул о серп; звон стоял хотя и глухой, но непрерывный, и от звона этого Павел проснулся. Звонили, оказывается, в дверь, чтобы открыть ее, пришлось встать.

Виктор Пантелеймонович Глущенко очень себя уважал. Женившись на властной Софье, разобравшись, что у той с братом большие контры, он старался демонстративно поддерживать с Павлом нечто вроде независимых добрососедских отношений. Он-то и обнаружился за дверью, когда похмельный, аспириновый и оглохший праправнук царя Александра Первого, держась двумя руками за косяк, открыл дверь ногой. Мир погрузился для Павла в тихую вату, в которой разносились разве что легкие жужжания.

– Нездоров ты, Паша, но прости уж, я по делу, да и ненадолго вовсе. Брокгауза мы у тебя не всего забрали, дополнительные тома куда-то делись, четыре их должно быть. За ними вот пришел. Словарь Даля тоже взять забыли. Он, видать, у тебя заставлен куда-то, а он тебе ни к чему, ты ж историк, Ушакова взяли, что верно, то верно, спасибо не утаил ты его, и семнадцатитомному академическому тоже радуемся, а вот просит Софья узнать, был ли у отца четырехтомный малый? Ты уж скажи, либо себе оставил, тогда либо стоимость его... Маленькие ведь деньги, всего два с четвертью номинала в магазине...

Ничего этого Павел, конечно, не слышал. Полусидя на постели, глядел он на

зятя, на седые его и прилизанные вихры, на дрожащие от собственной храбрости губы. Виктор очень себя уважал, но Романовых боялся, больше всех покойного Федора Михайловича, потом жену свою, Софью, и Павла тоже, и даже жену Павла – даром что Катя была урожденная Бахман. Но больше всех боялся он дяди своей жены, не Романова, кстати, а Керзона, знаменитого пушкиниста, но, увы, чистопородного иудея – об этом жутком дяде узнал он лишь года через два после женитьбы. Что мать у жены еврейка, то для директора автохозяйства полбеда бы, раз мамаша помре, а папаша Романов. Но живой, да еще знаменитый дядя-еврей навеки убедил Виктора Глущенко, что от Романовых любой подлости можно ждать – и дядю-жида, и тетю в Лондоне, о которой узнал, шаря у жены в секретере. Эта, впрочем, хоть в анкету не просилась, и вообще тетку Александру Михайловну Глущенко считал наваждением, навью, миражем, от коего вполне достаточно защититься чураниями. И между тем, хотя и боялся Глущенко всех своих нынешних родичей – а еще пуще них собственного сына Всеволода, горе-сидельца, – но права на словари собирался отстаивать до конца, несмотря на то, что Павел глядел на него взором совсем невидящим.

– Как ты посмотришь, Виктор Пантелеймонович, ежели я Софью заточу... в ООН?

Глущенко умолк и испуганно захлопал глазами.

– За то, что в Италии со стрельцами против меня бунтовала. А ее бы в ООН и наводнением. А? Стой, это не ее...

Глущенко утратил остатки храбрости:

– Что ты, Паша, может, “скорую” вызвать? – и потянулся к телефону, но телефон стоял прямо у книжного шкафа, а в нем за стеклом тусклым золотом светились и четыре тома дополнительного Брокгауза, и четыре тома Даля. – Так можно я их возьму? – встрепнулся он, быстро, не глядя на Павла, выхватил книги из шкафа и исчез в прихожей, столкнувшись на пороге с вызванной Павлом врачом из поликлиники, которая, почти не глянув на Павла, выписала бюллетень, велела Глущенко, раз уж он не родственник, вызвать с работы жену больного, потому что тот нуждается в уходе, а в больницу его класть некуда.

Где-то на свете что-то происходило. Праправнук императора Александра Первого лежал и бредил; чистопородный русский спаниель с рыжими пятнами на ушах вылизывал праправнуку лицо длинным и нежным языком; перепуганная жена праправнука спешила с работы на помощь, отпросившись у завуча; директор автохозяйства с сознанием исполненного долга трусил домой к жене, праправнучке того же императора, в этот самый момент с отвращением мывшей кухонную раковину; некий горчайший алкоголик на другой стороне земного шара медленно засыпал после тяжелейшего перенапряжения, выпавшего на его долю в этот вечер; некий хорошо тренированный и относительно молодой человек с легкой проседью в волосах подписывался под длиннейшими инструкциями, получаемыми им в напутствие, каковые вручал ему сухой и рябой полковник, прозванный подчиненными “великий экзекутор”; а неведомый России законный ее, в бозе почивший царь спал вечным сном в

земле далекого от прежнего дома Ивановского кладбища, в пяти минутах пути от могилы верившего в победу коммунизма писателя Бажова.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 2

Евгений Витковский

II

Ищейки русской полиции обладают исключительным нюхом.

Маркиз де Кюстин. Россия в 1839 году

Вихри неслись со всех сторон на Скалистые горы. Кроме посторонних ветров, дул еще и какой-то свой – жесткий, игольчатый, горный; дул сверху вниз, с альпийских лугов, от которых до вершины Элберта уже рукой подать. И весь хребет Саватч, несмотря на взошедшее солнце, все более холодел. Холодел и великан Элберт, источенный, словно старый комод древоточцем, ходами и подземельями, в которых размещался наиболее значительный в мире центр прикладного проектирования аутентичного прошлого. В подземельях, естественно, никакого холода не было, зато суета стояла нынче необычайная. Началась она еще вчера после полудня, когда, едва лишь прочитав записку референта, директор центра, всемогущий старец Артур Форбс, ни с кем не совещаясь, а лишь пуская в ход уже много лет назад выработанный план, привел в боевую готовность значительную часть подчиненных.

В те ночные часы (по свердловскому времени, естественно; в Скалистых горах еще день стоял), когда Павел Романов на пустой кухне закусывал водку хлебом и кефиром, престолонаследные мысли его были расслышаны – невзирая на едва ли шесть тысяч миль расстояния от Свердловска до горы Элберт, языковой барьер и прочие обстоятельства. Даже те мысли, которые еще не оформились, а лишь зрели в подсознании Павла – о том, что весь рис надо быстро-быстро высыпать в помойку, что следует заявить свои права на российский престол, что отец был сукин сын, раз не поделился ничем при жизни, – все это немедленно становилось известно некоему горчайшему алкоголику, удобно засевшему в глубочайшем из бункеров в толще Скалистых гор. Быть может, человек этот был не совсем расово полноценен с точки зрения, к примеру, Ку-Клукс-Клана, Союза Русского Народа, организации “Черные пантеры” и даже “Лиги защиты евреев”. Но в своем деле он не имел равных, короче говоря, человеком этим был индеец Атон Джексон, величайший в мире телепат-нетрезвовик. Трезвое человеческое сознание оставалось для Джексона книгой за семью печатями, но стоило любому горемыке в любом краю земли хлопнуть сто граммов – книга открывалась, Атон все знал об этом человеке и при желании мог с ним разговаривать. Правда, лишь изредка и случайно начальство получало от него информацию действительно ценную, ибо единственный вопрос, который Джексон считал важным, охотно принимал к передаче и задавал по собственной инициативе, был – “Что пьете?” И обалделый повстанец в Никарагуа отвечал неведомо кому: “Ром”, и столь же обалделый хуацяо в Маниле говорил в

пространство: “Маотай”, а председатель Кировоградского обкома сообщал ему доверительно: “Горилку”, – но это было все, что могли узнать Пентагон и ЦРУ от лучшего своего телепата совершенно точно, в любое время суток, безотказно. Лишь очень и очень редко на Джексона что-то находило, рука его тянулась к переключателю магнитофона, и он диктовал мысли обследуемого в течение двадцати, тридцати, а то и больше минут, покуда из того не выветривался хмель, либо пока объект от дополнительного приема катализирующих веществ не вырубался начисто. На случай такого редкого события при Джексоне посменно дежурили секретари, в чьи обязанности входило поставить начальство в известность о том, что у индейца “дзен”, – управляемый или нет. В случае неуправляемого наития после расшифровки и перевода пьяного телепательного лепета на столы начальства чаще всего ложился полный отчет о том, какая стерва Луиза, какой негодяй Луиджи, он не дает выпивки в долг, а она вообще не дает... Но в этот раз “дзен” с индейцем приключился редчайший, управляемый, всплыло, видать, из хмельного подсознания старое-престарое приказание покойного Айка – а с ним индеец был в отношениях почти дружеских – приказание, от исполнения которого в недалеком будущем зависела, быть может, судьба всего западного мира, но выполнить каковое не представлялось возможным вот уже более четверти века.

– Теряю... Теряю... – хрипел голос индейца с магнитофонной ленты, ибо сам индеец уже спал, а трое неутомимых референтов были заняты расшифровкой и переводом надиктованного, ведь на расшифровку оногo генерал Форбс дал всего-то час. – Теряю... Нет, вот еще отхлебнул, вероятно, это простая русская водка однократной очистки с примесью, кажется, депрессанта – можно и не спрашивать... Так вот что: отец был сукин сын, а мать его звали Анна Вильгельмовна...

Но это все было ночью, а сейчас, холодным горным утром, отчет с расшифровкой давно уже был размножен и разослан по факсу кому надо, референты в полном отпаде спали, не покинув кресел, а сам Атон Джексон, напротив, проснувшийся, желтыми пальцами скручивал пробку с бутылки “скотча”. В эти минуты вход в его бункер был строжайше запрещен всем, даже четверем любимым кобелям бесшерстой мексиканской породы, трое из коих от рождения имели по четыре зуба в пасти, а один – шесть. Собаки спали вместе с Джексоном, но, чутко предвидя пробуждение хозяина, незадолго до такового, стуча когтями, уходили по винтовой лесенке. Ибо трезвый с похмелью Атон потоками брани затмевал пророка Валаама, а репрессивными действиями – древнего императора Цинь Шихуана. После того, как он непочтой бутылкой виски убил курьера Конгресса, а бутылку, к счастью уцелевшую, опорожнил себе в желудок, – после этого сенатская комиссия, ввиду чрезвычайной важности миссии, возложенной на Атона, от уголовного преследования отказалась, покойного Нарроуэя квалифицировала как национального героя, а для дальнейшего общения с Атоном разработала систему предохранительных мер. Поутру виски, – очень редко, по новолуниям, джин, – подавались ему конвейерным устройством, скудная закуска стояла целым сундуком рядом с креслом – Атон от рождения признавал из еды один пеммикан, иначе говоря,

сушеное и размолотое мясо, больше ничего, и ни цинги, ни иных болезней при этом знать не знал. По опыту было известно, что страшное трезвое состояние Джексона дольше двадцати минут продержаться не может: скрутит старый чероки узловатыми пальцами горло бутылки, отхлебнет разом до половины, уставится в пространство прямо под ногами и непременно вслух – к вечеру заговорит уже про себя, а с утра только вслух – спросит, скажем, императора Бокассу – “Что пьете?” Император, у которого в силу географических причин белый день – давным-давно, и вообще империя сыплется, удивленно ответит в пространство: “Драй джин”, а потом вернется к прерванному занятию – к дегустации шпиона какого-нибудь суданского, к примеру. И случается, что до самого вечера это и вся ценная информация, которую получают Пентагон и ЦРУ от лучшего своего телепата.

Но сегодня об Атоне уже почти забыли. Стартовая капсула телепортации впервые за полгода готовилась к функциональному акту. Полгода простоя были вынужденными: после скандала с зараженными шлюхами. Случилось так, что три проститутки, предварительно зараженные различными смертельными болезнями, были телепортированы в личные апартаменты бородатого премьера соседней страны, но бациллы Хансена, бледные спирохеты и туберкулезные палочки состояния телепортации не выдержали, и проститутки прибыли в распоряжение премьера saniрованными до стерильности. А нынче – бледный, наскоро проинструктированный агент-телепортант, уроженец Ямайки, несмотря на это вполне белый и, как поговаривали, побочный сын одного знаменитого писателя, окопавшегося в тамошних краях, – Джеймс Карриган Найпл, тридцати семи лет от роду, ждал момента, когда кривой палец генерала Форбса ткнется в стартовую клавишу, и он, Джеймс, превратится в волновую дугу между Скалистыми горами и Кудринской площадью в Москве, через долю секунды после этого начнет нелегкое странствие по России в далекий Екатеринбург, дабы найти истинного, законного наконец-то претендента на российский престол, Павла Ф. Романова, заодно изничтожая всех других возможных претендентов на таковой, или, что лучше, добиваясь от них письменного отречения от престола. Целый сектор информации где-то в подошве Элберта восстановил за ночь список всех возможных родственников Павла Романова. Ведь все они могли при стечении обстоятельств оказаться претендентами на царский престол – ввиду отсутствия ясных законов, кто же в России является истинным престолонаследником, старший ли сын, младшая ли дочь, незаконный ли сын племянницы либо законный сын незаконной супруги, – сколько раз эти законы менялись, а вот теперь, впервые за шесть десятков лет сомнений, возникала возможность однозначно решить вопрос о “российском наследстве”, предъявить миру своего, американского наследника. Причины, по которым США такой претендент требовался больше, чем весь уран, вся нефть и все золото мира, скрывались настолько тщательно, что были известны лишь пяти-шести сотням человек, наиболее доверенным лицам в государстве и в институте Форбса. Другие секторы института одновременно запускали в печать давно уже подготовленные компрометирующие материалы биографий уцелевших наследников младшей линии Романовых: Владимира Кирилловича

Романова в первую очередь, Никиты Александровича Романова во вторую очередь и очень многих более-менее заметных Романовых в третью очередь, а уж заодно и материалы против Милославских, Голицыных, а также Ласкарисов, Палеологов и Кантакузинов, в последнее время поднявших голову и заявивших свои претензии сразу и на константинопольский, и на российский престолы.

Словом, заработал огромный механизм управляемой цепной реакции, в котором личность скромного свердловского учителя представлялась чем-то вроде роли уранового стержня в реакторе. Не один конгрессмен, не один сенатор нынче, узнав о неожиданной находке, переводил дух, отирал лоб, вот уж сколько лет покрытый испариной страха, мелко крестился – или не крестился, если был другого вероисповедания – и шептал “Слава Богу”, – в отдельных случаях “Аллаху”, “ангелу Моронию” и т.д. Вступал в действие спасительный для США проект “Остров Баратария”.

Если на свете можно было бы отыскать человека, которому в данный момент Джеймс Найпл завидовал больше всех, им явно оказался бы Атон Джексон. Ибо Атону по службе полагалось хлебнуть сейчас как можно больше чего душа захочет (а душа всегда хотела виски), ему же, Джеймсу, обмотанному датчиками и круглыми щетками, ничего такого до самого воплощения в Москве не полагалось. Сам изобретатель телепортационной камеры, Йован Абрамовитц, в прошлом партизан-герцеговинец, ныне же профессор парафизики из Хьюстона, дежурил возле недвижимого Джеймса. Атон тем временем допивал в своей конуре вторую бутылку, ласково пинал наконец-то допущенных к нему собак, между делом допрашивал кого-то в Монголии – что тот пьет, и, получив интереснейший ответ – “гороховую водку”, – немедленно требовал к прямому проводу президента США, вместо этого его соединяли с пресс-секретарем Белого дома, но Атон, забывший уже про горох и президента, просил всего лишь передать привет Айку, что и выполнялось немедленно с помощью медиума Ямагути, ибо любое желание Атона, согласно инструкциям Форбса, должно было исполняться немедленно, даже если влекло последующие поправки к конституции США.

Курьер конгресса, младший брат убитого Нарроуэя, ворвался в помещение и протянул Абрамовитцу телефонограмму. Тот распечатал, расплылся в сочной улыбке, передал листок Джеймсу. Это было напутствие президента, которым тот благословлял Джеймса на его миссию. Лежа Найпл выпрямился и попытался отдать честь, как совсем еще недавно делал в чине лейтенанта армии ГДР, – оборвал три-четыре контакта, получил от грубого американского еврея Абрамовитца по шее. Затем ощутил сунутый ему в правую руку дорожный чемоданчик, затем – тошноту телепортации.

* * *

Бабка стояла почти у самой стены метро “Краснопресненская”, озирая дальнотзорким взглядом все пространство до самой трамвайной остановки, до туалета, в который спешил зайти чуть ли не каждый второй, кто выходил из метро. Боковым зрением видела она и зоопарк, и не очень трезвого

милиционера возле газетного стенда, и негра какого-то, и двух девок каких-то, и еще кого-то, и еще кого-то. Торговала бабка мороженым с лотка, торговала бойко, но обеденный перерыв ей тоже полагался, и было уже пора.

Сильный толчок в спину бросил ее прямо на лоток. Бабка охнула и обернулась. Из-за ее спины вышел – не мог он оттуда выйти, там и места всего-то сантиметров десять было! – довольно высокий, довольно представительный, довольно молодой человек в теплом пальто не совсем по сезону, с маленьким чемоданчиком.

– Простите, – сказал он с заметным владимирским акцентом и нырнул в толпу. Мороженщица ошалело смотрела ему вслед.

Молодой человек подошел к газете, прочитал некролог-другой, самый длинный из таковых извещал о смерти Петра Подунина, лауреата, члена, главного редактора – и ощутил прилив уверенности. Так и полагалось. Он неторопливо зашагал через площадь Восстания, или, как его учили, Кудринскую, к дому в начале улицы Герцена, она же Большая Никитская, – все эти названия должны были еще пригодиться в будущем. Собственно, дом был не в начале, а в конце, если считать от центра, но в центре – не в московском, а в том, который в штате Колорадо – ему втолковали, что телепортационный луч направлен точно в начало улицы Герцена. И потому выяснять, получилась ли погрешность в сотню-другую метров, если начало здесь, или же в добрую милю, если с другой стороны, сейчас было уже бесполезно. Скорей всего это вообще никогда не требовалось, замеры ментального поля по Москве производил некий левша из Новой Зеландии, давний-давний резидент, который пропал неясно куда месяца два тому назад, после того, как неудачно подал документы на выезд в Израиль – на том основании, что родился в Иерусалиме и имеет там родственников, но сам же, балда, написал, что хочет увидеть родную Вангануи. Соответственные органы проверили и обнаружили, что Иерусалим и впрямь стоит на реке Вангануи, но оба эти объекта расположены в Новой Зеландии, Нортленд, а евреям положено только в Израиль. Резидент был не еврей, а левша, и сидел теперь пыльным хвостом накрывшись, в какой-то северной глуши, и связи с ним ни у кого, кроме Джексона, не было. Между тем именно левше оказался обязан Джеймс Найпл почти точной телепортацией на улицу Герцена, ибо тот заверил, что ментальные поля в этом районе слабы донельзя, что поля умственных напряжений, создаваемые близостью бразильского, турецкого, египетского и даже новозеландского посольств слабы, незначительное отклонение может создать лишь близость зоопарка, но тут нужно смириться, ибо все посольства можно на крайний случай отозвать в американское на банкет, – что и было сделано, вопреки дипломатическому протоколу, еще московской ночью, – заодно отвлекши большие силы КГБ в сторону Калининского проспекта. Зоопарк в посольство пригласить было невозможно, оттого и пришлось Джеймсу топтать через всю площадь туда, куда полагалось, – в московский Дом литераторов им. А. А. Фадеева.

Перед дверями оною Дома два немолодых типа хамской внешности и без документов на допуск в Дом пытались доказать свою принадлежность к литературному миру, а равным образом право пить кофе и все другое вместе с

остальным литературным Олимпом в стенах любимой обители. Третий человек, росту очень маленького и внешности не хамской, но хамитской, прыткий, с повязкой на рукаве, всем своим видом и руками выражал решимость никого не пускать.

– Похороны, товарищи! Ответственные похороны! Мероприятие!

Джеймс предъявил хамиту гостевой билет на вчерашнее число, – другого в Элберте из-за спешки подобрать не смогли. Войти в Дом литераторов Джеймсу было необходимо, там под условной плиткой кафеля в мужском туалете ждал его билет на самолет до Свердловска, кое-какие бактериальные препараты, не поддающиеся телепортации, адреса запасных явок, а главное – указание на явку, где надлежало провести нынешнюю ночь. Из соображений секретности даже сам Джеймс не знал, кто именно положил все это хозяйство в цедээльский сортир. Но что положил, то уж точно положил.

– Прикрепленных не обслуживаем, товарищ! – сверкнул очами хамит. – Говорят же вам, мероприятие! Читать умеете? Вон объявление висит, по-русски написано!

Этого только не хватало. Против загадочного дома с мероприятием смотрело на мир пуленепробиваемыми стеклами вычурное здание в изразцах – два этажа с мансардой, воешь полукруглых люнетов справа от такого же входа с закруглением, сущий древнерусский терем. Возле дома торчала будка с милиционером. «А Embaixada do Brasil», – прочитал телепортант, «Посольство Бразилии». У него была инструкция держаться от всех посольств возможно далее. Бесцельно прошел Джеймс по тротуару, поглядел на еще один пыльный особнячок, тоже посольство, кипрское, бедноватое. Дальше тянулось длинное, оштукатуренное желтым здание, оно упиралось в Садовое кольцо. К нему прижималась будка чистильщика сапог. Сапог на Джеймсе не было, полковник обул его в советские ботинки фабрики «Буревестник». Но надо было подумать. В будке сидел пожилой ассириец, немедленно взявшийся за ботинки Джеймса. Головы он не поднимал, но после того, как прошелся по ботинку бархоткой, внимательно всмотрелся в лицо клиента, отражавшееся в лаковой поверхности. Тут он слегка улыбнулся. Исаак Абрамович Матвеев жил на свете восьмой десяток. Еще ребенком мать привезла его в Россию из Турции и он отлично знал, как отличить уроженца Рыбинска от потомка вест-индских колонизаторов, и мигом догадался, для кого он утром замуровал в писательский сортир коробку с важными шпионскими снастями. Дядя Исаак видывал многих шпионов, проходивших этой тропой в последние двадцать лет, было время привыкнуть к тому, как плохо подделывают за границей продукцию «Буревестника», даже каблуки правильно стоптать не умеют, что уж говорить о безграмотной чистке банановой кожурой вместо бархотки: кто ж в СССР станет натирать ботинки бананом. если за ним в очереди два часа стоять? Темнота, однако. Джеймс дал чистильщику двадцать копеек и вернулся на площадь. Помимо неудачи с погребенным в литераторских подвалах шпионским хозяйством, ощущал Джеймс и еще какое-то неудобство чисто физического свойства, как если бы что-то забыл дома, без чего гулять неудобно: зонтика в дождь не взял, либо туалет не посетил, – но об этом задумываться времени пока не было.

Он пересек Садовое кольцо, удаляясь от так называемого “дома Берии”, – чего, впрочем, не знал, – и зашел в стеклянную забегаловку. Желание выпить, терзавшее его еще в недрах Элберта, усилилось после литературской неудачи многократно. Ни джина, ни виски в забегаловке не продавали, не было даже русской водки, и странного вида и запаха угрюмо-красное вино не утолило бы жажду даже самого занюханного макаронника. Джеймс сел за очень грязный стол, – такого он даже в юности в Румынии не видел, – разместил перед собой бутылку с мутным якобы вином, тарелку с якобы мясом, блюдечко с мелко наструганным вялым помидором. Ему, двадцать лет уже работавшему в американской разведке, случалось, конечно, бывать и в куда худшей ситуации. Но впервые в жизни его готовили в такой спешке. На сегодня в запасе, помимо Дома литераторов, который, так сказать, ухнул, имелась всего одна явка, а именно гостеприимный дом знаменитого кинорежиссера Акима Парагваева, автора нашумевшей картины “Ветви персика”, куда он, Джеймс, мог отправиться ночевать, сославшись на “Шурика” и передав привет от “Милады”. Но Парагваев был человек “не наш” (хотя более чем “не их”), просто было известно, что в его доме можно переночевать, произнеся подобную фразу. Однако же Джеймс был предупрежден, что ему, человеку с кинематографической внешностью и мускулатурой, могут оказать прием более чем горячий. Проще говоря, природному любителю женщин, каковым Джеймс был всегда, в этом доме грозила опасность попасть в ложное положение, а также в постель к хозяину.

Но в крайнем случае – долг есть долг. Джеймс был готов к чему угодно. Ни одним глазом не моргнув он, когда полтора года назад, после небольшой офицерской вечеринки возле Виттенберге, ГДР, где исполнял некую миссию под видом лейтенанта Бруно Пошвица, обнаружил, что его прямой начальник, полковник Манфред Зауэр, стал проявлять к нему, Джеймсу, чувства, очень далекие от служебных и просто дружественных. “У меня триппер”, – предельно страстно прошептал Джеймс, и полковника как ветром сдуло. В крайнем случае этот маневр годился и для Москвы, но – а ну как Парагваев, восточный человек, не испугается и ответит хрипатым шепотом: “У меня тоже”.

Такие грустные и какие-то лишние мысли долго одолевали Джеймса, красной жидкости в бутылке заметно убавилось, а в то же время за тем же столиком объявился безо всякого спросу еще кто-то. Джеймс ощутил на себе дружелюбный взгляд густославянской особи мужского пола, занявшей сиделище напротив. В глазах особи читалась скорбь, тоска, точнее, по запотевшей от холода, и на худой конец и тепловатой рюмке чего-нибудь скандинавски-крепкого, а на совсем худой конец не скандинавски, а просто крепкого, или даже средне крепкого...

– У кого что горить – тому мы можем пособить! – как бы стихами обратился к Джеймсу визави, подмигнув довольно гнусно, но, слава Богу, без сексуального оттенка, и выудил из драного кожаного портфеля бутылку водки. – И будем здоровы. – Мигом уловив согласие во взгляде Джеймса, субъект разлил в два стакана остаток красной бормотухи и долил водкой почти всклянь.

На сердце потеплело, через минуту Джеймс уже знал, что его благодетель тоже

литератор, и тоже не член, и его тоже не пустили, – но, правда, цель у благодетеля была другая, он хотел попасть на похоронную закуску покойного Подунина.

– Ах, какой человечеще ушел, какое человечеще ушло, вот беда, беда, – выдал хорошо обученный Джеймс приготовленную на такой случай фразу.

– Человеще! Глыба! Сила! – мгновенно отреагировал визави и судорожно сгреб воздух в кулак. – На кого мы теперь? На кого?

– Верно! Глыба! Сила! – отозвался Джеймс и сделал вид, что утирает нечто под правым глазом. – Помянем его, друг? – и, не дожидаясь ответа, налил по полстакана уже совсем светлой жидкости, лишь слегка порозовевшей от остатков прежнего напитка. Обнаружив, что закусить нечем, Джеймс отправился за новой порцией того, что здесь называли мясом. Вернувшись минут через пять, он увидел собутыльника уже совсем хорошим, – тот извлек из нагрудного кармана бычок и искал, где прикурить. Джеймс достал советскую зажигалку и щелкнул – но в тот же миг ощутил толчок в подсознании.

Знакомый свистящий шепот телепата произнес сакраментальную фразу:

“Что пьете?”

“Водку”, – без запинки ответил Джеймс.

“Сообщение принято”, – закончил Джексон и отключился.

– Упокой, Господи, душу его! – произнес визави, опрокидывая стакан внутрь. – Упокой вместе с праведниками!

К четвертой дозе Джеймс знал, что судьба послала ему в собутыльники Михаила Макаровича Синельского, литературного критика из Зарайска и даже члена Союза журналистов, специально приехавшего в Москву на похороны Подунина. На пятой порции бутылка иссякла, и было предложено продолжить – уже за счет Джеймса, или же Ромы Федулова из Рыбинска, как назывался он согласно нынешним документам.

Пошли в высотный гастроном, взяли и продолжили прямо в скверике из горлышка, еле удрали от милиционера. Допили и вторую. Джеймс незаметно глотал шарики стимулятора, алкоголь сгорал в организме сразу, но отчего-то водка так же умеренно действовала и на Синельского. Совершенно непонятно было, как этот рядовой – без сомнения – советский алкоголик, каким представлялся Синельский Джеймсу и к которому разведчик, разрабатывая вариант “С”, собирался напроситься ночевать, с тем чтобы завтра послать его за билетами в сторону Свердловска, куда-нибудь поконспиративнее (сам идти за билетами он не имел права согласно инструкциям полковника Мэрчента), – так вот, оставалось загадкой, каким образом этот тип, испив дозу, уже летальную для европейца, не только держится на ногах, но и декламирует наизусть целые куски из бессмертного романа Петра Подунина “Себе дороже”, да еще на разные голоса, за каждого героя.

Взяли, чтобы помянуть великого писателя, и третью. Но ее пить в скверике Михаил, внезапно остепенившись, отказался.

– К Тоньке пойдем. В двух шагах живет. – Синельский убежал к будке автомата, через минуту возвестил, что Тонька ждет с закуской, а подругу сообразит потом.

В ответ на такое предложение Джеймс-Рома высказал мнение, что третьей одной не хватит, что нужно взять еще хотя бы две. Взяли, сложили в старенький портфельчик Миши, пошли куда-то по улице Воровского и в сторону. Пришли куда-то во двор, долго шли еще по каким-то задворкам, распугивая кошек и пролезая под развешанным поперек колодцеобразных дворов бельем, шли еще по черной лестнице, сперва вверх, потом вниз. Воспитанное в разведчике чувство ориентации говорило ему, что вот-вот они пройдут жилой массив насквозь, выйдут на большую магистраль, Калининский проспект, кажется. Но, как выяснилось во втором по счету дворе, вся эта прогулка по задворкам была вызвана отнюдь не серьезной невозможностью пройти к неведомой Тоньке быстрее, а только полным отсутствием общественных уборных в этом районе Москвы. Миша, нимало не смущаясь присутствием каких-то бабок, отправлял мелкие нужды своего организма там, где находил удобным. За компанию пришлось так же вести себя и Джеймсу.

Наконец пришли. Вяло дзынькнул звонок коммунальной квартиры, длинно сперва и потом дважды коротко, отворилась дверь, за ней обнаружилась Тоня – лет тридцати пяти, с несомненными следами недавней красоты и сильного похмелья на лице, слишком крупная, на вкус Джеймса, женщина в ядовито-желтом балахоне, с головой, обвязанной махровым полотенчиком.

– Я уж думала, вас менты за жопу взяли, – бросила Тоня и пошла в глубь квартиры, метя краем балахона пол коммунального коридора, в котором уборку, видимо, последний раз делали к Первому мая. Миша каким-то образом юркнул в дверь комнаты раньше хозяйки, она задержалась в проеме и грудь в грудь столкнулась с Джеймсом, быстро, как кинжалом, полоснув его сквозь одежду твердым соском левой груди, а заодно – ярко-голубым взглядом; последнее Джеймсу откровенно понравилось.

Сели. Открыли. Выпили. Закусили морской капустой – ничего другого Тоня не выставила, даже воды холодной не принесла, а ее Джеймсу уже сильно хотелось, стимулятор приходилось разгрызать зубами, отчего водка приобретала вкус сильно окислившегося железа. Тоня, не вставая с лежбища, на котором изначально устроилась с ногами, дотянулась до проигрывателя. Пластинка лязгнула и запела разными голосами тридцатых годов: “Хау ду ю ду, мистер Браун”. Отчего-то Джеймсу стало не себе: хотя он был не Браун, а Найпл, но все же это могло быть намеком на то, что он раскрыт.

Выпили еще разок, опять закусили. “Сколько в него влезет?” – уже не с удивлением, а с уважением думал Джеймс, глядя на блаженствующего Михаила, которого пьянящее присутствие Тони избавило от последней скорби по писателю Подунину. Михаил был маленького роста, едва ли старше сорока, хотя на вид тянул на все пятьдесят: эти славяне рано старятся, но долго не становятся настоящими стариками. Его картофельный нос, маленькие глаза, плохо бритый подбородок ясно повествовали натренированному взору Джеймса все, что могло быть интересно: уровень интеллекта, профессию, склонность к взяточничеству. До такой степени было Джеймсу все ясно, что он даже не снизошел до телепатического обследования собутыльника. К тому же собутыльница была гораздо интересней.

За окном понемногу стемнело, вторая бутылка тоже подошла к концу, обещанная Джеймсу подруга Тони так и не подала признаков жизни, Михаил, наконец-то выпивший более или менее столько, сколько требовал его организм, задремал под окном в кресле без подлокотников, а Тоня, каждый раз сперва меняя пластинку, третий раз пила с Джеймсом на брудершафт, повисая у него на губах на невообразимо долгий срок. Уже пропутешествовали руки разведчика через рукава Тониного балахона к мощным, не меньше шестого советского размера округлостям ее фигуры в верхней части тела, и пора было, согласно правилам хорошего тона, лезть дальше, верней ниже. Джеймс тем не менее медлил, ибо в его планы не входило раньше времени слиться в экстазе с этой могучей славянкой, а затем быть выпертым на промозглую московскую улицу. Нет, Джеймс желал здесь заночевать, и по удобствам, но плохо понимал, как это осуществить: Михаил возле окна спал так неукротимо, что Джеймс невольно подумал – а не предстоит ли ему еще и групповой секс ко всем неудачам в придачу. Ибо комната у Тони была одна, постель тоже, Джеймс утешался только мыслью, что в постели у Парагваева было бы, пожалуй, еще уютнее. Но Тоне, видимо, надоело, она дождалась очередного путешествия нахальных Джеймсовых лап к себе под одежду, обеими руками прижала их, словно ловя на месте преступления и рывком распахнула свой балахон, оказавшийся халатом без пуговиц, на одной веревочке. Больше по запаху, чем зрительно – ибо стемнело, а свет не зажигали – Джеймс понял, что никакой другой одежды на Тоне нет, перекрестился мысленно и прикоснулся губами к ее животу пониже пупка, – ненамного, впрочем, пониже. Но такая невинная ласка подействовала на Тоню неожиданным образом, она вырвалась и запахнула халат, потом рявкнула театральным шепотом:

– Без глупостей! Тоже мне нашелся! Я тебе не педерастка! – и добавила еще тише, опускаясь на постель: – Раздевайся быстро.

Пути назад не было. Джеймс потянул брюки за молнию, вылез из пиджака, скинул ботинки – и внезапно понял причину того странного физического неудобства, которое не давало ему покоя от самого Дома литераторов. НА ЕГО ПРАВОЙ НОГЕ НЕ БЫЛО НОСКА, ботинок был надет прямо на голую ступню. Считанные доли секунды понадобились разведчику, чтобы понять весь ужас положения: телепортирован Джеймс был, несомненно, в обоих носках, а в Москву попал в одном, и это вполне могло означать, что русские уже располагают секретнейшим изобретением Абрамовитца – камерой перехвата телепортационных волн. Иначе говоря, сам Джеймс благополучно добрался до метро “Краснопресненская”, а его потный от жары в стартовой камере носок с правой ноги сейчас был в руках КГБ и, быть может, лежал на столе самого министра безопасной государственности, или – что еще хуже – обнюхивался сотнями ищек знаменитой советской породы “служебная бродячая”, – да мало ли еще может примерещиться ужасов человеку, стоящему на одной ноге в темной комнате, где женщина ждет и жаждет, а посторонний человек храпит с присвистом, прислонясь к батарее.

– Долго ты еще? – снова шепотом рявкнула Тоня. Джеймс сглотнул слюну и стал снимать неудобные советские трусы.

Глубокой ночью, не переставая аккуратно храпеть, Михаил Синельский открыл глаза и осмотрелся: условные три глухих толчка, раздавшихся у него в голове, требовали дальнейших действий. Капитану Синельскому не впервые приходилось ночевать в комнате лейтенанта Барыковой-Штан во время выполнения ею оперативного задания по вступлению в контакт с агентом вражеской разведки, так что ее любовные вопли “Ой, разорву себя пополам”, всегда с одной и той же интонацией, давно его не только не возбуждали, но скорей усыпляли. К этому времени Тоня, добросовестно умотав дюжего американца, с сознанием исполненного долга дрыхла, навалившись на шпиона всей своей знаменитой и безотказной фигурой. Сам американец, видимо, беды не чуя, тоже спал – тихо-тихо, как ребенок (“носоглотка у падлы здоровая”), иначе говоря, не притворялся, а именно спал.

Совершенно бесшумно, однако продолжая, как и прежде, ровно похрапывать, встал Синельский с кресла и наклонился к ботинкам лже-Федулова. Единственный носок лежал в левом (“матерый, падла, знает куда в России носок положено класть, небось и часы на стул положил, мне бы его подготовку!”). Синельский выхватил его и юрко скользнул за дверь, заперся в туалете. Затем из глубокой запазухи извлек второй такой же носок и долго обнюхивал их попеременно: левый, с ноги шпиона, и правый, полученный от полковника Углова. Обоняние у капитана было что надо, и последние сомнения отпадали: впервые так быстро и по-стахановски проведенный перехват шпиона-телепортанта удался. Одна лишь беда – совершенно никому не были известны причины его засылки в СССР. И он, Михаил Синельский, обречен был служить этому шпиону бессменным спутником, собутыльником и, деликатно выражаясь, “молочным братом” – покуда темные цели одной засылки не высветлятся до степени понимания их начальством на Лубянке, покуда нельзя будет обрушить на загребущие лапы капиталиста меч советского правосудия. Капитан Синельский еще раз понюхал носки шпиона и, похрапывая, вернулся в комнату.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 3

Евгений Витковский

III

Это была женщина достойная и знатного рода.

Сага об Эгиле, XIII век

Пыль на антресоли обнаружилась невероятная. Последний раз сюда наведывался, видимо, еще нынешний – одиннадцать лет уже – сиделец Всеволод, пасынок Софьи, ибо поперек антресоли торчали его (а чьи еще? – не Виктора же, тюфяка такого) лыжи, притом одна треснувшая. Кроме того, лежал на антресоли отломанный гитарный гриф, а больше ничего не было, только пыль одна.

Софья с отвращением спустилась по стремянке вниз, взять тряпки и швабру.

Решительно все дела по дому она делала с отвращением, но попытки найти домработницу даже не предпринимала, – все, надо сказать, очень немалые деньги тюфяка Виктора были к Софьиным услугам, но, во-первых, где ее найдешь в Свердловске, во-вторых, платить какой-то бабе за то, что она посуду вымоет, – до этого Софья Глущенко пока еще не дошла, слава Богу, свои руки не отвалятся. И с отвращением бралась она за домашние дела, и варила суп из немытого мяса, и наливала его в мелкие тарелки, а Виктор молчал, а только бы пикнул.

Антресоль понадобилась для размещения там наследства – отцовского Брокгауза, которого подлый Пашка присвоить хотел; Софье все эти восемьдесят с лишним томов тоже ни к чему были, считала она, что все эти бумажные кирпичи копейки стоят. Но сходила она тут к дяде своему, старику семьдесят стукнуло, поди не поиди, да и любила она своего еврейского родственника, что греха таить, – там брякнула ему, что Брокгауза у Павла бросить хочет, а старик ахнул и не думая предложил за него хоть сию минуту тысячу рублей – “тонну” по-нынешнему. Наутро выяснила Софья, что цена эта – дядина национальная и еще букинистическая, а серьезные русские люди при наличии четырех дополнительных томов дают больше чем вдвое. Такими деньгами шутить не полагалось, тем более ей сказали, что Брокгауз с каждым годом дорожает. Вот Софья и изъяла книги у тюхти-братца, вот и решила их положить на свою личную антресоль в коридоре. Заодно забрала с помощью благоверного и все другие словари, тоже, небось, на антресоли не прокиснут. А для сохранности – кто его знает, скоро ли черный день приспеет эти самые словари продавать, – решила она за корешки книг нафталину всыпать.

С грехом пополам, больше превратив сухую пыль в мокрую грязь, вытерла Софья доски, выкинула лыжи проклятого Всеволода ко всем чертям, – надо будет их в подвальную кладовку отнести, выбрасывать все-таки жалко. Потом присела на перекладину стремянки и взяла первый попавшийся том. Ножом оттянула корешок, щедрой рукой сыпанула нафталину: после того, как моль съела чернобурку, она его не сэкономила. Взяла следующий том. Сыпанула. Взяла следующий. Сыпанула. И так далее.

К десятому тому спина заболела, а к пятнадцатому разболелась ужасно. Еще тома через три в поясницу выстрелило, да так, что от несоображения саданула Софья со всего размаху ножом себе по пальцу и по корешку тома. Корешок возьми да и отвались: тут-то все и случилось. Сначала Софья не поняла ничего – кровь из пальца хлещет, на книги не накапать бы; забинтовалась, как умела, ты поди без практики забинтуй левой рукой правую. Забинтовала-таки. Подобрала с пола упавший том с оторванным переплетом и, хоть видела неважно, а в тридцать шесть лет полагала надевать очки еще несвоевременным, – тогда и обнаружила: на полу лежало еще что-то – четыре тонких, веером разлетевшихся бумаженции, совершенно желтых при этом. И еще одна белая, папиросная, кажется, в которую эти четыре, видать, были завернуты. Несомненно: в книгу было что-то спрятано, едва ли деньги, но, может быть, что-то стужащее.

Она подобрала бумажки и устроилась с ними у мужа на письменном столе. Развернула. Уж что-то, а французский язык она знала, это болвану Пашке отец

ни одного языка в голову не втемяшил, а уж она-то и французский еще в школе знала так, что от зубов отлетало. При всей злобной дремучести Софьиной натуры – никто не посмел бы назвать ее темной бабой: она ходила на симфонические концерты, верней таскала на них Виктора, чтобы доказать глухому пню все его ничтожество; читала Мориака в оригинале, хотя дальше двух первых страниц не шла, а просто держала французскую книжку московского издательства “Прогресс” на видном месте, – мол, кумекаю; читала газеты и смотрела телевизор. Угловатая и крупная, никогда не была избалована она мужским вниманием, но тем не менее чуть кончила школу – поняла, что уложит к себе в постель любого мужика одною силою воли, которой хватило бы у Софьи на целую “дикую дивизию”. Пришло время – и уложила она туда лопуха Виктора с несчитанными автохозяйскими деньгами, только что овдовевшего. И в ЗАГС отвела наутро. Еще бы пикнул. Про пасынка некогда поразмышлялось ей немало, и вот теперь, когда до возвращения Всеволода оставалось два года, раздумывала – а не послать ли ей эдаких родственничков всех скопом куда подальше.

...“Мой друг, – писал неведомо кто неведомо кому неведомо когда, – впрочем, забегаю вперед, увидела Софья дату под письмом – “1851”, – поручаю Вам проследить за окончательным воспитанием и завершением образования моего единственного сына. Верю, что, будь жив отец Серафим, он отпустил бы мне грех, который совершил я на склоне дней моих, дабы зачать это дитя, верю, что, пребывая, – тут Софья не поняла, о каком Абраме речь идет, но смысл письма эта непонятинка не затемняла, – ...отец Серафим молится за меня и за чадо мое, порожденное единственно из любви к отечеству, дабы не дать недостойному брату моему, поправшему все самое святое в отчизне, быть единственным корнем и опорой российского престола. Поручаю его Вам, отче Иннокентий, дабы под Вашим руководством прошел он не только должный курс наук (в наречиях иностранных он уже наставлен преизрядно), но и были бы даны ему недостающие навыки светской жизни, кои я и помощники мои, по духовному уединению нашему, преподать были ему не в силах; дабы имел он должные манеры и привычки, когда, Господь милостив, придется занять ему всероссийский престол. К тому же уповаю, что Господь пошлет Вам еще долгие и долгие годы жизни, в то время как мне, давно перешагнувшему в осьмое десятилетие жизни, давно пристало уже одно лишь помышление о жизни вечной; в родстве моем с чадом моим и вовсе смею ныне сознаться лишь ближайшим друзьям, из коих числю Вас наипервейшим совместно с братом Вашим Димитрием. Да будет письмо это подлинным и наиглавнейшим документом, удостоверяющим, что я, император Всея Руси Александр, по франкмасонскому наущению сложивший с себя сан всероссийского монарха двадцать шесть лет тому назад и тайно принявший послух под именем Феодора, принятый в Саровскую обитель и удостоенный чести семь последующих лет услужать преподобному отцу Серафиму, после смерти оногo, в 1833 году покинул Саровскую пустынь, не принимая пострига, почел для себя хотя отчасти искупленной невольную вину мою в гибели родителя моего, умерщвленного по наущению неверной Англии, а также ведая о кончине,

давней уже притом, законной моей супруги Елисаветы Алексеевны, дочерей от коей, Марию и Елисавету, проводил я к вечному упокоению в их младенчестве, а несчастная девочка, плод моей греховной любви, о коей Вам ведомо, ныне также почил, – сложил с себя послух и решил вступить в новый, освященный благодатью нашей церкви брачный союз. В невесты была избрана мною девица Анастасия Николаева Скоробогатова, старинного дворянского рода, дочь местного помещика дворянина Николая Васильева Скоробогатова, известного прапорщика и героя Бородинского сражения, принесшего в том бою на алтарь Отечества обе ноги вплоть до колена, и оттого поднесь безвыездно проживающего в своем родовом имении. В рассуждении соблюдения закона о равнородности браков царствующих особ. подписанного мною в 1820 году, почел я за благо пожаловать дворянина Скоробогатова титулом князя Свиридовского-Грустинского, по имени принадлежащих ему в Томской губернии обширных смежных поместий Свиридова и Грустины, последняя же, известная Грустина, кстати, есть старинная вотчина царя Феодора Второго из династии Годуновых. Ранее были мною возведены в княжеское достоинство роды Дондуковых-Корсаковых, Голенищевых-Кутузовых и иные, посему и этот титул сделал наш брак довольно равнородным для принятия нашими потомками короны империи. Венчание наше имело место в церкви Ильи Пророка, в селе Пономарева Красноуфимского уезда Пермской губернии. Свидетелем перед людьми и Господом венчания нашего призываю быть Вас, отче Иннокентий, ибо Вы тогда и венчали нас с княжной Анастасией, незабвенный образ коей сохраню в душе моей во веки веков. Через десять месяцев после венчания, 1 августа 1835 года, законная моя супруга подарила меня сыном, коего Вы, отче Иннокентий, в святом крещении нарекли Алексием, и коего я, милостию Божией император Александр, объявляю и назначаю единственным законным наследником всероссийского престола, грядущим императором Алексием Вторым. Добавлю еще также, что через две недели после рождения сына супруга моя Анастасия почил в бозе от молочной горячки, чем повергла меня в состояние крайней скорби; вверив сына попечению присоветованной Вашим батюшкой кормилицы, предался я печали и уединению в стенах гостеприимного его дома, – однако же по длительному размышлению пришел к выводу о недостаточности телесных моих и духовных страданий в сравнении с тяготеющим надо мною тяжким грехом, решил принять новые испытания и покинул дом батюшки Вашего, удалясь в полное уединение среди иноков тихой обители...”

Дальше кусок листа был аккуратно оторван по сгибу, текст прерывался. Но ниже, с помощью вполне современной бумаги и клея, был прикреплен еще небольшой кусок письма – видимо, его окончание, написанное по-французски все тем же причудливым почерком.

“И лишь одно мое желание, одну волю я в силах завещать Вам и всей России: да не прервется истинный род Романовых на престоле Всероссийском, да воцарится на нем мой сын, законный император и государь Алексей Второй. Дано на хуторе Глухое Всполье Верхотурского уезда Пермской губернии, генваря пятого числа, года от рождества Господа нашего Иисуса Христа 1851.

Александр”.

Под росписью была немислимо сложная завитушка, и текст кончался. Второй листок был куском другого письма, судя по виду и желтизне бумаги, но адресат его был тот же. Текст начинался с середины фразы.

“...из рода таких древних марсельских пирожников, что, пожалуй, продавали пирожки с требухой еще гражданам древнегреческой Массалии. В православном крещении получил он, от рождения Адольф-Пьер, имя Афанасий Павлович, что по случайности отчества делало его как бы моим братом; последнее было мне приятно всего менее, ибо наш скороспелый барон появился на свет двумя годами ранее меня. Однако и не это, и не полное до безотрадности сходство его внешности с моею приходилось отнести к худшим его недостаткам, даже забыв и о его природной глупости, сочетающейся со знанием великого множества наречий: плохо воистину было то, что, по чистосердечному признанию самого барона, сделанному мне в первом же разговоре, он был давно и безнадежно болен неаполитанскою болезнью, коя рано или поздно привела бы не только к преждевременной смерти его (что, при окончательно уже принятом мною плане ухода от престола в уединение, смутить меня, конечно же, не могло), но, всего хуже, могло привести к утрате сходства со мною. Три последующие года штаб-лекарь Александрович, весьма искушенный в науках врачевания с помощью Меркурия и иных, поддерживал здоровье барона в сносном состоянии, ежедневно наблюдал его в подаренном мною имении близ Мариуполя, однако же в августе 1825 года дал мне знать экстренною почтою, что “для барона Тавернье нет надежды встретить грядущее Рождество”. Таким образом, зря в сем промысел Господень и точное указание сроков исполнения спасительного для меня, но, увы, губельного для моей страны плана, отбыл 1 сентября того же года на всю осень и зиму в Таганрог, от коего до Мариуполя лишь 90 верст, а до имения барона Тавернье того меньше. Двумя днями поздней меня отбыла туда же ныне почивающая в бозе императрица. Лишь она да Петр Волконский знакомы были со всеми подробностями моего плана, прочие же, – члены нашей августейшей семьи, еще Дибич, Соломко, медик Виллие и даже Александрович, – знали его лишь в частностях, Тарасову же до последних дней и вовсе ничего ведомо не было. Из лиц, непосредственно в таганрогских делах участия не принимавших, посвящены были только моя матушка да Ваш батюшка Елисей Пимиевич, и, конечно же, отец Серафим. Боюсь, что еще и супруга верного моего товарища Петра Волконского прознала что-то, и именно по ее вине, а также из-за злосчастной истории, когда коляска опочившего барона увязла в грязи, и, пока ее вытаскивали на самом подъезде к Таганрогу, то вконец разломали, так что тело пришлось на руках нести через весь город во дворец, что-то и кому-то стало известно, и слух о том, что смерть моя – мнимая, очень быстро распространился среди черни, и не только среди оной. Несколько лиц по моему приказанию тогда же изготовили дневники моей якобы болезни и смерти, кои, в случае народных волнений, должны были быть обнародованы, дабы споспешествовать замирению черни.

Время, прошедшее от моего приезда в Таганрог и до ухода из него в ночь на 21 ноября, Вам отчасти известно, отчасти не может быть интересно. Лишь дважды

рискнул навестить я умирающего барона, нашел его сходство со мной изрядным и возможно скорее вернулся в Таганрог, также посетил я для отвода глаз и Икарию, где настоятельно всех убеждал в моей исподволь развивающейся болезни, благо Икарийская перемежающаяся лихорадка – вещь ничуть не редкая, и, затянься болезнь барона, видимо, посетил бы я еще и другие места, минуя, разумеется, Екатеринослав, где ждало меня надежное укрытие, приготовленное Вашим батюшкой. Заодно использовал я это время и для окончательного приучения себя к простой пище, к овсяным супам и перловым, которые немало способствовали, как можно было видеть, здоровому моему похуданию и поздоровлению. Добавлю, что похудание способствовало также и увеличению сходства моего с бароном, хотя, к счастью великому, меня Господь от столь злых хворей избавил.

11 ноября получил я, напоминая, верные сведения от Александровича, что барон в мучительной агонии и проклинает ошибки ветреной своей юности на тридцати четырех языках, частью живых, частью же мертвых. На третий день после того барон преставился, отказавшись от исповеди, чем, признаюсь, облегчил мои заботы по разыскиванию верного иерея, способного хранить тайны в сердце своем. Восемнадцатого утром Александрович не без трудностей доставил погребным льдом обложенное тело барона в Таганрогский дворец, Волконский же упредил Шихматовых, чтобы готовились к приему императрицы – тоже, полагаю, поступок преждевременный и могший посеять смуту, ибо состояние мое критическим еще тогда объявлено не было. Увы! Когда верный Александрович развернул перед нами не совсем еще прибранного, но, конечно, давно уже окоченевшего барона, я испытал сильнейшую тревогу. Сходство со мною, столько лет лелеемое, из-за истощения последних дней бедняги поуменьшилось, глаза запали, заострился нос, виднее стала его галльская как бы орлиность, и к тому же сильно потемнела и без того много более смуглая, нежели моя, кожа. Волконский испугался и даже что-то лишнее отписал в Петербург, что, мол, черты почившего в бозе императора “много потерпели и еще потерпят”, чуть не бросился меня отговаривать, но обратного пути для нас уже не было. Покойный барон занял мое место в царском гробу. К сожалению, делавшие вскрытие врачи, числом девять, не все могли быть заранее упреждены, и, боюсь, потомки обнаружат в протоколе вскрытия несомненные признаки неаполитанской хвори; однако же, уповаю, к тому времени бедный барон уже будет убран из усыпальницы в Петропавловской крепости и займет место на кладбище Александро-Невской лавры, под плитою с эпитафиею: “Вернейший и несчастнейший”. Быть ли тому – лишь на Господа возлагаю надежды, на справедливость Его. Добавлю мимоходом, что, как прознал я, именно посвященные в мою тайну персоны, более же всего недостойный брат наш Николай, напортили в церемонии похорон, не давая, к примеру, открывать гроб для всеобщего обозрения останков, ибо им сходство барона со мною довольным не казалось; августейшая матушка наша, увидев тело барона, не слишком уместно многожды восклицала: “Ах! Это он! Да, конечно, это он, мой сын Александр!” – каковое замечание, боюсь, также немало напортило и подозрение в лишних умах зародило. Мне же кажется, что сходство было

предостаточным. Лекарь шотландского рода Виллие получил от меня столь изрядное вознаграждение за сохранение тайн, что, пожалуй, один только и вел себя предписанным образом, как, впрочем, и Александрович, из чего ныне делаю печальный вывод, что молчание, купленное золотом, вернее молчания, купленного дружбой, – что, конечно, нимало не относится ни к почивающей ныне в бозе императрице Елисавете Алексеевне, ни к здравствующему по сей день Петру Волконскому, коему, добавлю между строк, лишь недавно через Остен-Сакена передал я поздравление ко дню ангела.

Так или иначе, таганрогский миракль подошел для меня к концу. Сколь сожалею я ныне – простите мне, дорогой друг, столь бесчисленные повторы и ламентации, – что не внял я некогда настояниям покойного Павла Спасского и не извел своевременно под корень франкмасонское наваждение в пределах российских, а, напротив, сам подпал наущению оных; боюсь даже, не масоны ли подстроили злополучную мою первую встречу с бароном Тавернье в 1817 году! Но дело было сделано, путь мой лежал в Екатеринослав, затем в глухой Саровский скит, где положил я проситься в послухи к преподобному отцу Серафиму. Одевшись в крестьянскую одежду и кутаясь, дабы прикрыть от нескромных взоров свое все еще бритое лицо, глухой ночью покинул я Таганрог с котомкою...”

Страница обрывалась. Софья судорожно закусил губу и медленно выпустила из рук листки: оба, покругившись, упали на полированную поверхность – ибо держала она их, читая, у самых глаз. Не чета тупоумному братцу, она соображала сразу, хотя и не поняла три четверти всех этих фамилий и событий, но осознала, что все дела временно сейчас по боку, что ЧТО-ТО она нашла, кажется, весьма дорогостоящее. Но вопросов было еще очень много, и первым делом, конечно, надлежало исследовать все документы, а прочла она только полтора письма. Третий листок оказался свидетельством о смерти Алексея Федоровича Романова, последовавшей двадцать второго июля 1904 года от сердечного припадка в городе Дерпте: короткая записка с синей печатью, выданная нотариусом сыну покойного, Михаилу Алексеевичу Романову. Дальше оставалось совсем немного пошевелить мозгами, имя своего родного деда Софья как-нибудь уж помнила. Последний документ был непонятен вовсе – оказалась это весьма старая купчая крепость на какой-то дом в Эстляндии. Наконец, белый листок, в который четыре желтых были завернуты, представлял собой генеалогическую схему, при одном виде которой у Софьи захватило дух: И все, более ни слова. Но Софье этого было более чем достаточно. Энергичное лицо царевны Софьи на известной картине художника Репина казалось ей симпатичным, всегда находила она в своих чертах сходство с лицом неудавшейся царицы, но понимала трезвым умом, что выдает желаемое за действительное, и прятала зеркало. Откуда ей было знать, что сходство это фамильное?

Софья почувствовала, что сейчас ей тесен мир, особенно затхлый мирок городка Свердловска, из которого она дай-то Бог раз в год в Москву выбирается походить по театрам и галереям (тут Софья себе льстила – почти исключительно по магазинам), тесен лифчик, ибо грудь просит широкого,

настоящего дыхания, тесна вся ее жизнь, ибо она рождена для другой участи, не выколачивать деньгу из придурка Витьки, а чеканить свои собственные деньги, не домашними грязными делами заниматься, а одними только государственными. Ей хотелось мантию из соболей и много молодых пажей, так, чтобы все время менять фаворитов (Софья путала царевну Софью с императрицей Екатериной, за царевной Софьей этой склонности как раз не водилось), и еще горностаевую мантию, и еще Царское Село (дворец тамошний, точней, – снова она от волнения путала эпохи), и еще драгоценности Алмазного фонда, говорят, частично разбазаренные большевиками, но уж по крайней мере те, которые остались, – они-то точно представлялись Софье ее бесспорной наследной собственностью, никак не быдла всякого теперешнего. А еще ей хотелось сразу же, немедля, убить своего мужа Виктора – хотя бы морально. Но Виктор кого-то с утра подмазывал в обкоме, и добраться до него сию минуту было совершенно нереально. Вспомнила и еще многих, кого убить бы тоже не мешало, брата родного тоже совсем мельком припомнила, но его она даже не больше всех ненавидела, был еще один человек в ее прошлом, которому она много чего прощать не собиралась такого, о чем старалась и не вспоминать даже. Нужно было собраться с мыслями. Софья точно знала, что судьба ее переломилась, что никогда уже Софье Романовой не удастся подумать о себе как о Софье Глущенко. Несказанно мерзка стала ей вдруг даже фамилия мужа – что за пакость такая, Глущенко, да как такое выдумать можно даже, чтобы это убожество хотя бы в мыслях могло вообразить себя ее мужем! Ни на секунду не пришла ей в голову мысль о том, что законный наследник престола – ее младший брат, Павел. Нет, она видела царицей на троне только себя, без вариантов, дураков нету!

Впрочем, спорот был только один том Брокгауза, а того быть не может, чтобы все остальные без начинки оказались. Отбросив суетную мысль о тысячной цене Брокгауза, красная и растрепанная, Софья схватила нож и кинулась в коридор, где полтора десятка томов лежали еще нафаршированные нафталином, а семьдесят с лишним – как раз наоборот, уже все еще не нашпигованные. Софья села на прежнее место, взяла том – и со всей силы полоснула по уже порезанному пальцу. “Так тебе и надо, дура, что голову теряешь, – ругала себя Софья, впрочем, довольно мягко, отмывая повязку под краном, с грехом пополам делая новую. – Нечего вещи портить: переплеты снимать и аккуратно можно”. Заперла входную дверь на щеколду: Виктор может и подождать, если придет, а больше никого она не ждет и в гробу всех видала. Не поленилась перетащить все восемьдесят с лишним томов в кабинет к Виктору, нож выбросила на фиг, скальпель взяла хирургический, хорошо заточенный. Взяла первый том, переплет отрезала – ничего, только свой же нафталин посыпался. Второй том взяла – тоже ничего, кроме нафталина. Терпеливо резала и резала, часто чихая, пока не дошла до девятого тома, – в первых восьми отец по каким-то своим соображениям ничего прятать не стал, кстати, а ведь это отец прятал, кто, как не отец, хорошо, что книги поганцу Пашке не оставила! Брокгауза этого он на толкучке сразу после войны купил, было у Софьи такое детское воспоминание. Взяв девятый том, она поняла – то самое. Аккуратно отделила

картонную крышку, заранее, наощупь уже догадываясь – что именно должно сейчас отыскаться. В нижней части корешка, намертво втиснутый в переплетный клей и картон, светился тонкий и строгий перстень с синим камнем огранки “маркиз”, иначе говоря, очень длинным, закрывающим почти всю фалангу пальца. С изнанки камня ясно прочитывалась надпись, ставшая еще ясней из-за попавшего в граверную бороздку клея:

АЛЕКС;Й ВТОРОЙ

Софья, почти воя в душе от жадности и от обиды на судьбу, со слезами на глазах вонзила скальпель в корешок десятого тома.

Часа примерно через два, когда благоверный Виктор, видать, еще домазывал какое-то начальство в пригородном ресторане, Софья скальпель отбросила туда же, куда раньше кинула нож. Все тома, включая взятые с бою дополнительные, – не зря придурка за ними проперла, – были добросовестно выпотрошены. Знай Софья, что достались они ей уже после того, как брат всю эту семейную тайну разворошил с другого конца, – не прожил бы Павел и часа, заколола бы его тем же скальпелем. На столе лежала добыча: почти два десятка писем Федора Кузьмича к иеромонаху Иннокентию, в миру звавшемуся графом Свибловым, а также и к сыну Алексею; черновик письма императору Александру Второму, в котором пытался старец увещевать молодого монарха, – письмо, видимо, так и не было никогда отправлено, ибо обрывалось на полуслове; письмо, всего одно, Алексея – отцу, на очень плохом французском языке, – кстати, все письма старца были написаны по-французски, кроме одного – письма к молодому царю-племяннику, от которого старец, видимо, уж вовсе ничего не ждал, даже знания культурных языков, оттого, быть может, и письмо бросил; четыре очень странных, на темно-зеленой бумаге с водяным знаком написанных письма от некой особы женского пола – и водяной знак, и подпись коей представляли просто русскую букву “Ю”, – письма были адресованы, видимо, деду Михаилу, ибо начинались обращением “Мон шер Мишель”. Читать все это пока не было времени, нашлось еще и свидетельство о крещении отца от 1910 года, узкий флакон с ярко-розовой жидкостью, который Софья открывать не рискнула: яд, наверное, вещь, монархам всегда очень нужная; фотографии незнакомых людей без подписей и с подписями: “Альберт”, “Николя”, “Наш дом в Каратыгине”, “Двор дома”, “Наш кот Дося” – и в том же духе добрых еще полсотни, еще много всяких мелочей и записок, часть которых была адресована отцом кому-то, а на части назойливо повторялась одна и та же фраза:

“Соня и Паша, не мечите рис перед свиньями”.

Насчет риса Софья не поняла, но объединению своего имени с именем паршивого братца решительно воспротестовала всем существом. Про Павла она в общем-то и не вспоминала никогда, кроме случаев, когда требовалась презрительная часть для какого-нибудь красочного сравнения типа “Не чета даже такому ублюдку, как...” или же “Болван чуть ли не хуже, чем...” Выродок Павел был Софье не просто противен, он становился отныне и навеки ее личным, непримиримым врагом.

И еще отыскалась маленькая, в десять страничек, пачка стихотворений отцовского сочинения. Прочтя первые же строки (“Не зря страшится узурпатор,

что встанет новый император”), отбросила – мало ли тут вещей более интересных, как-нибудь в другой раз посмотрим. Ведь перстень все-таки нашелся царский, и тонкая золотая ладанка с прядью детских волос – думается, детских волос прадедушки Алексея Федоровича-Александровича. Несчастливое это имя для русских царей – Алексей, позаботиться бы, чтобы так больше никого не звали, а то вот и царевич Алексей, отцом убитый, и еще один Алексей, которому даже с гемофилией поцарствовать не дали, здесь неподалеку расстрелянный, вот, оказывается, и еще один царь Алексей не состоялся, – запретить это имя надо (царя Алексея Михайловича Софья как-то запаматовала). Что-то вроде жалости шевельнулось в бронированной душе Софьи, жалости к прадеду, умершему три четверти века назад где-то в Эстонии. Но жалость эта, не иначе как детским локоном навеянная, была тем простительна, что совершенно не убыточна.

В прихожей заскребся английский замок, покрутился и замер, ибо дверь была на задвижке. Благоверный пытался войти в дом, однако предъявить ему зрелище растерзанного Брокгауза, присыпанного щедрыми кучками нафталина, было совершенно невозможно. Нафталин к тому же был орошен царской кровью Софьи, на письменном столе громоздились обретенные сокровища – нет, нет. Мысль об убийстве мужа промелькнула в голове Софьи и была тут же отринута: не хватало еще попасть под суд из-за подобного дерьма, и когда? Теперь! Виктора можно было просто не пустить домой, ибо пьяных мужиков не терпела из-за некоей давней истории, концы которой давно были брошены в воду. Атон Джексон поэтому никогда и не посещал ее сознания, как не довелось ему познакомиться и с непьющим родителем, – и именно потому Форбс, наводя недавней ночью последние штрихи на план аутентичной реставрации, твердой рукой вычеркнул ее имя из списка запасных – на случай смерти Павла или дурного его поведения – кандидатов на престол, а Джеймс имел насчет нее инструкции очень жесткого характера. Но, конечно, до утра оставлять муженька на улице не стоило по причине чрезвычайно плохой погоды, в которую нетрудно и воспаление легких прихватить, а уж таскать горшки за этим остолопом, который, как она знала по опыту, болеет тяжело и долго, ей вовсе не улыбалось. Софья встала, почти солдатским шагом прошла к двери, отодвинула щеколду, но накинула цепочку – и приоткрыла дверь. Виктор жался к косяку.

– Дыхни!

Виктор отвернулся, так что можно было и не нюхать.

– У тебя мужчина, да? – куда-то себе в галстук пролепетал он.

Надо сказать, что повод для подобного вопроса у Виктора был, хотя, по правде говоря, уже почти два года Софья мужу не изменяла просто ввиду презрения ко всем окружающим мужчинам. Хотя, если честно, то стала она последнее время обращать внимание на мальчиков моложе двадцати, спортивного типа: возраст в ней, видать, заговорил. Оттого мечта о многочисленных пажах и явилась ей чуть ли не первой среди других честолюбивых чаяний. Но Софья всегда выбирала себе мужчин сама и не собиралась отступать от этого правила; все, что ниже высшего сорта, ей вообще не годилось, а высший сорт в Свердловске – где он? В телевизоре?

– Нет, женщина! Убью! – громыхнула Софья и хлопнула дверью, а потом уже через нее добавила: – Два часа тебе, ублюдок, на вытрезвление, иначе ноги твоей в доме не будет!

Девяносто девять женщин из ста произнесли бы эту фразу как “Ноги моей в доме не будет!” Но Софья говорила всегда то, что думала.

Через час с небольшим кое-как допотрошенные Брокгаузы лежали на антресоли, просыпанный нафталин кое-как выметен, новообретенный же архив вместе с перстеньком и ладанкой надежно упрятан в ящик личного Софьиного секретера. Остаток от указанных супругу двух часов использовала Софья на то, чтобы привести в порядок лицо и прическу: охламон мог еще пригодиться, хотя держать его следовало в ежовых рукавицах. Затем отперла другой ящик секретера и достала несоветского вида удлиненный конверт – тот самый, который видел Павел в руках у отца несколько лет тому назад и считал уничтоженным. Но покойный Федор Михайлович редко уничтожал важные документы, предпочитая уничтожению рассредоточение: конверт он отдал на сохранение дочери. Софья перечла фразу насчет “сообщите о судьбе”, потом взяла чистый – советский – конверт, и, кося близорукие глаза, аккуратно написала на нем лондонский адрес тетки Александры. О том, что и у тетки есть некоторые права на российский престол, Софья не подумала в силу устройства души своей и всего существа: сейчас, постигнув из отцовской схемы, что она старшая в старшей линии Романовых, претензии на российский престол всякого иного человека вызвали бы у нее приступ смеха, не злобного, а удивленного.

На первый раз письмо должно было быть совсем коротким, да и повод для него имелся: Софья сообщала тетке о смерти Федора Михайловича, в простых и искренних словах приглашала приехать в Свердловск и посетить его могилу, а если будет возможность и желание, то и могилу прадедушки, ибо Томск от Свердловска сравнительно недалеко. Для знающего глаза тут было сказано все, для непосвященного – ровным счетом ничего. И недрогнувшей рукой, впервые с тех пор, как вышла замуж и сменила фамилию, вывела она под письмом:

Искренне Ваша – СОФЬЯ РОМАНОВА.

Через миг в прихожей прозвенел робкий звонок – два часа истекли, явился Виктор. Софья захлопнула секретер и все тем же ровным солдатским шагом, не лишенным, впрочем, известной грации, пошла открывать. Виктор обнаружился за дверью в той же позе, что и в прошлый раз, – зная характер мужа, Софья поняла, что никуда благоверный не ходил, а так и простоял два часа за дверью, роняя слезы себе за пазуху. Это было довольно плохо, исчезала возможность сказать ему, что она и завтра Славу (Гришу, Алешу, Станислава Казимировича) будет принимать когда угодно, а если он недоволен, то может катиться на все четыре. В нынешнем варианте приходилось ограничиться борьбой с зеленым змием.

– Явился, упырина? – Софья за плечо втащила рыдающего мужа в дом. Маленький, потный, лысеющий, совсем состарившийся от неизбежного по службе и склонностям пьянства, с бегающими глазами, директор автохозяйства висел на ее кулаке, как тряпичная кукла, точней, просто как куча тряпок. Однако он был уже почти трезв, и дикий, колом стоящий в прихожей запах

нафталина бил ему в ноздри, рождая самое жуткое из всех возможных для его утлой души подозрений: конечно же, Софья складывала вещи, конечно же, она его бросала. Он повалился бы ей в ноги, но железная рука держала его за узел галстука. Только булькающий, хрюкающий звук вырвался из его горла, да две здоровенных слезы поехали вниз по сторонам носа, совершенно симметрично.

– Ненавижду, – прошипела Софья и снова тряхнула мужа. – Вы****ок, сука, собака, дерьмо собачье! На кого я жизнь убила! Целый день надрываюсь как проклятая, навоз за ним вывожу, картошку чищу, а он, гнида, с ****ями время проводит! – очередной бульк из горла Виктора несомненно означал, что не с ****ями, а с ответственными товарищами из обкома, и тому свидетель такой-то и такой-то, в том числе даже сам Станислав Казимирович, – но это все Софья знала сама и слушать совершенно не желала. – Да кто ты вообще есть.

Глушченко! Правильно ублюдок твой сидит, и тебя туда же!..

Погромыхав еще минут пять, Софья оттащила все так же, за узел галстука, благоверного в спальню и швырнула на постель, добавив, что он, конечно же, как всякая свинья, будет спать в ботинках. Повернулась и пошла, а с порога еще добавила заковыристый пассаж насчет сексуальных способностей мужа, которому “и курица поганая не дала бы”, а туда же, на нее, на Софью лезет: последнее, кстати, было неправдой, ибо муж ее, если оказывался трезвым и выспавшимся, вполне еще годился к употреблению. Но до сексу ли было нынче!

Лишь теперь, поставивши чайник и уютно сидя на теплой кухне, задумалась Софья: да, конечно, она – единственно законная русская царица, это даже и доказать-то всему миру при ее документах и свидетельствах – раз плюнуть, два чихнуть. Но воцариться на Москве или там на Ленинграде оказывалось куда как трудно: и там, и там была советская власть, которая шестьдесят с чем-то лет тому назад свергла младших Романовых, но и по сей день даже не пыталась найти законных наследников престола и вручить им бразды правления земли Российской. Всю жизнь Софья ни на кого не рассчитывала, никого к себе не приближала слишком, всегда ей хватало на осуществление всех планов и желаний собственной воли и энергии. Но на вещи она смотрела реалистически и понимала, что ей одной, самой по себе, советскую власть будет свергнуть ой как трудно, если вообще возможно. И мысли ее невольно обратились к тому единственному, совершенно неведомому, хотя, нет сомнений, очень близкому ей по духу человеку, какой припоминался, – к лондонской тетке Александре. Да, нужно было сперва повидаться с ней, поговорить и обсудить все подробно и лишь потом начинать битву за право быть царем, то есть царицей, на Москве (или на Ленинграде, это она решит потом, но уж никак не на Свердловске), за свиту из молодых пажей, за свой резкий и волевой профиль на оборотной стороне золотых и серебряных монет в 10 и 25 рублей достоинством, за право коронавания в Успенском соборе Московского кремля, за право не мыть кухонную раковину.

Софья налила большую чашку чаю, долго-долго смотрела на отрывающийся от горячей жидкости пар, тающий и улетающий, и была почти счастлива. Всю свою будущую жизнь видела она теперь как туго скатанный красный ковер, который, только толкни, – и протянется перед тобою пушистая дорожка к

ступеням древнего престола, взойти на который никто и права не имеет и не отважится, раз уж императрица Софья Вторая согласилась принять скипетр и державу в свои натруженные домашней работой, благородные, и, пожалуй, на самом деле красивые руки.

вел II том 1 Пронеси, Господи Часть 4

Евгений Витковский

IV

О святая ненаблюдательность...

Владимир Набоков. Дар

В наглухо герметизированном свинцовобетонном бункере, расположенном в секретнейшем из подвальных отделов министерства безопасной государственности СССР, только что проснувшийся мастер-телепат высшей категории Зия Мамедович Муртазов готовился позавтракать. Как истинный правоверный, коему пророк, мир ему, воспретил пить вино, он отроду не испробовал никакого спиртного, разве что микродозы, которые давали ему в бессознательном состоянии во время особо ответственных заданий, поэтому знать ничего не знал о своем коллеге, окопавшемся в недрах горы Элберт. Как и Джексон, уже много лет не покидал почтенный Зия Мамедович своего бункера, но по причинам совершенно иным: Джексон из своего бункера не выходил оттого, что незачем было, спиртное и закуска поступали бесперебойно, инструкция начальства повелевала исполнять любое его желание, а от скуки индеец не страдал – к его услугам в качестве собеседников были постоянно многие миллионы людей на всем земном шаре, больше всего, кстати, в России, – хотя с этой страной Джексон беседовать не особенно любил, пили там уж больно однообразно, хоть одеколоны и бывали интересные, – да и собаки были всегда рядом. Напротив, Зия Мамедович был всего этого лишен начисто: спиртного не только не потреблял, а и не дали бы, диету соблюдал строжайшую из-за диабета, развившегося в полной мере еще в сороковые годы; свидания ему были дозволены, помимо узкого круга лиц, работавших в отделе полковника Углова, только с женой, бедной старой Зульфией, фантастически преданной своему мужу и живущей где-то на задворках министерства, – что, впрочем, не избавляло ее от необходимости исполнять нетрудную работу гардеробщицы в том же министерстве. Никаких, если быть откровенным, желаний Зия Мамедович и не имел уже лет двадцать пять или около того.

Поздней ночью в январе 1951 года, чуть ли не в столетнюю годовщину того дня, когда святой старец Федор Кузьмич начертал в письме к иеромонаху Иннокентию свое завещание, ночевала Зульфия Муртазова вдали от мужа, в одиночной камере пересыльной женской тюрьмы не то Таганрога, не то Мариуполя, так никогда она и не знала, какого именно города. Выселяли икарийских татар долго и тщательно, а ее с мужем выселили чуть ли не последними; числились они, да и были, в самом деле, сопротивляющимися,

имелось у них кое-какое родство со знаменитым врагом народа, товарищем бандитом Вели Ибрагимовым. Одинокое заключение на пересылке понимали в те годы однозначно, а именно – считая Зульфию, в этой самой одиночке, плотно прижавшись друг к другу, криво и косо, и в тесноте и в обиде, больше в обнимку с собственными коленками, пытались спать или впрямь спали ровно двадцать четыре различные бабы от четырнадцати до семидесяти девяти лет возрастом. Зульфия сидела возле параши, у самого входа, невидимая даже недреманному оку, кидавшему частые взгляды сквозь волчок; прижавшись к стене она пыталась согреться, притом совершенно безрезультатно, потому что мучил ее не холод, а озноб, какой тут холод, когда двадцать четыре бабы вместе воздух производят, – и казалось ей, что она спит, казалось уже несколько часов. А час шел пополуночи уже третий, дрема и в самом деле собиралась перейти в сон, когда резкий скрежет пронизал хриплую тишину одиночки, и голос мужа, любимого Зии, которого, по слухам, пытали аж в Москве, произнес по-русски: “Я бы твою мать! Отрубись! Не знаю никого!” Голос прозвучал так громко и внятно, что Зульфия вскрикнула, разбудила могучую соседку справа, тут же влепившую ей локтем под вздох, а голос Зии продолжал орать на всю камеру: “Не знаю никого, не знаю, не знаю! Жenu свою знаю, больше никого!” – а дальше шла такая заковыристая брань, немножко русская, немножко татарская, что и воспроизвести ее невозможно, раз уж у Зульфии в тот момент под рукой карандаша с блокнотом не случилось. Случился же рядом, однако по другую сторону волчка, ефрейтор нестроевой службы Леонид Иванович Букатов, которому не спалось по причине потаенно недолеченной военной болезни – гонореи. Расслышал он, что громкий мужской голос ругается в женской камере № 71, счел, что это непорядок – влез мужик к двадцати четырем бабам, и недоволен, по матери ругается (сам Букатов никогда не матерился, краснел даже, когда чужой мат слышал) – и отворил камеру, в которой только что начавшаяся драка немедля замерла и как бы замерзла. И тем не менее в тишине тухлой атмосферы продолжало звучать: “...тебя в рот! в рот! в рот!..” Откуда исходил голос – не понимали ни Букатов, ни бабы в камере, а уж Зульфия меньше всех. Вызвали кого положено, всех пихнули по карцерам, сколько-то зубов повыбили, все без толку, голос звучал больше трех часов и замолк только к утру, замолк в том самом карцере, куда швырнули бедную Зульфию вместе с тремя другими бабами, которые тут были ни при чем.

Со временем разобрались компетентные товарищи, по большей части с не очень добровольной помощью Зульфии, что голос принадлежал ее мужу Зие. Дальше уже недолго было установить, что в эти самые часы перед январским рассветом Зия Муртазов в Москве, в Лефортовской тюрьме, был препровожден на допрос к следователю Углову, и тот оказался вынужден применить к этому опасному и неразоружившемуся националисту, известному своей борьбой за отделение центрально-восточной Икарии от СССР и провозглашение там исламского султаната, некоторые меры физического воздействия. Короче говоря, не стерпев косоглазой наглости и хамства, вспомнив триста лет татарского ига, схватил старший лейтенант Углов небольшую, но на удивление прочную табуретку, и врезал националисту промеж рогов, тот же не стал

воспринимать эту умеренную меру как нормальную в его положении, а полез в преступную оборону, и пришлось к нему приложить дальнейшие меры физического воздействия, которые лишь через несколько часов привели обвиняемого в должное состояние, – сейчас таковой как раз находился на поправке здоровья в тюремной больнице, так что гуманность к нему была проявлена едва ли не чрезмерная.

Компетентные товарищи обнаружили Зию в больнице в стабильном состоянии, с сотрясением мозга, переломом трех ребер и ключицы, рваной раной в области правого голеностопного сустава и прочими мелкими травмами. Однако ввиду чрезвычайной важности и секретности обнаруженного феномена – ведь Муртазов матерился так, что было слышно за тысячу километров! – выговора Углов не получил, а получил скорое продвижение по службе, новый чин и новую работу. Ибо компетентные товарищи после надлежащего экспериментального подтверждения установили, что обвиняемый Зия Муртазов, будучи достаточно сильно ударен по лобной кости непременно деревянным предметом, обладает способностью передавать направленные словесные сообщения на расстояние до семи и даже десяти с половиной тысяч километров, при этом совершенно неважно, известно ему местонахождение адресата или нет, а требуется лишь имя или минимальная словесная характеристика такового. К сожалению, после удара способность эта фиксируется у Муртазова в полной мере лишь в течение двадцати пяти секунд, затем же наступает ликвидация феномена. Необычную особенность муртазовских телепатем отметили все привлеченные эксперты: телепатема принималась не только лицом-адресатом, но была слышна решительно всем присутствующим в той же комнате, что и адресат, и всеми единодушно описывалась как “голос, слышимый из головы” того человека, которому послание адресовалось.

Ввиду чрезвычайной важности сделанного открытия и его несомненно возможного применения в стратегических целях личность Зии Муртазова была наглухо засекречена и срочно создана лаборатория, персонал которой составили привлекавшиеся к экспертизе ученые, а во главе ее поставлен капитан Углов, кстати, схлопотавший орден Ленина за свой эпохальный вклад в дело укрепления мира во всем мире.

Зульфия тоже была извлечена из лагерных недр и зачислена на должность гардеробщицы при лаборатории. Как показали замеры, в случае ежедневного получасового свидания с женой телепатический потенциал Муртазова возрастал на 12,5%.

Углов, понимая, что незаменимых у нас, кроме татарина, нет, стремился стать как можно более незаменимым. С треском вышиб он из лаборатории в край белых медведей свободного выгула двух сотрудников, – им сперва по недосмотру поручили ударение по лобной кости Зии деревянным предметом. Он доказал, что люди эти не обладают достаточной подготовкой, что после их ударов продолжительность телепатемы падает до 19 и даже до 13 секунд, тогда как в случае его собственноручного удара, без вреда для здоровья Муртазова притом, продолжительность телепатемы составляет никак не ниже 25,5 секунд и порой поднимается даже до 32, иначе говоря, более чем до полуминуты. Так что

обязанности заведующего лабораторией экспериментальной психологии он успешно совмещал с должностью практика-ударника, за что получал дополнительные полставки.

Поначалу Зию использовали только в самых безвыходных положениях, больше на связи с посольствами, чем в разведке и контрразведке, для которых его определили. Звуковая особенность телепатем разоружившегося икарийского националиста оказалась явлением резко негативным. Ничего не стоило, скажем, завалить с таким трудом засланного в ставку Тито агента, передавая ему инструкции, которые слышат сразу же и Ранкович, и Джилас, и прочая сволочь. Так что агенту, ожидавшему получения телепате́мы, давалась строжайшая инструкция о том, что он, к примеру, в двадцать два часа по белградскому времени должен сунуть голову в воду и выслушать инструкции Москвы. При этом, правда, существовал риск утопить агента, один так-таки и утонул в Гибралтаре, но решили считать, что по собственной преступной халатности, — ну, да приспособились кое-как.

Потом пошли другие неприятности. Лаборатория Углова была вынуждена установить санитарный максимум для объема передаваемых через Муртазова телепатем: он был определен как два часа пятьдесят две минуты в неделю при шести рабочих днях и обязательном последующем выходном: формально для Муртазова, на самом деле — для персонала лаборатории. Впрочем, и Муртазова Углов тоже берег, соображал все-таки, что из курицы, несущей золотые яйца, суп не варят. Ибо, если поступало для передачи подряд три, максимум четыре телепате́мы, Муртазов впадал в бессознательное состояние, и потом добрых двенадцать часов вообще летели козе под хвост, лишая лабораторию премиальных и грозя более серьезными неприятностями, вплоть до обвинения по статье 58, пункт 14 (контрреволюционный саботаж). Однако Углов не зря был на хорошем счету у начальства. В случаях крайней, экстрапервостепенной необходимости, имелся еще один, запасной метод, получавший в официальной документации название “код Углова” и принесший майору вместе с лабораторией Сталинскую премию второй степени со всеми вытекающими отсюда благами. Ежели, скажем, Муртазов впадал в бессознательное состояние от трех максимально длительных телепатем, а требовалось, к примеру, отозвать агента из логова Даллеса, майор брал старинный деревенский вале́к для стирки белья, признанный к этому времени оптимальным предметом воздействия на лобную кость татарина, и ласкающими дирижерскими взмахами выстукивал на лбу бывшего националиста, с помощью обычного шифра или даже азбуки Морзе, весь текст экспресс-телепате́мы. Как показал опыт, стук в таких случаях был слышен не слишком сильный, но отчетливый, а здоровье Муртазова совсем не страдало.

На теплом месте директора лаборатории Углов дослужился довольно быстро до звания полковника, однако выше мог пойти, только оторвавшись от этого самого места. Он пробовал рыпнуться, но сверху последовал окрик: доказал уж свою незаменимость в качестве ударника, так сиди себе в качестве полковника, не то будет куда как хуже, и остался Углов сидеть и редеть шевелюрой возле чахлого икарийско-татарского диабетика, на лобную кость которого вот уже

более четверти века деревянной пятой опиралась вся телепатическая служба советской разведки. Углов смирился с участью и стал собирать коллекцию старинных деревянных вальков.

Итак, Муртазов готовился съесть свой донельзя диетический завтрак. Сегодня ему дали поспать, среди ночи только разбудили на минутку, показали фотографию какого-то типа лет сорока, то ли знакомого, то ли нет – Зия давно уж и не пытался ничего запомнить – и трижды тюкнули вальком, всего-то. Так что ночь для него прошла просто даже отлично.

В комнатах над бункером тем временем кипела работа. Углов почти до утра просидел перед экранами телевизоров, на которых в разных масштабах и ракурсах демонстрировалось все, происходящее в комнате Тони, самолично прохронометрировал события, а теперь как раз выкроил время дать разнос сектору телепортации. Ибо в течение полугода, с тех пор, как кубинцы дали знать, что американцы снова балуются телепортационной передачей шпионов, над Москвой неустанно вращался локатор телеперехвата – и все безрезультатно, ни один клочок живой или неживой материи не был отправлен в Москву решительно никем. Года два тому назад государственный секретарь США Сайрус Вэнс туманно заявил в интервью, что его страна может послать кого захочет куда угодно. Немедленно с помощью болгарских друзей были получены компетентными органами советской науки схемы телепортационной камеры, которую – лишь немного видоизменив конструкцию, предложенную некогда пионером русской науки Геннадием Ивановичем Ореховым-Борисовым, и, как известно, привидевшуюся ему в страшном сне – построил для американцев югославский эмигрант, в прошлом агент гитлеровцев Абрамовитц. Со всей возможной тщательностью следуя схемам, восстановив, конечно, утраченную часть достоинств ореховского прототипа, телепортационную камеру смонтировали в просторном помещении бывших Госикаршампанподвалов, которые разрастающиеся вниз, вверх и вширь министерство только что прибрало к рукам. Камера была построена, но отчего-то не действовала, хотя отправленные через нее две собаки и лаборант-доброволец делись куда-то бесследно... Вероятно, какие-то мелкие детали конструкции остались неизвестны болгарским друзьям. Кроме того, чудовищные затраты энергии при включении камеры и отсутствие самонаименованных результатов вызвали недовольство начальства; конструкцию отключили, разрешив использовать как подсобное помещение, – взамен же поручили группе молодых парафизиков сварганить аппарат для перехвата телепортируемых объектов, – все в тех же подвалах. И такой прибор был построен, но испытать его оказалось совершенно невозможно, американцы ничего не пересылали, и было неясно, работает он вообще или нет.

Когда вчера, в 15.52 вой сирены предупредил – лишь за восемь минут сообщая, хотя, по идее, реле должно было бы сработать на четверть часа раньше, – о наращивании волнового пучка в направлении Москвы, вся подремывавшая, как обычно, смена парафизиков, дежуривших у камеры, бросилась к жерлу выброса. Какова же была злость и обида и у них, и у быстро явившегося начальства, – то бишь Углова, поскольку парафизики вместе с еще десятком лабораторий

числились лишь придатком к уголовной лаборатории экспериментальной психологии, – когда вместо американского разведчика или, предположим, даже оно и вероятнее, разведчицы – к их ногам упал лишь непомерно перегретый, слегка дымящийся мужской носок: красный в клеточку, притом советского производства. Выяснилось, что все предохранители в перехватчике полетели, а батареи сели и на отладку для нового перехвата уйдут добрые сутки. Углов уже собирался от ярости не то начать охаживать виновных неразлучным своим вальком, не то под конвоем отправить саботажников в бывшие подвалы Госрыбкооптилен, где уж разберутся во всем, в чем мы не разобрались. Но резкий окрик, которого полковник боялся более всего на свете, остановил его. Неведомо откуда, словно телепортированный из родного Кировакана, возник возле самого шпионского носка бессменный заместитель Углова, полковник Аракелян. Намеренно равный по чину заместитель был кошмаром жизни Углова, хотя встречались они очень редко, только вот как сегодня, в минуты, в которые ставился под угрозу (страшно подумать!) весь квартальный план работы. Аракелян состоял при Углове как представитель вышестоящей организации, он был личным уполномоченным начальства, да такого высокого, что лучше на него и головы не поднимать, фуражка свалится.

– Готовность номер два для лабораторий четыре, шесть, с восьмой по одиннадцатую включительно. Руководитель группы эс-бе – ко мне с Володей лично. Полковник Углов – место за пультом синхронизации, я дублирую. Дежурный по городскому сектору – на выход через тридцать минут, полная готовность, алкогольная форма четыре! Лаборатория два – немедленно приступить к ремонту оборудования!

При всем страхе и ненависти, которые Углов испытывал к Аракеляну, полковник почувствовал восхищение. Ибо все-таки перехват удался, в руках контрразведки оказалась достаточно пахучая вещь, по которой отряды служебно-бродячих собак (сокращенно эс-бе), проинструктированные знаменитым их вожаком Володей, в два счета разыщут шпиона и через полчаса на пятках у него уже будет висеть дежурный по городу, один из четырех посменных на случай частичного или полного ускользания объекта. Сидя в необъятном кресле синхрон-пульта, в двух шагах от бункера Муртазова, – помощь татарина могла потребоваться в любой миг, – Углов боковым зрением увидел, как пулей влетели и стали по стойке “смирно” перед Аракеляном руководитель группы эс-бе Арабаджев и громадный седовато-рыжий пес с мордой лайки и телом овчарки. Аракелян быстро сунул им носок, а сам тем временем что-то с невероятной скоростью затараторил в нижний микрофон, информируя начальство, прямое и косвенное. Потом приложил к уху наушник, послушал с минутку и бросил Углову, не глядя:

– Фиксируйте: кодовое название проводимой операции – “Союз – Аполлон”.

Дальнейшие обстоятельства истекшего вечера и ночи слились в сознании Углова в сплошную линию, верней в пунктир, состоящий из окриков Аракеляна, рвущийся из селектора лай, внезапно вызвавший у заместителя приступ восторга и длинное “Ва-а-ай”, из кадров уличной телекамеры, наконец-то показавшей на экранах синхрон-пульта представительного красавца,

получившего от ворот поворот в Доме литераторов и медленно идущего по улице Герцена в направлении Садового кольца. Вот ведь история – не пустили. Не забыть, чтобы этому типу на дверях благодарность или выговор вlepили, смотря по результатам дела. Вслед за этим появилась и знакомая, уже в четвертой алкогольной форме, фигура Миши Синельского, а потом еще кадры, еще крики, коммунальное помещение лейтенанта Барыковой-Штан, где операция “Союз – Аполлон” должна была дойти до первой кульминации-стыковки, – отсюда, что ли, начальство для операции название взяло? Привычно вел Углов синхрон-протокол, жуя какой-то принесенный ему ужин, зафиксировал момент засыпания американского объекта, через контрольные полчаса дызнул по лбу незаменимого Муртазова трижды, а после этого событий уже почти не было: в состоящей под наблюдением комнате все спали. Углов расписался под синхрон-протоколом и перебросил его на пульт к Аракелян – считалось, что для ознакомления, на самом деле – для конечного суммирования рабочих выводов, каковую работу Углову, конечно же, никто бы никогда не доверил.

Так вот и прошла вся эта ночь. Ранним же утром, когда Зия кончал завтракать, а Углов для отвода души мылил шею сотрудничкам телепортационного отдела – все наладили к утру, а что толку? – Игорь Мовсесович Аракелян окончательно подбивал бабки по синхрон-протоколу. Почти каждую строку Углова он сопровождал своей припиской.

“...22.14. Тов. лейт. Барыкова-Штан заводит пластинку Софии Ротару. Второй брудершафт, прод. 3 мин. 14 сек. Сексуальные эмоции объекта выражаются во все более крупной мере”. – Последние два слова Аракелян подчеркнул красным и приписал: “РУССКОГО ЯЗЫКА! Невнятица в протоколе недопустима!”

“...22.. 21. Условное засыпание Синельского М. М.” – Аракелян покрутил в воздухе карандашом и не приписал ничего.

“...22.29. Тов. лейт. Барыкова-Штан заводит пластинку Хампердинка. Третий брудершафт, прод. 3 мин. 49 сек. Ввиду замедления реакций объекта тов. лейт. Барыкова-Штан проводит превентивную стимуляцию путем распахивания халата”, – Аракелян поморщился и приписал: “Наши наблюдения позволяют считать стимуляцию несколько преждевременной”.

“...22.34. Объект в ответ на проведенную стимуляцию реагирует нетипично: делает попытку склонить тов. лейт. Барыкову-Штан к противоестественным извращениям. Тов. лейт. Барыкова-Штан пресекает подобные попытки, оказывая умеренно-разумное сопротивление”. – Аракелян приписал: “Совершенно неясно, не была ли необходима в данный момент именно стимуляция, а не сопротивление”. Подумал и приписал еще: “NB: извращения. Возможность использовать в дальнейшем”.

“...22.38. Объект начинает раздеваться в ответ на недвусмысленную стимуляцию со стороны тов. лейт. Барыковой-Штан. Насколько удастся проследить, пропажа правого носка не обнаружена”. – Аракелян приписал: “Сообщ. Синельскому: ни в коем случае носок не подбрасывать, на случай возможной ошибки в наблюдениях, пусть считает, что не нашел его, одеваясь утром”.

“...22.39. Объект разделся. Осуществлено фотографирование в инфракрасных лучах: анфас, профиль, со спины; отдельно – грудная клетка, половой член (без признаков обрезания) – фотографии прилагаются”. – Аракелян цокнул и не приписал ничего.

“...23.02. Первый условный оргазм тов. лейт. Барыковой-Штан...”

И так далее. Закончив маргиналии, Аракелян взял отдельный лист и стал писать оперативное заключение. После краткого общего изложения имевших место событий он приступил к характеристике наблюдаемого.

“Настоящий объект, – писал он, – представляет собой типичный образец разведчика, прошедшего полную подготовку в школах ЦРУ. Хотя по данным сопоставительной картотеки личность его пока не может быть установлена, по ряду мелких деталей можно предположить, что он прошел специальную подготовку к работе в СССР, в частности, среди русского населения (см. доклад Синельского М. М.), допускаемые им просчеты незначительны: в частности, перед вступлением в прямой контакт с тов. лейт. Барыковой-Штан он полностью разделся вместо того, чтобы просто расстегнуться или снять лишь часть одежды, что, возможно, указывает на его привычку к жизни в теплом климате. Настораживает также и легкость контакта, завязанного с ним в кафе “Олень” тов. кап. Синельским М. М., что может указывать – а) или на малый опыт работы с советскими людьми, присущий объекту, б) или на чрезвычайно глубокий опыт общения с советскими людьми, присущий объекту. До сих пор остается невыясненной цель его несостоявшегося посещения Центрального дома литераторов им. А. А. Фадеева, разработку этой линии рекомендую поручить экспертам литературного отдела. Также остается совершенно неясной цель его засылки в СССР, при этом с крайне малым количеством профэкипировки (см. отчет тов. кап. Синельского М. М.). Возможные экстрасенсорные способности объекта также остаются пока не выясненными и не могут быть выявлены в ближайшее время ввиду отсутствия в штате наших сотрудников лояльного эксперта должной категории. Предварительная сводка планируемых диверсактов, терактов и долговременной засылки разведработников в СССР, предоставленная болгарскими товарищами 12 сентября сего года, на использование американцами телепортационной камеры не указывала. Таким образом, напрашивается вывод об экстраординарной миссии объекта, что еще раз подчеркивает необходимость длительного и подстрахованного отрядами эс-бе слежения за объектом без ограничения его свободной воли и передвижения вплоть до возможного совершения им диверсакта или теракта. Предлагаю считать его рабочим объектом номер один для групп слежения полковника Углова, именно для лаборатории № 1, а также №№ 4, 6, 8, 9, 10, 11 и головного отряда эс-бе, где ответственность за неупускание и сохранность объекта возложить на майора Арабаджева и лично эс-бе Володю. Установить персональное слежение за объектом с помощью тов. кап. Синельского М. М., с предоставлением права внеочередного пользования секретными средствами бункерной лаборатории полковника Углова. Общее руководство операцией поручить тов. полковнику Углову Г. И. и тов. полковнику Аракеляну И. М.”

Затем Аракелян твердой рукой поставил подпись под протоколом и заключением: “Гл. референт ген.-майор Сапрыкин”; затем взял красный фломастер и совершенно иным, округлым и крупным почерком наложил резолюцию в левом верхнем углу, наискосок: “Утверждаю. Генерал-полковник Г. Д. Шелковников”, потом снова взял ручку и внизу, маленькими каракулями написал: “Принято к исполнению – полковник Углов”. Тихо встал с кресла и понес просыхающий документ в главную канцелярию. Проходя по безлюдным коридорам, он даже и не заметил примелькавшуюся ему за много лет сгорбленную встречную фигуру: это брела на ежедневное обязательное свидание к мужу старая Зульфия, неся в руке лиловый букетик октябрьских астр. Много лет уже, как поняла она, что не выйти ей из этих коридоров, не выйти ни ей, ни мужу, и не видать родного Бахчисарая, не собирать инжир с дерева в своем садике, не голосовать на выборах за троюродного дедушку, расстрелянного в двадцать восьмом врага народа Вели Ибрагимова, не радоваться созреванию винограда, не видеть мужа иначе как прикрученного к постели в подвальной комнате, куда пропускал ее часовой с примкнутым штыком после предъявления пропуска, который возобновлялся ей каждый месяц, в котором стояли три печати и четыре подписи, а фотография ее собственная была что ни месяц, то новая. Но все-таки кормили здесь хорошо, совсем не били, и муж по крайней мере говорил, что и его совсем не бьют. Разговаривали они только по-татарски, но сами того не замечали, что с годами все больше русских слов затесывается в их речь, как с годами тускнеют в разговорах воспоминания о родной Икарии, вообще не ощущали, как идут и идут над подземными коридорами министерства долгие и не очень разнообразные советские зимы и лета.

Зульфия протянула пропуск и прошла к мужу, который, как всегда, приветствовал ее широчайшей улыбкой. Нет, правда, сегодня он выглядел совсем хорошо. И Зия подтвердил, что спал он сегодня просто отлично.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 5

Евгений Витковский

V

Ничто не предвещало катастрофы.

Джон Уиндем. Кракен пробуждается

Джеймс проснулся и не стал открывать глаза.

Первой была мысль о носке. Вчера никакого иного варианта, кроме того, что КГБ этот носок перехватил, в голову не пришло.

Сегодня самым вероятным показался другой вариант: напортачил в чем-то проклятый еврей со своими сотрудниками, или же просто носок зацепился за одну из круглых щеток... Стоп. Ботинок-то на месте. Так что либо носок остался

в Скалистых горах, либо лежит в сейфе министерства безопасной государственности, либо уносится со скоростью света в мировое пространство, развоплощенный до конца времен. Это последнее лучше бы всего. В большую оперативность советской разведки и контрразведки ни Джеймс, ни его инструкторы никогда не верили, так что комнату, в которой он сейчас находился, служебно-бродячие вряд ли засекут раньше нынешнего вечера. Вот до этого срока и полагалось бы отсюда смотаться, желательно при этом убраться и из Москвы, и желательно в Свердловск, но давши возможность погоне основания искать его, скажем, в Воронеже. В крайнем случае можно было использовать и свое секретное оружие, одну из сверхнормальных способностей. Но беда в том, что Джеймс, хотя владел ими едва ли не лучше всех выпускников школы “Черная Изида”, владел он ими все-таки очень плохо. Хотя тибетский монах, преподававший левитацию и размыкание времени, и поставил ему зачет в былые времена, летал Джеймс еле-еле, а разомкнуть время после сдачи экзамена не пытался ни разу. Честно говоря, летать в оперативной обстановке пришлось ему лишь единожды, из Восточного Берлина в Западный, да и то зенитчики чуть не сбили. Телепатические и прочие способности просыпались в нем лишь в моменты крайней ярости или опасности, сжирали все силы и без отчаянной необходимости пользоваться ими не рекомендовалось. Самотелепортация хоть и входила в учебную программу, но была для Джеймса вечной мукой: он мог по собственному желанию переместить свое тело в одежде и груз до десяти килограммов на расстояние в милю с небольшим, но даже приблизительно не мог предвидеть, где именно окажется в итоге. Так что этот способ годился лишь при угрозе полного провала. А для подобных настроений не было пока ни малейшего повода.

Давешняя Тоня все еще почивала, причем большая часть ее немалого веса чувствительно давила Джеймсу на грудную клетку. Джеймс чувствовал ее запах, никаких дурных эмоций он не вызывал, несмотря на густо примешанный к нему запах перегара. Джеймс, пожалуй, ничего не имел против продолжения эротических упражнений. Слегка повернув голову, прошептал Джеймс фразу, приготовленную для таких ситуаций лучшими инструкторами разведцентра: – Хочешь, трахну?

Реакция спящей Тони была самой неожиданной: она открыла один глаз, рывкнула в полный голос: “Я счас сама тебя трахну!” – и трахнула со всего размаху Джеймсу коленом под ребра, затем как-то сразу врезала еще разок обеими руками и обеими ногами, отчего разведчик слетел с постели, а Тоня, горизонтально подпрыгнув всем телом над постелью, одновременно завернулась в одеяло, перелетела на другой бок и немедленно снова заснула. Джеймс оказался в чем мать родила посреди усыпанного окурками пола. Михаил, о котором Джеймс только сейчас вспомнил, восседал за столом и со всей респектабельностью, какую позволяли ему обстоятельства, – небритая, с похмелья опухшая рожа, волосы, густо засыпанные табачным пеплом (он заснул, уткнув затылок в полную пепельницу), – сервировал стол для опохмеления: недопитая вчера последняя поллитра красовалась рядом со свежевскрытой банкой морской капусты. Сейчас Михаил деловито нарезал на

прозрачные ломтики необычайно длинный батон, похожий на французский багет, – видимо, одолженный на коммунальной кухне.

– Это она всегда так, – ласково кивнул Михаил на спящую Тоню, – не будить ее лучше никогда, а то в ней зверь просыпается. Прикрой срам-то, Рома, и давай примем. – Джеймс натянул свои невероятные черные трусы – других инструктор не разрешил, несмотря на протесты Джеймса и ссылки на то, что в ГДР ему было позволено нормальное западное белье, ему объяснили, что в белых трусах русские изловят его в два счета – долго изображал поиски недостающего носка и оделся наконец; изображая, в свою очередь, похмелье, ударился о косяк, выходя по нужде в указанный Михаилом сортир, а там и взаправду чуть не сломал ногу о детские санки. Вернулся и сел к столу, все еще ругаясь про себя от боли, причем исключительно по-румынски, как привык смолоду.

– Как раз подруга звонила, – продолжил Михаил, когда первые целительные пятьдесят граммов пропутешествовали по адресу, – забежит через полчаса.

– Чья подруга? – Джеймс сделал вид, что не понял.

– Как чья? Тонькина. Это у нас, Рома, бутылка с тобой общая, а баба-то тебе все-таки отдельная нужна, или я неправильно понимаю? Может, сам кого позвать хотел, так сказал бы, а то я вчера еще с ней договорился, с Тонькой, что она подругу пригласит. Танька вчера не могла, мужик ейный, летчик он, в Вильнюс улетел только сейчас. Она свободна, как птица, Рома, так что ты уж не урони честь нашей советской литературы, я уж ей описал тебя, красавца, спешит, ног под собой не чувствует.

Джеймс невозмутимо отправил в рот кусочек батона с длинным хвостом морской капусты. Он, правда, полагал, что бабой в Москве уже обзавелся, но если Миша думал иначе, то переубедить его было бы совсем глупо. Выпили еще по пятьдесят, мутные глаза Михаила посветлели, и повел он длинный монолог о своей работе в районной газете, о том, что в литературе и в жизни у него был и всегда будет один эталон – Петр Подунин, и в доказательство привел по памяти длинный пассаж из повести Подунина “Халупа отчая”, где говорилось о тающих на горизонте лиловатых облаках, похожих на хлопья пены, спадающей с лошадиных боков после тяжелого боя с белополяками. Джеймс тоже похвалил “Халупу”, но сказал, что на него более сильное впечатление производили ранние вещи Подунина, – риск был небольшой, ибо вряд ли “Халупа отчая” было литературным дебютом маститого писателя. Михаил заспорил: да, конечно же, “Взмахнуть папахой” – прекрасная книга, не зря и премия первая была за нее, да сразу первой степени, да и сам он когда-то бредил образом Глаши, но как же можно сравнивать землю с небом? Там – блестящая, но ведь явно же бесконфликтная интрига, потому и премия была тогдашняя, а здесь, в “Халупе” – острота зато какая распроядреная! Взять хотя бы даже и образ председателя колхоза! А Григорий, а Мишатка!..

Никакая Таня все не шла и не шла, и Джеймс решил. Он поглядел на часы.

– Чего смотришь? До одиннадцати еще ваго-он времени.

– Я не к тому, мне билет брать. На поезд.

– Тогда тем более ни к чему. Танька ж в кассе работает, она тебе сделает.

Вообще баба замечательная, всего-то ей двадцать пять, а замужем уже четвертый раз, трех мужей похоронила, не выдерживали. Литовец ее нынешний от слабости того гляди самолет на землю уронит, но ему, правда, легче, он с ней не всю неделю, Винцас этот самый...

Выпили еще раз – за упокой Танькиных мужей. Джеймсу на всякий случай подумалось, не способ ли это расправы с ним, подсунуть ему эдакую бабу-вампиришу. Но уж больно сомнительно, чтобы советские органы приготовили для него такой нескоропостижный и, пожалуй, приятный метод расправы. Но появилась наконец и сама Татьяна – небольшая, черноволосая, смазливая, золотозубая, с несошедшим еще летним загаром. Брякнула на стол бутылку “Сибирской” – едва початую, литровую. Прежнюю Джеймс и Миша как раз допили, и покуда обрадованный Синельский разливал напиток на четыре рюмки – верней три рюмки и одну майонезную баночку, другого резервуара в Тонькином хозяйстве не отыскалось, – гостя с откровенным интересом разглядывала разведчика в целом и по частям, закурив что-то такое, от чего по комнате пошла дикая вонь (“Мальборо! Арабское!”); Тонька же, наконец, открыла глаза.

– Явилась, галоша старая? А ну, мужики, марш на кухню: дайте одеться и посплетничать. Можно будет, позову, – объявила Тонька и потянулась к балахону.

Из кухни мужчин тоже погнали. Там старуха богатырской толщины как раз ставила на плиту бак с бельем; своим-то, сказала она, тут курить не позволяет, а Тонькиным ханурикам и вовсе милицию позовет, и пусть лытают на лестничную клетку. В коридоре, яростно звоня ручным звонком, катался на трехколесном велосипеде ребенок неопределенного пола, а высокий старик на стремянке, несомненный старый испанский коммунист, ожесточенно списывал со счетчика цифры.

Прошли на лестницу, покурили. По зову из комнаты вернулись. Уже вовсю рыкали с пластинки шведские “Мани, мани”, (“Денег может не хватить”, – подумал Джеймс, основные его капиталы поглотил литературный сортир, а второй раз явиться туда он не имел права), облачившаяся в голубой балахон до полу Тонька делала вид, что с Джеймсом едва знакома, а устроившаяся на Михайловом кресле у окна Татьяна, напротив, продолжала разведчика пристально и со вкусом разглядывать.

Выпили. Заели. Пошел разговор об Алле Пугачевой, сперва насчет “той женщины, которая дает”, а потом про какую-то нашумевшую и жутковатую историю с попаданием спермы в дыхательное горло прямо в гостинице “Метрополь”. На всякий случай выпили и за Аллу Пугачеву, заодно послушали ее пластиночку, с которой Тонька предварительно стерла малейшие пылинки полрой халата. Порассказывали анекдоты, опять выпили, отчего-то за Татьянинного мужа, Винцаса, который “сейчас садится”. Татьяна заодно объяснила, что ценит в Винцасе – как, впрочем, и во всех мужчинах – в первую очередь максимальную волосатость, “так чтоб из рубашки торчало”, и поглядела Джеймсу в глаза, а Тонька не согласилась и сказала, что волосатость – это, конечно, вещь, но все-таки не главное. Татьяна сразу же предложила

присутствующим мужчинам устроить конкурс на волосатость, а Тонька вдруг совершенно трезвым голосом объявила Татьяне, что та упилась в сосиску. Татьяна согласилась и сказала, что, пожалуй, пойдет домой, и надеется, что кто-нибудь из присутствующих волосатых мужчин доведет пьяную женщину до дому. Джеймс прихватил в одну руку чемоданчик, в другую – Татьяну, разом повисшую на нем, попрощался с Мишей и Тоней. В коридоре испанский коммунист все так же стоял на стремянке перед счетчиком.

Сразу за дверью Татьяна потребовала, чтобы Рома брал такси, но, когда длинный, прерываемый объятиями путь с пятого этажа на первый завершился, оказалось, что живет Татьяна в том же самом доме и в том же самом подъезде, только на третьем этаже. Кое-как поднялись снова. Опять обнимались, причем в стельку пьяная Татьяна все порывалась начать раздевать Джеймса еще на лестнице. Наконец, за спиной у них закрылась дверь коммунальной квартиры, – правда, в этом коридоре не было ни стремянки, ни испанца, но вроде бы тот же самый ребенок с оглушительными воплями катался на таком же точно трехколесном велосипеде, – но, едва взялась Татьяна за ручку своей двери, как хмель слетел с нее разом. Комната была незаперта, и в ней, скрестив на груди руки, словно статуя Командора, стоял огромный и действительно очень волосатый мужчина.

– Здравствуй, Таня, погода нелетная, – сказал мужчина, не двигаясь с места, с сильным акцентом.

Татьяна судорожно оттолкнула от себя Джеймса и шепнула ему:

– Исчезни!

И Джеймс, почти совсем трезвое сознание которого ни на что не реагировало с такой скоростью и точностью, как на быстрый и короткий приказ, исчез. Он резко наклонился, обхватил колени – и так же быстро распрямился. Исчезая, он неловко взмахнул чемоданчиком, глухо бухнувшись в крашеную коммунальную стенку; Джеймс телепортировал сам себя на максимально возможное расстояние – на полторы мили. Контроль ментального поля страховал его от попадания в твердое тело, его должно было отбросить в сторону, но не было гарантии, что через мгновение не придется плыть по Москве-реке, искать выход из слоновника или плутать в кулуарах Большого Кремлевского дворца: направление переброса Джеймсу не давалось решительно.

Загребая ногами, пробежала к ревущему дитяте бабушка: исчезновение Джеймса из коридора сопровождалось резким звоном, словно кокнули хрустальный сервиз о медный колокол. Волосатый литовец подхватил сползающую вдоль стены Татьяну и со вкусом – раз и два – въехал ей в морду. А Джеймс уже в другом районе Москвы воплотился – и понял, что висит в воздухе.

Воздух вокруг был холоден, страшно пылен и ходил ходуном. За те пять секунд, которые Джеймс парил, медленно опускаясь к ближайшей твердой поверхности, он так и не сумел понять, где находится. Совсем рядом прозвучал тяжкий глухой удар, взлетела густая штукатурная пыль, затрещало дерево переборок, дрогнули и вздохнули камни. Коснувшись ногами твердой

площадки, понял Джеймс, что и сама площадка тоже вибрирует, выгибается и вот-вот рухнет. Джеймс стоял на лестничной клетке какого-то московского дома. А дом в это время сносили, и жуткая металлическая груша сейчас размахивалась где-то совсем рядом, с тем, чтобы, может быть, нанести дому последний удар – и стены вот-вот рухнут, и похоронят под собой разведчика. Немедленно телепортироваться еще раз Джеймс не мог: во-первых, это было строжайше запрещено инструкциями, и, лишь во-вторых, это для него вообще, увы, было невозможно, он истратил всю энергию ментального поля, а новое накопление ее требовало полных двух суток. Выход был один – бежать из этого дома куда глаза глядят, даже если у порога ждет наряд конной калмыцкой милиции, охраняющей место сноса, – про подобные вещи ему рассказывали инструкторы, ибо, ввиду острой нехватки строительных материалов, бронзовых дверных ручек, оконных рам, паркета, особенно же кафеля и водопроводных кранов, москвичи идут в таких домах на смертельный риск, часто гибнут под обвалами и поэтому конная милиция обычно – только всегда ли? – сторожит все стройки и места сноса.

Джеймс длинными, нависающими над полом шагами, скорей летя, чем идя, двинулся вниз по лестнице. Снос еще не зашел очень далеко – в прежние годы строили накрепко, дом пока не разваливался, но дрожал всем телом. Интуитивно Джеймс находил правильный путь и, перелетая через груды строительного мусора, уже готовился вырваться из дома. И на краткое мгновение, в самом темном углу под лестницей, увидел он нечто непостижимое его трезвому, деловому, западному уму: почти вертикально вскинутые, слегка согнутые в коленях женские ноги и светло-желтую спину мужского кожаного пиджака между ними. Какая-то пара бесприютных москвичей, забыв о кафеле и бронзовых дверных ручках, ловила последние крохи любви, рискуя быть погребенной под руинами. Но Джеймс на их разглядывание времени терять не мог, через миг потерял он из виду странную пару и выскочил на воздух, по инерции продолжая касаться ногами земли. Конных калмыков нигде не было. Джеймс перемахнул через дощатый забор и очутился в узком переулке, – название Джеймсу, хорошо знавшему план Москвы, ничего не говорило, но он, спешно забившись в первый же попавшийся дворик и отряхивая пальто, справился по лежавшей в чемоданчике книге “Улицы Москвы” – советского, конечно, издания – и узнал, что находится вблизи от Большой Грузинской улицы. Теперь, когда он продемонстрировал москвичам, пусть бесконечно далеким от агентуры безопасной государственности, пусть просто рядовым обывателям, свою способность к телепортации, следовало бежать из этого города, бежать немедленно.

Но даже в такси не имел права садиться Джеймс. Продолжая отряхиваться, медленно шел он, ориентируясь по плану, к ближайшей станции метро, где втиснулся в толпу, и, совсем уже успокоившись, доехал до нужной станции. Собственно говоря, он понятия не имел о том, что делать дальше, ибо вот так просто подойти к кассам и купить билет он не мог, строжайше требовалось, чтобы приобретением билета занимался другой, доверенный, но неинформированный человек. А где Джеймсу, запятившему в глазах

начальства свое доброе имя публичной телепортацией, было искать этого доверенного? Конечно, оставалась возможность купить бутылку чего-нибудь покрепче, тяпнуть половинку, и, глядишь, выйти на связь с Джексоном. Для чего-то большего требовалось найти нечто в Москве совсем недоступное воображению – финскую баню. Но секретные мысли о ней Джеймс гнал, как и мысль об упое. Лучше уж не пить ничего до самого Свердловска: пусть начальство не знает о нем ничего до самой победы, лучше уж тревога Форбса, чем его же гнев. А в Свердловск в крайнем случае можно пойти пешком.

Джеймс потоптался у касс Ярославского вокзала и понял, что ничего у него с отъездом не выйдет. Очередь к каждой кассе стояла человек сто, за время, что он тут простоит, все поезда уйдут и эс-бе на след нападут, к тому же, как было ясно из темневших на табло букв, на сегодня в нужном направлении имелись билеты только в вагоны СВ, вероятно, самые дорогие, – очередь же простиралась в завтрашний день, а завтрашний день грозил Джеймсу всеми казнями египетскими. Госкливо прошелся раз и другой вдоль очереди, решительно не зная, что делать, инструкция в нынешнем раскладе исключала для него любой транспорт, кроме железнодорожного: самолет с рентген-досмотром на таможне исключался, в литературном сортире мало ли кто мог побывать за истекшие сутки, найти билет и все прочее, – а пешком топтать все-таки и тяжело, и долго, и опасно. Но тут пожилой человек небольшого роста с очень испитым лицом, хотя и трезвый совершенно, отделился от стены и подошел к Джеймсу. “Если безопасная государственность – мне конец”, – подумал Джеймс, судорожно собирая крохи ментального поля для возможной телепортации хотя бы на метр-другой.

– Желаете приобрести билет? – тихо, деревянным голосом произнес тип, доставая книжечку, отчего Джеймс чуть не телепортировался. Но сунутая ему под нос книжечка оказалась удостоверением инвалида Великой Отечественной войны. Джеймс посмотрел на старикана, ничего решительно не понимая, помотал головой. Тип явно огорчился. Видимо, сегодня день у него выдался совсем пустой, а Джеймс в клиенты так и просился.

– Может, два билета сделать, а? Прикрышка будет как за один, не пожалеете, налетали б, пока дешево... – и уж совсем собрался отойти, махнув рукой, когда до Джеймса наконец дошло, в чем дело, и он, как всегда в случае контакта с незнакомцами (по инструкции) на советских улицах, сильно по-владимирски окая, произнес:

– Вы распространяете билеты? Я бы любые деньги заплатил, у меня теща в Хабаровске при смерти, а телеграмму прислали незаверенную... – смысла всех этих слов он почти не понимал, но всплыла в памяти какая-то фраза из числа дежурных, – и, видать, пришлась к случаю.

– Голубчик, зачем любые? Давайте деньги и пять сверху, сейчас будет. – Повеселевший старикан получил бумажки, – (может быть, и не стоило давать деньги чужому, но рисковал Джеймс в данном случае лишь деньгами, это он нутром чувствовал), – и все тем же голосом без интонаций заголосил:

“Позвольте пройти инвалиду Великой Отечественной войны! Позвольте пройти инвалиду Великой Отечественной войны!” – и, держа свою книжечку как

гранату с выдернутой чекой, стал проталкиваться к кассе сквозь тихо матерящуюся очередь. Через пять минут в кармане Джеймса лежал билет на поезд “Москва – Владивосток”, – (“может быть, надо было брать сразу до Владивостока, вовсе непонятно было бы, куда еду”), – жуя кошмарный пирожок с какой-то хрящеватой мерзостью, дожидаясь разведчик своего времени, шести двенадцати. Соблюдя неожиданно для себя все инструкции, да еще убедившись в их несказанно спасительной силе, ибо сам билет себе взять вообще не смог бы, он знал, что теперь ничто не в силах задержать его в Москве, – кроме служебно-бродячих, конечно. Но собак, как он заметил, в помещение вокзала не пускали. Так и просидел все оставшиеся часы на скамье в зале ожидания, на всякий случай совершенно убитый горестной вестью о смерти тещи. А в шесть сел в поезд и благополучно отвалил от Москвы в восточном направлении.

Тем временем события в доме на задворках Калининского проспекта разворачивались довольно интенсивно. Прекрасно видевшая телепортацию Джеймса, младший лейтенант Татьяна Пивоварова вырвалась из медвежьих объятий супруга, у которого приступ ревности почти мгновенно сменился приступом жгучей страсти. Выбежала из квартиры, лифт, как назло, не работал, но на пятом этаже Татьяна оказалась со скоростью вполне спринтерской. Синельский и Тоня мирно и вполне по-неслужебному пили что-то ярко-желтое (“Кипрский мускат”, – несмотря на отчаянную ситуацию, не забыла отметить протрезвевшая Татьяна), и, встав по стойке смирно перед выключенным телевизором, супруга литовского летчика отрапортовала:

– Товарищ полковник, вынуждена доложить: объект неизвестным способом скрылся в неизвестном направлении!

– То есть как это скрылся? – вставая, прорычал Синельский в ответ, хотя отнюдь не был полковником; обратной микрофонной связи, несмотря на многочисленные просьбы Тоньки, в ее комнате так и не было, и Синельский, понимая, что через несколько секунд из его собственной головы начнут звучать распоряжения Углова или, что вероятнее, Аракеляна, просто опережал события. И в самом деле, страшный удар валька уже обрушился на лоб Муртазова, и холодный голос никогда не теряющего самообладания Аракеляна зазвучал в Тонькиной комнате, – прямо из головы Синельского, перемежаемый короткими ответами самого капитана, который понимал, что потеря наблюдаемого объекта может стоить ему и звания, и даже головы – ибо чем таинственнее, тем ответственнее, а уж куда таинственнее, чем шпион-телепортант, телепортант, которому, оказывается, даже аппаратура не нужна для улета.

Через минуту Синельский был в комнате Тани и смертным боем бил литовца, сорвавшего своей проклятой ревностью так гладко шедшую операцию. Литовец, выше Михаила на полторы головы, сопротивлялся, или, по крайней мере, пытался не допустить капитана до слишком грубого применительно к нему членовредительства, но куда ему, истощенному супругу Татьяны Пивоваровой, было тягаться с тренированным в школе каратэ капитаном. На эту карательную процедуру затратил Синельский не более трех минут, после чего летчик, несомненно, недели на две лишился способности как поднимать самолет в воздух, так и потакать желаниям Татьяны. Татьяна была оставлена возле него, с

ней Аракелян пригрозил разобраться особо. Тонька осталась дома тоже до вызова, “пока прояснится”, хотя ей и был обещан изрядный нагоняй за неправильное чередование стимуляций и консерваций, а уж заодно и за ****ство в рабочее время. Михаил же мчался на служебной машине, до того дежурившей возле кафе “Ивушка”, на явочную квартиру в районе Кузнецкого моста, где также, вслед за нагоняем “за пьянку и сучность”, должен был получить дальнейшие инструкции.

Ибо для группы слежения Джеймс и в самом деле мог оказаться потерян. Где и кто даст гарантии, что проклятый американец, оставивший в руках ответственных органов фотографию своего полового члена, не телепортировался назад в Штаты? Камера перехвата, ясное дело, бездействовала, за это обслуживающий ее персонал мог поплатиться если не головами, то московской пропиской, – да что толку. Если же объект все еще находился в Москве, то оставалась возможность использовать группу Арабаджева и его эс-бе, но ждать от них большой оперативности, не имея понятия о направлении телепортации, вряд ли стоило. Короче, время вынужденного бездействия – из-за преступной небрежности в работе, проявленной мл. лейт. Пивоваровой, – лучше всего было использовать для словесного воздействия на всю группу слежения. Иначе говоря, на то, чтобы отвести душу. И Аракелян, исключив из числа караемых только не вполне подотчетного ему Углова, со вкусом взялся за разнос, ибо, по счастью, генерал Г. Д. Шелковников двумя часами раньше отбыл к себе на дачу, а еще более высокое начальство лежало в перманентной реанимации, а еще более высокое начальство лежало в таком маразме, что и не совсем было ясно, на том оно свете или на этом.

Тем временем дюжий собаковод привел в коммунальную Тонину квартиру трех здоровенных дворняг с телами лаек и мордами овчарок, провел их в комнату и запер дверь. Толстая старуха между тем стала колотить в эту дверь ногами и всем телом, требуя выкинуть собак, и, не добившись ничего, кинулась к телефону общего пользования вызывать милицию. Оставив эс-бе в комнате, собаковод вышел к ней, щеголевато козырнул и приказал убираться к определенной матери. Старуха охнула и быстро слиняла в свою конуру. А эс-бе уже рыскали и кружили в комнате Тони, обнюхивая все, к чему мог прикоснуться чертов разведчик, весьма интимным образом обнюхивая мрачную Тоньку и отчего-то друг друга. Через считанные минуты они вылетели из комнаты, из квартиры, из дома, оперативно вывалялись в ближайшей помойке и, приняв вид обычных бродячих собак, кинулись в разные стороны.

Поздним вечером, когда стало ясно, что поиск ничего не дал даже при помощи всех мобилизованных эс-бе, решил полковник Аракелян на последнюю отчаянную меру. Взяв с собой Углова, вошел он в бункерную лабораторию, встал возле постели Муртазова, лежащего, как всегда, с закрытыми глазами, и обратился как бы к нему, глядя прямо в буддийско-мусульманское лицо телепата:

– Роман Федулов, критик из Рыбинска, он же американский агент, имя неизвестно, посланный в Москву с помощью телепортации сутки назад, возраст

примерно тридцать пять, высокий, атлетично сложенный, цвет волос каштановый с проседью, без особых примет, в одном носке на левой ноге, передаю фотографии профиль и анфас! – Аракелян мельком глянул на фотографии Джеймса и, выждав, когда покорный валеk Углова ухнул телепата по лбу, продолжил на хорошем английском языке, довольно тихо: – Господин Федулов, ваша ставка бита! Вы раскрыты! Ваша миссия обречена на провал! Вы слышите нас? Как видите, мы нашли вас в рекордно короткий срок! Ждите нас! Мы близимся!

Но Джеймс ничего не слышал, ибо в двухместном купе ему достался попутчик самый ужасный: чуть только залегши на полку, этот лоснящийся читинский хозяйственник захрапел так устрашающе, что Джеймс был вынужден отгородиться от него тонким, но все же непроницаемым колпаком силового поля, даром что из-за этого лишал себя способности к телепортации на неопределенно долгий срок. Но очень уж спать хотелось, и храпучий сосед не дал бы – вот и спал Джеймс в силовом колпаке, вот и не слышал никаких утрашений полковника Аракеяна. А если бы и услышал, то не поверил бы ушам своим: Джеймс верил только инструкциям.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 6

Евгений Витковский

VI

Развращенный счет в поэте многое грубиянством считал, но это были подлинные признаки великой души.

Борис Шергин. Пушкин архангелогородский

Одним Соломон Абрамович Керзон напоминал внешностью и характером видного полководца времен Гражданской войны Георгия Ивановича Котовского (не столько его, сколько актера Николая Мордвинова из фильма военных лет в этой роли, но это неважно), другим – известного писателя и трижды лауреата Сталинский премий Семена Бабаевского. Был он человеком толстым и огромным, голос имел красивый и басистый, что немало способствовало его популярности у многочисленных слушателей: в областных органах безопасной государственности Соломон Абрамович вот уже сорок лет как вел семинар по творчеству Пушкина, с некоторым, впрочем, перерывом накануне смерти Сталина – но об этом разговор отдельный. Вел совершенно безвозмездно, – как говорил он кое-кому из ближайших друзей, “работал за бесплатно и цел остался тоже за бесплатно”. Чуть ли не у всех работников областных Органов стояла на полке вышедшая вот уже третьим изданием книга Керзона “Пушкин вокруг нас” – с дарственной надписью автора. Словом, монументальный Соломон был хорошо устроен в жизни: стар, жизнелюбив, но, правда, совсем одинок.

Родители по сложным причинам исчезли около двадцать третьего года.

Соломону было тринадцать, только-только совершеннолетие.

Девятилетняя сестра Рахиль да сам Соломон – вот и все, что осталось от семьи,

едва ли не самой уважаемой в Волковысске, – и дом на Бульварной улице с балконами, и даже собственное отчество, – как-никак единственная память об отце, но от нее уж не денешься никуда, – давно казались Соломону чем-то чужим и выдуманным. Соломоша не отчаялся, пошел работать, кончил вечернюю школу, перебрался в Москву, а там и университет осилил. Поехал преподавать русскую литературу в Свердловск. Больше всего на свете любил Пушкина и родную сестру; однако же сестра, не спросившись, прямо перед войной вышла замуж за другого преподавателя литературы, притом за человека, глубоко Соломону мерзкого, которого звали Федор Романов. Неприятен был Романов Керзону решительно всем – от дурацких дипломов за накарябанные на семенах риса статьи Мичурина до дурацкой, неприличной для советского человека фамилии. Ибо Соломон искренне считал, что всю литературу в России загубили Романовы. Сестре он это все пытался объяснить, пока она две недели в невестах ходила, потом перестал, отчаялся. А она взяла да и умерла в сорок четвертом, когда сам Соломон на фронте был, умерла, а перед тем родила Соломону племянницу. Впрочем, иметь племянницу по фамилии Романова Керзон тоже не желал, и примирился с таким родством лишь через много лет, узнав, что Софья давно не Романова, а Глущенко, даже познакомился с ней и стал видаться, когда повод к тому был. Впрочем, Романовы, Глущенко, даже самые лучшие из людей – разве это были люди? Это были не люди, а тени. Что они понимали в Пушкине?

Пушкиным Соломон был болен, как горбун горбом, как слепец слепотой. Ни дня, ни секунды не жил старый Соломон, с самой юности начиная, без Пушкина, без великого своего соотечественника. Что-то напутало в довоенные годы рабфаковское сознание Соломона, сбило с панталыку такое недвусмысленное имя пушкинского прадеда – Абрам. А узнав, что кого-то в той же семье звали Саррой, а деда Пушкина, брата его, даже кажется еще кого-то – Львом, подсознанием уверовал Соломон, что Пушкин – еврей. Даже с годами разобравшись, что тут в общем и целом к чему, убеждений своих не переменял, ибо знал туго: эфиопы-то – семиты! Так как же мы с ним не евреи? И веру эту таил на дне души, ни с кем не делился, и не было в России человека, любившего Пушкина чище и бескорыстнее, чем Соломон. Именно – чище. Сколько шуму наделала в Москве, в лучшем литературоведческом журнале, объемистая статья Соломона Керзона “Одна баба сказала...”, в которой Соломон, отточеннейшими аргументами оперируя, камня на камне не оставил от легенды о якобы донжуанских подвигах Пушкина. В первых же строках статьи ставил Соломон ребром наиболее жгучий вопрос пушкинистики: уступила Наталия Николаевна Дантесу или нет? – и сам же клал этот вопрос на обе лопатки, в архив, как решенный раз и навсегда. Ибо чего же проще? Изучив письма множества женщин-современниц, особенно интимные, отыскав полсотни мелких упоминаний о Дантесе, доказал Соломон всю безграмотную безнравственность постановки этого вопроса. Ибо не мог сей грязный убийца приносить жертвы на алтаре любви за неимением, так сказать, скипетра, ввиду врожденной приспущенности своего любовного штандарта, точнее, полного отсутствия такового гюйса. Короче, как могла Наталия Николаевна уступить импотенту?

Как дважды два доказывал Соломон и то, что, помимо Елизаветы Воронцовой и родной жены, были у Пушкина еще только две, может быть три любви, да и только. Ибо никаких прямых доказательств прочих связей история не сохранила! Ну и что, что сам писал о том, как за Фикельмон в голом виде бегал? Но ведь только бегал? А не наклепал ли на себя? А если и бегал, то догнал ли? Мало ли что человек сам на себя наговорит, даже в суде признание еще не есть доказательство вины! А было ли еще что – этого нам, граждане литературоведы, знать не дано, мы там со свечкой не стояли. Поэтому и давайте считать, что не было ничего, что не доказано. а доказано только то, что подтверждено четырьмя уважаемым свидетелями. видевыми «ключ в замке»... Тут Соломон пускался в такие дебри шариата, что любой мулла заколдобился бы. Статью, правда, печатать не рискнули, лицемеры проклятые, побоялись острую и злободневную тему поднять, но о Соломоне заговорили, и однажды, проснувшись поутру, понял Соломон, что стал знаменитым.

Стали печатать другие его статьи, связанные с развенчанием других, менее острых легенд о Пушкине. Много шуму наделала длинная его повесть, написанная от первого лица, по которой даже Центральное телевидение фильм сняло – “Веду следственный эксперимент”, где рассказал пушкинист Керзон о том, как продал комплект “Брокгауза и Ефрона”, на вырученные деньги поехал в Ленинград, точнее – во Псков, еще точнее – в Михайловское. Хотя недостойный младший сын поэта, Григорий, своими перестройками усадьбу изувечил, планировка ее Соломоном была изучена досконально. Увлекательно описаны были и сторож у входа в усадьбу, превращенную в плохонький музей, почему-то именуемый «заповедником», и всякие местные задворки отнюдь не праздничного вида. Но главное, чем интересовался пушкинист, было в другом: по легенде, Пушкин не поехал навстречу судьбе в Петербург на Сенатскую потому, что ему перебежал дорогу заяц. А потом, по другой легенде, ему еще и поп встретился!

Соломон провел в Михайловском неделю и ежедневно ходил по дороге на Ленинград. И хоть до Пскова дойди – ни одного зайца! Ни одного попа! Ходил обратно – и опять ни зайца, ни попа! Семь раз ходил Соломон, устал, решил – хватит, больше не пойдет! Фильм по телевидению прошел отлично, правда, про Пушкина там все убрали, только пейзажи показали, но Соломон в одном кадре был ясно виден. Но все-таки ни попа, ни зайца! Ни единого!

Жил Керзон, впрочем, не одним только развенчанием легенд. Никто и никогда не составлял картотеку ВСЕХ людей, с которыми общался или мог бы общаться Пушкин. Соломон составил ее и продолжал все время пополнять. И всем мыслимым потомкам таковых людей, едва только отыскивался заветный адресок, писал Соломон задушевное письмо: нет ли чего о Пушкине? На тысячу писем одно приносило результат – там семейную легенду, тут неизвестную остроту, вот, глядишь, одной легендой меньше в пушкинистике становилось, одной почти наверняка пушкинской эпиграммой больше. А годы шли, сменялись десятилетия, все меньше находок попадалось, но, против всяких ожиданий, были они все весомей. Как бомба с небес, рухнуло на пушкинистов Соломоново исследование “Пушкин и Ланской”, где безупречно отточенными

аргументами и неоспоримыми фактами доказывал автор, что Пушкин и Ланской – будущий муж вдовы Пушкина – скорее всего могли быть знакомы! Ведь тогда – страшно подумать, что никто не понимал этого раньше! – становится понятно, что Ланской женился на Наталье Николаевне, исключительно руководствуясь чувством дружеского долга! И вообще очень был хорошим генерал Петр Петрович.

Вел Соломон и большую общественную работу. Стал как-то раз даже застрельщиком большого всесоюзного движения, проходившего под лозунгом – “Пушкин – для каждого города и села”. Идея Керзона была проста: пусть не останется по всей Руси великой ни одного города, ни одного поселка городского типа, ни даже, по возможности, ни одного села без памятника Пушкину! И впрямь ведь стыдно, что ни в Киржаче, ни в Верхоянске, ни, скажем, в Темрюке нет даже махонького памятника великому поэту. И поставлено было по Соломоновой инициативе памятников и бюстов немало. Фельетонов же его о неуважении к памяти Пушкина (встречалось, оказывается, и такое) просто боялись.

Врагов особенных не было, все знали, в каком учреждении Соломон Пушкина по субботам проповедует. Не считать же врагом Леньку Берцова, – ровесника, поэтому Леньку, а не Леонида Робертовича, – декана факультета, на коем Соломон до выхода на пенсию зарплату получал: раньше это высокое место занимал Соломон, но в конце сороковых попросили его оттуда – брякнул не вовремя, что Пушкин жене письма по-французски писал. Берцов, конечно, занимал по сравнению с Керзоном место более высокое в мире преподавательском, но был – если сравнивать положение литературоведческое, а не деканское, – по сравнению с Керзоном сущей мелочью. Его приходилось считать уж скорей другом, чем врагом, – столько лет было провоевано штык против штыка на поле историко-литературоведческой брани. Берцову не особенно повезло в жизни, да к тому же был он в ней таким же одиноким стариком, как и сам Соломон, – и на литературной ниве тоже. Ниву он, впрочем, выбрал себе тошную да жилистую, всю жизнь исследовал творчество пресловутого графа Хвостова, даже составил том для “Библиотеки поэта”, том этот все в планы не ставили да не ставили; пусть даже удалось ему пяток сочувственно-реабилитационных статей о своем кумире в научных изданиях опубликовать, но чуть только пытался он из своих статей книгу сложить, как она кубарем летела на рецензию к Соломону, тот писал, что вообще-то врагом он Пушкину не был, но это как плотник супротив столяра и другая Каштанка, ну... и... Впрочем, как-то прожив семь десятков лет с пятым пунктом и без отсидки, продолжал читать лекции Берцов на своем факультете, рассуждал о русской литературе XIX века в том духе, в каком полагалось, а в последние годы – причем по инициативе Соломона! – стал ходить к последнему в гости, поругаться и чаю попить. И уж совсем было бы смешно Соломону считать своим врагом полоумного Степана с первого этажа, который, как рассказывали ученики в семинаре, раз в две недели отправлял шпионское донесение, почему-то в Минздрав, о фанатической преданности С.А. Керзона А.С. Пушкину. Соломон в этом ничего плохого не видел.

Соломон не скучал. Сейчас, к примеру, вел он длинную переписку с одесским обкомом: требовал установки в Одессе памятника Елизавете Воронцовой. Фельетон в центральной газете “Ее знал Пушкин”, – впрочем, в рукописи фельетон назывался “Его жену знал Пушкин”, но не пропустили, гады, побоялись народу правду в лицо сказать, – и так уже взбудоражил этот прекрасный город. Социологический опрос, ради которого не поленился Керзон на свои на кровные скатать в Одессу, недвусмысленно показал, что 99% одесситов полагают: памятник Воронцову стоит за то, что его жену... м-м, скажем... знал Пушкин. И вопрос стоял совершенно ясный и для обкома неудобный: если уж не убирать памятник Воронцову, то уж по крайней мере ставить полнометражный памятник его жене. А деньги где?

Немногим больше года он вышел не пенсию и теперь мог все свое время отдавать Пушкину без остатка. Вот и сегодня, вставши в шесть утра, сделал он физическую зарядку, облился в ванной ковшом холодной воды. Жил Соломон по свердловским понятиям просторно, в однокомнатной квартире с ванной, совмещенной, конечно, – и с телефоном. Сел работать, написал четыре страницы нового исследования о городах, которые мог бы посетить Пушкин, – если бы Николай Первый, этот кровавый ублюдок, отпустил бы гения русской литературы в поездку по европейским городам, – о тех отелях, где Пушкин вероятнее всего остановился бы, о тех исторических личностях, с которыми он, вероятнее всего, там повстречался бы, как повлиял бы на их жизнь и на творчество. Работа шла споро, он как раз окончил описание возможного посещения Веймара и собирался, в силу особенностей своей музы, не признающей географических расстояний, начать описывать возможное посещение Кадикса – как зазвонил телефон, и оказалась на другом конце провода племянница Софа, а совсем не Ленька, декан хренов, – как подумалось ему, прежде чем взять трубку. Долго и по-семейному расспрашивала о здоровье, Соломон даже растрогался, потом о работе, очень интересовалась пушкинским временем, особенно декабристами, обстоятельствами восстания на Сенатской, задавала немного наивные вопросы – к примеру, отчего это все так внезапно случилось, – и когда он объяснил ей, что внезапно было не восстание, а весть о смерти Александра Первого, сказал ей также, что умер царь Александр, как точно теперь известно, от дурной болезни, вообще все в этой поганой династии были либо алкоголиками, либо английскими шпионами, либо наркоманами, либо импотентами, либо... Соломон чуть не сказал “сектантами-скопцами”, но что-то не вспомнил доказуемого примера. Софа очень попросила дать ей почитать что-нибудь об этом периоде, и еще ее зачем-то интересовал легендарный шарлатан Серафим Саровский. С этой последней просьбой Соломон помочь не мог ничем, а по остальному имелось у него все что душе угодно – с поправкой, конечно, на то, что не все авторы стояли на истинно правильной точке зрения. Договорились, что она зайдет к пяти – когда он работать закончит.

За окном всю летели желтые листья – уже начался октябрь. Ясное дело, лезли в голову соображения о “короткой, но дивной поре” (вероятно, из года в год происходившей где-то в стороне от Свердловска, так или иначе, Соломон ее

сроду не видал), а также и о собственной осени, о наставшей творческой зрелости. Керзон чувствовал себя по-юношески полным сил. Сколько еще оставалось тем! Кому передать их? Где взять себе смену? Сколько талантливых людей тратит себя попусту: тот же Ленька, не занимайся он своей чепухой, сколько мог бы интересного разыскать, пусть не на магистральных дорогах пушкинистики, так хотя бы на проселочных. Вот ведь тема, например: на каких лошадях, с каким извозчиком поехали Пушкин с женой после венчания? Какой дорогой поехали? Как вечер провели? Чем потом занимались? Соломон, размечтавшись, уже видел в грезах некую книгу какого-нибудь своего ученика, под названием “Один день Пушкина”, а надпись на ней будет непременно дарственная, такая, скажем: “Великому учителю – недостойный ученик”... Соломон оборвал себя на полумысли. Как же. Дождешься от них.

Выглянул в окно. Внизу, невзирая на сырость, играли в домино местные старики. Соломон узнал кое-кого из соседей – Бориса Борисовича, жившего прямо над ним, инвалида, что-то там отморозившего себе в финскую кампанию, во время превентивного контрнаступления; потом полоумного Степана, еще братьев Ткачевых из соседнего двора, все уже дряхлые, все уже непьющие под угрозой вовсе скапутиться, и все же почти все – даже не его, Соломона, ровесники, все – моложе. “Гнилое военное поколение”, – подумал Соломон. Он-то тоже прошел войну от Москвы до Ясс (там демобилизовали по бюрократическим причинам), и никто не посмел бы упрекнуть его за то, что ни царапины не получил: и медаль “За отвагу” у него была настоящая, и под кинжальным огнем случалось бывать, даже побрило его осколком снаряда как-то раз, – а вот вышел из всего этого ада невредимым. Берегла судьба его, берегла для великого и бескорыстного служения делу Пушкина.

В воротах дома появилась Софья. Неужели уже пять? И в самом деле. Соломон быстро сложил бумаги, сдвинул в стопку приготовленные для племянницы книги и стал ждать звонка, стоя в прихожей. Софья вошла такая же, как обычно, молодая и красивая, хоть и с синяками под глазами, натерпелась, видать, от своего муженька, он ведь пьет как сапожник, да и, не ровен час, может быть, и жену поколачивает. Вошла и села в кресло за столом, он присел напротив. Поговорили – все о том же самом, о чем утром по телефону, еще о погоде и о здоровье. Софья на свое жаловалась, а Соломон свое хвалил как мог.

– Не представляешь, Софа, каким молодым я становлюсь к старости. Кажется, вот взял бы сейчас переметную суму да посох кленовый, – даже в разговорной речи не мог отрешиться Соломон от былинного стиля собственных писаний, – и пошел бы, понимаешь, по Руси, до самого Кишинева, до Измаила, все бы села да веси обошел и везде бы каждого старичка да каждого пионера спросил бы: как знаешь Пушкина? А там, глядишь, народных преданий о нем подсобрал бы, глядишь, какие подлинные факты неизвестные всплыли бы, а там и засветилась бы вся жизнь Александра Сергеевича новым дивным светом от любви всенародной, фактами подтвержденной да документами, а с ней бы и моя тоже заново засияла, и не так бы мне жалко в могилу сходить, – старик всхлипнул и с нежностью посмотрел на висящий в углу большой, маслом писанный портрет, копию с картины Кипренского, и чуть заметно поклонился.

– Да что вы, дядя, в самом деле, панихиду раньше времени заводите, – отозвалась Софья, – вам еще жить и жить. Вон, книгу снова выпустили, в газетах пишут о вас...

– Пишут, Софонька, пишут, даже не только у нас, а вон мне и из Монтевидео вырезку прислали. Не все, правда, пишут, не все в нашем полку пушкинистов душой чисты и не все мои работы правильно понять могут. Вон, баба какая-то в Кинешме объявилась, такую гадкую статью в “Вечернем Киеве” напечатала, срам сказать, будто у Геккерена мог быть роман с герцогиней Лейхтенбергской. Нет, ты только послушай, ересь какая, каким образом он мог бы с ней встречаться, когда... – и Соломон поплыл в дебри косвенной пушкинистики, которые Софью нимало не интересовали, за исключением одного только аспекта. И она, выбрав удобный момент, когда Соломон недобрым словом помянул Александра Первого, вклинилась в стариковский монолог:

– А что это я там слышала такое, будто царь не умер вовсе, а бороду отрастил и в старцы подался?

Слова эти неожиданно вызвали у Керзона приступ хохота, постепенно перешедшего в кашель, а по окончании кашля – в злобное хихиканье.

– Ой, золотая ты моя девочка, знала бы ты только, чья это брехня, срам рассказывать, великого русского, так сказать, писателя, графа Льва Толстого! Знаешь, анекдот есть, как входит к нему лакей, кланяется и говорит: “Пахать подано!” Вот так и тут вот – пахать... Это ему, графу, добрый царь нужен был! Чтобы хоть задним числом он добрый был! Нет, все это, девочка ты моя золотая, доподлинная графская брехня. – Внезапно посерьезнев, старик переменил тон. – Есть, впрочем, косвенные свидетельства того, что легенду эту он не сам выдумал. Как раз вот к примеру хотя бы даже Пушкина возьмем, он этой самой историей тоже интересовался. Но тоже, сомнений не может быть, только из тех соображений, что любой повод посеять в умах мысль о незаконности правления Николая – само по себе уже большое благо. Он ведь куда как прозорлив был, родной наш Александр Сергеевич! В переписке Иллариона Скоробогатова с Натальей Свибловой – знаешь, там, где я нашел упоминание, какое приятное лицо было у Ланского... – Софью как током ударило, эти фамилии она знала слишком хорошо, пусть имена к ним на этот раз были добавлены неизвестные, – там есть упоминание, что брат Натальи, он в монахах служил, этому самому Федору Кузьмичу некоторые книги посылал, “Евгения Онегина” в том числе. Я об этом писал в одной статье, но мне это сократили. Какое же нужно еще доказательство, что старец этот самый, какой он ни на есть жулик, а может быть и вполне честный человек, только тронутый, – никак не мог быть Александром Первым? Хоть в те времена десятой главы еще никто не читал, знаешь, как там –

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда...

Эти строки Софья теперь знала даже слишком хорошо, но не говорить же об этом старику, который тем временем продолжал монолог:

– Но ведь и в других главах все же ясно сказано! Да и вообще какое было дело русским царям до русской литературы, разве только в том смысле, чтоб ее удушить, искалечить, кастрировать, обескровить, обессолить! Стал бы этот Александр читать Пушкина на старости лет, как же... Он, до таких лет доживи, он “Майн Кампф” бы читал, ничего больше! – с пророческим пылом закончил Соломон.

– А кто это такая Наталья Скоробогатова? – спросила Софья, не моргнув глазом.

– Была такая... Тоже, как Наталию Николаевну, Наталией Николаевной ее звали. Дочка героя Бородинского сражения, хоть о нем самом мало что известно. Вот были бы у нас серьезные ученые, так о нем бы сейчас две-три монографии, уж не меньше, изданы были бы. А там – где нам. Еле фамилию знаем, что ноги в сражении потерял, что потом двух дочерей прижил – и все. Вот эта самая Наталия, она, есть сведения, на первый бал выезжая в Петербурге, с Пушкиным танцевала. Об этом Греч еще в одном письме пишет, срам рассказать, мол, Пушкин, старый – Соломон поперхнулся от гнева – кобель, опять к девочке какой-то липнет. Вот я и копнул, где мог, улов небогатый был, но все же кое-что насчет Ланского поймал, ведь он с той же самой Натальей танцевал на том же балу. Значит – Пушкин и Ланской были в одной зале! Да ты читала об этом, наверное, я писал. Правда, там многое вырезано...

– А вторая сестра? У Скоробогатова дочерей две было, вы сказали?

– Да... В самом деле. Я как-то упустил. – Соломон в растерянности поморгал. – Ты молодец, девочка, у тебя врожденный талант. Как же я другую сестру упустил? Вот ведь дурак старый, даже архивы не пытался поднять по этой линии. Помню, что они погодки, девочки-то, были, а вот которая старше... Анастасия! Ведь Пушкин мог и с ней на другом балу танцевать! – Старик перегнулся через стол и быстро-быстро настрочил что-то на четвертушке бумаги. – Да, Софонька, талант у тебя к пушкинистике прирожденный! Непременно надо будет проверить!

Дальше разговор на сестрах Скоробогатовых задерживать было опасно, ибо старик, со всем своим архивным рвением взявшись за Анастасию, мог нечаянно откопать и ее церковный брак, а в том, что прапрадед венчался под настоящим именем, пусть без указания титула, Софья не сомневалась. Оставалось уповать, что у дяди до этой темы в ближайшие годы руки не дойдут. Поговорили еще о том о сем. Софья взяла со стола приготовленную стопку книг о декабристах и, конечно, о Пушкине, хотя таковых не заказывала, поцеловала дядю возле дверей и прочь пошла. Во дворе так же резались в домино старики, и совсем молодой дворник какой-то восточной расы сгребал в кучу палые листья. Соломон, глядевший из окна, заметил, что, как только Софья вышла из ворот, один из стариков, хорошо Соломону известный, передал коробочку с “костями” стоявшему за его спиной такому же мшистому деду, и ужом скользнул в парадное.

“Донос побежал на меня строчить, дурак набитый”, – усмехнулся про себя Керзон. От сознания того, что на него кто-то и теперь доносы пишет, а они действия не оказывают ввиду его, Соломоновой, чистоты в глазах бывших

семинаристов, чувствовал себя пушкинист как-то еще моложе, стройнее, бодрее, напористей. “Пиши, пиши. Надо будет попросить, чтобы почитать дали. Ошибки делаешь поди”.

Соломон не ошибался: как раз сегодня Степан Садко собирался написать очередной донос – не только на него, на Керзона, но и на многих других лиц, – об этом Керзон уже не имел представления. Дело в том, что не доносы писал Степан, а слал шпионские донесения маньчжурскому правительству.

В молодости был Степан Садко простым советским столяром-краснодеревщиком, женился в тридцать пятом году, в партию вступил в тридцать восьмом, хорошая была жизнь, молодая, – дочка росла папе на радость, и жена у Степана была – жаркая, сладкая, Тинкой звали. Все было. А пришел тридцать девятый год, сентябрь месяц – сразу ничего не стало. Стукнул на него сосед по квартире, Макар, что с Тинкой все выпасться хотел. И загремел Степан по статье пятьдесят восьмой, по куче пунктов, как маньчжурский шпион, еще, впрочем, и как литовский, и как эстонский, хоть и государства эти почти сразу приказали долго жить; да и Маньчжоу-Ди-Го в сорок пятом тоже с карты мира исчезла – а Степан все гремел да гремел по пересылкам и командировкам той же самой карты мира от Уфы до проклятой Серпантинной, гремел шестнадцать лет с лишком, все забыл, что когда-то было, и Тину забыл почти, и дочку, но, скрежеща последними зубами и кулаки с каменной кожей стискивая, – хотел только одного: выйти да убить Макара. Но когда вышел он все-таки из лагеря, добрался до родного Свердловска, узнал, что женился совсем скоро после Степановой посадки проклятый Макар на Тине, про дочку уж и вовсе неизвестно ничего, и увез семью в неведомый город Белосток. А где его там искать в Белостоке, если город этот теперь обратно в Польше.

Устроился Степан на работу вроде как бы по прежней специальности, спрос на нее как раз был, и работал две недели, а после узнал, что в соседнем цеху вкалывает третий человек из их довоенной квартиры, тогдашний мальчишка Сашка, а теперь вот мастер Сафонов. Ну, выпили они за встречу как в таких случаях быть следует, и узнал тогда Степан, что про Макарову женитьбу на Тине – все правда, а вот про город Белосток – все вранье, непонятно даже чье. Потому что в декабре того же сорокового вызвали Макара среди ночи в места обычные и прямо без церемоний сразу же расстреляли – притом именно как маньчжурского шпиона, кажись, даже настоящего. А жену его с чужим ребенком – тьфу, каким чужим, а его же, Степановой, дочкой, – дели вообще неизвестно куда. Такие вот дела. И тогда Степан умом тронулся. На Маньчжурской империи рехнулся.

Отвезли его в психическую, держали там одиннадцать месяцев, потому что бредил он там своим и чужим маньчжурским шпионажем, ничего про эту самую давно покойную Маньчжоу-Ди-Го толком не зная, кроме того, что есть где-то город Харбин, то ли столица Маньчжурии, то ли важный в ней какой город, и вот оттуда получает он, Степан, все время какие-то инструкции и наблюдения за всеми ведет очень важные. В начале пятьдесят восьмого года в больнице сменился главный врач, после появления какого-то выписали Степана как человека безвредного, лишнюю койку у больных отнимающего, и отправили на

прежнее место работы, где ему – как-никак краснодеревщику высшей квалификации – выделили комнатку с отдельным со двора входом – получилась такая после перестройки дома. После лагерей стал Степан еще и совсем непьющим, а безумное его убеждение в шпионаже, которым он так усердно занят, он умело от всех таил, – так усердно, что даже политуру не пил. Но строго раз в две недели садился он у себя в конуре в старинное кресло к старинному столу, каковые из-за проеденности древоточцем выделили ему на новоселье, корявым почерком писал обо всем, о чем за истекший срок пронюхал, донос в город Харбин прямо маньчжурскому императору. Шел к почтовому ящику и бросал в него письмо с десятикопеечной маркой; с сортировочного пункта шло письмо напрямую на международный почтамт в Москву, а оттуда, по существовавшей договоренности, пересылалось автоматически в Министерство здравоохранения, где имела заказная для него диспансером полочка: все его донесения на нее складывались и по первому требованию должны были передаваться в диспансер. Но вел себя отпущенный на волю Степан предельно тихо, на переосвидетельствование приходил по первому зову, – так что за все годы никто ничего из Минздрава в Свердловск и не запросил.

В том и было счастье Степанове, что времена переменились, а вел он себя образцово. Ибо, затаив лютую злобу на искалечившую его жизнь советскую власть, поклялся он самому себе: служить только маньчжурскому императору, принести ему, и только ему, максимум пользы. А двор, в котором Степан играл в домино, был непростой, у половины стариков сыновья, да и дочери, работали на двух оборонных заводах, и из их болтовни безумный мозг Степана вырывал мелкие факты несомненного оборонно-наступательного для Маньчжурии значения. И будь на месте Степана настоящий шпион, и не отправляй он информацию по советской почте, а сдавай их правильными шпионскими каналами куда полагается – заслужил бы он уже не один орден на службе у той страны, для которой трудился бы; ну, и, конечно, погорел бы давным-давно. Но донесения Степана, к счастью для СССР, шли в Минздрав. А на Керзона Степан имел особый зуб: тот был толстый лысый еврей. По мысли же Степана, с евреями в России маньчжурский император должен был решительно покончить. Вот и пошел краснодеревщик в свою конурку, вот и написал, что нынче агента мирового сионизма С. А. Керзона посетила какая-то баба, тоже жидовка, и между ними имело место закрытое совещание о способах свержения правительств России и Маньчжурии для последующей колонизации таковых быстро плодящимися жидами. А также сообщил припасенную еще с позавчерашнего дня новость о том, что сын Бориса Борисовича, работающий на ракетном заводе, перешел в новообразованный сектор – цех нейтроники. Дописал, заклеил, пошел, бросил в почтовый ящик на углу, вернулся к доминошникам, сел, час играл, выиграл, имея в напарниках, кстати, того самого Бориса Борисовича.

Тем временем монголоидного вида дворник, молодой еще совсем парень, студент архитектурного института Лхамжавын Гомбоев – (в дворники пошел потому, чтоб в общежитии не жить, под жилье выдали неотопливаемую

пристройку, в половину той, что дали Степану) – а точнее, китайский разведчик Хуан Цзюю, юркнул к себе домой, быстро сунул руку в щель стены, ведущую прямо в нутро почтового ящика, выловил конверт, так же быстро, над паром заранее закипевшего чайника, вскрыл, вслух перевел текст на бурятский язык, надиктовал его на крошечный японский магнитофон, снова заклеил Степаново письмо и отправил оное снова в почтовый ящик. Он ненавидел Степана за то, что тот, в лагерях привыкнув называть всех косоглазых китайцами, называл китайцем – “У, китайская рожа” – и его; от этого дворник очень боялся разоблачения и давно убрал бы Степана к предкам, но откуда бы еще он стал получать такие полные и ценные сведения, как не из писем Степана? Так что приходилось терпеть. И Гомбоев-Хуан копировал вот уже несколько лет эти самые письма, приняв эту должность от предшественника, который много лет перед тем копировал те же письма, но помер от старости; терпел Степаново хамство, учился в никому не нужном архитектурном институте и в свободное время спал с русской уборщицей Люсей, имея от нее, кстати, уже двоих детей. Конечно, от этого население страны-агрессора увеличивалось, но Гомбоев-Хуан об этом не задумывался. Он тоже, как и вовсе неведомый ему американец Джеймс, признавал только инструкции. А по данным ему в Кантоне указаниям он должен был спать в СССР со всеми женщинами, которые того пожелают, чтобы лишнего внимания не привлекать; в этом отношении инструкции Элберта и Кантона были удивительно сходны. Хуан исполнял эту работу со всей возможной тщательностью, любовником был отличным и отцом заботливым. Люся нарадоваться не могла и была беременна в третий раз, о чем Хуан пока еще не знал.

авел II том 1 Пронеси, Господи Часть 7

Евгений Витковский

VII

Если вас приглашают царствовать, зовут на трон – вы, если вы человек воспитанный, должны поломаться и сначала, для виду, отказаться.

И. Василевский (Не-Буква). Романовы. Портреты и характеристики.

Очень было в этом доме холодно, поэтому Джеймс грел то и дело кипятком в кастрюльке, заваривал грузинский чай второго сорта и жадно пил его. Заварку щепотками воровал у соседей.

Дом стоял на дальней окраине Свердловска, но построен был давно, на рубеже веков. Длинное двухэтажное здание до недавнего времени было набито жильцами громадных, по восемнадцать комнат, коммунальных квартир. Но недавно дом поставили на капитальный ремонт, собрались, видать, переделать его под какую-то организацию. Ремонт начинать и не думали, постоянных жильцов спихнули куда-то, скорее всего, в другие восемнадцатикомнатные коммуналки, а на смену им пока что явились немногочисленные вечные странники-бомжи, вовсе никакой закрепленной за ними жилой площади не

имеющие, годами живущие в больших городах, кочуя из одного капремонтного дома в другой – от дней выезда последних постоянных жильцов и до появления первых плотников и маляров. Иногда эти странные люди ухитрялись прожить на одном месте два и даже три года, все эти дворники без определенных занятий, студенты, пробующие попасть в дворники, неопрятные юноши, явно скрывающиеся от призыва в армию, случайные приезжие, просто темные личности, даже попавшие сюда по благу в домоуправлении бегающие от алиментов коренные свердловчане, – но более всего бывшие дворники. В этом доме, похоже, переселение не грозило им до самой весны. Октябрь становился все холодней, крыша уже протекала, но Джеймс, приютившийся в комнатке из числа самых скверно провонявших, заглядывая тихонько в каморки своих товарищей по бездомью, только диву давался: как капитально, с каким вкусом и нищенским комфортом устраиваются они. Старые пружинные матрацы, поставленные на кирпичи, накрывались кусками ярких материй, по стенам развешивались малопонятные лозунги, очень редко антисоветские или, к примеру, непристойные; чаще попадались такие: “Даешь обратным назадом!”, “Виновных нет, а жить невозможно”, “Если делать, то по-большому”; висели тут и картины собственного изготовления, фотографии, иной раз даже американских писателей Фолкнера и Хемингуэя, чаще, впрочем, – только что умершего артиста Высоцкого. Появлялись электроплитки, электронагреватели, даже еще что-то электро-, благо в доме электричество пока не отключили, не то по забывчивости, не то кто-то бутылку вовремя отнес куда надо. Купил и Джеймс электроплитку на толкучке, конечно, за два рубля. Денег у него вообще было в обрез. А даже если бы и были, он, согласно инструкции, не имел права жить ни в гостинице, ни на частной квартире – только на конспиративной. Но чтобы достать денег или хоть какой-никакой конспиративный адрес, надо было дать о себе знать в колорадский центр, выпить поллитру, то есть, выйти на связь с Джексоном. Но дать о себе знать – значило и обнаружить свою позорную телепортацию из Татьяниной квартиры. А для единственного способа сделать деньги “из ничего” Джеймсу требовалась вещь, в свердловских условиях вообще нереальная – финская баня. И Джеймс жил на положении советского хиппи, стараясь ни с кем не общаться, уже вторую неделю. Было холодно и голодно, хотелось выпить, но как раз этого уж и вовсе было нельзя никак, хотелось женщину, но посторонних контактов до тех пор, пока не отыщется Павел Романов, было тем более нельзя. Можно было только одно: разыскать Павла Романова и наладить с ним общение на высшем уровне. Только в том случае, если бы Павел от контакта полностью отказался и объявил, что ни на что не претендует, только тогда вступали в действие другие инструкции: ему, Джеймсу, предстояло – чуть ли не сороковому такому вот неудачнику – тащиться в одиночестве на Брянщину и кое-кого уламывать без видимых надежд на успех. Или хотя бы этого самого “кое-кого” просить вступить в законный брак. Хотя все эти действия носили бы скорей характер проформы – все равно никого еще на этой Брянщине проклятой за столько лет никто не уломал. Оттого и ухватилось начальство в Элберте за “екатериносвердловский вариант”.

Попал Джеймс в эту коммунальную недосноску случайно. Поезд, которым ехал Джеймс из Москвы в якобы Хабаровск, прошел Свердловск поздно ночью. Вскоре разведчик накинул пальто, чтобы чемоданчик поудобнее вынести, да и ночи очень уж холодные стали, и вышел в тамбур покурить, – читинский хозяйственник оказался некурящим, так что повод имелся всамделишный. Быстро отворив наружную дверь вагонным ключом-трехгранкой, он прыжком вылетел из поезда, описал дугу метров в двести и вцепился в верхушку громадной, омерзительно колючей ели. Скорее всего, до утра сосед его не хватится, а то и завтра не сразу розыски начнет, не в его это интересах – лишиться отдельного купе. Лучше бы, конечно, доехать до Иркутска, оттуда уже пробираться назад – но на такие ходы у Джеймса не было ни времени, ни денег. Джеймс разжал исколотые руки и тихо слетел на совсем раскисшую землю. Ноги вязли в ней почти по щиколотку, но Свердловск был рядом, и, плюнув на все, Джеймс побрел в сторону города.

До утра мотался он по темным и грязным улицам, как рассвело – пошел есть пельмени в пельменную, хотя желудок, без того попорченный в юности жуткой кормежкой в румынской армии, уже начинал побаливать от советских “деликатесов”. Попытался по плохонькому плану, никого не расспрашивая, понять – где находится нужная ему Восточная улица. Днем, изнемогая от простудной жажды спиртного, опять ел пельмени, уже в другой пельменной. Вечером снова ел пельмени. В третьей пельменной, конечно. И желудок Джеймса взбунтовался: в приступе неукротимой рвоты кинулся разведчик за какой-то недоломанный дощатый забор, там, скрючившись, освободился и от третьих пельменей, и от вторых, и, похоже, даже от первых. Потом огляделся и подивился схожести того дома, который был недоломанным забором огорожен, с тем, московским, “где еще эти двое любовь делали”, как подумал Джеймс, – и решил разведать, что это за везение такое ему на дома, предназначенные к сносу. Пользуясь темнотой, обошел дом, заглядывая в окна, удивляясь, что тут кто-то живет. Потом ощутил легкость во всем теле, происшедшую от полнейшего – посредством рвоты – очищения души, облетел дом, заглядывая в окна второго этажа. Понял, что живут здесь, так сказать, советские хиппи, – лишь очень и очень не скоро из случайных разговоров уловил он, что называется все это безобразие “капитальный ремонт”. Живут здесь человек десять-двенадцать, мужчины и женщины, иногда парами, чаще поодиночке, подальше друг от друга. Пустых комнат оказалось не перечесть, иные даже с выходами на лестницу. Не веря удаче, влетел Джеймс в битое окно на втором этаже, выбрал комнатку возле бывшей коммунальной кухни – чтобы возле черного хода быть, на случай нелетной погоды. Завернулся в пальто, чемоданчик под голову сунул. Так устал, что даже под утро никакая баба не приснилась.

Проснувшись, отправился опять на поиски Восточной улицы и, слава Богу, нашел ее, здоровенную, и дом № 10 тоже нашел, и квартиру Павла и Кати – тоже на должном месте. В Скалистых горах фотографии Павла не нашлось, но, основательно проинструктированный касательно основных Романовых, Джеймс узнал бы его даже в толпе, никогда до того не видевши. Джеймс увидел Павла

ранним утром, когда тот вел вдоль бровки тротуара старого пса дворняжного вида. Неказистый для России был запланирован император: крутолобый, щуплый, малорослый, курносый, похожий даже не столько на своего прапрапрадеда Павла Первого, сколько на его незадачливого предшественника на российском престоле по мужской линии – Петра Третьего. До вечера прятался Джеймс в своем убежище, потом опять добрался до Восточной и с трудом взлетел на карниз четвертого этажа: как он приметил наперед, это был почти идеальный наблюдательный пункт для заглядывания в щели плотных штор на романовских окнах. Первое, что бросилось в глаза Джеймсу, когда взглянул он на склонившегося над бинокулярным микроскопом Павла, – это то, что претендент на российский престол чрезвычайно плохо выглядит, при вечернем освещении синие круги под его глазами походили скорее уж на умело поставленные “фонари”. Напротив, жена Павла, обнаружившаяся в соседней комнате, показалась Джеймсу очаровательной – такие миниатюрные белобрысые женщины всегда производили на него неотразимое впечатление.

Неоткуда было разведчику знать, что такое раздельное времяпрепровождение в семье Романовых было лишь неприятным для Кати новшеством последних недель. Раньше Павел, придя с работы и отбыв всякие повинности домашнего и магазинного свойства, мог и с женой поговорить, и даже в кино пойти, – теперь же Катя не могла оторвать мужа от микроскопа даже самым испытанным за годы супружества способом: она как бы случайно являлась в белой полупрозрачной ночной рубашке, некоторое время что-то искала, – раньше этого было достаточно, чтобы Павел все посторонние дела бросил. Теперь она ложилась спать одна, с неприязнью бросая взоры на узкую полоску света под дверью мужниной комнаты. Павел по-прежнему ходил в школу на уроки, по магазинам с сумками и с Митькой, когда полагается, но все остальное время теперь отдавал рису. Только на исходе третьей недели каторжной работы по прочтению разрозненных и перемешанных текстов начинала складываться перед ним истинная история более чем столетидесятилетнего бытия Дома Старших Романовых, хотя многое было еще неясно; все же знал Павел и весь текст завещания Федора Кузьмича, – не догадываясь о местонахождении подлинника, – знал, как на протяжении ста лет, с тридцатых годов прошлого века, оберегали жизнь, спокойствие и архивы Старших Романовых люди из знаменитого рода уральских промышленников Свибловых, сознательно пошедших на ссору с правящей династией из-за них: лишь безграничное богатство Дмитрия Свиблова, лишь почти суеверный трепет, который испытывал Св. Синод перед преосвященным Иннокентием, епископом Томским и Барнаульским, в миру Игнатием Свибловым, младшим братом Дмитрия, лишь боязнь правительства лишиться неограниченных европейских связей Григория Свиблова, младшего из трех братьев, дипломата, – не позволили династии узурпаторов решиться на физическое истребление истинного романовского корня, который, как знали владыки, сберегается где-то в России всесильными уральцами. Узнал Павел и то, что сам состоял со Свибловыми в родстве: четвертая дочь дипломата Григория, Елизавета, отдана была им замуж за прадеда Павла, Алексея Федоровича-Александровича. Знал о том, о чем не

знала даже Софья при всех ее архивах, – о том, как последние бездетные Свибловы в страшные годы революции, рискуя жизнью и уже не имея сил прорваться в Европу, проводили на лед Финского залива рыдающую Анну с маленькой Александрой на руках, – их за бешеную цену брался увести в Финляндию какой-то чухонец, – а позже вернулись на Урал вместе со спасенным ими из рук пьяной матросни девятилетним мальчиком, истинным наследником престола, Федором, отцом Павла. Узнал Павел и о том, как отстал от поезда и пропал младший брат расстрелянного деда, Никита. Узнал, наконец, из каких-то странных записок, как бы даже и не отцовским резцом начертанных, вещи совсем неожиданные, к Романовым относящиеся лишь косвенно, но тем не менее крайне интересные и, кажется, очень важные. Все, что могло понадобиться в дальнейшем, Павел, плюнув на отцовскую трусость, хоть и вовсе не представляя, что это за “дальнейшее”, переписывал круглым почерком на обыкновенную бумагу. И до жены ли ему сейчас было!

Вконец охолодавший в своих руинах Джеймс три вечера толочся на карнизе и ни разу не дождался, чтобы супруги Романовы провели вечер вместе. Но вот так летать и топтаться по темным карнизам на Восточной все же больше было нельзя: миссия должна быть выполнена, да и деньги были уже на исходе. От советских оставалось у разведчика неполных тринадцать рублей да проездной на автобус, на октябрь, подобранный где-то поздней ночью во время поисков необходимой ему по многим причинам финской бани. Джеймс решил, что утренняя прогулка Павла, видать, единственное время, когда есть надежда хоть как-то вступить с ним в контакт. Вариантов имелось несколько, все они исходили из первоначальной инструкции, поэтому Джеймс без колебаний выбрал вариант “спасатель”. Джеймс узнал, в какой именно день Павел уходил в школу только к часу дня, дождался этого самого четверга, спер кое-что у соседей по руинам про запас, – спички, банку консервов, – и рано-рано был на Восточной, напротив Павлова дома.

В начале восьмого Павел, мурлыча свежую песню “Маэстро”, вышел из подъезда и побрел по бровке тротуара – больше выгуливать Митьку было негде. Джеймс медленно пошел за ними по противоположной стороне, дожидаясь подходящего самосвала. Таковой не замедлил объявиться – грязный, груженный цементом, весь какой-то рассыпающийся на части. И тогда Джеймс ласково засвистел – в частотах, совершенно невнятных человеческому слуху, но приманчивых для слуха собачьего. Пес поднял голову, повел ушами, залаял и рванул что есть силы на проезжую часть. “Фу!” – крикнул Павел, но Митька уже оборвал поводок и со счастливым визгом завертелся волчком на дороге, не зная, куда бежать: серенада любви и тревоги оборвалась. Озверевший Павел все орал: “Фу! Ко мне! Фу!” – без малейшего результата, Митька сперва метался, потом застыл посреди мостовой, против собственной воли не возвращаясь к хозяину. Джеймс отметил мысленно: пес стоит правильно. А Павел все надрывался разными “фу” и “ко мне”. А грузовик, рассыпая клубы цементной пыли, уже прямехонько летел на Митьку.

– Ну, я тя щас!.. – взвыл Павел и бросился за псом, прямо под машину. Митька прижал уши и завизжал. Павел, в каком-то метре от отчаянно тормозящего

грузовика, попытался поймать пса, но тот не дался, мечась взад-вперед и почему-то счастливо воя, лебединую какую-то свою песнь собачью. А дальше все происходило уже не в десятые доли секунды, как раньше, а в сотые: Павел, глянув с мостовой, на которой растянулся, увидел буро-зеленую харю фыркающего самосвала (отчего эти машины на шести колесах, с фарами, как бы в пенсне, так похожи на евреев?), наезжающего на него, только два слова вспыхнули в его сознании – “НЕ НАДО!” – но потом, вместо того, чтобы услышать хруст собственных костей, увидел чью-то спину, затем странное, небритое, но красивое лицо, потом бок – с откинутой рукой, испытал толчок – и понял, что лежит уже на тротуаре, что кто-то пытается помочь ему сесть, а наглый кобель Митька визжит и лижет лицо.

Павел оклемывался медленно. С трудом понял он, что какой-то симпатичный, хорошо, но не совсем чистоплотно одетый, почти молодой еще человек, небритый и с легкой сединой, лупит что есть мочи его, Павла, по щекам. Он еще не чувствовал боли, но стресс есть стресс: отключившись от реальности, он разглядывал этого человека. Был этот человек ему приятен донельзя. И ясно было, что этот самый человек спас ему жизнь, откинув цементный самосвал к едреням, просто вытащив его, Павла, наследника, можно сказать, престола, прямо из-под колес.

– Я бы твою мать, – ясно, но еще очень тихо произнес Павел. Человек прекратил лупцевание и посмотрел ему в зрачки. Нет, определенно этот тип был Павлу симпатичен.

– Вот беда, беда... – словно эхо, отозвался человек, последний раз, уже очень скромно, хлопнув Павла по щеке. – Да ведь так... убиться можно!

– Это все... чихня! – отрезал Павел, попытался встать и снова шлепнулся на тротуар. Начинала собираться публика, притом знакомая, из дома Павла. Нужно было возможно скорее сматывать удочки. Павел собрал все свои хилые силы и встал. – Это все... чихня! – повторил он, вцепившись в мощное плечо спасителя.

– Нет, каков подлец!

– Негодяй! – с чувством ухнул спаситель.

– Нет, каков! Не остановился!

– Слов не подобрать!

– Ох, выпить бы сейчас, – прошептал Павел, вовсе повисая на спасителе.

– Где уж! До одиннадцати часа три! – с чувством и в тон пропел спаситель, теперь уж совсем родной Павлу человек.

– Это мы... айн момент. Дай оклематься, погоди, пошли в эту... в магазин пошли! Рабочий есть знакомый, пальчики оближешь! Сардинами закусывать будем! – неожиданно вдохновенно выпалил Павел и повлек новообретенного друга в сторону еще не открывшегося магазина на углу. Там и впрямь был у Павла знакомый, некоторый дядя Петя, точнее, Петр Вениаминович Петров. Магазин был большой, с винным отделом и всякими другими, так что иной раз там что-то и наличествовало. Не раз при малейших свободных деньгах бегал Павел туда, в подвал, к вечно нетрезвому Пете за мясом, за гречкой, то есть ядрицей, за ножками даже на холодец и за другими русскими деликатесами, в свободной продаже уже давным-давно немислимыми. В магазин зашли со

служебного хода, потоптались среди ящиков, наконец, обнаружили Петю: несмотря на всего лишь восьмой час утра вдребадан пьяного, в халатике спечовочном, накинута поверху лыжного костюма, тощего, дремлющего на ящиках. Чуть только Павел пнул его в колено, Петя воспрял:

– О! Виталий! Как раз ждал! – бодро объявил он, не слушая протестов Павла, что он не Виталий. – Индейки есть особенные! Венгерские... – Петя отвел глаза и продолжил на октаву ниже: – Но, друг Виталий, скрывать не стану! Суповые. Суповые индейки! Вот что! Ты сколько брать будешь? Две, три? Сардины есть особенные. Сарвар... санские. Были португальские, но их главный себе. А я что? Я как лучше! И мне, и вам. – Петя оглядел собеседников, никакой реакции не обнаружил и продолжил: – Еще маслины есть. Афганистанские. Тебе две банки, три? Утка есть... Нет, утки нет, это она вчера была... Сахара хошь?

– Нам бы, Петя, поллитру – я вот только что, можно сказать, чуть с жизнью не расстался, – мягко вставил Павел.

– Литру? Это мы враз, – произнес Петя, – деньги давай.

Павел что-то сунул тощему магу и волшебнику, и тот надолго исчез. Посидели на ящиках с неожиданным спасителем, а тому ох как выпить хотелось, это-то Павел нутром чувствовал, пупом! Поговорили. О том о сем.

– Отличная у вас собака. Только вот уши длинноваты, совсем в английский тип клонят.

– А у него дедушка – кокер! – с гордостью, но еще в полном обалдении сообщил Павел. Снова появился Петя, таща при этом на горбу ящик с пакетами молока.

– Мой привет Валерию! – пророкотал Петя, – маслины есть афганистанские! Тебе две банки, три?

– Мне бы... банку, Петя.

– Банку? Что ж сразу не сказал? – обиженно объявил Петя и исчез в пропасти подвала. Опять помолчали. Опять поговорили о какой-то чепухе. Петя не показывался добрых двадцать минут, к концу которых и Павел, и собеседник дружно ругали “пьянь всякую”.

– Так что вот что, – объявил Петя, являясь ниоткуда. – Маслины тебе, можно сказать, будут. Без денег только не дают! Эта курва старая, я ей говорю!.. А она мне, понимаешь, отвечает. И ни-ни. Не верит!

– Да я ж дал тебе десятку! – вскипел Павел, почти уже выходя из стресса.

– Дал... Ну тогда, значит, закон. Щас все будет. Тебе, значит, три банки и индейку... суповую. Свои заплачу, за тобой не пропадет, мы с тобою душа в душу! – пропел Петя и снова исчез. Появился он, между тем, через считанные секунды, неся большую авоську молочных пакетов и, как ни странно, поллитру. Протянувши все это Павлу, присел долговязый Петя на ящики, со вкусом закурил и протянул:

– Закуска-то есть? Молоком не упьешься небось?

– Да не просил я молока, Петя! – попробовал вякнуть Павел, но чуткий спутник, зажавший уже в кулаке бутылочное горлышко, парировал:

– Все в порядке, Петя! Мы что должны?

– Девять рублей... пятьдесят одиннадцать копеек! – совершенно трезвым

голосом кассирши объявил Петя. – Вопросы есть? А маслин-то что же? Афганистанских? Индейка тоже есть, Витя, но, врать не буду, суповая... как Бог свят, суповая!

Бутылку открыли на полдороге в парадном. Спутник Павла отчего-то зажмурился, прежде чем отхлебнуть из горла, но отхлебнул и не поморщился. – Слышь, Рома, – сказал Павел, приняв бутылку и тоже чуть отхлебнув, – что мы за ханыги такие, чтобы в парадном распивать? Пошли домой ко мне, тут рядом, посидим, я кофе сварю, если пьешь. Жена как раз на работу ушла.

Роман Денисович, имя которого стало Павлу известно еще на ящиках в магазине, согласно кивнул, не отрываясь от бутылочного горлышка, отчего поперхнулся и бит был Павловым кулаком по верхним отделам позвоночного столба. Про себя Павел охнул, почувствовав сквозь одежду каменные мышцы спутника.

К Павлу поднялись пешком – лифт застрял где-то между этажами. Павел опять что-то пролепетал насчет кофе, совершенно не будучи уверен, что таковой в доме имеется (при нынешней на него цене напитков этот превратился в доме Романовых в нечто предназначенное только для лучших гостей), а если имеется – то сумеет ли он его сварить. Гость, однако, выразил желание только посидеть и еще стопочку тяпнуть, а потом идти отсыпаться “после ночной смены”. Павел и сам был “после ночной смены”, до четырех у микроскопа сидел, пытаюсь понять хоть что-то в загадочном “цифровом” зернышке, которое содержало, как он только и сумел понять, какие-то сложные бухгалтерские расчеты процентов и сложных процентов на какой-то очень большой вклад. К тому же после неожиданного спасения было просто неудобно взять да распрощаться с этим симпатичным и не совсем опохмелившимся человеком. Да и полчаса отдыха в домашнем уюте, видимо, означали для Романа Денисовича немало. Гость мирно разговаривал о пустяках, рассказывал что-то из жизни Аллы Пугачевой, историю какую-то жуткую и явно московскую про дыхательное горло. Сигаретка “Феникс” догорела и обожгла клеенку, и лишь тогда Павел внезапно понял, что речь гость ведет о чем-то далеко не столь абстрактном, как половая жизнь Аллы Пугачевой. Напротив, речь шла о чем-то, к ужасу Павла, чересчур близком лично ему.

– Вы, Павел Федорович, не подумайте, что это я вам случайно повстречался. Удостоверение вот мое. Нет, совсем не то, а служебное: Роман Денисович Федулов меня зовут, литератор я и историк. Пишу летопись Томского края. Как раз дошел до энцефалита и колорадского жука. Вот и привели меня к вам мои находки, а вы ведь как бы живая реликвия Томщины, вам бы, прямо скажем, место у нас в музее, в витрине... Застекленной. На видном месте. Это к примеру. Павел, несмотря на некоторую убаюканность сознания, сжался в комок и все еще надеялся, что пронесет. Он слишком хорошо понимал, какое отношение имеет к нему Томский край. И предпочел бы остаться под колесами грузовика, нежели выслушивать этот монолог. Но деваться было некуда, тем более что гость уже соловьем заливался, превознося до небес некие исторические реликвии, хранящиеся в томских музейных фондах. Уже помянул он и церковный брак Федора Кузьмича. Павел спешно налил пятьдесят граммов.

– ... а ведь легенда о старце Федоре Кузьмиче признана в нашем отечественном научном мире досужей выдумкой, беспочвенной нелепицей, – продолжал гость, все время глядя в потолок, – а вот мы, томские краеведы, располагаем другими сведениями!

Дальше гость понес какую-то уж совершенную околесицу, перечисляя невероятные письма и летописи, чуть ли не записи в интимном дневнике хана Батыя. В принципе весь этот бред, призванный оказывать скорее гипнотическое, чем информативное воздействие, Джеймс мог бы подменить и другим, – слова, имена большой роли уже не играли, лишь бы Павел пришел в нужное состояние духа, – а это, кажется, вполне получалось.

– Даже и всероссийский староста, как известно, не отрицал...

Павел, потерявший нить монолога, тупо глядел на свою полную стопку. Скорей бы уж на работу. Там все больше про историческую неизбежность торжества и победы. А этот что несет? И чего он ко мне со своим грузовиком прицепился?

– ... Словом, мы знаем все. И для нас великая честь, таким образом, приветствовать в вашем лице...

– Всероссийского старосту... – эхом закончил Павел, себя не слыша.

– Наследника российского престола! Все наши краеведы, весь наш многонациональный край, русские, украинцы, тунгусы, татары...

– Им, татарам, недоступно наслаждение битвой жизни... – тихо произнес Павел, подозревая, что сейчас рехнется со страху.

– Законного русского царя! Приветствуют все вместе! – Джеймс выждал мгновение, продолжил: – Не тревожьтесь, Павел Федорович! Мы свято храним вашу тайну. Мы, весь наш край...

– Так всем краем и храните?

– Все как один...

– Господи, что вы ко мне привязались? Вы шутите или всерьез? Откуда вы все это взяли? Я простой советский...

– Император! Император Павел Второй, дорогой Павел Федорович! Ждет вас Россия ако... яко невеста жениха, весь Томский край...

– Так Томский край или Россия? А то и весь Туруханский край?..

К Павлу, после первой волны страха, стало возвращаться самообладание. Но ему же со всей страшной ясностью становилось понятно происходящее: да, конечно, с ним играют. Как кошка с мышкой. Каким-то образом КГБ докопался до его тайны, да еще, кажется, до всех ее подробностей. И вот теперь этот прямолинейный провокатор хочет, чтобы он признал свое родство с царской семьей. Шестьдесят лет прошло, а все простить не могут. Даже в Китае поступили честнее. Там императора на работу определили, садовником, кажется. А эти... Кровопийцы. Павел мысленно попрощался с Катей, с немногими близкими, даже с Петей Петровым почему-то. Но особенно с Катей: он понимал, что был ей плохим мужем, мало уделял ей внимания, редко был с ней ласков, но почти не изменял ей и любил все так же нежно, невзирая на шесть лет брака. Очень это плохо, когда жизнь вдребезги и садиться надо.

А Джеймс тем временем несся под парусами старославянского красноречия, заготовленного специалистами в ту бурную и кошмарную пору, когда с

Джексоном приключился “дзен”.

– Государь Павел! Только слово молви, государь, и воспрянут со всех концов отчины и де... дедины витязи прегрозные, воротят они тебе престол шу... щуров! И пращуров! – слова что-то плохо выговаривались, но в целом, видимо, действовали все же как заклинание – что и требовалось.

Павел встал и по-деловому выпил до сих пор не тяпнутую стопку. Заложил руки за спину. Заговорил. Тихо.

– Да, это все правда. Я готов. Разрешите ли вы мне собрать узелок?

Джеймс похлопал глазами.

– Котомку? Уже?..

– Да нет, смену белья... Или теперь уже и этого нельзя? Или вы меня сразу собираетесь... в расход?

Джеймс сообразил.

– Да нет, вы меня неправильно поняли. Мы, томские краеведы...

– Знаю я таких краеведов, работников земли и леса, молочных братьев таежного гнуса! Особенно томских и... туруханских! Делайте свое дело!

– Да нет, я вовсе не из той организации, о которой вы подумали. Я... из совсем другой организации!

– Ах так, – спокойно сказал Павел, – значит, вы арестуете меня не от имени той организации, а от имени совсем другой?

– Не арестую я вас... во всяком случае, я не арестую. Покуда об этом и в самом деле не знает та организация, которую вы имели в виду! Она ведь и в самом деле не имеет ни о чем представления, мы это точно знаем!

– Благодарю вас, с меня совершенно достаточно того, что об этом знает организация, которую я в виду не имел.

– Моя?

– Ваша.

– То есть какая, как вы думаете?

– А я не думаю. Вы сами думайте.

– Но вы совершенно правы. За моей спиной стоит весьма мощная организация.

– Куда уж мощнее. Грузовики плечом отшибаете.

“Заметил, ох, заметил”, – подумал Джеймс, но терять было уже нечего.

– Вы не думаете, что я могу представлять разведку великой державы?

– Вот уж не думаю. У великих держав хватает своих претендентов на русский престол. К тому же кресло это вообще пока что занято. А я еще и патриот, прошу учесть.

– Никто вашему патриотизму не мешает. – Джеймс приготовился в крайнем случае телепортироваться неизвестно куда, если бы Павел ответил на следующий вопрос решительным “нет!”, – тогда инструкции немедленно менялись. – Ну, так как?

– Что как?

– Вы хотите быть русским царем?

– Вы что, в самом деле не собираетесь меня арестовывать?

– Нет, конечно.

– А что, значит, подкупать будете? Квартиру хорошую предлагать, машину там,

еще что-нибудь хорошее?

– Пока что нет, а потом... называйте как хотите. Мне кажется, что в качестве квартиры вам бы очень подошел, как он там называется, Эрмитаж, да? Или Зимний дворец?

Павел сделал шаг вперед.

– Благодарю вас, но с меня хватит того, что я действительно наследник престола. Вы об этом как-то узнали. Мне этого совершенно хватит по гроб жизни, в который вы меня, кто бы вы ни были, теперь загнать хотите. И, опять-таки, если вы на самом деле не собираетесь меня арестовывать, а представляете тайную масонско-монархистскую ложу, что ли, то еще раз благодарю покорно за беседу, мне скоро на уроки.

Павел признавал себя наследником престола! Три четверти дела было сделано, душа Джеймса ликовала.

– Дудки! – крикнул он, ударил Павла по плечам, отчего тот опять упал в кресло. – Ты будешь русским царем! Я тебя сам на этот престол посажу!

– Легче легкого. Посадить. С вашей-то мускулатурой. Да и вообще посадить всегда проще всего. Да и вообще идите вы к ядрене фене!..

Джеймс – согласно инструкции – расвирепел и наотмашь ударил Павла по щеке. Павел отдернулся, встал медленно, и изо всей силы, истинно по-царски дал Джеймсу сдачи. Помедлил и дал еще раз, отбив ладонь. И застыл. Это была совсем не обычная русская “сдача”, напротив, это были медленные, со вкусом и величием данные, истинно царские оплеухи. Даже не данные, а пожалованные. И Джеймс прореагировал на них совершенно правильно, как-никак составлявший инструкции Мэрчент съел на загадочной русской душе по меньшей мере собаку Баскервилей. Джеймс медленно опустил на одно колено, поймал руку Павла и приложился к ней губами.

– Благодарю, государь.

Оба постояли, потом медленно и очень синхронно сели в кресла. Помолчали. Павел, в котором, по сути дела, впервые проснулись мордобойные инстинкты его дальних предков (все-таки Павел Первый, если бабушки в альковах ничего не напутали, был правнуком Петра Великого), чувствовал себя неловко: дал он по морде гостю на полную катушку. С другой стороны, может быть, и вправду где-то еще есть какие-то подпольные монархисты, и они-то его, Павла, теперь и отыскивали? Тогда почему только теперь, а не много лет назад? Словом, было ясно, что от этого гостя интеллигентским “Я император, ну и что?”, как в анекдоте про белую лошадь, не отделаешься. Сказать разве, что, мол, отрекаюсь... в чью пользу? Мысленно испытал Павел вылившийся на него ушат холодной воды: он мог отречься только в пользу сестры Софьи. Не бывать такому сраму. Нет, лучше пока принять условия игры, поиграть в императоры. Джеймс, душа которого ликовала от полученных оплеух, – русской крови в нем не было ни капли, но уж больно глубоко он вжился в роль, – решил перейти ко второй части наступления.

– Павел Федорович, – мягко начал он, – вы, конечно, понимаете, что взять и сделать вас царем сию минуту ни я, ни те, кого я представляю, конечно, не можем. Я не уверен, что скрижали рисовых письмен, составленные вашим

батюшкой, – Павла опять едва не сморило от всеведения Романа Денисовича, – содержат все сложные подробности вашего происхождения. Мы знаем гораздо больше вас, но, возможно, даже мы всего не знаем. Наши ученые, – Джеймс запнулся, не зная, продолжать ли дальше плести ахиною насчет Томского края, решил не вдаваться в подробности и продолжил, – уже несколько десятков лет, не щадя сил, изучают генеалогию Дома Романовых. У нас имеется несколько десятков относительно законных претендентов на старшинство в роду. Как из младшей ветви, так и из старшей. Да, да: так мы называем потомков царя Александра Первого Романова от его брака с Анастасией Скоробогатовой. Может быть, не все они вам известны.

Павел глядел на гостя теперь уже просто с интересом. Все, что было известно ему – и даже гораздо более того, – все, решительно все оказывалось секретом Полишинеля. Теперь окончательно приходилось мириться с обстоятельствами игры в “цари-разбойники”, может быть, гость знал что-то из того, что попало в утробу Митьки?

– Ваша тетушка в Лондоне уже много лет не делает тайны из своего происхождения. Беда ее в том, что у нее на руках нет ни малейших доказательств, которые, впрочем, мы могли бы для нее раздобыть, не будь она столь, м-м, неудобных убеждений. Об этом после, если пожелаете. Имеется и почти законный кандидат в одной из стран Латинской Америки. Знаете ли вы о нем?

Павел мотнул головой.

– Его полное имя... Ладно, он им все равно не пользуется, он, кстати, занимает очень видное положение, – его имя Ярослав Никитич.

– Двоюродный брат отца? Сын Никиты Алексеевича? Но ведь Никите было в восемнадцатом году неполных шестнадцать лет!..

– Не все сразу... ваше величество. В вашем роду много способных людей. К тому же не знаю, как вы, а я вполне мог бы оказаться отцом и в четырнадцать лет. Дело в другом. Ярослав Романов не может рассматриваться как серьезный претендент ввиду враждебности его политики... Впрочем, и об этом потом, если позволите. Кстати, за границей вообще нет приемлемых кандидатов из старшей линии Романовых, с тех пор, как ваша бабушка, Анна Вильгельмовна, скончалась в Праге накануне... Простите, тоже потом. Зато много кандидатов по младшей линии. И о них временно тоже забудем, если позволите. Наиболее законным из претендентов здесь, в России, должен был бы считаться ваш покойный батюшка, но по ряду причин он... находился вне поля нашего внимания.

Не мог же рассказать Джеймс о том, что ряд причин – это всего лишь полное неприятие Федором Михайловичем какого бы то ни было алкоголя. Павел же, при случае с большой охотой прикладывавшийся к рюмке, о своем происхождении до последнего времени просто не знал.

– Итак, вы и ваша сестра...

– Сестра моя – женщина.

– Это, знаете ли, в России никогда не служило препятствием для наследования престола. Возьмите хотя бы вашу прапра... бабушку, а также предшественниц.

Или же батюшка завещал престол именно вам, да еще оформил завещание у нотариуса?

Павел мотнул головой снова.

– Но обращаемся мы, как видите, к вам. Не стану вас пока подробно вводить в курс дела. Скажу только, что родственников у вас много, гораздо больше, чем вы полагаете. Даже законных. А незаконнорожденными в вашем роду испокон веков принято было сорить.

Павел внезапно покраснел, и Джеймс немедленно сыграл на этом. Ничего подобного ученые-генеалоги Форбса не знали, но упускать ли случай?

– Вот взять хотя бы вас. Не так ли?

– Это-то вы откуда можете знать?

– В наше время, как и во всякое прежнее, супружеская верность – немалое ярмо, даже если у человека такая очаровательная жена, как у вас.

– Неправда! Я с Катей тогда даже знаком не был. Я вообще не знаю – где они теперь. Я даже и не видел его никогда.

Джеймс понял: женщина, и ребенок от Павла, явно мальчик. Это очень даже могло пригодиться.

– Зато мы кое-что знаем. Или можем узнать. Но ведь речь идет не только о вас, простите. Ваш отец был женат дважды. Где гарантия, что в его жизни не было третьей женщины, а то, прости Господи, и четвертой? Еще раз простите меня и не хватайтесь за пепельницу, она слишком легкая. Бейте меня лучше столиком. Также и в жизни вашего деда. Словом, претендентов очень много, но, пожалуй, если считать старшинство по мужской линии и учитывать лишь законным образом оформленные браки, то старшинство за вами.

– Ну, а делать-то что? Фер-то кё?

Джеймс посмотрел на Павла с уважением.

– Я не знал, что вы знаете французский.

– Не знал и не знаю. Это из русской литературы.

– А придется знать. Император без знания иностранных языков – не совсем, простите, император. И еще очень многое выучить тоже придется.

– Вы что, в самом деле надеетесь свергнуть здесь... – Павел даже не смог заставить себя выговорить, что именно нужно здесь свергнуть, чтобы ему войти в свою роль русского царя по всем правилам, – то, что свергнуть хотите, и меня, никому не ведомого, короновать?

– Это уж несомненно. Не вздумайте играть в демократию! Не смейте лезть в президенты! Это все не для России, она без царя во главе не может! Собственно, не считая отдельных смутных времен, с начала семнадцатого века она без царя и не обходилась, если вы думаете, что сейчас иначе...

– Вовсе не думаю.

– Простите, государь. Словом, речь идет именно о том, чтобы вам быть царем всея Руси. Ни на какие другие условия мы не пойдем.

– Да кто это “вы”?

– А вот это вопрос преждевременный, покуда вы не дали принципиального согласия.

– Ну, допустим, я его дал, дальше что?

– Дальше вы будете следовать моим инструкциям, и в течение трех лет мы обещаем вам торжественную коронацию в Успенском соборе Московского кремля.

– И гроб с музыкой?

– Не ожидал от русского царя такой пошлости.

– Ну, а если не соглашусь?

– Тогда мне придется для начала заставить вас забыть о нашем разговоре, можете убедиться, что я вообще кое-что умею.

Джеймс вынул спичку из последнего своего краденого коробка и положил на край пепельницы. Чуть присмотрелся к ней, спичка вспыхнула. Павел посмотрел на Джеймса с иронией.

– Это именно то, что вы умеете? Это же старый фокус...

– Старый фокус? Ну, тогда смотрите!

Павел с некоторым ужасом убедился, что неведомая сила стаскивает с его ног ботинки с носками, – ничего более остроумного Джеймс не придумал, вспомнив о своей задаче с носком; ботинки слетели с ног Павла, он почувствовал, что брюки тоже натянулись и спешно ухватился за ширинку.

– Прекратите!

– То-то же. Так вот, я заставляю забыть вас о нашем разговоре. Монархия в России должна быть восстановлена, это воля истории и русского народа, наконец. Но придется призвать на царство кого-либо из менее законных кандидатов. А ваша судьба в дальнейшем могла бы стать очень, очень, как бы это выразиться точнее, сложной. О происхождении вашем рано или поздно узнает именно та организация, за сотрудника которой вы меня сначала приняли. Кроме того, вы же умный человек, и не рассчитываете же вы идти сдаваться в КГБ в надежде на то, что вам и дальше разрешат преподавать в средней школе историю. Простите, государь, но мне кажется, что у вас вообще нет никакого выбора.

Павел потянулся за бутылкой, далеко еще не пустой, кстати.

– А не выпить ли нам, Роман... Денисович, если вы только и в самом деле Денисович и все это не роман...

– Господи, да прекратите вы плоско острить! Не к лицу это императору!

– Мертвецу... все к лицу... – тихонько ляпнул Павел и поднял стопку. – Ну, давайте считать, что я согласен. Дальше что? И какие будут инструкции, дорогой Роман Денисович?

Джеймс выпил, и тут же по телу его прошла судорога, притом не алкогольного свойства, а телепатического. Несомненно, Атон Джексон ломился в его сознание с вечным вопросом; откуда Джеймсу было знать, что генерал Форбс добился наконец-то мольбами и редчайшими сортами односолодового виски того, чтобы индеец занялся непосредственным поиском пропавшего агента: “ЧТО ПЬЕТЕ?”

“ВОДКУ”, – привычно подумал Джеймс.

“СВЯЗЬ ОКОНЧЕНА, СООБЩЕНИЕ ПРИНЯТО”, – ухнул индеец и исчез.

– И все же ... я бы твою мать, – задумчиво произнес Павел, опрокинув свою стопку.

– Очень жаль, ваше величество, но этот факт, к моему несчастью, не имел места. Иначе у меня тоже были бы кое-какие права на русский престол. И так, во-первых... Кстати, государь, простите, а у меня есть закуска! – прервал Джеймс сам себя, полез в карман пиджака и торжественно извлек оттуда украденную утром у хиппи-соседей банку морской капусты.

Павел, не говоря ни слова, пошел за консервным ножом.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 8

Евгений Витковский

VIII

Bibo, ergo sum.

Латинская мудрость

Генералу Форбсу не хотелось решительно ничего.

Даже повышения. Собственно, хотеть было нечего: по прямой над ним располагались только посты военного министра и директора ЦРУ, но первый он, будучи сам военным, занять не мог, а второй едва ли не понизил бы его в должности, ибо ЦРУ без института аутентичного прошлого напоминало бы инвалида, потерявшего четыре конечности и еще кое-что. На пост президента США генерал претендовать не мог вообще: он был уроженцем Нового Южного Уэльса и, хотя покинул Австралию больше чем шестьдесят лет тому назад, по американской конституции лишен был права занять этот почетный – и вовсе генералу не интересный – пост.

Не хотел генерал также и большей власти: имел и так ее столько, что дальше некуда, занимая пост директора Центра Прикладного Использования Паранормальных Явлений, в который входили институт Элберта и Полигон Уитни в Калифорнии. Имел в своем подчинении четыре сотни телепатов, тавматургов, магов, каждого из которых в лучшие времена отправили бы на костер за любое из действий, ныне совершаемых ими на благо независимости и оборонной мощи США: Сервальоса, в чьих руках живой воробей рассыпался крошками радиоактивного лития; Тодорана, обращавшего бутылку с химически чистым спиртом в бутылку дистиллированной воды, а то и вовсе в реторту с серной кислотой; Ямагути, медиума, благодаря которому чуть ли не все бывшие президенты США, кроме еще не покойных, вынуждены были состоять советниками нынешнего; Джексона, державшего под мысленным контролем всю пьющую часть человечества и засекшего недавно в необозримых глубинах космоса – неизвестно где, правда, – еще какую-то пьющую расу; Рубана-Казбеги, голыми руками лепящего забавные фигурки из расплавленной платины, и сотни других. Какой же еще власти?

Форбс не хотел любви. В его-то возрасте? Забвения тоже не хотел, что за странное такое желание бывает у людей, кадровому военному такого иметь не полагается, за такое гонят в шею. Не хотел вола ближнего своего, не хотел осла ближнего, жену его тоже не хотел, свою тоже не хотел (женат не был), во-

первых, по природе, во-вторых, не был христианином, – хотя в анкетах, порядка ради, числился он мормоно-конфуцианцем, т. е. составлял отдельное вероисповедание, без других приверженцев оно: таким людям и нынешняя администрация и все прежние особенно доверяли. Короче говоря, генерал Форбс и в самом деле не хотел ничего. В данный момент его единственное желание было то, чтобы скорее, любым способом, отыскался пропавший в дебрях, тьфу, просторах России чуть ли не лучший разведчик вверенного генералу Колорадского центра, универсал Джеймс Карриган Найпл. Ибо Найпл не давал о себе знать уже восемь дней, да и последняя весточка от него, полученная через Джексона, была, как всегда, очень скудна: было известно, что тогда разведчик пил водку. С кем? Где? То, что он тогда еще не должен бы попасть в лапы КГБ – как будто ясно, с чего его там стали бы поить? Хотя, впрочем, уж эти славянские хитрости... Ни в чем нельзя быть уверенным. Вдруг водка теперь применяется при допросах?

Никаких внятных сведений от стационарных агентов, иначе говоря, людей из ЦРУ, годами вкалывающих в разных отделах КГБ, получить было нельзя: настолько смутной и непланируемой была деятельность этой советской организации, что подчиненный не знал ничего о действиях начальства, – это, казалось бы, нормально, – но ведь и начальство не знало о действиях подчиненных почти ничего, даже и приказаний не пыталось отдавать, – так, считало, видимо, что полковники и сами справятся. Советская система оставления в полковниках всех, кто имел неосторожность доказать свою способность справляться с каким-либо делом, давно была изучена советологами. “Царством бесправных полковников” хотел назвать нынешнюю советскую систему безопасности президент США (нынешний), когда выступал перед Конгрессом, но предупрежденный Форбс воспротивился: не наша работа разьяснять советским геронтам, по какой причине у них все идет наперекосяк. Хотя особенной тревоги за исход операции “Остров Баратария”, проводимой сейчас, не было причины испытывать: предиктор ван Леннеп дал почти положительный прогноз, но по мелочам мало ли что могло приключиться, а в масштабе ван-леннеповских предсказаний мелочью были жизнь и свобода любого из разведчиков-универсалов, тавматургов и телепатов, каждый из которых стоил американским налогоплательщикам миллионы. Форбс точно знал к тому же, что четко налаженная схема работы его собственного Центра представляет собою одновременно и самое слабое место: один-два агента с Лубянки – и все, или почти все о Колорадском центре станет противнику известно. Но куда вероятней было, что бесправные полковники зашлют агента не туда, или не того, а если туда и того, то не за тем, за чем надо, а если даже за тем, за чем надо, то опять-таки или не туда, или не того. Полковники руководствовались в своей работе кварталным, ну, от силы годовым планом засылки шпионов или же отлова диверсантов. Форбс руководствовался в своей работе точно известным будущим. Оно же для Соединенных Штатов существовало только в двух вариантах, и какой из них восторжествует в реальной жизни – зависело исключительно от того, будут или не будут в России реставрирована монархия и династия Романовых.

Предикторы, люди, видящие будущее, хотя и состояли формально подчиненными Форбса, но на деле именно он, Форбс, а в конечном счете и президент, и все правительство, и вся страна, и даже весь мир подчинялись их предсказаниям. Собственно, предиктор на сегодняшний день у Штатов имелся только один, привезенный притом из Европы, раньше, правда, был свой – чистейший американец, ныне покойный. Как теперь казалось Форбсу, именно этот человек, предиктор Джереми Уоллас, потомок вермонтских лесорубов, потерявший зрение в Арденнах, и заварил всю эту нынешнюю кашу с Романовыми, заварил единолично. Почти уже никто не помнил, что еще до того, как донеслись из лондонского Гайд-парка вопли стареющей суфражистки, а в ответ на них (якобы на них!) Айк распорядился найти для русского престола пристойных наследников, – еще до этого Уоллас направил Конгрессу очередной свой бюллетень, целиком посвященный будущему Советов. Трудно теперь даже и представить, какая тогда случилась паника в закулисных сферах, бюллетень появился в самый разгар “холодной войны”. Из него следовало, что если в ближайшие двадцать пять – тридцать лет в России не будет реставрирована монархия, то к концу XX века в этой стране неизбежен тяжелейший правительственный и экономический кризис, который, раньше или позже, но совершенно неминуемо приведет к парадоксальному исходу: Советы обратятся к Америке с нижайшей ультимативной просьбой – принять их в состав США, умножив, таким образом, количество звезд на звездно-полосатом флаге до количества неприлично-крапчатого, да еще превратив английский язык в язык национального меньшинства. И получалось так, что от этого требования без ядерной катастрофы Штатам не уйти никак, Советы пригрозят уничтожением ста основных городов США, ибо уровень жизни у них самих упадет настолько, что терять Советам будет уже нечего, а военной мощью не сможет тягаться с ними весь мир, вместе взятый. Форбс по сей день держал этот знаменитый бюллетень под рукой и тихо его ненавидел. Нынешний предиктор, Геррит ван Леннеп, не только подтверждал прогноз, но добавлял от себя, что оптимальный момент для реставрации Дома Романовых в России приходится на промежуток между 1980 и 1985 годами, а после повышения в этой стране розничной цены на водку до 32 рублей за пинтовую бутылку, одновременного внутривластного кризиса и полного разгрома советско-вьетнамских войск в Малайзии объединенными китайско-индонезийскими силами, реставрация станет уже делом маловероятным, и придется Штатам готовиться к реальной потере независимости. Но для реставрации Дома Романовых нужен был удобный Романов, а за двадцать пять лет розысков Колорадский центр не нашел ни одного пригодного, оба предиктора, словно сговорившись, отметили любую кандидатуру и успокоительно добавляли, что истинный русский царь миру еще не явлен, но явлен будет в должные сроки. Кажется, таким подарком судьбы мог оказаться обнаруженный Джексоном Павел Романов, мало того, что в ничтожности своей человек совершенно незапятнанный, но еще и на самом деле законный наследник престола – отпадала необходимость обосновывать косвенные права. Пока что американское правительство зарезервировало для нужд грядущей Реставрации одного из величайших тавматургов мира, чьего

настоящего имени не знал точно даже Форбс, а в секретных документах этот человек фигурировал под кличкой “Крысолов”; требовать его введения в ход операции Форбс имел право только после окончательного признания какого-либо Романова единственным законным наследником русского престола.

Сейчас Форбс отдыхал в кабинете своей частной квартиры, далеко вынесенной за пределы общих рабочих помещений, располагавшейся над труднодоступным альпийским лугом почти у самой вершины Элберта. Непреодолимую тягу сохранил Форбс ко всему дальневосточному с тех пор, когда еще почти молодым служил он в корейскую войну обычным телепат-майором при штабе Макартура. Вернувшись в Штаты, он завел себе дом с китайским поваром и вообще со всем китайским и чуть не поплатился за это карьерой во времена маккартизма. Но Маккарти поспешно сошел с ума, времена его кончились, Форбса оставили в покое, а его собственные несомненные телепатические способности – он недурно вел беззвучный разговор с тремя собеседниками в пределах изолированной комнаты, с трудом мог даже с пятью – привели его на ныне занимаемый пост. Ароматические курительницы, всего две, дымились сейчас в его кабинете; дрессированный аист, единственное живое существо в этой квартире, куда не имели доступа даже самые приближенные сотрудники, кроме мага Луиджи Бустаманте, – не считая, само собой, повара и еще слуги, тоже китайца, – застыл на одной ноге в затененном углу. Взгляд же генерала, как обычно в такие минуты облаченного в красный халат шэньи позапрошлого века, скользил по свиткам, развешанным на стенах, прежде всего по любимому, сунскому, десятого века, висящему прямо перед письменным столом. Свиток изображал воина, старого и седого, стоящего перед гадалщиком, тоже старым, рассеянно уронившим стебли тысячеоистника, – и оба они смотрят куда-то в сторону, где едва заметным контуром обозначался хребет, драконова спина горного кряжа. И сверху – четыре вертикальные строчки стихов, по пять знаков в каждом столбике. Форбс знал их перевод:

Вы спросили – скоро ли деньги дадут.
Прежде ответа взглянул на далекий плес,
На синие горы, на заросший кувшинками пруд...
Вот и забыл ответить на ваш вопрос.

Форбс мог часами беседовать с этим свитком. Он чувствовал себя одновременно и старым воином-наемником, пришедшим спросить о дне выплаты ему заработанных денег, и старым гадалщиком, забывшим дать ответ, – столь пленил обоих дивный вечерний пейзаж. Форбс тихо-тихо насвистывал свою любимую мелодию, – отнюдь не китайскую, а общеизвестный “Мост через реку Квай” – и мысленно стоял там, с ними, третьим и незримым сунским китайцем. Его душа, душа американского военного, пережившего разгром и поражение от современных китайцев, его душа, конечно же, была душой древнего китайца. Поэтому, когда его бессменный повар, Хуан Цзыцзя, в ответ на вопрос – что приключилось за день (без вопроса он не раскрыл бы рта целые годы) – сообщал, что сегодня его в пятьдесят четвертый раз пытались подкупить

агенты континентального Китая, – Форбс только снисходительно улыбался. В современный, коммунистический Китай, несмотря на пережитую контузию от китайской мины, генерал вообще не верил. Он верил только в древний Китай. И ничего поэтому не хотел. Как и полагалось истому древнему китайцу. Может быть, последнему.

Дрессированный аист Вонг шевельнулся и переменял ногу. Ого! Значит он, Форбс, сидит вот так, задумавшись и размечтавшись, уже больше часа. С неохотой щелкнул Форбс жилистыми и кривыми пальцами, неслышно возник слуга, помог сменить халат на мундир американского генерала. И когда за Форбсом затворилась дверь его личной квартиры, ничто ни внешне, ни телепатически не выдало бы его подчиненным. Нет, никаких “желтых” симпатий он не имел. Как и фобий. Все его сотрудники, все эти венгерские маги, валахские волшебники, огнеходцы и нагоходцы, – все были для него равны. Вплоть до вампира Кремоны, странного мальтийского выходца с того света, питающегося донорской кровью в секторе трансформации и на досуге дающего на своих просверленных зубах изумительные концерты художественного свиста. Все, все были равны для генерала Форбса. И все более или менее безразличны.

Итак, шел восьмой день молчания Джеймса Найпла. Форбс уже пробовал и просить, и косвенно подкупать Джексона, чтобы тот искал связи с агентом – ведь могло статься, что Джеймс накачивается спиртным все эти дни, пытаясь дать о себе знать, а Джексон, тем не менее, беседует исключительно с Цеденбалом о необычайных свойствах и достоинствах молочной водки и ухом не ведет ни на какие телепатические вопли агента. Но Джексон на диво тепло разговаривал с генералом, не ругался ни на чероки, ни по-английски, принимал подарки и искренне искал Джеймса по всему белу свету. Джеймс был либо трезв... либо мертв. Это, кстати, проверить было легче легкого, Форбс еще вчера решился зайти к Ямагути и потребовать вызвать Джеймса из царства мертвых. Нет, там Джеймса не было. Ни среди мертвых, ни среди пьяных. Приходилось смириться с мыслью одновременно ужасной и обнадеживающей: Джеймс был жив и трезв. Где-то и почему-то. Зачем-то. Неужто по доброй воле? Абсурд. Против воли? Получалось, что так. Это значило – Джеймса нужно спасать.

Засылать второго агента по телепортационному каналу не было никакой возможности: он опять попадет на улицу имени этого самого диссидента прошлого века и угодит в зубы тому же самому чудовищу, которое, получается, слопало Найпла. Переориентировка же камеры требовала месяца с лишним. Где его взять, месяц этот? Значит, надо засылать консервативными методами, через туристические каналы, через дипломатические, сбросить его на парашюте, переправить под водой. Впрочем, на то есть референты, чтобы решать, какой способ сейчас лучше. И, конечно, засылать сейчас надо не одного агента, а группу. А на всякий случай подготовить и вторую смену поиска, если первые пропадут. В первой будут, предположим, обычные телепат-сержанты, а к ним два... да нет, одного хватит, один, значит, телепат-майор, нечего бросаться телепатами, у русских вон вообще ни одного приличного нет, по меньшей мере официально, на жалованье. Да, три пары, как бы супружеские, а к ним

испытанного майора. Ну, а для их подстраховки нужен кто-то из первоклассных, серьезных, несомненно, из сектора трансформации. Тот же Кремона подошел бы, скажем, хотя, конечно, засылать к Советам выходца с того света рискованно, это вроде как щуку в реку. С сектором трансформации, с оборотнями, если говорить проще, у Форбса уже полгода был чуть ли не разрыв дипломатических отношений: всемирная вакханалия поддержки поляков, когда и Папа Римский – поляк, и свежий Нобелевский лауреат – поляк (еще не назначали, но ван Леннеп год назад объявил его имя), и помощник президента по национальной безопасности – тоже поляк, вакханалия эта самая нанесла Колорадскому центру ощутимый удар. Едва только одряхлевший донельзя прежний заведующий сектором трансформации Порфириос ушел на пенсию, на его место был назначен поляк, опять же, причем никому не ведомый и, как оказалось, не оборотень никакой, вообще человек посторонний. Традиционно сектор этот был наиболее независимым в ведомстве Форбса, собственно, начальник сектора Форбсу даже и не подчинялся. И вот уже шестой месяц шел с тех пор, как маг Бустаманте по приказу Форбса заточил этого самого заведующего в бутылку, и лишь таким образом удалось положить конец гнусностям, которые новоявленный поляк-заведующий творил у себя в секторе, заставляя оборотней превращаться в различных кинозвезд. Тем не менее даже заточенный в бутылку поляк-не-оборотень оставался заведующим, с которым приходилось считаться, которого приходилось уговаривать, подкупать, шантажировать, но ничего нельзя было ему, гаду, приказать.

Все эти вещи успел передумать Форбс за те короткие мгновения, пока скоростной лифт уносил его в недра Элберта, в директорский кабинет. Там Форбс немедленно ткнул кривым пальцем в одну из сотен клавиш, завершавших верхнюю часть его рабочего стола наподобие органного пульта. На пороге возник маленький афроамериканец с тремя листками бумаги в розовой лапке. Неслышно подал и исчез. Форбс почитал с минуту. Больно уж древний метод, впору сыщика в гороховом пальто вспомнить. Но Джеймса спасти нужно, так что пока сойдет и это. Три “супружеские пары”... Пусть вылетают немедленно, на самолете Аэрофлота из Нью-Йорка, ясное дело, не на “боинге” же из Денвера! Пусть. Ну, и седьмого туда же. Подагрическими пальцами медленно вывел Форбс под списком предложенных референтом шести фамилий – седьмую: ЭБЕРХАРД ГАУЗЕР. Ну-ка, пусть поработает. Уже восьмой месяц брюхо отращивает. Пусть.

Форбс отодвинул папку. Дело было сделано. Ничем больше он помочь не мог, а решать вопрос с гнусным Аксентовичем прямо сию минуту он просто не в силах был себя принудить. Вообще сегодня этим заниматься было бы особенно отвратительно, вечером Бустаманте соглашался заставить цвести лотосы в генеральском саду, ибо сегодня, в даосский праздник Третьего Чиновника, Воды, пятнадцатого числа десятого месяца, седьмого дня растущей луны, можно было устроить настоящий “праздник любования цветами”. Почти до утра. Нужно ли еще что-то старому человеку? И, мысленно уже облачившись в шэньи, побрел Форбс в личные апартаменты.

* * *

Пристегнули ремни. Взлетели и полетели. Погасла табличка “НЕ КУРИТЬ”. Явно недостаточная миловидностью стюардесса на довольно бойком английском языке пролопотала приветствие и что-то насчет того, что самолет ведет некий миллионер, чему Гаузер, несмотря на занятость мыслей, все же не поверил. Вообще в мыслях порядка не было. Еще несколько часов назад он мирно играл в пинг-понг в дежурке, в недрах такого уютного горного хребта Саватч, а потом вдруг обнаружил, что уже проходит блиц-инструктаж у смрадного, гниющего прямо на глазах сифилитика Мэрчента, потом его, Гаузера, сунули в сверхзвуковой самолет и, минуя Денвер, прямо с аэродрома возле Пуэбло перебросили в аэропорт Ла-Гардиа. Нью-Йорк, этот грязный и сволочный город, Гаузеру всегда был ненавистен, – но дальше стало еще хуже, потому что пришлось лезть в этот гнусный, бездарный, вонючий и еще неизвестно почему советский самолет. И теперь вот летел он в эту самую подлюю Россию, на которой сроду не специализировался, языка не знал, страны не представлял, вообще не понимал, зачем его, серьезного специалиста по венгерскому диссидентскому движению, выдернули из дежурки, – это после спокойных восьми месяцев у теннисного стола, на котором столько бутылок умещается! – теперь вот приставили к трем незнакомым отвратительным самцам и трем гадким самкам, летящим в Россию искать какого-то трахнутого гомосека; еще и приказали активизировать свою выдающуюся таможенно-гипнотическую способность, и выкинули в Москву, прямо как из катапульты. Даже имена спутников он узнал только возле трапа. Можно не сомневаться, что зовут их иначе, и можно не сомневаться, что никакие это не супружеские пары. Но уж переспят, конечно, перетрахаются все самки со всеми самцами. Может стать, конечно, что и все самки со всеми самками, а если подольше придется задержаться, так и все самцы со всеми самцами. Ужасно. Все со всеми. Он, Гаузер, асексуал, понимал умом, как это мерзко, и кривил рот от брезгливости. Образ полового сношения был ему ненавистен, безобразие половых органов на всю жизнь поставило его тонкую душу за пределы человеческих влечений. Он любил бы саму любовь, влюблялся бы в идеальную красоту, но отвращение к мерзкой плоти, ко всем этим складочкам, пупырышкам, выделеньицам, к потным охам и ахам было сильнее. К тому же он гордился собой: на все ЦРУ не было лучшего гипнотизера-моменталиста, ни один таможенник на контрольных испытаниях не принял двухкилограммовый кирпич прессованного героина за что-либо, кроме как за увозимый на память из Греции кусок мрамора: “От Акрополя!” – хихикнул греческий таможенник, отлично знавший, что рано утром грузовик разбрасывает по территории Акрополя, и особенно вокруг Парфенона, куски мрамора и песчаника, дабы туристам было что увезти на память из священной Эллады, – и пропустил Гаузера с героином в Албанию. В других странах Гаузер, ограниченный полиглот со знанием испанского, венгерского и албанского, проявлял те же способности, но ввиду крайней замкнутости характера и развившегося на антисексуальной почве алкоголизма, использовался на серьезных операциях

очень редко. Однако бюллетень предиктора ван Леннепа уже четвертый год держал Гаузера в состоянии рабочей готовности, предиктор твердил, что час его не настал, но вот-вот настанет. И Гаузер без отпусков, получая половинный заработок, – его было мало даже на выпивку – четвертый год сидел в хребте Саватч, формально числясь сторожем мертвого города Сент-Эльмо, редко-редко отлучаясь ненадолго в Венгрию, в единственную страну, к которой он чувствовал что-то вроде любви. Ибо его бабушка родилась в Вене! То ли в Секешфехерваре? Неважно.

От переведения из законсервированного состояния в рабочее его жалование круто возрастало, и на выпивку уж точно должно было хватить. Собственно, больше ни на что Гаузер денег не тратил. Так что еще должно было и остаться. Кому? Лучше не думать. И майор потными пальцами зацепил с подноса у стюардессы что-то вроде двух с половиной двойных порций водки. Выпил. Подышал. А, собственно, куда это он летит? А, в Москву. А, спасти этого грязного гомосека. (Что Джеймс гомосеком сроду не был и любил женщин во всех видах – до этого Гаузеру дела не было, все мужчины, кроме него самого, были либо дерьмовыми импотентами, либо грязными гомосеками.) Дерьмо... скажем, скунсовое. Кошек и собак Гаузер уважал больше, чем людей, никакого человека он не уподобил бы даже экскрементам домашних животных. Выпил еще раз. Таковую же порцию. Как-то и задачи становились яснее, и миссия начинала казаться менее мерзкой.

Гаузер внутренним зрением оглядел попутчиков. Три девки: от двадцати до тридцати. Трое плейбоев: от двадцати до двадцати... четырех. Гаузер содрогнулся от отвращения: ведь если перебирать все комбинации этих трех пар, то, значит, двадцатилетний парень, вот этот самый Роджер, не далее как через двое суток будет употреблять вот эту самую Бригитту, которой не меньше тридцати! Скотство какое! Гаузера потянуло блевать. Зачем только он родился мужчиной. С этими самыми отвратительными органами. Зачем вообще родился. Бэ-е...

В общем, Гаузеру было пакостно. Простейшим прослушиванием удостоверившись, что в самолете других телепатов нет, всех шестерых попутчиков он вызвал на связь; все сидели сзади, он их не видел (тьфу, гадость, эта самая Лола как раз полезла в штаны к этому самому Роджеру, а он уже готов и подставляется, подлец, а этот самый Роберт, и помыслить гадко, что делает с этой самой Эрной, да, а третья пара чего ждет?..).

– Готовность семьдесят третьей степени?

– Семьдесят три!

– Все техники-маркшейдеры?

– Все!

– Отставить лапанье!

Мощный спад секс-напряжения. Отставили.

– Повторить цель экспедиции. Герберт, вы докладываете, прочим заткнуться!

– Отыскать пропавшего агента номер зет-римское-пятьдесят-четыре, иначе говоря Дж. К. Найпла, по заданию полковника Мэрчента передать ему советскую неконвертируемую валюту и снаряжение, в случае невозможности

доставить его в Штаты!

– Тьфу... Дерьмы.

Гаузер твердо решил для себя, что ему снова, как в пятьдесят девятом году, достался в подопечные сношающийся детский сад. Будь они прокляты. Явно работать придется одному. Кто знает русский язык?

Ответом ему было глухое телепат-молчание. Русского языка не знал никто. Гаузер тем более.

– Кровавое дитя... – Гаузер мысленно перевел на английский чудовищное венгерское ругательство, подобного которому он не знал ни в одном языке. Ведь вся группа окажется в СССР немой! Как, спрашивается, вести себя после отрыва от гида? От Интуриста? Вообще, как хоть что-то делать в России? Хорошо этому подонку, Найплу, он школу ЦРУ кончил, значит, русский знает в обязательном порядке. А ему что делать, он этого языка сроду не учил?! Ведь всех собак теперь все равно на него, на Гаузера, повесят! Хоть поворачивай домой прямо в воздухе. Что делать? Гаузер с горя выпил еще две с половиной двойных чего-то. Видимо, водки. А, кровавое...

А самолет уже прошел над Северным полюсом. Вот-вот пойдет на посадку. А следом надо будет делать рога таможене. Ведь нужно скрыть от нее пять килограммов детонатора! Пятьсот клопофонов! Пятьдесят тысяч в подлинной советской валюте! Еще Бог знает что! Гипнотизировать ее, суку! От ужаса Гаузер выпил еще две с половиной двойных. И еще две с половиной двойных. Доза была уже очень приличной. Но не настолько, чтобы забыть о сраме, который ждет его через два-три часа. Так что на всякий случай Гаузер выпил еще две с половиной двойных. Стало чуть легче. Почти пинта в организме. На посадку? Давай. Ремни присте..? Давай. А выпить еще дадут? Две с половиной? Уже не положено? А три доллара? А еще одну? А? Нельзя?

– Да кто у вас тут главный, ****и вы такие?

– Мистер, если вы знаете русский язык, это тем более обязывает вас не выражаться!

– Что такое? Мы же это, как там на каком языке, летим...

– А мне по...

– Да вы что, гражданин, вовсе усосались?

Гаузер очнулся. Один из трех его смазливых попутчиков, Герберт этот самый, тряс его за плечи, крича по телепатическому каналу:

– Сэр, вы же знаете русский! Мы спасены! Мы выполним!..

– Н...нет. Не выполним.

Лепет стюардессы, ставший понятным на мгновение, снова превратился в набор каких-то шипящих звуков. Белый как полотно Гаузер принял из ее рук очередные две с половиной. Это все только показалось – от перепоя. Нет... Не показалось.

– Надо будет гражданина в медпункт сдать!

Этого языка Гаузер не знал, не учил. И все же без сомнения это был РУССКИЙ язык, на каком же еще могла разговаривать эта перезрелая дура? И язык был Гаузеру понятен. И он мог ответить.

– Все в порядке, мамаша.

Стюардесса вскипела:

– Это я вам мамаша? Да я тебе, хрычу старому, в дочки...

– Нет, мамаша, не годишься. А если сама признаешься, то, значит, я как раз твою мать...

Тяжесть исчезла. Самолет шел на посадку в Шереметьево.

Через полтора часа, окончательно пройдя все досмотры с помощью Гаузера, виртуозно сделав рога всем этим олухам в мундирах, сидели все семеро попутчиков в огромном здании олимпийского аэропорта. Самый смысленый из попутчиков, все тот же самый Герберт, гомосек проклятый, суетился, подливая Гаузеру в бокал водку по капельке.

– Еще, сэр... Как по-русски будет “любить”?

– Ты о чем, падла? О занятии этом своим любимом гнусном?

– Сэр, я ни слова не понимаю по-русски, вы же знаете! Так, сэр. Когда разовая доза неперегоревшей в организме водки переходит у вас за четыреста пятьдесят граммов, вы начинаете говорить по-русски!

– Ты уверен, падла?

– Сэр, отвечайте мне по-английски!

– Пинту, значит, выпить полагается?

– Фактически больше, ибо часть алкоголя тут же и перегорает.

– А вот если вы выпиваете более полной бутылки, – Герберт покосился на почти пустую на столе, – то вы...

– Блюю!

– Либо снова забываете русский язык, либо блюете! Простите меня, но мне кажется, мы все же можем приступить к исполнению миссии!

– К премии лезешь, падла?

– Сэр, Господи Боже мой, я же ни слова не знаю по-русски, говорите по-английски!..

Стоит ли уточнять, что и в самом деле где-то в диапазоне между четыреста тридцатью и четыреста восемьюдесятью граммами водки Эберхард Гаузер начал говорить по-русски. И уже через несколько часов бедная обманутая гидесса болталась перед памятником Ивану Федорову в поисках доверенной ей группы. А вся группа тем временем мчалась в такси к ресторану “Новый Арбат”, где, как уверял водитель, можно хорошо выпить. Водитель вез семерых, хотя имел право везти четверых. Но девушки оказались такими тонкими, что немедленно скрылись где-то под коленями своих кавалеров, а представительный, довольно жирный товарищ на переднем сиденье все время ругался по матери, а с какого-то момента и вовсе понимать по-русски перестал. Какое, впрочем, было до этого дело водителю, если эти семеро бросили ему четвертной, сдачи не взяли и гуськом нырнули в ресторан?

Гаузер говорил по-русски виртуозно, с легким грузинским акцентом и матерными фиоритурами, которые завораживали иных искусственных официантов, как дудочка факира – кобру. Но знаний хватало всего минут на пятнадцать. Потом он либо блевал, либо забывал русскую речь начисто. Из “Нового Арбата”, взяв с собой по бутылке, пришлось всем как угорелым нестись в “Славянский Базар”. Больше чем по бутылке на сестробрата брать

было рискованно, элегантные туристы не болтаются с бутылками по Москве, они их в отеле распивают. В “Славянском Базаре” оказались невежливые официанты и огромные столы, да к тому же к ним сунули восьмого обедающего, какого-то невзрачного типа с картофельным носом, маленькими глазами, плохо побритого. Потрепались с ним о московских ресторанах – тип говорил на вялом английском, именно английском, неприятном слуху каждого истинного американца. Тип все пил за их счет и нахваливал “Пекин”, “Баку”, “Иверию”, “Лесную сказку”, более же всего ресторан на Павелецком вокзале. Гаузер проверил, не телепат ли этот самый тип, услышал только какой-то глуховатый стук, совсем, совсем слабый, – впрочем, при чем тут телепатия, это уборщица шваброй стучит, – и выпил две с половиной. Такая уж доза ему в России понравилась. И Россия тоже уже почти нравилась.

Потом понеслись как угорелые в “Ханой”, даже типа с собой взяли. Там его где-то потеряли, оттуда понеслись в “Варшаву”, потом в “Иверию”, поздно очень уже было. Даже и переспать со своими бабами некогда было, не то что Найпла искать. В “Иверии”, наконец, заночевали. Где-то на задворках кто-то из обслуживающих за полусотенную бумажку – в долларах, увы, советскую брать не захотел – указал им какую-то гнусную комнату, где все легли на пол и захрапели, забыв от усталости об эротических планах. Впрочем, храпели шестеро. Ибо уже забывший русский язык Гаузер сидел посреди комнаты, колотил в отчаянии кулаками по полу и по чужим задкам, ругался и по-венгерски, и по-албански. Он хотел протрезветь и не имел на то права. Проснулся же, как и остальные трое мужчин, совершенно небритым.

А потом из “Иверии” выгнали. Пришлось ехать в “Раздан”. И там опять выпить. И Гаузер вспомнил русский язык. Но хватило его ровно до “Арагви”. И так далее. Денег – Джеймсовых – было невпроворот. А русский давался одному только Гаузеру. И только после нарезания до положения риз: после какого-то определенного грамма начинали изливаться, помимо простой русской речи, еще и пословицы, и крылатые слова из произведений классиков прошлого века. Четыреста пятьдесят один грамм водки был, может быть, спасением не только для Гаузера и его группы, но и для России, для Америки, для всего мира. Ибо Джеймса нужно было спасти во что бы то ни стало. И чем больше Гаузер пил, тем больше ему хотелось выпить. А у вас какие другие идеи есть, иначе я по-русски ни бельмеса?! – думал, по-русски же, Гаузер. – Есть идеи, господа? Есть? Тогда я слушаю.

И выпивал еще две с половиной двойных.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 9

Евгений Витковский

IX

Осел, ходя вокруг жернова, сделал сто миль шагая. когда его отвязали. он находился все на том же месте.

Евагелие от Филиппа, 52; Рукописи Наг-Хаммади

Дверь открыл сухой, почти тощий мужчина лет сорока, очень бледный, в очках с толстыми стеклами. Кивнул и молча пригласил в комнату.

Аракелян обращался к этому человеку впервые, и то не без дрожи в железных коленках. Несгибаемый полковник, уже окончательно понявший, что с помощью угловской лаборатории операция поимки шпиона-телепортанта успешно провалена, шел на крайние меры. Больше недели кружили по Москве и области верные своему долгу эс-бе, свободный поиск, помимо лично ответственного Синельского, вели еще два десятка агентов того же класса, болгарские товарищи тоже не дремали – однако по сведениям, от них полученным, всей этой провокацией в США занимался неприступный Колорадский центр, где болгарские товарищи работать почти не могли, там полным-полно было телепатов и натуральной нечисти, получавшей бешеные оклады за то, что она – нечисть. Но в Москве и милиция была на ноги поставлена. Вот милиция-то и подала косвенным образом Аракеляну нынешнюю идею. Телепаты, очень хилые, из угловских лабораторий, хоть и числились ведущими поиск, но, ясное дело, никого найти не могли, людей, способных прочесть мысли начальства, в КГБ на работу не брали. Муртазов потому и был бесценным оружием, что телепатировал только в одну сторону, притом в правильную. А сейчас Аракеляну позарез нужен был ясновидящий. Настоящий. Такой человек в КГБ на крайний случай зарегистрирован был, именно к нему сегодня в дверь и позвонил Аракелян. Хотя теперь вся ответственность за возможное разглашение государственной тайны и падала на него, полковника.

Валериан Иванович Абрикосов по профессии считался хозяином собаки Душеньки, маленького ирландского терьера, вот уже восемь лет служившего в милиции на розыске. Получал за Душенькины успехи Валериан Иванович сто сорок рублей в месяц, чего было достаточно, чтобы не считаться тунеядцем. А ведь десять лет тому назад именно как тунеядец, пророчествующий и камлающий, выслан он был на три года в Саратов, но там не прожил и года, возвращен был в Москву на всякий случай: болгарские товарищи сообщали, что человеком этим интересуется пресловутый, еще, кажется, на Гитлера пахавший, предсказатель ван Леннеп. Аракелян еще тогда разобрался, что это за птица такая – Абрикосов, на всякий случай ткнул его в психушку на полгода, а потом выпустил, ибо видел у подопечного слабое место: тот оказался патриотом, русским донельзя, хотя и родившимся в Бобруйске на Инвалидной. Есть, стало быть, и у этого выродка какая ни на то истинно человеческая струнка, дергая за которую можно заставить и Родине пользу принести. Но до сих пор к телепату-славянофилу Аракелян не обращался, нужды как-то не было, и жил он себе на углу Лесной и Суцевской, в двух шагах от Бутырской тюрьмы, и ходила за него Душенька на работу, разыскивая чемоданы и мелкорасчлененные трупы, и приносила хозяину своему ежемесячно сто сорок рублей, тому самому хозяину, который знал, видимо, не только местонахождение данного чемодана или трупа, но даже заранее мог бы указать, что данный чемодан будет украден, а данный труп – расчленен. Разреши, короче, начальство смежной – но враждебной –

организации, МВД, оформить в штат человека, который занимался бы сущей чепухой, давал бы, скажем, список преступлений на будущий квартал с указанием места и времени – глядишь, у Душеньки работы бы не осталось. Милиция, впрочем, о ясновидении Абрикосова понятия не имела. Знал о нем только Аракелян да еще сотня-другая московских тантра-йогов, в среде которых рукописные книги Абрикосова “Нирвана” и “Павана” были настольным чтением. Прежнее поколение бесправных полковников с тантра-йогами боролось и в психушки их сажало, однако нынешнее небезуспешно старалось с ними сотрудничать. После того, как знаменитая целительница Бибисара Майрикеева возложением рук исцелила одного из самых главных людей в государстве от парапроктита, после того, как все прочее начальство повлеклось к Бибисаре со своими многочисленными болячками и немощами, – до того была стойкая мода на курорт Верхнеблагодатский на Брянщине, но тамошние воды возрождали к новой жизни только по мужской части, а частей у начальства было и других достаточно, – а Бибисара без видимого усилия их всех поисцеляла, – после этого портить жизнь тантра-йогам стало совсем неуместно. Аракелян знал, впрочем, что тантра-целители берут за лечение большие деньги, да и ведут себя достаточно патриотично. Поэтому тот факт, что собака Абрикосова служила в учреждении, вселял в Аракеляна надежду на грядущее сотрудничество. Хотя, конечно, собачий розыск – это еще не КГБ, да и не сам Абрикосов, а его сука. Но все-таки.

Сегодня утром он позвонил Абрикосову и назвался, – тот, надо надеяться, о нем и не слышал никогда. Попросил о встрече. Тот мягко согласился. И вот теперь они сидели в тесном однокомнатном кооперативчике Абрикосова и глядели друг на друга. Абрикосов курил, поблескивая толстыми стеклами, и ничего пока не спрашивал. Впрочем, спрашивать в такой ситуации, видимо, должен был Аракелян.

- Вы йог – отчего же вы курите? – ни с того ни с сего спросил полковник.
- Читайте “Павану” – ответил йог, развернул толстую переплетенную рукопись и сунул полковнику под нос – как раз, видимо, на том месте, где доказывалась возможность, а то и необходимость курения для йогов. Полковник читать не стал.
- А очки отчего носите?
- Вижу плохо. Минус шесть.
- Вы же целитель? Что вам стоит поправить зрение?
- Мне ничего не стоит. А вот одному вашему начальнику будет стоить... ну, очень многого. И не только ему.
- Это как это?
- Ну, пришлось бы, влияя на прошлое, не дать советским войскам бомбить город Орел, чтобы бомба не попала в тот дом, где прошло мое золотое детство. Правда, война тогда продлится на три недели дольше, гитлеровцы могут успеть закончить работу над атомной бомбой, а если даже и не успеют, то потери советских войск при взятии Берлина окажутся на двенадцать процентов выше, и ваш шеф, и не только шеф, фамилию его вы сами знаете, погибнет в ночь на тринадцатое мая. Ну так как, будем поправлять мое зрение? А очки у меня и так

очень хорошие, цейс.

– Да, да, лучше потерпите. Вы не женаты?

– Что вы. Скоро десять лет, как я импотент.

– Йог-импотент?

– Именно. Долго объяснять.

– Может быть, я пойму коротко?

– Да нет, вряд ли. Просто я выходил в самадхи... в очень высокие сферы астрала, если вам так понятнее, Короче, требовалось достичь высочайшего просветления. И возвращался по тонкой ниточке. А свадхисдхану, мировую в данном случае половую чакру, контролируют, увы, евреи, над мировой лобковой костью белого крокодила, ладно, это вам неинтересно. – Абрикосов скривился. – И обхапали меня за милую душу. Можно сказать, перемножили меня с этой стороны на ноль. Получил обухом прямо в аджну, фигурально выражаясь. И вот до сих пор не могу у них ничего отобрать. Очень силен сейчас их эгрегор.

– Что?

– Неважно. Вы не поймете. Евреи, короче, нынче очень сильны.

– Вы не любите евреев?

– За что мне их любить?

– Так вы, значит, патриот?

– Несомненно. Вы это прекрасно знаете. Иначе по сей день держали бы меня в дурдоме.

– Я-то тут при чем?

– Вы-то тут и при чем. Кончим об этом.

Аракелян и впрямь забыл, с кем говорит.

– И цель моего прихода знаете?

– Почти. Точнее, уже три года как я ничего не знаю совсем наверняка. Я возвращался, знаете ли, по тонкой ниточке и... заметили меня в чувашском эгрегоре. И обхапали меня почти по всем чакрам. Особенно, – Абрикосов коснулся лба, – пострадала аджна. Так что точно я не знаю ничего. Вишудха тоже, ночами дышать нечем.

(“Какое счастье”, – подумал Аракелян.)

– Счастья никакого, – вслух ответил йог. – Вам в особенности. На вашем месте я бы вообще уходил с работы и ехал в родной Караклис. Кировакан, то есть. Или лучше в Карс, там теперь армян не режут.

Аракелян помрачнел:

– И армян вы тоже не любите?

– А за что мне любить армян? Вы, кстати, почти единственный, с которым я в жизни столкнулся. И вы же меня в психушку сунули. Так как насчет любви?

– Простите, но тут служебные соображения.

– Вот потому-то только с вами и разговариваю. Я патриот все-таки.

– Вы имеете в виду – патриот советский?

– Русский. И советский тоже, если русский нынче означает советский.

Названия меняются. Были аркаимцы, их скоро откроют. Были скифы. Потом Русь. Потом Россия. Теперь СССР. Сущность та же самая – исконная, русская.

А Россия для меня и для моих друзей – превыше всего. Единая и неделимая. И я ее патриот. Достаточно ясно излагаю? Или, может быть, вам это неприятно?

– Да нет, что вы, не дашнак же я. Я советский офицер. И тоже патриот. И, думаю, мы сможем договориться.

– А у меня и выхода другого нет. Точнее, для меня это самый простой выход. А вы, кстати, уже опоздали с визитом ко мне, ничего вы этому типу сделать не сможете. Разве что лично могу дать совет-другой.

– Загадками говорите, уважаемый Валериан Иванович. То есть как это ничего не можем? Я пришел вас просить о помощи в розыске опасного преступника.

– Это шпиона, которого вы в первых числах октября зевнули? Видите ли, просто назвать вам его нынешний адрес – с моей стороны весьма непатриотично будет, это уж я, извините, расшифровывать отказываюсь, вы мне на слово поверьте. Да и не могу я вам указать – “вот эта улица, вот этот дом”, чувство ориентации у меня потеряно уже пятый год, возвращался я по тонкой ниточке, и заметили меня в татарском эгрегоре... Впрочем, это уже неважно. Короче говоря, могу дать только наводящие сведения.

– Это отчего бы?

– Вы, Игорь Мовсесович, лучше вовсе его не ловите. И препятствуйте его поимке. Уверяю вас, это будет с вашей стороны самым патриотичным поступком.

– Валериан Иванович, вы говорите с полковником госбезопасности! Думайте о возможной ответственности за свои слова!

– Я не об ответственности думаю, а о карме. А моя как раз такова, что, ежели бы вы ко мне репрессии применили, то я бы как раз ступень-другую и перепрыгнул. А вам стало бы куда как погано, скоро совсем, еще в этом воплощении.

Аракелян, всегда спокойный, внутренне несколько похолодел.

– Что ж, я и сделать вам уже ничего не могу?

– Можете. Нужно оформить московскую прописку одному мальчику из Киргизии. Его дома скоро линчуют за ясновидение. А он, может, еще пригодится. Даже вам.

– Вы же патриот России – а просите за киргиза!

– Киргизия – древняя, исконно русская земля. Как и Армения, учтите это!

– А Аляска с Финляндией, а Польша?

– Попрошу диссидентских разговоров в моем доме не вести!

Аракелян внутренне охнул: так с ним не разговаривало даже начальство. Но выбирать не приходилось, и нужно было извлекать пользу из этой беседы, пусть даже для себя одного.

– Так что, сделать этому мальчику прописку?

– Пишите: Ыдрыс Умералиев, тысяча девятьсот шестьдесят второго года рождения. Нужна хотя бы однокомнатная квартира. С телефоном, возле метро.

– А профессия?

– Тунейдец. Целитель-ясновидящий. Шаман. Что вам лучше, то и пишите.

– А нам за это что?

– Что ж, давайте менять товар на товар. Если скажете, что мой того не стоит,

можете мальчику квартиры не давать. Бибисара сама попросит кого надо.

– Нет уж, пусть не просит, у нас возможности не меньше! – обиделся полковник. – Валяйте, говорите.

– Вот. Человек, которого вы сейчас пытаетесь задержать, может стать исполнителем кармы России. Но он не должен им стать, поскольку с точки зрения всемирной кармы Россия является тем самым государством, которое рано или поздно должно поглотить... Это вас уже не касается, впрочем. Вы его хорошо обложили. В вашем эгрегоре...

– У нас такого нет!

– Зря так полагаете. В эгрегоре КГБ его предвидели и вам помогали. Вы его хорошо обложили, повторяю. Но в литовском эгрегоре тоже не дремали и подсунули вам свинью на лопате...

– Так я и знал, займусь гадом этим!

– А он меньше всех виноват, его не спрашивали. Литовца, словом, не трогайте. Он еще изрядную роль в ваших делах играть будет. И избавит, хотя и против своей воли, вас от многих неприятностей. Так вот: шпион ушел у вас прямо из рук. Можете шпиона даже ловить, если вам больше делать нечего. Все равно не поймаете, хотя я дам вам зацепки. Найдите через поликлинику молодого человека, пострадавшего при сносе дома на Малой Грузинской в день, когда вы объект упустили. У парня ушиб позвоночника, он ничего не видел и не слышал, с ним можете вообще не разговаривать. Он дома лежит. Но пусть скажет, с кем он, получая травму позвоночника... время проводил. И вот уже у того... допытайтесь, может, и видела она, куда ваш объект побежал. И потом потрясите инвалидов, которые на вокзалах у касс калымят. В тот же вечер с помощью такого инвалида ваш клиент куда-то уехал. Ну, вам хватит.

– Более чем. Еще советы будут?

– Да как вам сказать... Отвлекусь я в сторону, Игорь Мовсесович. Года два назад понял я, что обобрали меня по всем чакрам, совсем уж ни жить, ни дышать не могу. Ну все, все отобрали! Чуваши, евреи, лемуры! Кто хотел, тот и хапал. И пошел я тогда по эгрегорам сам – искать, что плохо лежит, может, найду что свое, кровное. И нашел. Не свое, правда, а чужое, но очень мне кое-что пригодилось, да и пригодится еще. Умение, например, столярничать. По красному дереву. Еще – лапти плести. Вот, у меня на столе кочедык настоящий лежит, пятаку выплетать, – пока что как пресс-папье; вот, бетель умею делать настоящий, если, конечно, компоненты есть. Словом, без куска хлеба остаться не должен бы. Попробовали бы и вы тоже так... поискать на черный день вокруг себя... да и в себе тоже? У китайцев есть специальная... молитва, что ли... одной, так сказать, богине – чтобы та послала много умения. Ваше спасение, лично ваше, если честно говорить, именно здесь и лежит. Мягко говоря, пошли бы вы туда, не знаю куда, там ведь точно лежит то, не знаю что, а оно, уверяю вас, качества там наивысшего и в надлежащем количестве. Вы ведь и представления не имеете, с кем связались, раз уж упустили его, так стоит ли ловить? Думаете, он просто шпион? Думаете, вы его просто так ловите, по-будничному? Да ведь о вас, ежели вы его сумеете не поймать, потомки говорить будут! С благодарностью!

– Это как же я такое... сумею?

– А вы попытайтесь, не пожалеете. И еще, помните, я вам говорил о карме России?

– Что-то было такое.

– Так вот, Игорь Мовсесович, как вы относитесь к Романову?

– К секретарю Ленинградского обкома?

– Да хотя бы к нему.

– С большим уважением. А в чем дело?

– Так вот, я советовал бы вам и в дальнейшем относиться к Романовым со всем возможным уважением. Вся эта история, если будет идти верным путем, принесет большую пользу и вам, и вашим сыновьям, им особенно, всем четверым, думаю, вообще всему вашему семейству...

– Это и все?

– Все.

(“Кранты нам! Быть Романову генсеком! – подумал Аракелян. – Чего уж яснее. За такое предупреждение и впрямь стоит прописать киргизенка в Москве.”)

Аракелян записал все, что считал возможным доверить бумаге, тепло поблагодарил странновато ухмыльнувшегося хозяина и вышел. Сильный октябрьский ветер ободрал с деревьев уже почти все, что шумело на них летом, под ногами листвы было видимо-невидимо. Аракелян медленно дошел до угла и сел в машину. И тут только вспомнил, что для России фамилия “Романов” означает не одного только ленинградского вождя. Похолодел, но плюнул.

“Поди туда – не знаю куда, – размышлял Аракелян, покуда машина плыла к центру. – Неужели этот самый Федулов заслан сюда самому себе неведомо зачем? А если при этом проклятый гестаповец ван Леннеп посулил успех, то... Страшно подумать, к чему может привести такая операция. Ищет себе человек неведомо что, а изобретает, скажем, порох. Или пенициллин. Блуждания. Блуждай себе, значит, блуждай – да и наблуждаешь”. – Аракелян принял решение. И сам же назвал будущую операцию – “Блуждающая почка”.

Первым же делом он вызвал в кабинет ответственного капитана Синельского. Тот не замедлил появиться, впрочем, в алкогольной форме № 6, а не № 4, как полагалось по служебному положению – но еще почти вменяемый. Кратко доложил: мол, вчера вечером посетил несколько ресторанов, вступал в контакты с иностранными туристами, в частности, заметил явно диверсионную группу из семи человек, видимо, заброшенную в СССР для растления населения путем склонения оного к занятиям групповым сексом. “Знаем, знаем, – отрезал Аракелян, – ты, конечно, присоединился к группе и принял на себя всю тяжесть первого удара. Тоже мне, Брестская крепость”. – Синельский стал отрицать, но полковник не слушал, потом капитан попросил денег на представительство, потому что дотратился и вчера был вынужден пить исключительно за счет иностранных туристов. – “Тебе только того и надо, а им тоже так и надо”, – парировал Аракелян, и Синельский, решив, что лучше вообще заткнуться, остался стоять по стойке “смирно”.

Словом, через час, когда ушибленный кирпичом в позвоночник Гена Селиверстов раскололся и выдал адрес Лены Лошаковой, а вся в синяках Лена,

ревя в семь ручьев, исповедалась Аракеляну в своих руинных приключениях, когда выяснилось, что незнакомый мужчина чуть не наступил на них с Геной, а ведь и без того очень страшно было, потом же ведь все рухнуло, а потом он через забор перелез и больше она его не видела, нет, Гену видела, а мужчину не видела, да нет, Гена тоже мужчина, а не видела она того, который на них чуть не наступил, хотя тоже был весь из себя видный, – когда все два десятка московских инвалидов были допрошены, и все до единого вспомнили, как в тот самый день брали билет именно этому самому человеку, – все, как сговорившись, из пяти предъявляемых им для опознания фотографий выбирали именно Джеймса, лицо его, видимо, хорошо им запомнилось, – до Брянска, Хабаровска, Оренбурга, Рыбинска и даже порта Тикси, хотя туда, как известно, поезда не ходят, рельсов не проложено, – когда все это стало известно, инвалидов и Лену с Геной отпустили по домам, взяв подписки о невыезде и неразглашении (того, кто брал билет в Сыктывкар, пока заперли на Кузнецком – из Рыбинска будто бы родом был Федулов), потом двадцать два агента были отправлены во все поименованные города искать шпиона и “то, не знаю что, словом, что важным сочтете, о том и докладывайте”, – только тогда пришлось даже и запертого инвалида отпустить: как выяснил Аракелян – и дал за это немедленный, дикий разнос лаборантам, – инвалидам предъявляли для опознания не пять фотографий разных людей, а пять фотографий все того же Джеймса, целиком и по частям, так что засыл агентов в двадцать два города потерял смысл. Однако командировки были уже оформлены, а часть агентов и улетела уже по месту командировки. Но Аракелян уже смертельно устал, а до конца рабочего дня нужно было выполнить обещание, данное телепату, – поддерживать с Абрикосовым хорошие отношения следовало по самой сути событий. Нужно было прописать в Москве киргизенка.

Для этого требовалось знать его отчество, и пришлось Аракеляну снова звонить. Тот отчества выговорить не мог, сослался на свою неполноценную челюстную чакру вишуддху, – кто именно его по этой чакре обобрал, он не сказал, и Аракелян заподозрил, что армяне, – предложил прислать мальчика самого, тот как раз у него дома. Аракелян пригласил того приехать на Кузнецкий мост, в приспособленную для таких встреч якобы частную квартиру. В половине седьмого там и встретились.

– Эгембердыевич, – медленно и четко выговорил тонкий и нервный мальчик, внешностью скорее дунганин или китаец, чем киргиз.

(“Всего-то Бердыевич, а вот надо же, приходится тратить время на него – а время же, началось же все, а счет-то какой, когда еще узнаю?” – печально подумал полковник.)

– Счет один ноль, на третьей минуте Полузайцев открыл, – тем же медленным и четким голосом выговорил мальчик. Аракелян опять имел дело с телепатом. – И не Эгем Бердыевич, вы бланк испортили, а Ыдрыс Эгембердыевич. Ваше отчество мне тоже не с первого раза далось, так что я не обижаюсь, – милостиво закончил мальчик.

– Паспорт при вас? – Аракелян пропустил “необижание” мимо ушей.

– Паспорт у меня во Фрунзе отобрали, чтоб я уехать не мог.

– Как это так?

– А мне пятнадцать суток, знаете ли, дали. Нас участковый на субботник собрал, а я ему сказал, чтоб он скорее домой бежал, ему там жена как раз первый раз изменить решила, а он разозлился, сказал, что у него медовый месяц и я не смею, и на пятнадцать как раз и сунул. Арыки копать. Ну, жена ему все равно изменила и еще будет. А я трусы наизнанку одел и сбежал в Москву.

– А трусы тут при чем?

– А не видно меня тогда. Невидимка я, товарищ начальник. Как фейри ирландские.

– Так никому прямо и не видно? И Валериану Ивановичу не видно?

– Ему видно. И еще троим. Но они все за границей.

– Всего, значит, только четверым тебя в вывернутых трусах видно?

– Четверым.

– А другие трое где?

– Там.

– Где “там”?

– Ну, один в Америке, другой в Африке. Третий неважно где, он на меня и смотреть не захочет. И на вас тоже.

– А если тебя в камеру посадить?

– Только если в очень герметическую. Или в силовое поле. Я ведь, товарищ начальник, когда трусы наизнанку выворачиваю, я в водяной пар превращаюсь. Меня не то что увидеть, меня и потрогать нельзя.

– Так зачем тебе тогда в Москве прописка, раз ты всемогущий такой?

– Арык копать очень не хочется.

– Так ты не копай! Ты ж участковому небось внушить можешь.

– Не могу я, товарищ полковник. Комсомолец я. На учете должен быть.

– Сознательный, значит?

– А как же иначе? Я же затем участковому и говорил про его жену говорил... Аракелян полистал пустую бумагу в папке.

– Мысли читать, значит, тоже умеешь?

– Если надо или просят. Вот ваши Валериан Иванович меня читать специально попросил, чтобы вы мне какой-нибудь свиньи на лопате не подсунули. А я мусульманин, мне свинью никак нельзя. Тем более в йаум аль-джума, в пятницу по вашему.

– Где же тебе квартиру давать?

– Можно в Новоалексеевском переулке. Так Валериан Иванович сказал, и Бибисара там живет. В общем, недалеко чтобы.

Через полчаса юный Ыдрыс, предварительно, правда, показав полковнику фокус с переодеванием трусов и исчезновением, – полковник даже и не пытался понять, каким образом он обратно человеком становится, чтобы водяной пар те же самые трусы еще раз вывернул, такого Аракелян и помыслить не мог, – помахивая ордером и свежим паспортом, которые полковник лично, не хуже князя Мышкина, заполнил разными почерками и чернилами, отправился к себе на квартиру на улицу Обуха, что было в смысле района много лучше того, что парень просил. Под разговор, под торжественное вручение ключей заставил его

полковник и бумажку о неразглашении подписать, и знаменитый документ о том, что обязуется Ыдрыс Умералиев добровольно сообщать органам обо всех известных ему правонарушениях и непорядках. За это брался полковник поставить его на учет в комсомольскую организацию МГУ, а также оформить его хозяином какой-нибудь рабочей суки, чтобы ни одна участковая собака его тунеядцем назвать не смела. Для полковника оставалось только не совсем ясным – понял киргизский телепат-невидимка, что подписанные им бумажки практически превращали его в штатного работника органов. Понял? Не понял? Но даже если и не понял – ведь подписал же!

Аракелян тем временем вежливо отказался от “конспиративных блинчиков”, которые по долгу службы принесла ему Мария Казимировна, работавшая на этой квартире “хозяйкой дома”. Следовало бы ей выговор дать: блинчики полагалось предлагать на пятнадцатой минуте беседы с гостем, а она притащила их почти на тридцать восьмой, когда и гость-то уже ушел. Да к тому же и пахли они как-то не так, пригорели, что ли, или не на том масле пожарила, старая дура. Но гость был с точки зрения Казимировны несерьезный, – не разубеждать же ее! – да и вообще все рабочее настроение Аракеляна как-то улетучилось. Хотелось домой, к семье. И досмотреть хотя бы второй тайм тоже хотелось.

Полковник сел в машину, на этот раз в свою собственную, и через десять минут запер ее уже у себя во дворе: он жил возле “Ударника”, в “доме на набережной”, где правительства никакого особенного давно не было, где квартиры были неудобные, со стеклянными дверями, с идиотской планировкой, где жил он в пяти комнатах со своей русской женой, четырьмя сыновьями, прижитыми за шестнадцать лет супружества, – а также, увы, с отцом жены, человеком невыносимым, но невыселимым: по совместительству состоял дед не только тестем полковника, но и тестем прямого начальства, генерал-полковника Г. Д. Шелковникова.

Жена Аракеляна, Наталия, в золотые молодые годы была полной русской женщиной из города Риги, – Наташенькины формы, умные беседы и хозяйственные наклонности в самый короткий срок склонили молодого лейтенанта из Армении к самозакланию на ЗАГСовском алтаре, ну, конечно, и то, что сестра жены замужем была за генерал-майором той же службы, что и сам Игорь, некоторую роль сыграло. Выйдя замуж за Аракеляна, Наталия со всем рвением взялась управлять с домашним хозяйством, через сестру и впрямь быстро повысила мужа в чине, перевела его в Москву, деловито, со средней частотой раз в два года, даря ему по черноволосому потомку. Но чем дальше, тем меньше времени уделяла она мужу и дому, тем больше гналась за крупными уходящей молодости, – нет, не чувства мимолетные коллекционируя, не поклонников, – стала Наталия, как за сорок зашло, следить за собой. И оглянуться не успел вечно занятый полковник, как обнаружил, что женат отнюдь не на полной русской женщине, а на тощей, как жердь, сухой и спортивной даме, сидящей на диете и совершенно переставшей поэтому готовить, – любимую его армянскую еду, кстати, она вообще никогда готовить не умела. И домработница Ираида, которую завели теперь супруги, армянского тоже ничего состряпать не могла и не хотела: “Не буду я готовить, чего

пробовать не могу, перец один, паскудство!” Так что помимо нехорошей перемены во внешности жены получил еще Аракелян и возможность готовить на всю семью – обязанность приятную, но хлопотную. Тем более, что шеф, генерал-полковник Г. Д. Шелковников, необычайной толщины и прожорливости мужчина, в “Москвич” не помещавшийся, минимум два раза в месяц приезжал к полковнику подхарчиться, ибо всерьез полагал, что лучше Аракеляна никто на всем белом свете ни долму, ни кюфту готовить не умеет. Так что кулинария превращалась в дело уже просто служебное. Занятая своим здоровьем и внешностью, передоверила Наталья мужу и воспитание четверых сыновей. А мужа то и дело дома не было. Так и доставались четыре сорванца на попечение тестю – жуткому, с точки зрения Аракеляна, бездельнику и вообще фрукту. Из-за него в квартире Аракеляна порядок решительно был ненаводим. Ибо разводил Эдуард Феликсович Корягин, как звали тестя, гиацинтовых ара, чудовищно дорогих попугаев, по полторы-две тысячи птичка. В доме жили одновременно шесть попугаев, не знавших притом, что такое закрытая клетка. Разводил их Корягин для души и на продажу, чуть ли не у него одного на всю Восточную Европу эти птицы неслись в неволе, птенцы вылуплялись и вырастали; человеком Корягин был очень известным, – но, впрочем, не только по попугайной линии. Каждую субботу и воскресенье брал дед птичку, заворачивал поплотнее и ехал на птичий рынок, где стоял от открытия до разгона. За птичку просил он две тысячи, и, самое удивительное, раз в три-четыре месяца находился остолоп, который ему эти две тысячи выкладывал. Так и получалось, что тесть-бездельник, считая пенсию его в сто двадцать рублей, зарабатывал едва ли не столько же, сколько сам полковник – ни хрена, по мнению полковника, при этом не делая. Деньги тесть тратил в основном на своих черноглазых и чернобровых внуков, у старшего, кстати, уже усы наметились, и боялся Аракелян, что вот-вот станет дедушкой. Была седая тестева борода для Аракеляна тайным оскорблением, торчала она над обеденным столом, возвещая не только дедову финансовую независимость, но и унижая его, Игорььмовсевичево достоинство, ибо виделась полковнику в этой бороде не столько борода тестя собственного, сколько тестя начальственного, – а начальник в тесте, увы, души не чаял, благо жил не с ним и не с попугаями. А вонь от попугаев была хоть и небольшая, но для тонкого кулинарного обоняния неуместная.

Полковник наскоро состряпал на кухне один-два баклажанных деликатеса из заготовленных с утра Ираидой материалов, одним глазом досматривая по телевизору озорчивый матч – ихние наклали нашим по первое число, особенно после того, как насмотревшийся на желтую карточку Полузайцев был удален с поля. Ихние выиграли со счетом четыре – один, от огорчения Аракелян чуть баклажаны не пережарил. А Наталия сидела тут же, в кухне, пила кофе с сухариком, с отвращением изредка поглядывала то на пышную сковородку с баклажанами, то на яркие майки на экране. И демонстративно есть ничего не стала, ушла к себе, не то массаж делать, не то маску – а ведь полной русской женщиной была когда-то, ох как только давно! Покормив всех, разогнав сыновей по постелям, – благо деду нынче нездоровилось, а то стали б они отца

слушаться! – помыл полковник посуду, прибрал все и сел на кухне за столик – выправить заготовленные на завтра списки закупок для домработницы, которые жена без понятия до его прихода составила. Но кулинарные мысли в голову отчего-то не шли – все не давала покоя полковнику улыбка Абрикосова, когда тот говорил про необходимость уважения к Романовым. Что именно он имел в виду – Аракелян и представить-то боялся. Он мысленно пытался припомнить еще каких-нибудь Романовых, вспомнил конферансье пятидесятых годов, отмел его кандидатуру как несостоятельную, еще кого-то тоже отмел, и в конце концов перед его умственным взором повис жуткий образ серебряного рубля, царского, с бородатым профилем, именно такие рубли, по хронологии годов чеканки – что стоило деду Эдуарду немалых денег, – собирал старший сын Аракеляна, Ромео. Причем профили Александра III и Николая II вспоминались полковнику одновременно, одна борода напознала на другую, получалось очень похоже на Маркса, и, чтобы развеять наваждение, требовалось спешно заняться хозяйственными делами.

“Картошка – 1 кг”, – писала жена, тут Аракелян ничего от себя добавить не мог, он знал, что это не для еды, а для компрессов, не то для ингаляций.

“Морковь – 2 кг”, – Аракелян решительно приписал: СЛАДКУЮ!

“Лук репчатый – 3 кг”, – он приписал ниже: ФИОЛЕТОВЫЙ!

“Баклажаны – 5 кг”, – Аракелян почесал авторучкой висок, подумал, потом написал: В ПРОШЛЫЙ РАЗ БЫЛИ ВЯЛЫЕ! СЛЕДИТЬ!

“Помидоры – 6 кг”, – Аракелян нарисовал, какие помидоры должны быть, надеясь, что сорт “бычье сердце” спутать ни с чем нельзя. Но проклятая Ираида все раз от разу чаще приносила магазинную болгарскую гадость, сэкономила его же деньги. И ругать ее было нельзя, где другую домработницу нынче отыщешь? – и кушать тоже.

“Сельдерей – 10”, – Аракелян гневно прибавил: ЧЕГО ДЕСЯТЬ? ЕСЛИ КОРНЕЙ 10, ТО МАЛО, А ЕСЛИ КИЛОГРАММ ДЕСЯТЬ – ТО МНОГО!” – хотел съязвить насчет того, что жена уж и не знает, как сельдерей-то продают, поштучно или на вес, потом вспомнил, что список адресован не ей, а домработнице, все зачеркнул и написал: “3 кг”.

“Петрушка – 2, кинза – 10, тархун – 6...”, – весь список трав полковник перечеркнул: и как она смелость-то на себя берет писать о том, сколько и каких трав покупать! Из того, что она написала, он не взялся бы сготовить даже горчичник, – а ведь начальство жрать хочет!

“Языки говяжьи – 3”, – полковник перечеркнул цифру “3” и аккуратно вывел: ВСЕ. Это означало, что Ираида должна быть на базаре ни свет ни заря, когда мясо только привозят, и скупить все языки, сколько их ни будет на рынке. Полковник знал, что все равно не хватит. Но все-таки.

“Печенка куриная – 2 кг”. – Тут полковник жену даже похвалил в душе: не забыла. И дописал для Ираиды: ХОТЬ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ!

“Яблоки...”, – Аракелян дописал: ЯБЛОК НЕ НАДО!

“Орехи...”, – полковник со злобой вывел: ГРЕЦКИЙ! ГРЕЦКИЙ! ГРЕЦКИЙ!
Как ей объяснишь, что лесные орехи в кавказскую кухню не идут, по крайней мере, грецких ими не заменишь.

“Чернослив...” – НЕ МОКРЫЙ!

На этом список кончался. Полковник подумал чуть-чуть и дописал ниже:

МАСЛО РЫНОЧНОЕ – 2 БАТОНА.

СМЕТАНА – 3 ЛИТРОВЫХ БАНКИ. И добавил, распаясь: БУДЕТ ОПЯТЬ ГОРЬКАЯ – УВОЛЮ! Потом долго зачеркивал последнюю фразу, чтобы не прочла ее Ираида ни в коем случае.

Приколол к списку скрепкой пять бумажек по пятьдесят рублей и положил все на холодильник. Поглядел на часы: только что перевалило за полночь. Но романовское наваждение не прошло даже за хозяйственными размышлениями. Рубль с Марксом так и стоял перед глазами, напоминая о загадке. Аракелян со вздохом потянулся к телефону и набрал номер Абрикосова.

– Слушаю вас, – послышался голос йога.

– Это Аракелян, Валериан Иванович, извините, что так поздно. Вы не могли бы, что ли... разъяснить мне чуть поподробнее тот совет об уважении, который вы мне дали? Может быть, не по телефону...

– Отчего же, Игорь Мовсесович. Я вам отвечу и по телефону. Я бы действительно советовал вам утвердиться в худших своих подозрениях. А сейчас спокойной ночи, я, извините, на голове стою.

Аракелян повесил трубку, вздохнул глубоко-глубоко и подвинул к себе другой список – тот, что был предназначен Ираиде для похода по магазинам. И сразу рассердился, потому что жена заказывала домработнице купить для нее две пачки диетических хлебцев. Потому что было ясно, что всю следующую неделю Наталия будет есть одни эти хлебцы и с отвращением наблюдать за его готовкой.

Аракелян выругался по-армянски. Послал же Бог жену, полную русскую женщину!

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 10

Евгений Витковский

Х

И живи также в мире с соседским чертом! Иначе он будет посещать тебя. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра

– Не очень-то страшен черт, даже когда его малюют совсем уж страшно. Посмотрите на картины старых мастеров – ни у кого черт не получился страшным. У Босха – смешной. У Содомы – тоже смешной. Так чего бояться, даже если он и кажется вам страшнее черта? Чувства юмора не теряйте, генерал. Мне-то и вовсе бояться нечего. Сами видите, в подлинном облике перед вами сижу. Не Брижит Бардо, и не будет ему Брижит. Это его живые боятся, а я покойник. Только макаронник ваш пусть не следит и не присутствует, терпеть их не могу, это они меня прикончили в июле сорок второго, когда дуче неудачный десант на Мальте высаживал. Я его не трогаю. Пусть и он про меня забудет.

Форбс медленно поднял глаза к потолку. Смотреть на собеседника было не то чтоб страшно, но как-то негигиенично: в истинном облике Джузе Кремона являл собою полуразложившийся труп, безгубый к тому же, и его изумительной белизны зубы, включая четыре вампирских клыка, были просверлены дырочками разных размеров: дань музыкальным склонностям вампира-оборотня. Под певучим псевдонимом “Тони Найтингейл”, давши на обложку свою довоенную фотографию, периодически выпускал вампир в соседнем Пуэбло диски-гиганты с изумительными концертами художественного свиста. Их раскупали. На гонорар покупал Кремона в местном ларьке донорскую кровь, и для окружающих был совершенно безопасен. Отчего тихий мальтийский юноша, погибший во время высадки итальянского десанта, превратился в вампира, – сам Кремона помалкивал, а спрашивать не всякий бы решился. К тому же его очень ценил Форбс: это был единственный сильный оборотень, находившийся в двойном административном подчинении, – с одной стороны, он, как оборотень, числился в треклятом секторе трансформации у псевдополяка, с другой, как бесспорный покойник, мог подчиняться только медиуму Ямагути и Форбсу, – двое последних очень дружили, настолько, насколько вообще возможна дружба японца с древним китайцем. Впрочем, всем было известно, что подчинение Кремоны медиуму – липовое, у того и отдела-то не было, а дух мальтийца обитал не на том свете, а прямо здесь, в бранных останках, шляющихся день и ночь по коридорам и пугающих лаборанток. Однако же вампир обладал легким характером, его шляние в природном облике было всего лишь мальтийской шуткой, – а ведь он замечательно умел превращаться в козу, в волка, в медведя, в Братца-Кролика, в Статую Свободы, в президента Гардинга (на что тот безумно обижался на том свете), в певца Синатру, в Красную Шапочку, еще кое в кого и кое во что.

Форбс медленно опустил глаза.

– Ходячий ты труп, – ласково сказал он.

Вампир сидя щелкнул каблуками и просвистел два первых такта “Боевого гимна республики”. Уже двадцать лет он был полноправным американским покойным гражданином. Плохо получалось, однако, что он и лучший маг Бустаманте тоже терпеть не могли друг друга.

Кремона ушел. Форбс расслабился: сейчас предстоял разговор куда более тяжелый, скорей не разговор, а поединок. Вчера Джексон неожиданно вышел на связь с Гербертом Киндзерски, когда тот лежал на полу без сна в задней комнате “Иверии”. Так и стало известно, что группа Гаузера осталась в СССР почти немой. Конечно, Гаузер за его алкогольно-лингвистический дар, внезапно проявившийся в таких сложных обстоятельствах, заслуживал и поощрения, и повышения в чине. Но особой надежды на успех его миссии возлагать не приходилось, слишком много сил, видимо, уходило у группы на поддержание алкогольной кондиции Гаузера. Форбс уже и в документах именовал этих несчастных не иначе как “семеро пьяных”. И теперь приходилось, черт побери, снова в обстановке крайней спешки слать на помощь Джеймсу агента, притом безотказного. Таковым мог быть только оборотень-профессионал. Или же – если выражаться на языке донесений Форбса Конгрессу – “трансформатор”. О

том, что Джеймс жив и, кажется, здоров, Форбс уже знал: Джексон изловил его, осознал, что тот в Свердловске, что пьет водку, – но, увы, на этом связь оборвалась, не хватило времени спросить, нашел Джеймс наследника престола или хотя бы финскую баню, нет, ворвался в пьяное сознание пьяного Джексона пьяный лепет какого-то советского дояра, не то доярки, и понес индеец что-то такое, что полночи потом целая лаборатория расшифровать не могла, а когда расшифровала – только и выяснилось, что чья-то мать была непорядочной женщиной. Но к Джеймсу это отношения, видимо, не имело: его мать держала на Ямайке в городке Монтего-бей дорогую гостиницу, фамилия у нее была совсем другая, кому до нее какое дело в России, да и вообще кто о ком что знать может, о бабах особенно... Чероки скоро уснул.

Оборотней в институте Форбса ценили и берегли. Ушедший ныне на пенсию заведующий этим сектором Дионисиос Порфириос, сам обладающий редчайшей способностью превращаться в демонстрацию, десятилетиями подбирал сотрудников по всему миру, – выявляя, вербуя, обольщая, шантажируя, гипнотизируя и оборачиваясь. Порфириос, чье здоровье было подорвано многочисленными тысячемильными маршами протеста от побережья до побережья, оставил институту отлично укомплектованный штат из более чем пятидесяти оборотней-профессионалов. Каким же ударом стало для Форбса и для всего института, когда на освободившееся место несимпатичный президент внезапно назначил человека совершенно чужого, с некоторых пор известного под именем Вацлав Аксентович. В первый же день по водворении нового начальства в Элберт обнаружился конфуз: ни для Форбса, ни для прочих телепатов не составляло ни малейшей тайны, что человек этот не только не оборотень, но и не поляк даже. Под именем Аксентовича скрывался широко известный советский генерал-перебежчик Артемий Хрященко, человек уже немолодой, на родине еще при прежнем кукурузном премьере приговоренный к некоей мере высшего наказания. В былые времена, когда генерал еще состоял на советской службе и числился корсиканским графом, носил он клички “заместитель посольства” и “оборотень” – видимо, последнее прозвище и надоумило президента дать ему нынешний пост.

До того, как перебежать, Хрященко инспирировал и провел ряд государственных переворотов в южноевропейских и латиноамериканских странах, в результате которых там на какое-то время водворялись просоветские режимы, сразу влетавшие Советам в круглую сумму; впрочем, эти режимы долго никогда не держались. Дважды он довел правительство одной серьезной европейской державы до кризиса, вотума недоверия и до прихода нового правительства, относившегося к СССР уже с открытой злобой. Он годами не бывал на родине, не оставлял себе на личную жизнь ни часу, единственным его увлечением навсегда оставалась серьезная кинематография. Никто никогда не заставлял его ни на порно-дешевке, ни на вестернах, ни на “звездных войнах”, зато на каждом фестивале в Каннах он неизменно появлялся в природном виде степенного, короткошеего, по-наполеоновски лысоватого корсиканца. Хрященко знал, что рука Москвы близко, он чувствовал ее за спиной, знал, что в любую минуту может обернуться и эту самую руку пожать. Чины ему шли

незаметно для западных специалистов, недра Лубянки поднимали его все выше и выше, и, когда лет пятнадцать тому назад он внезапно явился в американское консульство в Марселе, сдался и попросил политического убежища, его чин генерал-майора КГБ некоторых даже ошеломил, – из-за чего, быть может, о нем в дальнейшем столь неусыпно пеклись обе заинтересованные сверхдержавы. С тех пор поочередно президенты США, принимая при вступлении в должность бремя государственных тайн, получали в виде платного приложения и пресловутого Хрященко. От покушений болгарской – традиционно – разведки его не могли спасти ни бетонные стены, ни подводные бомбоубежища. Правительство США, гарантировав ему политическое убежище, взвалило на плечи налогоплательщиков немалую ношу: за истекшие годы обошлась охрана шпиона каждому из них чуть ли не в недельное жалование. Наконец нынешний президент, окончательно запутавшись в международных делах, в угаре полномочии объявил Хрященко почетным гражданином города Чикаго и почетным поляком: в конце концов, комплект к Папе Римскому и прочим. Сразу после этого почетный поляк был направлен в институт Форбса как в наименее доступное для болгар место, и, к несчастью, событие это совпало с уходом на пенсию главы сектора трансформации – вот и попал президентский ставленник на вакантное кресло. Ничего плохого президент сделать не хотел, он счел, что с какими-то там обязанностями главы чего-то там мелкого Хрященко уж как-нибудь да справится: справляется же он, президент, со своими, а ведь даже и не думал, что справится.

Никогда и никого не интересовала личная жизнь бывшего лжекорсиканца, ныне лжеполяка, – ее просто не было, разве что снимал пенки с мирового кинематографа; ничего больше, быть может, потому он себе и не позволял, что нигде никогда не чувствовал себя в безопасности и ощущал готовую к пожатию руку слишком близко. Кто же мог знать, чем все это обернется? Знать мог предиктор. И теперь Форбс с горечью вспоминал, как в день появления Аксентовича-Хрященко в недрах Элберта он самолично вызвал голландца к прямому проводу и спросил: все ли, мол, будет в порядке. Предиктор улыбнулся в третий или четвертый раз за все годы работы в США и ответил, что повода для тревоги нет ни малейшего, что Аксентович – фигура некрупная, но еще очень пригодится. Выше предиктора в знании будущего стоял один Господь, а в Него Форбс не верил. И очень скоро улыбка предиктора получила разъяснение. Войдя в должность, Аксентович созвал сотрудников, опросил насчет индивидуальных склонностей и кинематографических пристрастий, в следующие сутки занимался писанием инструкций, а потом, как выразился невежливый Бустаманте, “сорвался с цепи”, использовал служебное положение для компенсации десятилетий сублимации и киноложества вприглядку. 90% персонала, согласно приказу, вынуждены были превратиться в западных кинозвезд, 10% – в советскую секс-бомбу Целиковскую – в разных ролях, для этого пришлось смотреть занудные советские фильмы и выводить через премудрую формулу Горгулова-Меркадера новые коэффициенты переоборачивания. Аксентович в километровых недрах Элберта наконец-то ощутил себя в безопасности. Перебрав почти весь мировой экран, Аксентович

остановился на основных образах, более всего заставлявших его чувствовать себя молодым и сильным, – Брижит Бардо и в меньшей степени – Мэрилин Монро. Почти все оборотни к моменту, когда положение представилось Форбсу нетерпимым, пребывали в шкуре двух этих кинозвезд, в различных возрастах – от двенадцати лет до пятидесяти пяти. Еще несколько унылых Целиковских бездельничали, Аксентович звал их к себе разве что вечером в воскресенье, а единственным, кто был освобожден от необходимости ублажать почетного поляка, был мальтиец Джузе Кремона: грешить с покойником генерал-перебежчик считал для себя, видимо, зазорным. Администрация нынешнего президента доживала последние месяцы, поднимать в Конгрессе скандал с сомнительными шансами на успех Форбс не стал, и поляк попал не под суд, а в стекло: звякнули протянувшиеся от потных пальцев бывшего венецианского стеклодува хрустальные нити, завертелись огромным радужным пузырем, очнулся же сомлевший зав. трансформ. сектором только в здоровенной, похожей на бутылочную тыкву, наглухо запаянной посудине. Вентиляцию оной, ассенизацию и кормление почетного поляка Бустаманте осуществлял в свободное время. Чисто механически почетный гражданин, оказавшийся сексманьяком, был разлучен со своим гаремом и теперь глухо рычал от злобы, созерцая многочисленных Б. Б. и М. М. с Целиковскими сквозь стенки исполинского презерватива, и поделаться не мог ничего: Форбс провел свои действия по меморандуму, согласно которому обязан был гарантировать полную безопасность Аксентовича “любой ценой”. Теперь она и вправду была гарантирована, никакие болгары не проникли бы в заколдованную бутылку, и лжеполяк мог отомстить лишь одним способом, что и сделал немедленно: даже в бутылке он все же оставался начальником сектора, работу которого полностью парализовал, запретив всем сотрудникам изменять облик. Теперь, когда Форбсу до зарезу был необходим оборотень, это неизменно вело к безобразным сценам и торгу: за любую услугу Аксентович требовал чудовищных сексуальных взяток. Теперь все ждали обещанных ван Леннепом мер, которые предпримет президент к СССР как раз в порядке мести за антипольскую политику, и торгующийся Аксентович ждал, видимо, того же, хотя не верил ни в предсказания, ни в левитацию, ни в тавматургию, ни – тем более! – в оборотней, он полагал, что все, конечно, может быть и так, – а ну как если с другой стороны посмотреть, то все иначе и причины совсем другие? Из воздуха перед генералом возник новый референт, О'Хара, сменивший негра, по вине которого группа Гаузера осталась в СССР почти немой; после проведенного расследования негр оказался болгарским агентом, был понижен в звании до рядового и отправлен на полуостров Юкатан следить за НЛО. О'Хара дожидался этого места двенадцать лет, с самых чешских событий. Форбс оцупал его привычным взглядом – сперва снизу вверх, потом сверху вниз. Ирландец ему годился.

– Аксентовича, – тихо сказал генерал, – и немедленно.

Референт щелкнул каблуками, явное свидетельство того, что он, как и полагалось, внимательно следил за разговором с Кремоной. Форбсу это понравилось, недоброй памяти афроамериканец так не делал. Через несколько

минут – генерал расслабился, мысленно созерцая какой-то из любимых сунских свитков – дверь кабинета отъехала вбок, дверной проем неясным образом раздвинулся, и сквозь него вплыла огромная бутылка на тележке, которую без видимых усилий толкал ирландец. В бутылке сидел опрятно одетый, при галстуке, хотя и скинувший обувь с ног, человек лет под шестьдесят, с горящими глазами, похожий сразу и на великого корсиканца, и на героя какой-то русской книги, которую Форбс видел однажды, такого старинного украинца с отвислыми усами. Форбс сдержанно поздоровался, а потом с места в карьер напал:

– Не советую приглашать польских свидетелей, как, слышно мне, вы решили. Разговор не тот. Уверяю вас, что ваши поляки вам не помогут. Даже Ярузельский.

Аксентович покачал головой, и крупная слеза поползла из его правого глаза, утонула в отвислой щетине уса, дотекла в нем до конца и повисла на волоске.

– Курить охота, – сказал он, – трубку бы. Люльку. Тогда поговорим. – Генерал наклонился к селектору:

– Луиджи, дай ему сигарету.

Бутылку заволокло дымом: это Бустаманте переслал в нее уже раскуренный “Кент”.

– Слишком слабые... Трубку дайте!

– Нету!.. Скажите, Аксентович, ведь вам уже шестьдесят, в конце концов, зачем вы... Постыдились бы... мм... вельможный пан, а?

– Эх, генерал, генерал, вам бы мой тридцатилетний – как бы выразиться? – недобор, я бы, знаете, еще посмотрел...

– Словом, к делу: есть пять минут. Нужен трансформатор. Работать придется в России.

Аксентович затаился и отвел глаза.

– Не слышу ответа, – сказал Форбс.

– А что слышать-то, – отозвался почетный поляк, – откуда мне взять-то его?

Вон, вампир есть, его используйте. Другие все заняты. Кто на задании, кто готовится к заданию. Так что и говорить не о чем. Хорошо вас кормят, генерал, хорошо вас кормят, вот что я вам скажу. Экий вы, генерал, смешной. Откуда ж я возьму вам оборотня? После Нового года, тогда, может быть, и смогу выделить. А сейчас... Трубки тем более не даете. Да нет. Видимо, не смогу весь будущий год. Разве декабрь месяц.

– Будто неизвестно вам: что к уже к этому январю вас здесь не будет.

– Н-да, а если все-таки буду еще год? – сказал зав. трансформацией и сам, кажется, испугался – сидеть столько времени в бутылке не хотелось ему даже ради удовлетворения врожденного чувства противоречия. Но он понял уже, что Форбсу оборотень нужен позарез, а дать или не дать – зависит от него, от почетного поляка. В принципе он готов был и на компромисс, но на выгодный, только на выгодный. – Можем поторговаться, а?

– Я могу предложить вам отключить ассенизацию.

– Меня дерьмом не испугаешь, генерал, я его хлебнул во! Отчего вас удивляет, когда, скажем, хорошая вещь стоит действительно дорого? Кстати, я хотел бы

перекусить. И трубку все же найдите. Негоже мне без трубки. У нас в Польше без трубки разговоров о делах не ведут.

– Кстати, о делах: глубокоуважаемый мистер Порфириос недавно побывал на родине, заехал в Болгарию, выявил двух прекрасных оборотней и вам предстоит принять их в ваш сектор. Близнецы, оба дипломаты, оба уже завербованы... Словом, примете сотрудников. Контракт подписан президентом.

Магическое слово “Болгария” мигом сбilo часть спеси с почетного поляка, но сдавать позиции он не собирался. Он требовал свободы, дотаций, трубку, грозил пожаловаться помощнику президента и Папе Римскому, соглашался вести переговоры только после совещания со всеми своими подчиненными поочередно, а генерал, в свою очередь, грозил посадить к нему под колпак жутких джексоновских кобелей, никакими способностями к трансформации не обладающих, отвратительно голых, горячих и неполнозубых. И все время расхваливал болгарских сотрудников, незаметно умножив их число сперва до трех, потом до четырех. Наконец, нашли где-то трубку для Аксентовича – если честно, то отобрали у Мэрчента, но полковник с начальством не спорил – Форбс отослал ее в бутылку аппетитно раскуренной и прибавил, что табак в ней очень высокого качества, болгарский. Зав. трансформацией трубку с полузатяжки в ужасе выронил, пяткой растоптал просыпавшиеся угольки, обжегся и рассвирепел вконец. Через час-другой черты общего соглашения все-таки начали намечаться: почетный поляк согласился выделить для нужд Форбса требуемого оборотня на весьма длительный срок, а Форбс соглашался предоставить ему для довольно длительного совещания совершенно новую советскую кинозвезду, как раз сейчас выступающую в Пуэбло, совсем не болгарку, это гарантировалось. Для давно покинувшего Россию экс-генерала новые советские звезды, особенно такие, которые поют, были весьма интересны. Он сам иногда на досуге напевал старинные казацкие песни. Поставляемых Форбсом кинозвезд изображал, понятное дело, Кремона, но насублимировавшийся Хрященко об этом знать не знал. Кремоне шли сверхурочные, он блаженствовал в ларьке института, выдувая литры “Консервированной Донорской № Первая Отрицательная” испанского разлива, и все норовил пригласить лаборантку-другую разделить с ним кайф. Все непривычные в ужасе разбегались, а Кремона только свистел им вслед, для него вопроса девичьей чести не существовало, он был гурман и шутник.

В кабинет Форбса почти сразу вслед за исчезновением проклятой бутылки впорхнула, вбежала, влетела, сияя всей своей девятнадцатилетней юностью, безупречными губами, дивной парижской прической, какими-то необыкновенными чулками, фантастическим маникюром – сама Б.Б. влетела к генералу, как к долгожданному возлюбленному; подлинная Б.Б., кстати, никогда так скверно бы эту роль не сыграла, хотя, признаться, играла на самом деле из рук вон. Древний китаец в душе генерала, впрочем, на весь этот спектакль не отреагировал никак, а сам генерал протянул кинозвезде маленький и грязный клочок бумаги за подписью поляка, отдававший данную Б. Б. в пользование генералу на длительный срок. Кинозвезда качнула бедрами, рухнула в кресло, закурила, затем яростно, с хрустом съела фирменную зажигалку – и вот уже на

ее месте в кресле сидел небольшой, средних лет, почти вовсе облысевший француз с усиками, небритыми щеками и воспаленными глазами, потный и замученный. Это и был Жан-Морис Рампаль, герой вьетнамской войны, в свое время выменанный американским правительством у Северного Вьетнама на десять тысяч пленных, – и тот самый, который, узнав, что евреи дали Египту за своего Визенталю двадцать тысяч пленных, хотел застрелиться, столь было уязвлено его тщеславие. Рампаль хлопал глазами и почти рыдал.

– О Господи, генерал, скорее выпить! – в изнеможении выпалил он, протянул было руку за стаканом виски, которое Форбс собственноручно и заблаговременно поставил на край стола, но тут же, вовсе не стесняясь присутствием посторонних, запустил ее себе за пояс, в чем-то убедился, покраснел и схватил виски. – Господи, генерал, почему вы не сделали этого раньше... Семь месяцев... и пять дней в этом борделе! Неужели я затем сменил гражданство, затем стал американским военным, а вы, генерал, выменивали меня на десять тысяч вьетконговцев, чтобы я больше полугода сидел в борделе тюремного типа! Я прошу об отставке! Я должен пройти врачебное освидетельствование! Я определенно чувствую, что со мной что-то не в порядке! Я слишком долго был женщиной!

– Капитан, – сурово сказал Форбс, – возьмите себя в руки. Я выцарапал вас у этого подлеца не для того, чтобы вы истерику устраивали. Вы нужны для исполнения важнейшей миссии.

– Но я прошу об отпуске! Хотя бы на неделю! На семьдесят два часа! О, вы никогда не были женщиной, генерал!

– Вы правы, капитан. Никогда не был.

– А я был не просто женщиной! Я сидел в гареме! А вы представить себе не можете, чем заполняют свой досуг эти бабы! Полсотни баб с лишним, и один этот выродок с усами, который ни черта не понимает в сексе, который и требовал-то нас к себе только по одной!

– Опамятуйтесь, капитан, в вашем секторе нет ни единой женщины!

– Нет! – взвизгнул Рампаль. – Женщин – нет! Но есть почти тридцать, теперь на одну меньше, Брижит Бардо в возрасте от двенадцати до пятидесяти с чем-то лет; больше двадцати Мэрилин Монро, одна Софи Лорен, ему нравится, и семь штук этой русской дуры... Словом, знаете, как у нас там. Разговоры только о тряпках, все в роль вжились, знаете, долг все-таки, а лесбийская любовь чего стоит? И безграмотная какая, даром, что на самом деле чистая педерастия! И я единственный француз! И я должен попасть к врачу, со мной определенно не в порядке что-то!

– Вы мнительны, капитан. Вот вам еще виски, а потом вас ждет полковник Мэрчент и группа инструктажа, там и врачи есть. Вас ждет важнейшее задание, ваше имя может войти в историю Америки еще больше, чем уже вошло!

– Неужели снова Вьетнам? – оживился Рампаль. – Это были золотые дни.

– Нет, капитан. Россия. Во имя любви и...

Капитан нарушил субординацию и перебил Форбса:

– Нет уж, хватит с меня любви! Генерал, но и остальных вызволить надо! Вы не представляете, как мучится Оуэн, ведь ему в роль-трансформации всего

двенадцать лет, а этот выродок все время требует от него невинности, а Оуэн даже старше мэтра Порфириоса, легко ли в девяносто лет по три раза невинности лишаться? А... Что это? Виски, виски я пью!

Форбс наклонился к селектору:

– Немедленно усыпите Джексона.

* * *

Два неопознанных летающих объекта пересекли в едва брезжащем осеннем рассвете советскую границу в районе Владимира-Волынского. Для советских станций слежения за девственностью воздушного пространства они не представляли интереса, были слишком незначительны по размерам, а если и производилось какое-то наблюдение, то сперва должна же быть проведена идентификация: не являются ли они, скажем, птицами. А эти два неопознанных летающих объекта как раз являлись не чем иным, как огромными лебедями-трубачами. Только двигались эти лебеди по осеннему времени явно не туда, куда полагалось, они летели на северо-восток. Несомненно, это были нетрадиционные лебеди.

На спине каждого лежал небольшой тючок, намертво пристегнутый тонкими ремешками к спине. На левой лапе у каждого из лебедей красовались кольца, гравировка на коих сообщала, что окольцованы лебеди орнитологическим центром в подмосковном городке Хлебникове год назад. Вряд ли, даже попади эти кольца в руки пограничников, те сообразили бы, что лебедей под Москвой не кольцуют, ибо они туда вообще не летают. Но, возможно, этих сумасшедших лебедей окольцевали нетрадиционные орнитологи.

Клюв одного из лебедей был просверлен в нескольких местах, и он все время насвистывал какую-то мелодию, неслышную из-за шума ветра и большой высоты. Другой лебедь просто все время стучал клювом: от холода. Впрочем, это могла быть и азбука Морзе. Кто их знает, лебедей сумасшедших.

Спрятавшись от зорких земных глаз над небольшим облаком, лебеди сделали несколько кругов и убедились, что прямо под ними находится легендарное озеро Свитязь. Лебедь с просверленным клювом ловко отстегнул со своей спины тючок и перебросил товарищу. Товарищ пропустил в постромки лапы, потом крылья. Потом сглотнул что-то мелкое из лапы, перевернулся в воздухе, помахал на прощанье стремительно тающими крыльями и стал падать с восьмикилометровой высоты, на глазах увеличиваясь в размерах, теряя оперение и все более напоминая парашютиста, каковым и должен был стать невдалеке от земли. Прозрачный купол парашюта без остатка растворился бы в воде, опустился парашютист на подернутую свинцовой рябью гладь Свитязи. Парашютист с этого момента получал право, о котором каждый служивый оборотень может только мечтать: быть кем хочет, кем умеет, по своему разумению, по обстоятельствам, приказа не дожидаясь.

Проводив ласковым взором товарища, лебедь с просверленным клювом повернул назад, на юго-запад. Вскоре, пересекая венгерскую границу, он почувствовал голод, сильно снизился, дернул окольцованной лапой и достал

пристегнутый под брюхом пластмассовый туб, аккуратно открыл его и, урча от удовольствия, загребая крыльями, присосался к нему, на лету роняя крупные капли крови.

– Попал я в него, далеко не улетит, – сказал венгерский браконьер внизу, опуская ружье. Он не знал, что на этого лебедя пуля ему понадобилась бы по меньшей мере серебряная.

Последние метры Рампаль пролетел уже в своем природном облике. Грузно шлепнувшись в прибрежную тину Свитязи, он медленно встал и по пояс в воде смотрел, как быстро и неуловимо для глаза тают в мутной воде стропы его парашюта. Еле-еле светало, но Рампаль, как и все оборотни высокого класса, обычно пользовался кошачьим зрением. Сколько раз оно спасало его в джунглях Вьетнама! Довелось ему сидеть в плену в Ханое, – плен был, впрочем, довольно уважаемый, ибо находился тогда Рампаль в облике генерала Дженкинса, а пленных генералов берегли (впрочем, для правительства США теперь, в исторической перспективе, ценность такой подмены была сомнительной: сам генерал, того гляди, мог бы посидеть до конца проигранной войны, а вот лучшего оборотня пришлось выменивать со всей возможной сговорчивостью), – и тогда инфракрасное зрение выручало Рампала не единожды. Спасло она Рампала и теперь. Ибо к нему через полотно шоссе, видимо, окружающего Свитязь, бежал человек с двустволкой наперевес и кричал что-то.

Рампаль соображал быстро и принял немедленные меры. Одним движением утопил он свой рюкзак под прибрежной корягой, затем яростно впился в свои наручные часы, – бывшее “хлебниковское” кольцо, – с хрустом разгрыз их и проглотил, почти не жуя, царапая пищевод, но во все этого не замечая. Шея Рампала стремительно растолстела, торс также, ноги, напротив, укоротились, ступни исчезли вовсе, лицо преобразилось сперва в несусветную карнавальную маску, затем приобрело полную идентичность с мордой одного из известнейших представителей животного мира. Рампаль упал на четвереньки и полез на берег, прямо на остолбеневшего мужика с ружьем.

Жан-Морис Рампаль стал свиньей.

Уже выбираясь на берег, он почувствовал странную дурноту, но грозно хрюкнул и пошел прямо на мужика. Тот что-то крикнул, кажется, по-украински (этого языка Рампаль не понимал, он и русский только в гареме выучил) и пустился наутек, бросив двустволку. Рампаль без спешки подошел к двустволке, на всякий случай раздавил ее, наступив на магазинную часть левым передним копытцем и перенеся на эту ногу весь вес своей несомненно рекордистской туши. Тут дурнота стала совсем невыносимой, и оборотень повалился набок. Еще не понимая причин жуткой рези, пронзившей его утробу, он бессознательно уполз с дороги на обочину, под ивовые кусты, в канаву. Тут, с трудом устроившись на жухлой и мокрой осенней траве, скосил он глаза на свое брюхо, ставшее совсем чужим, и с ужасом увидел маленькое розовое существо, копошащееся между его задними ногами. Существо отчаянно верещало и ползло к первому из ряда крупных сосков, покрывающих брюхо Рампала. Несомненно, капитан американской армии Жан-Морис Рампаль самым жутким

и неестественным образом поросился под ракитовым кустом на берегу легендарной Свитязи.

Дурнота на какое-то время отошла. Рампаль с трудом согнулся, мощная туша повиновалась ему очень плохо, к тому же, видимо, очередной поросенок был уже на подходе, – Рампаль слюняво хрюкнул, лизнул свое дитя и, чавкая, сожрал послед. Ему, как оборотню, в жизни приходилось глотать самые странные предметы, даже страшного морского ежа, – это поглощение имело следствием немедленное превращение в недоброй памяти президента Уганды Иди Амин Дада, и Рампаль был очень рад, когда этого президента уличили в людоедстве и свергли, очень уж ежа кушать больно было, – но рожал он впервые, поросился тем более, и вкус последа показался ему очень необычным. Никакого превращения не случилось, только судорога стала сильнее, и очень скоро второй поросенок, такой же писклявый, явился на свет, был облизан одуревшим родителем и прилип к очередному соску.

Через несколько часов, когда совсем рассвело, вконец измотанный Рампаль лежал на пропитанной кровью траве, а двенадцать отпрысков, родитель не уследил даже, сколько которого пола, яростно дергали его двенадцать сосков, тогда как тринадцатый, к которому Рампаль испытывал что-то вроде нежности, ползал по тельцам братьев и сестер, пытаясь отбить и себе сосок. Сам Рампаль глядел в небо и обреченно похрюкивал. Как могло это произойти? Он десятки раз уже был в жизни свиньей, правда, всегда кабаном. И вообще – он с ужасом начинал осознавать, что нигде и никогда не принимал женского облика до тех пор, пока не попал под командование пресловутого почетного поляка, продержавшего его в женской шкуре столько месяцев. И от кого все эти поросята? Рампаль вытянул шею, сколько мог, и захрюкал совсем яростно, подумав при этом мимоходом, что, будь он не свиньей, а собакой, его вой разнесся бы до самой польской границы. Теперь Рампаль понимал причины странных недомоганий, терзавших его последние месяцы в образе Б. Б. Откуда он мог знать, что все это – проявления беременности?

Кто-то остановился на обочине. До Рампаля донеслись звуки почти непонятной ему украинской речи:

– Гляди, Петро, хавронья-то опоросилась. Не иначе, Микитенкова это, я ее еще в воскресенье видел, все собиралась. Ты поди, Петро, Микитенке скажи, чтоб пришел и забрал, с него за это литр причитается. Прибавление дай Бог каждому. И пожарит, и закоптит, и в Шацк на рынок отвезет. Рано только что-то она, наши все еще через месяц-полтора только пороситься будут. А ему, хрычу старому, счастье так и прет, видать...

Рампаль собрался с силами, дотянулся пяточком до тринадцатого своего дитяти и резко ткнул его, отдав ему тем самым чей-то сосок. Поест пусть пока. Рампаль чувствовал, что с детьми ему предстоит скорейшая разлука. Внутренне он, конечно, оплакивал и их, и себя, но долг для него, для капитана американской армии, оставался превыше всего.

Поросятки, наевшись, стали засыпать и отваливаться. Рампаль заботливо вылизывал их и устраивал поудобнее. Вот и тринадцатый тихо уснул. “Воистину дети греха”, – патетически подумал оборотень, поднялся на

нетвердые ноги и встряхнулся. Странно, но его произведшая на свет тринадцать потомков туша почти не похудела. В человеческом облике Рампаль очень ценил свою некоторую полноту, хотел бы даже растолстеть, но хлопотное ремесло разведчика-оборотня не давало для этого возможности, более того, полнеть было просто опасно. Несмотря на море разливанное отцовских, не то материнских чувств, затопивших душу Рампаля, долго оставаться в этом облике было нельзя. Рампаль бросил прощальный взгляд на поросят и, семеня копытцами, потопал к берегу, где под корягой спрятан был заветный рюкзак. Плюхнулся в воду, с наслаждением почесал бок о корягу, вытащил из-под нее искомое. И услышал тонким слухом разведчика громкий и не совсем трезвый говор тех самых мужиков, что останавливались у его родовой, так сказать, постели, к которым примешивался голос третьего, незнакомый, визгливый до жути – явно голос того самого Микитенки.

– Да говорю вам, не поросилась еще! Не поросилась! Чтоб у вас повылазило, не поросилась! Чтоб у меня повылазило! Не поросилась, покрыли ведь только! Рудычиху спроси! Коломийца спроси! Дома она, дома, как ей тут быть! Чтоб у нее повылазило!

Второй мужик что-то ответил, но Рампалью слушать было некогда. Быстрым и длинным прыжком вылетел он из воды и помчался по шоссе, следом свернул в сторону, стараясь скорее пересечь сжатое поле и скрыться в маленьком лесу. Больше всего боялся он того, что, может быть, бежит в сторону польской границы. Эта страна была ему теперь ненавистна на всю жизнь. Что-то теперь будет с его поросятками. Лучше не думать. Рампаль слышал позади себя гомон что-то не в меру резвой погони. Превратиться же во что-нибудь более быстрое не было времени, тем более тяжелый рюкзак мешал несказанно, а бросить его было никак нельзя.

– Держи ее, она мой козух украла, а у меня в нем кошелек!..

Оторвавшись от преследователей шагов на двадцать, Рампаль влетел в лесок. Непослушные копытца были сбиты в кровь. К тому же он чувствовал себя очень слабым после родов. Любой ценой требовалось превратиться во что-нибудь мужского пола, ибо, как догадывался оборотень, дурнота от родов тогда пройдет, они вообще станут для него невозможны. И Рампаль решился. Он выхватил пастью из рюкзака крупный желтый грейпфрут и, петляя между деревьями, чавкая и хрюкая, сожрал его. Быстро перехватил рюкзак в появившуюся руку, другой же заколотил себя в грудь и с ревом пошел на преследователей. Двухметровый самец-горилла произвел на них неотразимое впечатление: мужики с воплями бросились наутек. Но, ясное дело, ненадолго, собираясь вернуться со всякими берданками небось.

Но главное было сделано: послеродовую дурноту как рукой сняло. Рук у Рампаля, кстати, сейчас оказалось четыре, это было неудобно. К тому же в свинском облике он холода не чувствовал, горилле же, существу тропическому, в свитезянских пущах было явно прохладно. Рампаль прошел километр-другой, выбрал укромный кусточек, сел под него, достал волосатыми пальцами из рюкзака пол-литровую бутылку, – кокандского розлива! – выпил, стал человеком. Сориентировался по уже взошедшему солнцу и, одевшись в

советское, пошел в Шацк. Так, никем не замеченный особо, хотя и не говорил по-украински (а другой речи вокруг слышно не было, разве только когда он обратился по-русски, спрашивая цену на что-то съестное, чего, однако, купить не успел, несмотря на то, что стоило дешево, – подошел автобус), никем не замеченный, уехал в Луцк. Оттуда добраться до Москвы – проще простого. Рампаль должен был, начиная от Москвы, пройти той же дорогой, что и Джеймс, найти его, помочь ему, заодно и проверить, не превысил ли он своих неограниченных полномочий, и не использовал ли служебных способностей в личных целях. Но это уж так, для порядка: Рампаль знал Джеймса и очень его уважал.

В московском поезде Рампаль хорошо отоспался.

* * *

– Знаешь, Гера, – анекдот есть такой – про женщину, которая дает?.. – опохмеленным уже и счастливым голосом распространялся собеседник Рампаля. – Так же, знаешь, как все, как все, хи, хи... – собеседник щурил маленькие глазки, морщил картофельный нос и всем своим видом выражал благодарность этому славному, опохмелившему его командировочному. Два капитана – Синельский, конечно же, и Рампаль (ясное дело – Герман Лобиков, командировочный из Могилева) задушевно пили первую бутылку и закусывали тоже, пока еще в кафе “Олень”. Рампаль пришел сюда по следам Джеймса, не присев даже к дяде Исааку, – вот еще двадцать копеек на ветер бросать, – а Синельский последние дни почти не вылезал отсюда. Денег ему все не выдавали, уехать он не мог даже туда, куда был командирован, и он решил не тратить времени попусту, полагая, что если не сам Федулов, то уж кто-нибудь из его компании придет сюда, в “Олень”. Сколько народу упоил он здесь на свои кровные, впрочем, составляя счет на будущее возмещение, – хотя знал по опыту, что если шпион появится, то первым глупым делом на свои угощать начнет. Но и сам Миша попался на глупый свой крючок постоянно: глядишь, угощает он тебя, с грустью такой глядит, упивает, а разберешься – так простой растратчик оказывается перед посадкой, а шпиона никакого. Так что о поящих и непоящих Синельский даже и рапортов начальству не готовил. А уж об этом командировочном он и вовсе знал наперед: не поставит второй бутылки – все, конец, не шпион это никакой, а простой тюфяк из Могилева, очумевший от жизни московской, в кои-то веки увиданной. Первую он поставил к тому же початую, сроду шпионы таких не выставляли.

А Рампаль, собственно говоря, и угощал этого случайного хмыря-обывателя лишь потому, что имелась в его неказистом рюкзаке недопитая бутылка водки, остаток того снадобья, с помощью которого он снова стал человеком в полесской роще. Человеком он стал, но водка в Скалистых горах оказалась хоть и советская, но очень жидкого кокандского розлива, и полной чистоты превращения в себя самого Рампаль не достиг: осталась в нем от обезьяньего облика совершенно излишняя и неприятная ему волосатость. Даже на спине волосы росли. Так что водку эту было что выпить, что вылить. Да к тому же

водки Рампаль, вскормленный и вспоенный виноградниками родного Аркашона, вообще не пил. Он уже бывал в Москве, дважды, приезжал с визитами – сперва неофициальным, потом официальным, в образе президента Никсона, будь он неладен. Приходилось выпить литр кельнской воды. Русские люди, конечно, знать ничего не знали. Из их подарков Никсон выделил потом Рампалью шубу. А вторую бутылку Рампаль выставлять, кстати, не собирался: как все французы, он привык к экономии.

Но что-то в его личности было Синельскому все же подозрительно. Едва ли не излишняя для русского человека волосистость, прямо как Татьяна говорит, “чтоб из рубашки торчало”; так тут торчало не только из рубашки, но даже, кажется, из ботинок. И все-таки так уж, для порядку, полагалось теперь его по обычной программе отвести к Тоньке. Хотя по степени волосистости – скорее к Таньке. А то пусть обе пользуются. Им обоим самый смак, что не молодой, и полковник за ****ство в служебное время квартальную не снимет, – так, считай, пробное задание выполняли.

Рампаль, оборотень, не был телепатом, не был даже в той степени, в какой был им Джеймс (“умел в крайнем случае”), – оттого, кстати, продолжал считать Аксентовича поляком и ни за что ни про что ненавидеть Польшу. Рампаль не сумел бы прочесть ни чьих мыслей даже в случае смертельной опасности, но интуиция по сей день не подвела его ни разу, и он сейчас, хотя поил неведомо кого, попавшегося ему на учуянных следах Джеймса, знал все-таки, что попал за его столик этот хмырь и алкаш неспроста. И он не собирался с ним особенно скоро расставаться. А Михаил тем временем побежал к телефону-автомату. Тот, кстати, не работал. Наконец, из четвертого по счету автомата Тонька расслышалась, хотя к разговору все время присоединялся человек, ультимативно требовавший у кого-то неслышимого, чтобы тот, неслышимый, задешево купил у него крест чугунный намогильный и еще большую гирию, тоже чугунную, но желтую. Тонька угрюмо буркнула: “Бутылку возьми, портвагена хотя бы, огнетушитель”. Танька, кстати, уже сидела у нее. Полковнику о визите очередного гостя решили пока не докладывать.

Взяли “огнетушитель” и пошли молчановскими переулками к Тоньке. Рампаль все тем же своим природным чутьем почти физически ощущал, что где-то здесь недавно прошел Джеймс. Пожалуй, даже метки какие-то свои оставил, только искать их недосуг. Наконец пришли.

Тонька отворила дверь – мрачная и похмельная, вовсе без следов той красоты, что обольстила Джеймса. Пить у нее было совершенно нечего. Особо грустно было то, что в буфете в ряд стояли пять бутылок представительского коньяку, которые и пальцем тронуть нельзя без письменного потом за них отчета. Нечего было и думать распить хоть одну из них с этим лопухом-командировочным. Но, увидев под мышкой Михаила “огнетушитель”, а у его лысенького и симпатичного спутника Геры – еще один, Тонька смягчилась. Даже свет зажгла в коридоре. Тусклая коридорная лампочка выхватила из темноты старого испанского коммуниста на стремянке – видимо, уже списав со счетчика цифры, он что-то подсчитывал в уме.

Проигрыватель не работал: по словам Тоньки, какой-то Марик пролил на него

бутылку ликера “Бехер”. Однако невообразимо пьяная Татьяна, немедленно оценившая волосистость Рампаля – правда, с сожалением вздохнув о его лысине и маленьком росте, – стала требовать музыки и песен (“А цветов и любви?” – грозно спросила куда более трезвая Тонька, но Татьяна сказала, что цветов сейчас не надо, а любовь потом) и предложила исполнить любимую песню “Если долго мучиться – что-нибудь получится”, даже что-то насчет “доли лучшей”. Рампалю показалось странным услышать из уст этой пьяной девицы текст явно духовного содержания, но Тонька оборвала сей негритянский спиричуэл грубым и совершенно уже негритянским тычком под вздох, от которого Татьяна рухнула в приоконное кресло и как бы задремала, из-под век поглядывая на Рампаля и на открываемые бутылки. Рампаль выпил и вздрогнул: в России пить полагалось залпом, до дна стакана, в котором напиток сочетал в себе очень гармонично цвет мочи нефритного больного, вкус гашеной извести и запах несвежего скунса. Обнаружил он, что на языке москвичей напиток этот называется “ядренный портваген”, а не “бормотуха”, как у советских инструкторов во Вьетнаме, и запомнил это.

Михаил и Тонька сидели на кровати, и Рампаль волей-неволей оказался кавалером Татьяны, да к тому же и виночерпием. Вторую бутылку прикончили махом, и, ясное дело, не хватило. Тонька предложила сходить в Смоленский, Михаил объяснил, что у него пусто, как во сне младенца, денег, то есть, нет, и раскошелиться пришлось Рампалю, но сделал он это с такой искренней неохотой, что и тут никаких подозрений не возбудил. Идти пришлось Михаилу в единственном числе: Татьяна потребовала, чтобы Рампаль рассказывал анекдоты. Он и рассказал десятка полтора, не особо свежих, но смешных, особенно ржали над анекдотом про говорящую жопу, они его не знали, и, увы, надежды на казенный коньяк исчезали; никаким шпионом этот самый Гера быть не мог, чтоб такое знать, надо в СССР жить всю жизнь. На чем, кстати, угасли остатки сексуального интереса к нему со стороны Тоньки. Танькины же секс-интересы с политикой связаны не были, разве что начальство распорядилось бы. Она по должности значилась всего лишь “подругой”, обязана была находиться в седьмой алкогольной форме и вообще не встречать без надобности. Что ее и устраивало. Она, кстати, имела бы право выписать из буфета одну бутылку коньяка для поддержания своей седьмой формы, но волосатость Рампаля помутила ее разум начисто. И вообще она портваген больше уважала.

Вернулся Михаил, злобно истративший из врученных Рампалем десяти рублей девять: в Смоленском перед закрытием ничего достойного, кроме белого южнобережного портвейна по четыре пятьдесят, не оказалось. Оставшийся рубль Рампаль с него требовал, пришлось отдать; тут и последние Михайловы подозрения вовсе отпали – на что шпиону рубль? Выпили и эти две. Потом оказалось вдруг уже очень поздно, Рампаль заторопился к себе в гостиницу “Дом туриста”. Татьяна сказала, что это к чертовой бабушке, а у нее в квартире тут внизу комната свободная есть и в ней койка. Рампаль согласился, от Татьяны шел слабый звериный запах, который почему-то его тревожил, видимо, остатки гориллы проявлялись в нем не одной только волосатостью. Попрощались, с трудом доползли к Татьяне. В коридоре было темно,

брошенный посреди него детский велосипед слабо хрустнул под Татьяной, потом она сказала, что покатается утром и уволокла Рампаля к себе.

Звериный запах по мере развития событий усиливался и тревожил Рампаля все больше. Бурный восторг Татьяны, наконец-то запустившей пальцы в волосяные дебри на пояснице и прочих местах Рампаля, подвигнул ее на добытие из буфета бутылки казенной водки, – по рангу ей ничего другого не причиталось, – хлопнули по полстакана, после чего Татьяна несколько поутратила интерес даже к волосьям, их после водки стало меньше, кстати, но она не заметила, а проявила его уже больше к конкретным действиям. Рампаль пошел ей навстречу. Не обманул ожиданий.

Среди ночи события стали разворачиваться по второму разу, заодно и водку допили. С непривычки к водке Рампаль занятие затянул необычайно долго. Татьяна тихо рычала, Рампаль, впрочем, нутром чувствовал, что она не оборотень, но это ему тоже мешало, даже больше, чем водка.

В коридоре раздался грохот, и чья-то громадная фигура возникла на пороге двери, которую, оказывается, Татьяна не заперла даже, так увлечена была волосьями. Фигура застыла, чуть покачиваясь, но Татьяна словно бы даже ничего и не заметила. Рампаль почувствовал вероятность, что сейчас будут бить, а в своем природном облике он большой силой не отличался. Сделав еще несколько движений он, не сходя с Татьяны, дотянулся зубами до стоявшего рядом стула, рванул с него будильник и яростно сожрал. Стремительный ветер возник в комнате, Татьяна вскрикнула, а бросившийся было в комнату Винчас во вспышке какого-то загробного, матового света увидел, как огромный лебедь сорвался с тела Татьяны, ухватил в лапу свой рюкзачок, крылом вышиб оконное стекло и растаял в ночном небе.

– Дурак, – сказала голая и протрезвевшая Татьяна, зябко ища на стуле сигарету, – сам что ли не видишь, что лебедятня у меня тут теперь?

Литовец мешком опустился на пол.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 11

Евгений Витковский

XI

Значит, ты истратил столько времени и сил на дело, которое считаешь бесполезным?

Умберто Эко. Имя розы

Сознание еще не возвратилось к нему, Джеймс еще не проснулся. Но уже понял, что лежит в постели с женщиной – и все вспомнил. Все, что могло произойти между ним и этой женщиной – уже произошло ко взаимному удовольствию. Женщиной была Катя Романова, а часы показывали без четверти одиннадцать.

Уже неделю Джеймс жил в доме Павла и Кати. Жил, не выходя на улицу, жил на деньги Павла, спал на раскладушке в его комнате, жил, ежечасно и

ежеминутно перевоспитывая грядущего императора, инструктируя и обучая на все случаи жизни: учил хорошим манерам, дипломатическому протоколу, борьбе каратэ, основам прикладной телепатии и телекинеза, – последнее, впрочем, удавалось меньше всего, способности к телепатии обнаружились у Павла минимальные, дальше восприятия общих эмоций дело не пошло. Павел же, понемногу увлекаясь предложенной ролью, в которую, правда, еще не до конца поверил, показывал Джеймсу записки отца – и на рисовых зернах, и уже расшифрованные, сложенные в толстую голубую папку с тесемками. Однако в ответ на прямые вопросы Павла – как же все-таки чисто практически откроется перед ним возможность взойти на российский престол – Джеймс замыкался и отказывался отвечать до тех пор, пока оба они находятся в Свердловске. Из этого явствовало, что в не очень отдаленном времени Джеймс Павла собирается из родного города увезти. И возникали совсем уж обычные советские вопросы: куда тогда деть квартиру, работу, Митьку, особенно Катю. Здесь Павел оказался непреклонен: на российский престол он желал взойти только рука об руку со своей женой Екатериной и никак иначе, пусть она и происходит от совсем незнатных прибалтийских переселенцев. Джеймс немедленно взялся гарантировать исполнение этого условия, хотя оно как-то отсутствовало в предварительных инструкциях, впрочем, немецкое происхождение, обычное для русских императриц, позволяло думать, что тут просто все само собой разумелось и введено в документацию поэтому не было. Во всех случаях лучше уж государь-семьянин, чем любой другой вариант.

Все перечисленное, кроме занятий каратэ, происходило на глазах у ничего не понимающей Кати; каратэ начиналось, когда она уходила в школу. Павел не скрывал от жены, что томский краевед, Роман Денисович, приехал сюда пока еще только для составления сметы на покупку всех без исключения рисовых шедевров Федора Михайловича: сумма ведь требовалась очень и очень большая, краеведческий музей должен будет испросить ее у министерства культуры и даже лично у министра культуры Устина Кирпичникова, – хотя, конечно, предварительное согласие этой инстанции уже есть. Поэтому Роман Денисович Федулов и приехал пока только предварительно. Роман Денисович произвел на Катю впечатление откровенно хорошее: красивый и высокий, по-французски неплохо разговаривающий, только с сибирским каким-то акцентом, он напоминал ей покойного отца, по которому в свое время все девки в родном алтайском селе с ума сходили. Она даже отважилась подать голос вечером, когда они на кухне чай пили, на шести квадратных метрах. Роман Денисович увлеченно рассказывал как раз о жизни и деяниях легендарного томского врача Геннадия Сибирцева, а она перебила и спросила, не немец ли он, не из меннонитов ли, как ее родители. Томич не удивился, а только с сожалением развел руками – нет, мол, увы, пять поколений его предков жило на берегах родной Ушайки, да и сам он старается даже не покидать родного города, так, мол, его любит – это все сплетни чистые, что жрать совсем нечего, кедровые орехи всегда есть, сибиряк при них ни в жисть с голоду не умрет, и рыбу на Томи иногда продают тоже, никуда он из Томска не ездит – так привык, но тут уж такое сокровище, микрографика умельца Федора Романова... Катя все никак

в толк взять не могла, отчего это покойный Федор Михайлович интересовал именно томских краеведов, но деньги были обещаны большие, вел себя гость на редкость порядочно, да и Павел ему доверял, лучше уж не затрагивать неудобных вопросов, почему да кому... Присутствие гостя в доме принесло Кате еще одну приятность, весьма неожиданную. Гость ночевал на раскладушке в комнате Павла и во время сна выдающимся образом храпел. Это почти ежедневно выгоняло Павла в Катину комнату со своей подушкой. Коль скоро будущий император выразил желание, чтобы императрицей была Катя, Джеймс считал просто необходимым, чтобы Павел чаще посещал супружеское ложе.

А Джеймс попросту ждал. Он использовал свободное время для обучения Павла. В одну из прошлых ночей он выпил залпом бутылку коньяку, купленную на последнюю десятку, выждал появления в его сознании Джексона со знаменитым вопросом и истерическим усилием воли заставил индейца выслушать краткий и сжатый, заранее продуманный монолог, в котором доложил Форбсу и центру управления в недрах Элберта об успешном завершении первой части операции, о полной готовности ко второй фазе, задерживаемой лишь безденежьем. Джексон тут же отключился. Отключился и Джеймс, коньяк был все-таки очень плохой, грузинский, три звездочки, бобруйского розлива, со ржавыми хлопьями по всему полулитровому объему.

Утром, как делал в каждую среду, Павел пошел к первым урокам, Катя же до второй смены была свободна. Джеймс проснулся и ощутил настоятельную потребность посетить туалет. Меньше всего ему хотелось бы разбудить Катю, не дай Бог остаться с ней наедине и снова до бесконечности плести томско-краеведческую байку. Поэтому Джеймс не стал вставать с постели, а вылетел из нее, проплыл под самым потолком в коридор, нырнул в туалет. И только собравшись скользнуть обратно, открыл дверь и увидал, что на пороге другой комнаты в ночной рубашке стоит Катя и смотрит на него расширенными от ужаса глазами. Несомненно, она все видела, Джеймс выдал себя самым позорным образом. Инструкция все предусматривающего Мэрчента гласила на такой случай однозначно: женщина, ставшая свидетельницей любых паранормальных способностей разведчика, будь она хоть девяностолетней старухой, немедленно должна стать любовницей разведчика. Джеймс подумал, как редко беспрекословное исполнение инструкции может действительно доставить радость, – тем более, что Кате было еще далеко не девяносто! – и прыжком, не касаясь пола, бросился к Кате.

Катя кинулась к себе в комнату, не вскрикнув и не успев запереть дверь. На изнасилование Джеймс разрешения не имел, все должно было происходить на его мужском обаянии, а при нарушении такового правила из его жалования начинались дикие вычеты. Но на обаянии все и устроилось. Тревога насчет возможного отказа во взаимности у разведчика прошла, едва только обхватил он будущую императрицу за плечи и закрыл ей рот поцелуем. Она и не думала сопротивляться, так что, наблюдай за этой сценой какой-нибудь инструктор-полковник, он бы и поцелуй-то записал как излишний. Ласки, лавиной рухнувшие на Катю, ошеломили ее и озадачили: Роман Денисович не повалил ее, не пытался сорвать рубашку, даже под подол не полез. Его сильные и

жадные руки скользили поверх фланели, словно им и не требовалась нагота. Это продолжалось так долго, что Катя сдалась сама.

Время распалось на короткие отрезки, запульсировало, стало горячим и вязким. В сердце Джеймса kloкотал восторг – одновременно от хрустальной точности, с которой было исполнено распоряжение Мэрчента, от шелковой кожи Кати, и все время подступал еще и главный восторг человеческой жизни, который непрерывно приходилось сдерживать. И поэтому все кончилось очень внезапно, ибо не имел права Джеймс Найпл становиться отцом еще одного возможного наследника престола, хватало Форбсу и законных. Любовь перешла в сон. Павел, по счастью, раньше часа дня вернуться не мог. Поспать полчаса они вполне имели право. И поспали.

Джеймс успел только на локте приподняться, когда в прихожей зазвенел звонок. Даже не чмокнув Катю, вылетел он из ее постели и скрылся за дверью бывшего кабинета Федора Михайловича. Перепуганная и недовольная Катя накинула халатик и пошла к двери.

– Кто там? – спросила она необычайно низким голосом.

– Дезинфекция! – ответил из-за двери мужчина. – Катя накинула на дверь цепочку и приоткрыла. За ней стоял средних лет человек с бакенбардами, очень бедно одетый, с чемоданчиком вроде балетного. Катя как будто видела его где-то раньше, да и выглядел он как-то безопасно. – Муравьи, тараканы черные, тараканы рыжие, клопы, блохи земляные, мухи, мыши, крысы, мокрицы, жучок мучной? Чем страдаете?

– Тараканы есть, рыжие. Боракс не помогает, кстати, и нельзя, собака у нас, так что если безвредного чего, – так же на нижней октаве сообщила Катя и дверь все-таки открыла. – Роман Денисович, вы проводите товарища на кухню, он там отравы насыплет, я как раз в школу тороплюсь очень. – И нырнула за свою дверь.

Джеймс выглянул. Человек, стоявший на пороге, был ему хорошо знаком. Счастью Джеймса не было предела, ликуя, он чуть пожал запястье незнакомца, провел его, слова не говоря, на кухню, взял из его рук чемоданчик, высыпал в угол полбанки муки и проводил незнакомца, ему столь знакомого, снова к выходу. Закрыв дверь, он, наконец, обратил внимание на Митьку, который у себя на подстилке не выл даже, а как-то стонал по-собачьи. Он и вообще-то рычал на любого гостя, а здесь вся шерсть встала на нем дыбом, ужас читался в его круглых спаниельных очах: он выл вослед дезинфектору. Удивляться не приходилось: поди успокой собаку в подобном случае. Этого и Бустаманте не сумеет.

Павел сегодня освободился раньше и шел домой не к часу, а к половине двенадцатого. Класс, которому он должен был на последнем уроке первой смены рассказывать об исторической неизбежности падения семейства, с коим состоял в недалеком родстве, – класс этот директор экспроприировал на нужды демонстрации седьмого ноября и отправил клеить пудовые макеты книг “Капитал”, “Нищета философии”, “Материализм и эмпириокритицизм”, “Целина”, которые школьники понесут вместо – и помимо, впрочем, – красных знамен. Отбарабанив подряд утренние уроки, должен он был сегодня провести

еще только один во второй смене, в половине четвертого, но и тот класс был тоже под угрозой картонажной экспроприации. Поднимаясь по лестнице к себе домой, мурлыкая все ту же прицепившуюся “Маэстру”, повстречал он между вторым и третьим этажом кого-то, кто, невзирая на не юношеский возраст, прыгал навстречу через две ступеньки, заложив руки в карманы, тоже, как и Павел, легкомысленно мурлыча, хоть и не “Маэстру”, но чуть ли не “Марсельезу”. Через секунду, когда незнакомец скрылся за изгибом перил, Павел понял, что, кажется, переутомился до галлюцинаций: на лестнице повстречался ему в советском партикулярном платье, да еще поношенном, не кто иной, как родной прапрадедушка, император Александр Благословенный.

Джеймс дожидался почти одетый, лежа на раскладушке, отчего-то самодовольный. Катя, похоже, только что выбравшаяся из постели, что-то жарила на кухне. Митька, не по возрасту оживленный, носился вокруг хозяина и пытался поведать ему какую-то важную историю, но Павел собачьего языка не понимал, хотя Митьку и любил. Очень, видимо, важная и страшная история это была, судя по интонации гавков, несколько зазывательных, необычных. Но перевести ее с собачьего на русский для Павла было некому. Самодовольный Джеймс, не вставая, пожал Павлу руку.

– Вот, Павел Федорович, мы и можем наконец-то обсудить последние подробности сметы... – Павел, понимающе кивнув, выглянул в коридор, а на кухне у Кати сжалось сердце: неужто Роман Денисович, который, оказывается, такой замечательный, и летает тоже хорошо, уже уезжать собрался? В глубокой тревоге потянулась она за подсолнечным маслом.

– Нет такого коньяка, дорогой Павел Федорович, которым мы могли бы отпраздновать сегодняшний день, – начал Джеймс, но Павел прервал его:

– Коньяк я как раз сегодня купил... К седьмому ноября...

Мертвое молчание повисло в кабинете. Джеймс крайне недоверчиво посмотрел на Павла. Тот очень смутился.

– Ну да, сила привычки, понимаю вас, – усмехнулся наконец Джеймс. – Седьмого ноября мы ждать не будем, давайте бутылку. Бобруйский, наверное? Сойдет. И супругу, пожалуйста, тоже зовите. Скажите, что я получил из Москвы “добро” на покупку наследства Федора Михайловича.

– Так уж прямо из Москвы, – буркнул Павел, но Катю позвал. Та пить отказалась, на уроки ей вот-вот, но внутренне успокоилась: раз мужчины выпивают, грозы, стало быть, не предвидится. Даже пообещала заскочить с работы взять вторую. Павлу тоже нужно было к трем опять в школу, но Джеймс сказал, что сегодня у Павла Федоровича будут уважительные причины на работу не выходить. Павел усомнился, что после коньяка сможет получить бюллетень, но Джеймс клятвенно заверил его, что все будет в порядке и бюллетень не понадобится. Катя принесла им, что пожарила, ушла, и мужчины выпили по сто. И повторили сразу.

– Благодарю вас, государь, за гостеприимство, за хлеб-соль, – начал Джеймс. – Вы ведь поиздержались, меня-то откармливая. Примите уж в компенсацию. – Он достал из необъятного бокового кармана толстую пачку сторублевок и положил перед Павлом. – Самые настоящие, не волнуйтесь. И гораздо больше,

чем у вас на сберкнижке. А надо будет, найдем еще. Эти лучше оставьте супруге на первое время.

Павел весьма небрежно сгреб пачку и сунул в письменный стол. Джеймс невольно восхитился: если Павел начинал принимать такие вещи как должное, значит, царские гены уже взяли верх над советскими. Самый раз, стало быть, начать действовать согласно новым инструкциям.

– Вы хотите меня увезти? А квартира?

– Вот уже это вас как-то не должно заботить, государь. Купите другую, в крайнем случае. А насчет работы... – Джеймс вытащил из кармана, на этот раз нагрудного, бланк заверенной телеграммы, которым секретарь Кировоградского обкома тов. Грибашук О.О. удостоверял подпись Романовой Екатерины Алексеевны, а последняя с глубоким прискорбием извещала о смерти своего незабвенного мужа Петра, последовавшей от тяжелой геморроидальной колики и пружестоккой боли в кишках, и требовала присутствия внука Павла на похоронах. Павел в ужасе поглядел на Джеймса.

– Вы думаете, меня в школе отпустят по такому документу?

– Если засомневаются, пусть звонят в Кировоград Грибашуку.

– И он подтвердит?

– Хм... в некотором роде. Он уже полтора года лежит в реанимации, видите ли, секретари посоветуются с ним и подтвердят что угодно, лишь бы шефа в мертвости не заподозрили и с работы всю компанию не поперли.

– Так он покойник, что ли?

– Хм... в некотором роде. Но сердце работает! Искусственным образом, знаете ли, это теперь не фокус. Но давайте к делу.

Ужас Павла достиг предела – и прошел разом. Он понял, что ехать придется, причем именно туда, куда велит Роман Денисович. Впервые за спиной Романа Денисовича начинала вырисовываться какая-то реальная сила. И то, что сила эта была советская, кировоградская, сильно успокаивало. А Джеймс разложил на столе маленькие листочки, – приглядевшись, Павел заметил, что все они исписаны клинописью, – разлил остаток по стаканам и приготовился к длинному монологу. Уши Павла словно бы заложило, такое случилось с ним не в первый раз с тех пор, как в памятную ночь обожрался он аспирином, и голос собеседника доносился к нему словно бы сквозь вату, будто бы ручейки бобруйского коньяка сочились и продирались по капиллярам к его заочеченным, заждавшимся скипетра и державы всероссийских, пальцам.

– Итак, государь Павел, настало время перейти к конкретным действиям. Рад сообщить вам, что в ближайшие недели в международном суде в Гааге будет возбуждено дело о размораживании в пользу законных наследников так называемых “карманных денег” Романовской династии. Банк Ротшильда, швейцарские банки и все другие уже получили извещения. Однако ставлю вас в известность, что данное дело будет проиграно не позднее первых чисел декабря, выполнив свою функцию, а именно, успев привлечь международное внимание...

Затуманенное сознание Павла отфильтровало и осадило в песке забвения все многочисленные и совершенно астрономические цифры, которые перечислил Роман Денисович: ненужные и фантастические.

– Вопрос о реабилитации дома Романовых путем общенародного референдума должен будет, таким образом, стать насущнейшей проблемой ближайшего будущего России, каковую идею всемерно поддержат политические и религиозные деятели как диссидентской оппозиции, так, хотя это на сегодняшний день факт более отдаленного будущего, и советского официоза до Политбюро включительно. Не удивляйтесь, идея реставрации русской монархии пользуется немалой популярностью и в высших слоях советской партократии...

Слух начал исчезать вовсе. Между тем Джеймсу было решительно все равно, воспринимает его будущий император или нет. Джеймс намеренно погружал Павла в состояние гипнообучения, информация шла сейчас от него прямо в подсознание Павла. В эти минуты он, Джеймс, малосильный маг, но зато разведчик высшего класса, выводил на сцену Павла: на сцену мировой истории, большой политики, красивой и настоящей жизни. Но приходилось предусмотреть многие трудности, неприятности, возможные осечки.

– ... в первую очередь. И мы считаем своей обязанностью поставить вас в известность, что до самого последнего времени в качестве единственного законного претендента на российский престол рассматривался нами исключительно младший брат вашего деда, Никита Алексеевич Романов, он же в прошлом Громов, благополучно здравствующий по сей день. Однако ввиду крайнего отвращения, испытываемого этим вашим почтенным родственником ко всем формам государственной власти, возбуждать вопрос о возведении его на всероссийский престол не представлялось...

Где-то в мире что-то происходило. Где-то в далекой Латинской Америке, в лучах палящего весеннего солнца, совсем недавно взошедшего, сравнительно молодой, но совершенно лысый человек с кривоватым носом задумчиво катал по зеркальной поверхности стола странный пятигранный предмет, рассеянно слушая сбивчивую речь посла совсем молодой и необычайно северной державы, смиренно ходатайствующего об амнистии хотя бы части из тех тысячи семисот беженцев, что разместились на фламбойях во дворе его посольства, как из-за невозможности их прокормления, так и трещания ветвей под ними. Где-то в столь же далекой северной Америке другой президент, непопулярный, отлично заранее осведомленный о результатах уж совсем под самый нос подкативших выборов по бюллетеню проклятущего голландца, будучи тем не менее вернейшим патриотом своей великой родины, в этот последний свой час оставался на небоевом посту и спокойным голосом диктовал ознакомительную записку для своего врага-преемника, долженствующую ввести того в курс дела касательно теперь уже неизбежной реставрации Романовых в России и грядущего, вечного, лет на двадцать, совершенно естественного, американско-русского союза, – ах, если бы не проклятый болотный кролик, как торпеда, потопивший всю его репутацию миротворца, если бы не проклятый брат-алкоголик со своими грошовыми взятками от ливийцев, если бы не провал с дурацким освобождением заложников, которых и так выпускают через три месяца, в последний день его несчастного президентства. Где-то в Лондоне, в Гайд-парке, жуткого вида старуха-суфражистка перед немногочисленными слушателями, очень похожими друг на друга, не пытаясь даже прикрыть свою

седую прическу от мелкого осеннего дождя, напропалую цитировала Ленина, Троцкого, Бертрана Рассела и Бенджамина Спока, смело призывая слушательниц к грядущему светлому будущему всеобщей обоюдоженной любви, которое грядет из Тибета в Россию, а из России, озаренной хоругвями тысячелетней лесбомонархии, обратно в Лхассу. Где-то в бездонном ущелье на севере штата Колорадо группа проверенных еще на безупречной работе в Дахау врачей-нацистов, напялив белые халаты и противогазы, залив уши звуконепроницаемым воском типа “Одиссей-3”, следила на экранах приборов, похожих на одичавшие в джунглях осциллографы, за невинным занятием тщедушного человека, находившегося в миле от них, на берегу подземного озера: тот разувался и обувался, лишь изредка отрываясь, чтобы пощупать лежащую сумку, из которой торчала длинная палка твердокопченной колбасы, деревянная дудочка и скатанный в трубочку оранжевый вымпел. Где-то все в том же Свердловске седой и несчастный еврей с русской фамилией шурил полные старческих слез умиления глаза над страницами любимого поэта, с которых звучала для него истинная, подобная державинской, бронза кимвалов, и клялся отомстить тому, другому, так подло и небрежно втоптавшему в грязь и тину все это бесценное наследие, неподдельную славу и роскошь российской словесности, и рука старика нервно поглаживала приготовленную наперед, залитую краденным на почте сургучом, бутылку с дефицитной жидкостью. Где-то в Москве необъятно толстый человек в генеральском мундире, почетный член всероссийского общества по охране подлинности “Слова о полку Игореве”, вырвавшись с заседания правления, садился с трудом на заднее сидение своего неудобного, словно фасад гостиницы “Москва”, ЗИЛа и предвкушал совершенно невообразимые по деликатесным достоинствам маленькие голубцы в виноградных листьях, уже, небось, готовые к подаче на стол в тесной квартире родственника-подчиненного, которому сегодня, в последнюю среду месяца, было предписано таковых выдающихся голубцов ради покинуть боевой пост, хоть один-то день не ловить пусть он считает что померещившегося ему шпиона, которого, кстати, и ловить-то чистая поповщина, с одной стороны, и не дай Бог поймает, – с другой; подумывал заодно, платить или не платить, а если платить, то сколько платить и какими деньгами, за гиацинтового ару, которого генерал собирался у тестя забрать и подарить возвращающемуся из Кейптауна с операции ближайшему начальнику по случаю выздоровления. Где-то опять-таки очень далеко в штате Колорадо нервный и почти еще молодой человек, из-за маленьких усиков одновременно похожий на актера Мастрояни и на Гитлера, обходил пруд в садике, притулившемся к склону первозданно-невыветренного исполина, роняя с кончиков пальцев крошечные капли, радужные стеклянные шарики, разлетающиеся осколками, едва достигнув водной глади, заставляя при этом лотосы расцветать не розовыми, но ярко-синими цветами, светящимися в туманном воздухе и, как подсолнечники, и поворачивать благородные чашечки в ответ на буддийский шепот «ом, жемчужина в цветке лотоса». Где-то на окраине Москвы в тесной кухне многоквартирного дома темнолицей пожилой ассириец терпеливо ждал ответа от еще более темнокожего, почти черного

собеседника, а тот медленно подсчитывал что-то на заграничном карманном калькуляторе – вещи, советскому человеку пока еще недоступной. Где-то в сотне верст от Брянска кряжистый и жилистый старикан с лицом Сократа, сидя в продувном сарае, несмотря на весьма холодную погоду, одетый только в розовые, до колена, подштанники, перекладывал отборные куриные яйца из плетеной корзины в ящик, слегка пересыпал их опилками и шептал, шевеля губами: “семь тысяч девятьсот девяносто три, семь тысяч девятьсот девяносто четыре, семь тысяч девятьсот девяносто пять, семь тысяч... тьфу, проклятая, тухлое, накажу, на горох положу, семь тысяч...”, – а ветер, врывающийся в щели постройки, шевелил волоски его кустистых и седых бровей. Где-то в северной части Москвы, в двух шагах от Бутырской тюрьмы, на полу в коридоре собственной квартиры, устремив взор на самодельную галошницу, в позе лотоса сидело тело бледного тантра-йога средних лет, в то время как душа его, связанная с телом лишь тонкой ниточкой, уныло слонялась по курдскому эгрегору в поисках бесхозных умений, и не находила решительно ничего, достойного внимания. Где-то под Малоярославцем старый, огромный, совершенно одинокий пес с мордой лайки и телом овчарки, остановившись передохнуть, вылизывал подушечки лап, потому что годы уже не те, пес от таких побежек отвык совершенно, – хотя не было на этом пути еще никаких следов, и не читал пес бюллетень ван Леннепа, ибо не только не умел читать ни по-русски, ни по-английски, но и не требовалось ему, потому что будущее он видел своими подслеповатыми старческими глазами не хуже голландца, правда в своем, специфически собачьем ракурсе, а потом, долизавшись, поднимался, чтобы бежать странной дорогой по еще не оставленным следам.

– ... Итак, необходимый срок нашего совместного с вами, государь Павел, исчезновения от глаз общества не превысит восьми, самое большое – десяти месяцев. И эти месяцы не будут для нас, особенно для вас лично, месяцами бездействия! Мы будем следить за ходом событий, находиться, можно сказать, в незримом их эпицентре, и одновременно вы, ваше величество, не боюсь этого слова, будете готовиться к принятию бремени высшей всероссийской власти! – закончил Джеймс. – Выпьем же, государь!

К вечеру Павел, сунув немалую взятку в билетной кассе, купил два билета в купейный вагон до Москвы, на ночной поезд. В тот же самый час, отстояв очередь к другой кассе, Катя приобрела два билета от Свердловска до Томска в плацкартный вагон. И, наконец, Джеймс, напялив бифокальные, к тому же солнцезащитные очки, – в которых мало что видел, но маскировка нужна, – и старую ушанку, в третьей кассе взял два билета до Семипалатинска, общим вагоном, пассажирским поездом. Если кто-нибудь захотел идти по их следам, пусть копается – кто и куда уехал. Катя помогла Павлу упаковать все рисовое хозяйство Федора Михайловича, даже резцы, – а микроскопы для музея, для томского, как ей было сказано, уже выделил тамошний университет: Томск-то ведь как-никак – сибирские Афины! Собрала Катя мужу чемоданчик со сменой белья и прочим, что на ту неделю, которую он в Томске проведет, нужно, – а в осенние каникулы поедут они оба, Павел и Катя, к сводной Катиной сестре Веточке, Елизавете то есть, в Славгород.

Тем временем на темном и сыром берегу озера Шарташ Джеймс повстречался с очень бедно одетым дезинфектором в бакенбардах, который за истекшие часы стал лет на тридцать старше, то есть был уже не Александром Первым, а святым старцем Федором Кузьмичом: этот облик он приобрел совершенно неожиданно даже для самого себя, не прибегая к пресловутой формуле Горгулова-Меркадера, – он вкусил в свердловской пельменной настоящих сибирских пельменей с уксусом. Джеймс вручил святому старцу собственноручное письмо Павла для передачи Кате Романовой на шестой день после их отъезда и хотел дать еще тысячу-другую советских рублей лично от себя для нее же, но старец деньги брать отказался, сказав, что без крова и призора соломенная вдова не останется. Джеймс вспомнил о способностях собеседника, глухо возревновал без всякого на то повода и вернулся на Восточную в дом пятнадцать, где очень скоро выпили они с Павлом и Катей ту самую, заготовленную Катей бобруйскую бутылку, выпили совсем по-семейному, присели перед дальней дорогой, помолчали и уехали на вокзал, где Катя их покинула с поцелуями, а Павел и Джеймс, покурив за углом перонного туалета, в последнюю минуту нырнули в купейный вагон проходящего поезда на Москву. Проводник буркнул, чтоб шли в последнее купе, но Джеймс доверительно зашептал ему в седое ухо насчет того, что и проводникам жить надо, и водка дорожает, и мы же понимаем, как вам трудно, и вот, мол, тебе, отец, только не сажай ты к нам никого хотя бы до Перми, а если можно, то и дальше, но, отец, честное слово, больше не могу, свои, трудовые, кровные – и сунул в кулак проводнику четыре смятых трешки и рубль, тот руку в карман судорожно сунул и пробормотал, уходя в служебное купе: “Тогда в предпоследнее”.

Прошли в предпоследнее. Вещей у них было всего ничего, только чемоданчик у Джеймса и побольше у Павла. Джеймс отпер трехгранкой окно, в купе было душно, и опустил раму ладони на две, отчего из открывшейся щели сразу ворвался ветер, поздний, осенний, сырой, запах шпал, холода, шум колес. Проводник подозрительно быстро приволок им четыре стакана чаю, когда Павел попытался два вернуть, презрительно на него зыркнул и хлопнул дверью. Джеймс выставил на столик к чаю еще одну бутылку коньяку, на этот раз хорошего и дорогого. Молча выпили и стали укладываться на ночь. Свет погасили, оставили синюю лампочку. Павел увидел, как Джеймс закурил в темноте, сам курить не стал, отвернулся к стене, решил спать.

А сон не шел никак, даже наоборот, от выпитого коньяку тревога какая-то возникла, нервная бодрость, беспокойствие. И куда это мы едем? – думал Павел. – Работа у меня приличная, жена хорошая, квартира лучше, чем у многих. Устроен я. На сберкнижке опять же восемь тысяч, деньги. И не хочу я ничего такого, ни корон, ни скипетров, ни дворцов, ничего не хочу. Но тут прапрадедовы гены взяли верх, “властитель слабый и лукавый”, победитель Наполеона, совсем не слабый и не лукавый святой старец Федор Кузьмич, шестом отталкиваясь, выплыл на плоскодонке из кровеносных недр и сурово вторгся в сознание праправнука. То есть как это ничего тебе не надо, – спросил старец. Затем ли пять поколений тлел крошечный огонек истинного романовского рода, чтобы ты, боясь потерять восемь тысяч своих, на “Ниву”

приготовленных, накрылся хвостом и лытал от престола, который я тебе, недоноску, завещал? Ты что, не видишь, ЧТО с твоей страной, да, да, не отворачивайся, с той самой землей русской, которой ты, а не кто-нибудь, ты, ты, настоящий хозяин? Ведь не потому в стране жрать нечего, что земля истощилась, даже не потому, что все негры-китайцы повымантачили, а потому что ты, хозяин! “Так уж прямо и я”, – попробовал вяло отбрыкнуться от прапрадеда Павел, но понял, что защититься от собственной совести, оборотившейся этим самым старцем, которого он и портрета-то сроду не видал, решительно нечем. Однажды, пусть от страха, пусть только оттого, что пригрозили ему раскрытием его главной тайны перед заинтересованными и компетентными организациями – однажды признав себя наследником верховной российской власти, взвалил он на свои плечи чудовищную ношу, которую не то что человеку, никакому Атласу не под силу бы нести, – взвалил ответственность за судьбу четверти миллиарда людей, за их голод, обворованность физическую и духовную, нищету умственную и телесную, за чудовищно низкий уровень жизни, всенародный алкоголизм, бесплодие женщин и бессилие мужчин, за каждую каплю печорской нефти, по бесхозяйственности и безразличию утекающую в Ледовитый океан, за каждую каплю донорской крови, сворачивающейся без употребления, за каждую минуту детства, украденную у школьников уроками лживых и бесполезных предметов, за предсмертный вой студента МГУ, каждого десятого из тех, кто, не сдавши экзамен в третий раз, кидается с восемнадцатого этажа, ибо отчисление грозит потерей надежд на нормальную нищенскую советскую жизнь; за сотни тысяч эмигрантов, выгнанных с родины страхом и голодом, за срамную олимпиаду с распродажей апельсинов среди лета, за Нобелевскую премию, со страху перед ядерными боеголовками врученную шведской академией проспиртованному вору и дегенерату, да мало ли еще за что в конце-то концов, какому бы Атласу все это горе четверти миллиарда людей снести, когда в те времена, когда он, как дурак набитый, за Геркулесовыми столпами торчал, все население земли было во много раз меньше нынешнего населения России!.. Чем исчислишь людское горе, кроме как числом самих людей?

И фер-то кё, как выражалась его любимая писательница? Ну, стану я императором, даже легитимным, как этот малопонятный и явно несчастливо попавшийся мне человек говорит, – ну, что я буду делать? Скажем, с колхозами? Куда деть всю эту нерентабельную, но тем не менее худо-бедно функционирующую систему, на воровстве главным образом основанную? Ведь ни образования у меня, ни планов ясных, вообще ничего! НЭП разве объявить, чтобы, как отец рассказывал, осетрина опять была? Так ведь она тоже краденая будет, а для того ли я страну в руки брать собрался, чтобы ее остатки тоже разворовали? А с партаппаратом этим самым что делать? Не истреблять же, не буду я у них эти методы брать, но ни черта же ведь не умеют делать, только блины с коньяком жрать в икарыйских санаториях, да друг друга подсидивать, да лекции по бумажке, да головою кивать! Что я, серый, им дам? Не возьму я их себе, хоть и преданными будут, как собаки последние, лишь бы им икру в пайке оставил! Не оставлю!.. А все-таки делать с ними... кё? Павел, очнувшись,

открыл глаза и посмотрел на неслышимо спящего Джеймса. То, что он увидел, после всех ночных мыслей даже не испугало: разведчик, беспредельно утомленный многонедельным напряжением, видимо, потерял контроль над собой, всплыл в воздух и висел сантиметрах в двадцати над койкой, свесив руку и тихонько пожевывая все еще горящую у него в зубах сигарету. “Надо бы забрать-погасить, загорится еще”, – подумал Павел, но Джеймс не дался, повернулся на другой бок и сигарету не выпустил. Сверхъестественные способности спутника объяснял себе Павел причинами естественно-научными, в духе журнала “Огонек”, в духе статей о знаменитой чуть ли не на весь мир Бибисаре Майрикеевой, у которой, говорят, правительство поголовно лечится. Нет уж – Павел вдруг ощутил внезапный прилив сил, – не буду я у нее лечиться! Только вот стану царем, как все это уничтожу, и магазины каштан-березковые, и закрытые блинно-коньячные санатории для партначальства, – а за все курортные сезоны-сафари в Африке для их детишек – папань отвечать заставлю, кто это там на советские, на русские деньги слонов в Кении поистреблял в свое удовольствие, никаких мне дворцов не нужно, напишу заявление, чтобы дали мне простую квартиру в две, ну, в три комнаты, портрета своего ни на рубле, ни на копейке чеканить не дам! Землю всю раздам и сам первый пахать пойду! – Впрочем, эта мысль Павла отрезвила, понял он, что пахать вряд ли будет. Но уж и привилегий он себе никаких не назначит. И мантию на коронацию наденет самую грубую, из сукна солдатского, что ли, из парусины синей, пусть думают, что хотят! Из общедоступной, короче, материи! И никаких чтоб в государстве безгодунедельных дворян!.. Впрочем, как же без дворян? На кого еще может опираться монархия, как не на дворян?.. Новых печь Павел категорически не собирался. А старых... старых, надо думать, всех перерезали. От этой мысли проснулась у Павла новая волна бешенства, даже заботу о разыскании дворян решил он оставить на потом. Нет, ничего больше и никому из этих мучителей России не будет! Никаким неграм, кстати, больше ни спичечной коробки!!! Хватит с нас албанцев, китайцев, румынов, югославов! Всех других тоже видали... в гробешнике! К чертовой бабушке все колонии, со своим дайте управиться, и так валюты ни гроша нет, все партаппарат проел, да и нефти-газа на себя еле-еле! Где ее, валюту, взять? Нет, точно начеканю золотых денег, не олимпийских жувльнических, а полновесных, чтоб в любом сельпо звенели!.. А колонии можете себе забрать, расхлебывайте этот Афганистан сами!

То, что Джеймс днем продиктовал его подсознанию, стало теперь собственными мыслями и убеждениями Павла. Отказ от колониальных претензий вне единых границ в нынешних границах, вечный и верный союз с Соединенными Штатами и отказ от мировой гегемонии и еще кое-что в том же духе – всем этим платила Россия и император Павел Второй за избавление от голода и политзанятий. Никто не требовал у него даже Восточную Пруссию. В институте Форбса отлично понимали, что бесполезно требовать подобные вещи у праправнука человека, который почти двести лет назад привел свои войска в Париж затем, чтобы посадить там на престол своего марионеточного правителя, Людовика Желанного. Прекрасно понимали они характер этого Романова, но выбора не было. Ведь он, чего доброго, мог бы оспорить и сделку по продаже

Аляски, совершенной узурпатором из младшей ветви. Пусть уж подавится он этой Пруссией, даже и Курильскими островами, но никогда не согласятся Соединенные Штаты убраться со своего флага даже одну звезду.

В окно пробились первые утренние, совсем мутные и робкие, отсветы. Павел посмотрел на спутника, увидел, что тот опустился пониже, хотя все еще висит в воздухе, а сигарета, наверняка та же самая, все так же горит у него в углу рта. Павел тряхнул головой, зажмурился, снова открыл глаза – сигарета все так же дымилась. Наследник российского престола определенно не знал, следует ли удивляться. Для рассеяния сомнения решил и сам закурить, вытащил сигаретку и прикурил от той, что дымилась в зубах у разведчика. Джеймс приоткрыл один глаз.

– Спали бы вы, государь. Нам еще ехать и ехать.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 12

Евгений Витковский

XII

Самой умной женщине легче понять даже отвлеченные философские идеи, нежели в предметах жизненного интереса отделить общее суждение от единоличных конкретных задач.

Владимир Соловьев. Аксаковы

Рампаль подул на пальцы: согреться никак не удавалось, чуть вздремнешь, как что-нибудь да застынет, рука ли, нога ли. Свернувшись клубком, лежал он на полу каморки, прежде служившей пристанищем Джеймсу. Тут было безопасно, но зверски холодно. Превратиться во что-нибудь, не страшась холода, лучше бы всего в белого медведя, Рампаль боялся: все-таки в доме он был не один, не ровен час, заглянет кто-нибудь в каморку во время сна, увидит дрыхнувший символ России, тогда прости-прощай спокойная работа, придется снова улепетывать, жрать всякие предметы с острыми углами, следы запутывать. В медведя зимой, кстати, просто опасно превращаться – можно в спячку впасть, с незабвенного оборотня Бьярни Торстейнссона еще в начале века за такой конфуз погоны сняли. Да и вообще лишний раз превращаться Рампаль боялся, не прошел еще ужас перед приключившимся на берегу Свитязи опоросом. Где-то они теперь, эти поросятки?

Джеймс и Павел находились теперь уже далеко. Едва только Джеймс Найпл со своим подопечным покинул Свердловск, Рампаль принял на себя ответственность за свердловские события и должен был заниматься только ими. Ближайших дел за Рампалем числилось два: спрятать как можно дальше и ненаходимее Екатерину Романову-Бахман и попробовать добиться отречения от престола у Софьи Романовой-Глущенко. Пусть не в пользу Павла: в Скалистых горах знали, что она брата ненавидит. Но в пользу любого из кандидатов, которых он, Рампаль, ей предложит: в пользу двоюродного деда Никиты; хуже, если в пользу его законного сына Ярослава, тоже великого князя, не баран

начихал все-таки, хоть и ведет он, мерзавец, антиамериканскую политику; хуже бы всего, если в пользу тетки Александры, окопавшейся в Лондоне, и, наконец, если уж ничто другое не поможет, то не угодно ли вам, ваше высочество, отречься... в пользу родного вашего сына Гелия? Этот бульжник, впрочем, полагалось попридержать на крайний случай, незаконный отпрыск Софьи был фигурой не только неясной, но, кажется, тоже нежелательной в высшей степени, его откопала группа изучения Софьиной биографии, установила, в каком лагере на сегодня он сидит, – это, увы, пока все. Не дай Бог, мальчонка унаследовал мамин характер. Но в принципе было все равно, в чью пользу теперь Софья отречется, лишь бы поскорее выкинуть ее неприятную фигуру из уравнения, где икс – личность будущего русского царя. Софья, персона непьющая, на роль всероссийской императрицы не годилась вовсе, политика Руси, как очень давно известно, есть то же, что и ее веселие – “пити”, непьющим – от ворот поворот.

Обо всем остальном узнать полагалось из доставленного наконец-то вчера почтой в сорок четвертое отделение связи Свердловска до востребования на имя Лобикова Германа Борисовича номера журнала “Здоровье” за октябрь, который после простого помахивания над ним заячьей лапкой обрел достойный вид октябрьского же номера совсем другого периодического издания, а именно бюллетеня предиктора ван Леннепа. С дополнительным вкладным листком, который предиктор заполнил лично для Рампаля. Такой чести капитан удостаивался впервые, минута работы предиктора стоила дороже, чем час работы всех американских компьютеров вместе взятых. Рампаль никогда не видел ван Леннепа, не знал, где тот обретается, слышал только от других оборотней, что предиктор – совсем еще молодой человек, чуть старше двадцати пяти, некогда шахматист-вундеркинд, на чем и был отловлен: сведущие люди быстро поняли, что мальчик просто знает всю партию наперед, оттого и на доску почти не глядит, и вместо чемпионата на первенство Нидерландов попал мальчик на прием к королеве, которая ласково потрепала его по светлым волосам и сказала, что его долг – покинуть родину и служить на благо Нидерландов и всего свободного мира в рядах армии могучего заморского друга и союзника. Мальчик отлично знал об этих словах королевы заранее и отнесся к перемене судьбы с таким же равнодушием, как к обычной шахматной партии на первенство родного города Хенгело. С тех пор бюллетень ван Леннепа, издававшийся от шести до восемнадцати раз в год и рассылаемый по списку, утверждаемому даже не президентом США, – как следовало бы ожидать, – а самим предиктором, заменил для тех, кто был к нему допущен, Библию, Коран, Ридерс-Дайджест, книги Сивиллы, сочинения Гурджиева, бюллетени покойного предиктора Уолласа и даже телевизор. Не зря же референты в американском посольстве, прежде чем переслать бюллетень Рампалю, придали ему вид журнала “Здоровье”. Личные странички предиктор заполнял крайне редко и по собственному усмотрению, когда считал, что кому-то важно знать свое собственное будущее исходя из интересов страны в целом. Впрочем, в этих случаях предиктор, видимо, развлекаясь, изъяснялся таким вычурным иносказательным языком, что никто, кроме адресата, не понимал в этих страничках ни слова.

“Нептун, восходящий от созвездия Корабля, – писал ван Леннеп, и Рампаль понял, что речь идет о нем, – тебе должно избегать мест лебединой случки и мыслей о тринадцати младенцах, а двадцать второго ноября отбыть вослед за солнцем, оно не созерцая. Не вкушать купырь, гнейсы, криолиты, мергели, подзолы, нецке, шаффхаузену, эльзевиры, оселедцы, нервюры, гетманские штандарты, додекаэдры и во избежание множественности пентаэдров обозреть лучшее, что дано от щедрот его первой родины в руки родине второй прежде, нежели вкушать от подарков дяди племяннику...”

Текст, выглядевший полной ахинеей для постороннего глаза, был почти весь ясен Рампалю, местами даже слишком. Нецке сам жрать не идиот, нешто не помню, во что можно превратиться? Насчет подарков дяди – это потом можно будет через формулу прикинуть. Но самый печальный вывод напрашивался сходу: скандальный его опорос, как и все последующие приключения, был уже известен командованию. Он не виноват, позора никакого, но сплетен не оберешься и анекдотов тоже. Ехидно подумал Рампаль, что отольются коллегам его слезы: добрая половина страдала в секторе-гареме теми же недомоганиями, что и он, и, стало быть, если вовремя им всем аборт не сделать, то к Рождеству можно ждать от них при первой же трансформации в женскую особь многочисленных ягнений, окотов, опоросов, щенений, отелов, яйцекладений и икрометаний.

Так или иначе, все инструкции были приняты: те, что к сегодняшнему дню устарели, ибо предсказывали вчерашний день, бывший в момент предсказания завтрашним, были приняты к сведению, прочие – к исполнению. Инструкция “телесно возвысить владычицу новой России”, иначе говоря, отослать Катю Романову в горы, на Алтай, кажется, на Телецкое озеро, как сама она Рампалю сказала, инструкция эта устарела буквально вчера. Когда ветхий старичок-дезинфектор только еще позвонил в дверь романовской квартиры, Митька закатил вой до небес, шерсть на нем встала дыбом, и весь их дальнейший разговор происходил под аккомпанемент дикого, непрекращающегося собачьего скандала: зверь чуял оборотня и не желал принимать во внимание благие намерения такового.

– Крыс, мышей, клопов, тараканов, жучка мучного? – скучным голосом спросил старичок через цепочку.

– У нас потравили уже, – ответила Катя и хотела закрыть дверь, но старичок опередил ее:

– Плохо, значит, потравили, соседи жалуются, что ползет от вас.

– Сами они ползут, не просыхают по две недели, – буркнула Катя, но цепочку сняла. Старичок вошел в прихожую, поставил свой скучный чемоданчик и таким же скучным голосом внезапно объявил:

– Екатерина Власьева, письмо у меня для вас.

– Васильевна, – машинально сказала Катя и испугалась: – Какое письмо?

– Васильевна, – миролюбиво согласился старичок и продолжил: – все равно ведь Вильгельмовна, но раз уж ваш покойный батюшка три раза и вероисповедание, и метрику, и национальность менял, так ли важно? – и протянул Кате письмо в незаклеенном конверте. Катя запахнула халатик

поплотнее, зачем-то оторвала от конверта край и извлекла письмо сбоку. Быстро-быстро прочла она тот немудрящий десяток фраз, который накатали будущий император на вырванном из тетради листке круглым своим, почти школьным почерком. Косяками они ходят, что ли, дезинфекторы эти? Давешний запомнился ей очень хорошо, Митька тогда тоже был, но нынешний годился прежнему в отцы, сходства во внешности она по близорукости не усмотрела.

– Так как же мучного жучка?.. – спросил дед, берясь за чемоданчик.

– Откуда у вас это письмо?

– От супруга вашего, от Павла Федоровича, между делом занести просил. Там и еще что-то передавал он для вас, не упомяну только, захватил ли...

– Так, может, проверите?

– Да что проверять-то... Уж если говорить хотите, то хоть на кухню-то проводите, года мои не те встояка такие беседы позволять себе вести...

Катя, охваченная нестерпимой тревогой, провела старичка-дезинфектора на свою чисто прибранную кухню. Странное она только что получила письмо от мужа, донельзя странное, не понравилось оно ей и даже обидело. Павел взял какой-то начальственный тон, будто барин какой, дворянин тоже нашелся.

Сперва писал, что пусть, мол, Катя не беспокоится. Не побеспокоишься тут!

Потом писал, как он ее любит. Видать по всему! И поэтому пусть поверит, что надо сделать все, как он велит. Писал бы уж – приказывает! Повелевает!

Уложить, мол, все необходимое и на полгода уехать к самым дальним родственникам на Алтае – если на Телецкое не хочется ехать, то можно и к Веточке в Славгород, но там он за нее спокоен не будет, лучше все-таки найти или тетку Маргу, или тетку Марию, или тетку Гизеллу, ту, помнишь, которая масло делает. Откуда он их всех только вспомнил! Работать она, мол, пусть работает, преподаватели везде нужны, но лучше пусть не работает, нет больше у Романовых такой необходимости, столько за гравированный рис решило заплатить министерство, что за всю жизнь не истратить, аванс выдали и он ей часть посылает, остальное сам привезет. Он, мол, сам в Горноалтайск, или куда она решит, за ней приедет. Враль проклятый!

Страшное подозрение шевельнулось в душе Кати: муж сбежал. Она догадывалась, что какой-то роман когда-то у Павла был, и какая-то женщина могла бы на ее законного мужа предъявить кое-какие права; она даже знала, как зовут эту женщину – Аля. Алевтина? Алена? Неужто муж просто решил от нее, от Кати, откупиться? Да и деньги-то где? Позабыв про то, что в кухне чужой человек сидит, и про то, что Митька уже воем изошел и кашляет, Катя рванулась в кабинет мужа, рывком открыла письменный стол, копнула в бумажках и сразу успокоилась. Сберегательная книжка с отцовскими наследными была на месте, с нее Павел не снял ни копейки, – зная бы Кате, сколько усилий стоило Джеймсу уломать Павла не снимать этих денег, не прятать, не увозить с собой, попросту бросить их. Значит, не сбежал. Неужто и правда рис нынче в такой цене? Знала бы, не кормила бы Митьку в тот раз, за который Павел обиделся. Надо, пожалуй, и еще рису запасти. Вон какие чудеса. Да, где деньги?

Вот только на Алтай ехать не хотелось. Катя вернулась в кухню и увидела, что

старичек-дезинфектор тихо дремлет, выложив на кухонный столик перед собой невероятно толстую пачку мятых рублей и трешек, еще несколько пятерок лежит в стороне и одна десятка.

– Это вам, – уютно сказал старичок. – Меня Павел Федорович и помочь вам уехать уполномочил, у меня знакомство на вокзале есть, я там тараканов морил. Только чтоб вы сами решили, куда поедете, чтобы свободная ваша воля, значит, была.

Катя машинально сгребла деньги, заметив грустный взгляд старичка, поколебалась и протянула ему сиротливую десятку, как двадцать копеек почтальону за телеграмму давала. Старичок кивнул и быстро взял: Рампаль всегда и во всем был экономен.

– Так вам билет взять?

– Вот еще, не поеду я никуда... – начала было Катя и вдруг осеклась. – Не волнуйтесь, я сама возьму, вещи вот на вокзал только...

– Да я помогу вам, вы не глядите, что я старенький такой. Я еще охо-хо!

– Вижу, что хо-хо. А в школе меня кто отпустит, это он отчего не подумал?

– Ох, простите, запамятовал, старость все-таки!.. – дезинфектор выудил из ветхого пальтишка бланк заверенной телеграммы, с какой-то совершенной чепухой из Кировограда, – но выглядела телеграмма очень солидно и подлинно. Катя вспомнила, что и самого Павла отпустили по такому же, – да и кому сейчас французский преподавать, старшие классы на картошке! – Зовут меня, кстати, Петром Герасимовичем.

– Может, чайку согреть? Или еще чего-нибудь, у нас осталось...

– Благодарю вас, еще чего – ни в коем случае, вредно мне, возраст проклятый. Я ведь только с виду, понимаете ли, охо-хо, а на самом деле годы проклятые...

– А Павла вы откуда знаете?

– А я и не знал раньше, познакомился только вот. Я Федора Михайловича знал, по фронту мы с ним дружили, а теперь вот встретился... с могилкою... – на глазах старичка выступили неподдельные слезы.

Поговорили еще. Катя все более успокаивалась, не нравилось только то, что поручение передать письмо и деньги Павел дал дезинфектору: вдруг узнал об обстоятельствах, при которых приходил прежний. На всякий случай рассердилась на Романа Денисовича. Заодно и на Павла. Разом захотелось уехать.

– Вы вот что, Екатерина Власьевна, – сказал ей гость на прощание. – Вы поживите там себе, Паша-то как освободится, так вас сразу отыщет. Ему ведь каждую рисинку отдельно сдать надо, много времени потребуется.

– Да как он меня отыщет, если знать не будет, где я?

– Будет, будет, непременно будет знать, не волнуйтесь. А в трудную очень минуту, если у вас такая случится, помните, Екатерина Власьевна, нет у человека лучшего друга, чем стакан этой самой, которую я по возрасту не потребляю, к сожалению. Если очень трудно станет, вы его, этот стакан, примите. И очень скоро полегчает.

Пропустив последний совет старичка мимо ушей, Катя села вечером в барнаульский поезд. Одной Романовой в делах Рампаля стало пока что меньше.

И вот теперь Жан-Морис Рампаль выполз из-под груды тряпья, под коей ночевал. Холод досаждал ему нестерпимо. Согреться водкой или любым другим спиртным было при этом категорически невозможно, он пребывал в образе старца Федора Кузьмича, любая, даже совершенно лечебная доза спиртного возвратила бы ему истинный облик, который если и не был так опасен, как беломедвежья шкура, то все же таил в себе шанс на неприятности – а ну как опознают как раз те, кому не надо. Танькина квартира, хотя и не виделась ему в кошмарных снах о разжаловании за публичную телепортацию, как Джеймсу, а даже напротив, вспоминалась не без некоторой приятности, тем не менее делала его подлинный облик небезопасным. Кто его знает, что за тип тогда вломился?

Ответ на этот вопрос Рампаль получил, когда перевернул личную страничку в бюллетене предиктора. Вчера от усталости он этого не сделал. А сегодня перевернул – и даже согрелся. Кровь заструилась по его старческим жилам бурно, как у красной девицы, и прилила к лицу. Такого срама не было с ним с тех самых пор, когда во Вьетнаме, собираясь явиться вьетконговцам в образе дедушки Хо, он по ошибке съел воробьиное гнездо вместо ласточкиного, превратился в котел с вареным рисом, едва не был сожран голодными партизанами, спасибо, бомбежка началась, с каким трудом после этого Бустаманте удалось его расколдовать, какой был позор! Теперь же оказывалось, что все эти милые люди, с которыми он выпивал, закусывал и еще чем-то там занимался в доме на Большой Молчановке, были капитанами и лейтенантами КГБ! Чутьем слышал тогда Рампаль, что идет по следам Джеймса, но где же было его чутье на КГБ? Рампаль вспомнил, что никак не мог тогда избавиться от атавистических реакций, видать, больше приюхивался к Таньке-женщине, чем к Таньке-лейтенанту! Рампаль поклялся, что еще покажет ей лебедя! Целое озеро лебедей! Хотя она-то чем виновата, это ее работа, а ты сам виноват, – ругал себя Рампаль, кипятя чай на Джеймсовой плитке, не грузинский второго сорта, как Джеймс по бедности, а хороший краснодарский из Москвы, но залить ли сраму глаза даже самым лучшим чаем? Рампаль снял с плитки чайник и поставил вариться пельмени: сейчас он питался только ими: с одной стороны, способствует поддержанию удобного и благообразного старческого облика, с другой – очень экономно и на вкус после будильников, морских ежей и гранитогнейсов совсем приемлемо.

Покуда варились пельмени, Рампаль достал огрызок карандаша и стал расшифровывать последнюю строку послания предиктора:

“И немедля вкусить от семени льна, от медвежьего уха, от дубовой коры совокупно с тремя граммами серебра”.

Длинные ряды выводов из пресловутой формулы с трудом выкарябывались на мятой бумаге, пальцы, старческие все-таки, гнулись плохо. Когда же Рампаль получил конечный вывод, карандаш вовсе выпал из них, и на какой-то миг капитан даже сомлел. Ему предписывалось именно то, чего он с самого свитезянского утра боялся больше всего на свете. Ему предписывалось превратиться в женщину! Вообще – как можно было его после столь длительного брижитбардового состояния посылать сразу на такое ответственное дело! Хотя, вспомнил Рампаль, мыслей о поросятках приказано избегать, так

что, значит, новый опорос, тьфу, прости Господи, роды то есть, в женском облике ему уже не грозили. Отпоросился, значит. Начальству, к несчастью, виднее. Виднее же всех – ван Леннепу, хотя имел Рампаль малое подозрение, что далеко не всегда видит предиктор будущее на самом деле, что иной раз он плетет что на язык придет, пользуется тем, что, раз уж все живут, руководствуясь исключительно его предсказаниями, все равно все исполнится в точности. От расстройства Рампаль даже забыл высчитать – что там за пентаэдры такие в письме предиктора. Все-таки ван Леннеп удостоил его личного гороскопа, одно из важнейших заданий он уже выполнил, даже два: Джеймсу передал все необходимое и Екатерину Романову из города-таки выпер. Рампаль вздохнул, снял пельмени с плитки и стал их есть прямо из кастрюльки. Съел, слегка обжигаясь, потом аккуратно, стараясь не облиться, выпил жидкость, даром что пельмени из свердловского магазина, выливать бульон от них было жалко.

Три грамма серебра у Рампаля нашлись, конечно: как всякий кадровый оборотень, он имел в запасе на случай необходимости самоубийства серебряную пулю в девять граммов, – значит, только распилить ее на три части и одну съесть. Рампаль вспомнил глубоко неприятного ему немолодого оборотня-вервольфа, по имени Ванделин фон Вермельскирхен, который носил такую пулю на шнурочке и многозначительно начинал ею поигрывать, когда получал неприятное задание. Но где взять семена льна, уши медведя, кору дуба? Ответ, как выяснилось, имелся тоже в письме предиктора:

“Не имея, обрящешь: снизойди до целительных лавок”.

Стало быть, все это продавалось в советских аптеках. Странными, однако, они тут вещами лечатся. Все, что ли, только и ждут случая в бабу превратиться? Хотя да, здесь же нет слаще жизни, чем у матерей-одинок, понятно. Рампаль вздохнул, нарядился в свою зимнюю ветошь и поплелся по аптекам в поисках прописанных лекарств.

Только в обеденный перерыв, обойдя к этому времени не менее двадцати аптек, собрал Жан-Морис Рампаль все ингредиенты. Для обретения наиболее дефицитного компонента, льняного семени, даже пришлось наваждение делать, в ревизора превращаться. Еще пока недостачу нашел – час потерял, а уж как поить стали, так и вовсе нехорошо вышло, насилу отвертелся большой печенью и еще чем-то, насилу деньгами принять согласился, и семенем льняным, конечно. Когда же выбрался из той проклятой аптеки, обнаружил, что так и держит в руке стакан, граненый причем, водки полный. Рампаль зашел в ближайший двор и спрятался за помойкой, съел припасенный пельмень, снова стал кем надо – ни дать ни взять старикан-алкоголик за спрятанным стаканом пришел, таковой налицо к тому же. Похолодало, потемнело, и понял Рампаль, что водку выливать ни в коем случае нельзя. Раньше семи сегодня к Софье лучше было не соваться, по имеющимся сведениям, Виктор Глущенко мог оказаться дома, после семи же у него было предпраздничное собрание, так что три часа оставалось свободных. Их полагалось использовать с толком. Рампаль аккуратно поставил стакан в карман, и, придерживая, чтоб не расплескать, направился во двор к Соломону Керзону, где старики играли в домино и

дворник мел последние листья.

Впрочем, о Соломоне у Рампаля представление было довольно смутное, к нему этот персонаж отношения не имел, ибо на престол претендовать не мог. Во дворе Керзона интересовала Рампаля только изредка проходящая к дяде Софья, а более того – известный китайский разведчик Хуан Цзыю, о способах, целях и средствах работы которого давно знали в ЦРУ и по первому же запросу предоставили информацию институту Форбса. Других серьезных китайских шпионов в Свердловске вне оборонных заводов не было, поэтому приходилось ожидать действий со стороны имеющегося, – странно было бы надеяться, что Китай будет бездействовать в деле реставрации Романовых. Хотя Форбс и не верил ни в какой Китай, кроме древнего, но пожал плечами и приказал Рампалю всемерно дезинформировать Хуана.

Старец шел прихрамывая и по сложившейся уже привычке глядя в лица встречаемых. Прошел квартал, другой, все так же бережно придерживая в кармане полный стакан, – возле магазина извивалась очередь, нетрезвый рабочий уцепил старца за локоток и доверительно зашептал: “Отец, давай с тобой на двоих”, – Рампаль с трудом вырвался, слегка плеснув внутри кармана – и окаменел. В очереди за тем же самым напитком стоял – пронеси, Господи! – его старый знакомый, капитан Михаил Синельский, явно прибывший в Свердловск опохмеляться. “Все, что ли, в Москве выпил?” – подумалось оборотню. Ясно, что капитан оказался тут неслучайно и нейтрализовать его следовало спешно. Правда, бюллетень ван Леннепа ничего такого не обещал, но, возможно, Мише и Рампалю уже не суждено было вступать в контакт; ясное дело, Синельский никогда не узнал бы в ветхом старикане своего бойкого и широкого в кости московского собутыльника. Рампаль понял, что может выполнить два задания одним махом, и пошел к доминошникам.

Игра в этот день во дворе Соломонова дома была уже в полном разгаре, новому игроку, если только он не приносил “кости” с собой, светила перспектива ждать своей очереди и два часа, и три. Но в кармане у Рампаля было мощное оружие, к тому же раза два он здесь уже ошивался, к людям приглядывался, кое-кого знал по именам. Выбрав удобный момент, старичок подошел к другому старичку, кривоватому и вечно дергающему веком Борису Борисовичу, и доверительно прошептал на ухо:

– Пусти поиграть-то, милай. Стакан поставлю.

– С собой он у тебя, что ли... – начал Борис Борисович, но осекся, повел носом, быстро нагнулся, принял под столом из рук Рампаля полный стакан, а дальше произошло нечто, непонятное даже оборотню, – Борис Борисович не донес стакана до рта, а содержимое его исчезло, и лужи на земле не образовалось никакой. Рампаль поглядел на старика с недоверием.

– То-то, голова. Мы уж год прямо желудком. Оперированные мы. Ну, садись, голова, играй, раз делать не хрена, я пошел на боковую, не пропадать же заряду.

Старичок Петр Герасимович не стал спорить, перехватил кучку “костей” и сел на место. В партнеры к тому самому полоумному Степану, без которого, как он знал, никакой карамболь китайской разведке не подкинешь.

Петр Герасимович забавно тряс старорежимными бакенбардами, давая на стол,

как ему казалось, “сильную кость”, но зарубая при этом ход своему партнеру. Старик оказался разговорчивым, еще недавно он жил в Москве, а вот теперь переехал в поселок Шарташ к сыну, а сын весь день на работе, вот и скучно ему, вот и решил он с хорошими людьми время провести. Старик проигрывал нещадно, но партнер, которого он гробил с каждым ходом, не сердился, скорее откровенно ликовал, ловя каждое слово этого ветхого деда, свежего человека. Дед повествовал об интимной жизни московских эстрадных блях, главным образом Аллы Пугачевой и Людмилы Зыкиной, – насчет последней кто-то заикнулся, что она, мол, уже в годах, но его осадил – зато у нее талия в порядке, а ты сам что ли мальчик маленький, так закрой уши, – и еще о каком-то московском капитане КГБ, бывшем своем соседе по имени Миша, который, хотя и наследник российского престола, о чем почему-то докладывает каждому встречному-поперечному, но все равно выше капитана пойти не может; Степан ликовал и губами шевелил, чтобы лучше запомнить все то, что сегодня же, сейчас же, как только дедусь выговорится, нужно будет отписать маньчжурскому императору. Ведь за эти сведения ему наверняка дадут какой-нибудь самый главный орден! А дедусь все плел и плел про соседа своего, про капитана Мишу, который сейчас, оказывается, даже в Свердловске, он родной внук Ивана Грозного, законный причем, главнее всех Романовых. Иван, грозный от злости, значит, синел – вот и фамилию внуку дал Синельский. Дворник скреб метлой давно уже чистый асфальт и предчувствовал, что скоро надо будет бежать в свое не совсем жилое помещение, где ночью неизменная Люся как раз доложила ему, что придется примириться, аборт делать уже поздно, будет у них третий ребенок. Хуан принял сообщение как должное, ребенок так ребенок, обещал, что как только родится – начнет выдавать ей на десятку больше, а ведь и так уже две давал, кто, кроме китайца, смог бы прожить на то, что после такой жертвы оставалось от дворницкого жалованья? Но вот dominoшники стали редеть, совсем стемнело, дряхлый дед пошел восвояси, нырнул в парадное Степан, а следом и дворник ушел.

Софья шла с почты, на ходу читая только что полученное письмо. Сердце бешено стучало где-то в горле, встречные шарахались от нее, настолько багровым было ее лицо в эти минуты. Около пяти вечера вынула Софья из почтового ящика извещение на заказное письмо из Англии, сперва не поняла, что это такое, а потом уж и не помнила, как до почты добежала, закорючку вместо подписи поставила, длинный заграничный конверт получила и пошла домой. На исписанный чернилами лист садились снежинки, отчего буквы расплывались тут же, но терпеть до дому не было силы, Софья читала письмо уже в третий раз, такого волнения не испытывала она даже при чтении писем старца Федора Кузьмича.

“Моя дорогая, – начиналось письмо, словно они уже Бог весть сколько были знакомы, – я бесконечно рада твоему письму, твоему женскому человеческому живому родственному голосу. Также печалюсь о кончине моего брата. Неотложные дела, святое дело независимости всех женщин мира, не позволяют мне теперь отлучиться из Лондона, ибо грядущее царство всемирной обоюдной женской любви близится, и встретить его я должна, как, надеюсь, и ты, на

передовой позиции борьбы с тиранией мужчин...”

Письмо было длинное, задушевное, пламенное и непонятное, оттого пришлось его читать четвертый и пятый раз. Насчет борьбы с тиранией мужчин Софья была с теткой согласна на все сто, она как раз накануне отлупила Виктора за плохо вымытую посуду, – с того памятного дня, когда ей открылась тайна собственного происхождения, Софья домашними делами заниматься перестала, переложив их на Виктора, и он принял их, и готовил, и стирал, а только бы пикнул, – и спать отправила в коридор на раскладушку, даже на диван в гостиной лечь не позволила. И после такого недвусмысленного со стороны тетки приглашения на борьбу с мужчинами собиралась врезать ему сегодня еще и раз и два, уж какой-никакой повод всегда найдется, а то и не надо, за плюгавость, например, вложить можно. Неприятны были для Софьи в письме тетки множественные цитаты из Ленина и Маркса, особенно повторенная дважды насчет того, что, мол, кухарка должна государством управлять. Тетка упоминала также Лхассу, – Софья с трудом вспомнила, что это такое, а еще меньше поняла Софья оборот “обоюдоженская любовь”, заподозрила что-то нехорошее, но потом подозрения откинула. Главное же ясно читалось в письме, расплывшемся грязно-синим по грязно-голубому, тетка писала ей, что будет счастлива видеть племянницу в Лондоне, во главе женщин России, в последнем и решительном бою с мужским сексизмом, – иначе говоря, приветствовала ее как наследницу русского престола!

Софья, наконец, спрятала письмо и обнаружила, что стоит у своего подъезда. Поднялась, открыла дверь и поняла, что в ее пустой квартире кто-то есть. Ухватила первое попавшееся в руку и, не раздеваясь, прошла в гостиную. Так, в пальто и с веником в руке, и вошла туда, где, выделяясь волевым профилем на фоне освещенного с улицы окна, ждала ее высокая и представительная женщина. Проклятый Виктор, без сомнения, привел в ее отсутствие какую-то шлюху. Ну я тя щас! Хотя, впрочем, все-таки, значит, с мужиком живу, а не с полным дерьмом, гляди-ка, ****ей все-таки водит, может чего-то, значит. Женщина у окна повернулась, Софья рывком включила свет. У окна стояла она сама, Софья Романова. И смотрела на нее, Софью Романову, прямым и жестким, обычным своим взором. И выжидала – какое впечатление она сама на себя произведет.

Впечатление получилось неожиданно слабое. Софья, не раздеваясь, присела в кресло, откинула с головы капюшон с начинающим таять снегом, положила веник на колени, провела рукой по волосам, произнесла:

– Я уж испугалась...

Софья-два (точней, понятно, Рампаль) удивилась, но виду не подала. Стараясь повторять движения оригинала, она села в другое кресло и произнесла:

– Странно было бы не испугаться... Муж на работе, он нам мешать не будет...

– Да что муж, барахло муж-то...

– Что же ты меня не спрашиваешь, кто я такая?

– А кто ты такая? А и так видать, – Софья ты, Романова. Я, стало быть. Чего вылупилась? Меня... себя не видела? Сама с собой решила поговорить?

Пообщаться захотелось?

– Постарайся сосредоточиться и не сойти с ума. Я понимаю, потрясение – встретить саму себя.

– Потрясение, на фиг... При таком-то мужике! При такой чертовой жизни, когда дерьмо целый день с утра до ночи возишь! Когда мужика ни одного на тысячу километров вокруг приличного нет, пьянь одна и бабники, ни понимания, ни тонкости! А молодость я на кого убила, думаешь? Думаешь, не ревела, когда Стася моего бросала, подонка? Думаешь, когда отец все что мог братцу моему на блюдечке подносил, а мне хрен что давал, не обидно было, думаешь? Легко, думаешь, в школе сносить было, что жидовкой звали, и братец родной то же самое думал, не говорил, но по глазам-то все видно! Ну, я, в обиду, конечно... – словесный поток неожиданно иссяк, что-то до Софьи, наконец, дошло, и она впервые взглянула на Софью-два с недоверием: – Кстати, а вообще-то ты чего сюда заявила?

– Как так, – деловито ответил Рампаль, – я – Софья Романова, пришла к себе домой.

– Иди заливай, – ответила Софья. – Это я – Софья. Софья Вторая, запомни!

– Добро, – ответил Рампаль в тон, – годится. Ну, а я тогда Софья Третья. Чем я хуже?

– Ну, тебе кто поверит. У меня доказательства. А у тебя что? Шиш с маслом у тебя. А меня кто хочешь признает. Вон, хоть дядя.

– Идет, – ответил Рампаль, – а меня родной сын признает. Он, кстати, скоро из лагеря выйдет. Или ты мне хочешь сказать, что он и тебя припомнит, прослезится, коли ты его в роддоме государству сдала?

– А ты, значит, не сдала, тоже мне целка-невредимка нашлась!

– В общем, неважно все это. Я пришла тебе сообщить, что буду заявлять претензию на русский престол.

– Да кто ты есть такая? Самозванка ты! Я тебя так везде и ославлю. И в Лондоне тоже знать будут! Права-то законные – мои! Кровные! Романова я! Рампаль понял, что так ничего не добьется. И сменил тактику.

– Идет, – отозвался он, – ославишь. Я тогда иначе поступлю. Я всем объявлю, что я, Софья Романова, не Софья никакая и не Романова, а самозванка чистой воды, Сонька Глущенко, жена директора автобазы, пасынок у меня в тюрьме, сын, кстати, тоже.

Софья испуганно заморгала. Что это за чучело огородное сюда явилось? И впрямь ведь все испортит. Надо гнать ее в шею. А Рампаль к тому же невзначай сделал совсем неверный ход.

– Отреклась бы ты, Соня, – доверительно сказал он, – хоть в чью пользу. Была бы у тебя красивая жизнь. Чего хочешь тогда проси. Вот, набросала я тут, послушай, я зачту: “Одушевленная со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, приняла я твердое решение не претендовать на занятие престола всероссийского...”

– Когда это я такое решение приняла? – вскипела Софья, – да я из тебя сейчас не знаю что сделаю! – Софья не успела понять, что же она хочет сделать из конкурентки, вскочила из кресла и с занесенным, словно топор, веником пошла на нее. Та вскочила на кресло с ногами:

– Ты не очень-то! Я ведь и милицию позвать могу, я в своем доме! – с опозданием крикнул Рампаль, когда старенький веник уже обрушился на его с таким трудом уложенную прическу. – Не очень-то! Я в своем доме! Я в своем праве!

– Я тебе покажу, в каком ты праве, – сквозь зубы прошипела настоящая Софья, – Я тебе покажу, как в царицы лезть! Я тебе покажу Софью Третью! Четвертую! Пятую! До смерти не опамятуешься! – доломав веник, Софья не стала вцепляться конкурентке в волосы, а прямо перешла к самбо, которым когда-то занималась в школе, в кружке.

Рампаль не имел инструкций бить Софью. Поэтому прахом шли все его познания в дзюдо, айкидо, каратэ и кун-фу. И, уже лежа на полу, на обеих лопатках, попытался он – даром, что ли, столько времени женщиной был – ответить ей чисто по-женски, и, конечно, вцепился Софье в волосы, но только разъярил ее. Софья верхом сидела на Софье и била ее за милую душу, к тому же в суматохе свалился с секретера бюст Маяковского, который Софья-основная прихватила и норовила хорошенько размахнуться полупудовой этой дубинкой, а попади она достаточно метко по черепу – прости-прощай не только карьера, но и от черепа ничего не останется, пельмень съест нечем будет. Рампаль вырвался, благо силы были все-таки равные, и пустился наутек, в дверях квартиры с кем-то столкнулся, переступил через опрокинутого, исчез в лестничной темноте.

– Вот и ты, гадина, явился! – грозно объявила Софья, с Маяковским наперевес идя на не ко времени рано припершегося супруга.

Сделав в считанные мгновения из супруга именно обещанное не знаю что, привычно отнесла будущая императрица мужа в спальню и швырнула на постель. Все-таки она разрядилась. Ишь, ублюдина, чего захотела, чтобы я от престола отреклась, падла такая, да вообще кто она есть такая! Откуда именно гостья взялась и кто такая на самом деле – этот вопрос возник и сразу же канул: столько уже времени размышляла Софья о своем священном праве на престол и о приемлемых способах свержения советской власти, что казалось ей, будто ее происхождение уж и не тайна ни для кого. Скорей она даже почувствовала после удачной битвы свою значительность.

Нежно разгладила Софья на письменном столе письмо тетки Александры. Да! Конечно же, время не ждет. Конечно, права на престол пора заявлять. Но, и то правда, в Москву надо сначала проехать. В Ленинград тоже, осмотреться, как все лучше сделать. Глупо будет сперва сесть на престол, а только потом уже размышлять, соболина ей мантия как царице для походов в ГУМ там, в “Березку”, в универмаг “Москва” будет полагаться, либо горностаевая, маркая, но, впрочем, пусть ее пажы несут, руки небось не отвалятся. И портрет на десятках, на четвертных чеканить который, профильный, анфасный или в три четверти? Анфас-то у нее все-таки лучше. Войну тоже надо будет небольшую провести, завоевать что-нибудь, Турцию, к примеру, лучше всего, крест поставить на Святую Софию, ведь это ж ее, Софьи, тогда личная церковь будет, по воскресеньям в нее на обедню летать можно! А то, глядишь, турков и вовсе на остров Врангеля всех отселить, не зря к ним Врангель в гражданскую

смотался, а столицу в Константинополь перенести. Или в Софию? Ну, это все еще думать надо, думать, так сразу не решишь. Софья как-то остыла. Заряд лупцевания, доставшийся нынче сразу двоим, сильно подорвал ее нервный накал. Но Виктору можно бы и еще врезать. Софья вздохнула и пошла приводить себя в порядок.

А Рампаль, задержавшись на тесной лестничной клетке, всхлипывая, достал из-за пазухи, с омерзением прикасаясь к своему женскому телу, пыльный и раздавленный пельмень и по-собачьи, глотком сожрал его. Только воздух всколыхнулся вокруг, боль от побоев прошла, но стыд остался. Он снова сел в лужу. Никакого отречения от Софьи Романовой добром теперь не получишь, ясное дело.

Рампаль плелся вдоль улицы Малышева, бывшей Магистрацкой, к себе домой, в руины. Неудачей сегодняшней день закончился закономерно, конечно, следовало заявиться к этой безумной бабе в каком-нибудь жутком виде, двуглавым Сталиным, что ли, когтистым осьминогом, Змеем Горынычем, на худой конец. Человеку с ней, видимо, вообще не сладить. Тут нужен кто-то семижильный, таких Рампаль, много на веку повидавший, не встречал. Разве уж Форбс лично ее приструнил бы. Жди, станет он... Но, в конце концов, ван Леннеп не зря пригрозил, что с Софьей бой предстоит длительный и победа, если только ее можно будет так назвать, – во зараза! – грядет не скоро, не скоро. Что же это нынче ему за поручения дают? На фиг он вообще жрал эти самые медвежьи уши, оказавшиеся, кстати, травой? Иди поспорь с ясновидящим...

Рампаль возвратился домой и вспомнил, что есть у него еще одно дело. Выгреб он из угла каморки, из-под груды мусора, полиэтиленовый пакет немалого размера и к нему деревянный ящик. Пакет надлежало упаковать, надписать адрес и отправить в Москву условленному лицу, его передадут в американское посольство, где и будет ящик храниться до победного конца. Царица Екатерина вручила на сохранение Рампалю то единственное сокровище, которое не могла увезти на Алтай: спаниеля Митьку. Митька выл и вырывался, прощаясь с хозяйкой, попадая в руки оборотня, отчего из пасти падала пена, а вой срывался на тонкий щенячий визг. Но Рампаль быстро вкатил ему снотворного, а вечером в руинах ввел его в долгосрочный анабиоз. Без собаки Екатерина вообще ни на что не соглашалась. Как и Павел – без Кати. Так пусть полежит пес, поспит на Новинском бульваре в Москве. Там хорошо.

Рампаль включил плитку и стал варить пельмени. Все равно сегодня на почту идти было поздно, а Митька не убежит: он в анабиозе. И Рампаль тихо ему завидовал.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 13

Евгений Витковский

XIII

И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: "Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов

старца!" "Почему ты так говоришь?" – спросил Солон. "Все вы юны умом, – ответил тот, – ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от Времени. <...> Взять хотя бы те ваши родословные. Солон, которые ты только что излагал, ведь они почти ничем не отличаются от детских сказок.

Платон, «Тимэй».

– Заинтересованное лицо заинтересовано в получении доступа к максимальному объему интересного материала по интересующему его вопросу.

Бессмысленная эта для простого советского человека фраза звучала в устах креола как приказ или, того хуже, инструкция. Между тем приказать собеседнику он не мог ничего – слишком независимо было у того положение, слишком велик в международном масштабе авторитет. Впрочем, дядя Исаак Матвеев, ветеран из будки на углу Кудринской (пока что Восстания) площади не разговаривал просто так с кем попало, даже ботинки старался чистить с разбором. Будучи представителем одной из древнейших цивилизаций мира, некогда покорившей Месопотамию, Палестину и Кипр и даже, хоть и ненадолго, древний Египет, представителем народа, первым в мире принявшим христианство, народа, на глазах которого все новая история Европы мелькнула как короткометражный кинофильм, он мог себе это позволить. И главное: он был представителем народа, создавшего двадцать восемь веков тому назад первую в мире империю. Понятно, что о более поздних империях старейшины этого народа знали больше всех. А дядя Исаак был безусловно старейшиной, хоть и сидел по шесть дней в неделю у себя в будке.

Дядя Исаак помассировал виски и сдержанно ответил:

– Господин президент Романьос вообще может ни о чем не беспокоиться, если он сам не претендует на вакантное место. У нас нет провидцев, но только слепой не видит, что случится с этим государством, если оно не образумится. Но последние семь столетий оно проявляет редкую способность к выживанию, все должно вернуться на круги. Семь столетий не срок, но для Европы достаточно. Династий, которые могут занять здесь место, немного. Пока что хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать. Даже одного указательного пальца пока хватит. Именно указательного сейчас.

«Хорошо, что указательного пальца, не среднего», подумал креол и мысленно хмыкнул. Он был сравнительно молод, едва ли сильно зашел годами за тридцать. Черты лица его были почти европейскими, но кожа – почти черной, в ней разве что солнце не отражалось – как отражалось бы в начищенном руками дяди Исаака сапоге. Он был уроженцем и патриотом одинокого острова в Вест-Индии, открытого почти пятьсот лет тому назад Великим Адмиралом в воскресный ноябрьский день во время второго плавания к берегам Нового Света, – притом остров оказался первым, найденным в этом плавании. Когда-то остров назывался Вайтикубули. Всего лишь два года тому назад остров стал полностью независимым государством. и теперь назывался Доминика. Не одного лишь этого острова был креол патриотом, только сейчас не о том речь. – Тогда как быть с родословными? – спросил он, – В двадцатом году сам же

прадед заинтересованного лица, окончательно утверждая полусалическое право. дополнил правила требованием о равнородности брака как необходимым условием для наследования престола. Дети, родившиеся в неравнородном браке, теряют право на престол.

– Во-первых. это был сам прадед. Он утвердил, он же мог бы это утверждение и отозвать, если б счел нужным. Но нет. Брак уважаемого прадеда господина президента можно считать равнородным. Дворяне Скоробогатовы официально известны со времен царя Василия Шуйского, последнего Рюриковича на русском престоле, о Романовых как о царях тогда речи не было. Дворяне эти были богаты, это и фамилия подтверждает, – владели тридцатью тысячами душ. К тому же накануне венчания пожаловал государь тестя достоинством князя Свиридовского-Грустинского, что делает брак его в любом случае более равнородным, чем брак самозванного императора Кирилла Романова. Неудобно и вспоминать родословную Марты, урожденной Скавронской, прапрабабушки господина президента, хотя коронованной императрицы, однако в сравнении со Скоробогатовыми...

– Это ясно, – ответил креол, – брак был законный, официальный, церковный, и титул тоже княжеский, да к тому же невеста принадлежала к русскому православному роду, а не к такому, который православие бы принял. Сын от брака был первенцем, крещен в православии. Супруга Алексея Елизавета Свиблова, прямая наследница титула князей Щенятевых по акту передачи титула во времена того же царя Василия, равнородна безусловно. Их сыновья Михаил и Алексей могут считаться прямыми наследниками престола. Однако вот здесь и есть противоречие равнородности...

– Какое? Браки обоих были церковными. Старший сын должен пользоваться приоритетом, при равнородности брака. Тот же акт от тысяча восемьсот двадцатого.

Креол замялся.

– Здесь полных данных у заинтересованного лица нет. Известно лишь имя его супруги, Анна. По легенде, ее отчество едва ли православное – Вильгельмовна. Фамилию мы установить не смогли.

Дядя Исаак посмотрел на него со всей мрачностью ассирийского царя.

– Это давно известно, отчество ее при рождении именно такое, но в православном крещении она – Анна Васильевна Гистрова.

– Фамилия звучит для России странно.

– Не странно. Это искаженное Гюстров, иначе говоря, княгиня Мекленбург-Гюстровская, по женской линии наследница герцогства Мекленбургского. По большому счету Мекленбурги не менее знатны, чем Романовы и могли бы претендовать и на русский престол, и на шведский: род восходит к последнему вождю славянского племени ободритов Никлоту, известному даже ранее основания Москвы. Никлотинги настолько древняя династия, что говорить о равнородности брака тут очень можно.

– Примерно так у нас и получалось... Однако точны ли эти сведения?...

Дядя Исаак креола не удостоил ни ответом, ни взглядом.

– Понимаю. В этой ситуации вопрос о равнородности брака младшего из

братьев, великого князя Никиты, выглядит...

– Именно. Оценить мы тут мало что можем, правда, брак тоже был церковный и законный. Но пока великий князь живет и здравствует, вопрос остается на рассмотрении. Вот и все, что надо сообщить господину президенту.

– Итак, сын Алексея и Анны Михаил также был женат, от этого брака родился известный цесаревич Федор. Что вам известно о его жене, кроме имени Валентина?

– Княгиня Волынская, из Гедиминовичей. Можно узнать точно.

Креол помотал головой, хотя и помыслить не мог, где ж такое можно «узнать».

– Никлот и Гедимин. Не поспоришь. И браки законные и церковные. В итоге на сегодняшний день цесаревич Павел наиболее законный наследник.

– Вот именно – цесаревич. Он даже по поздним законам – князь крови императорской. И это господин президент Романьос сам знает. Младшие в этом положении и есть младшие. Церковным браком цесаревич пока не связан, но он почти ваш ровесник, так что мы можем считать подсчеты исчерпанными, ибо сказано – пусть бы мы не занимались родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере.

Креол оценил цитату из Деяний, хотя православным не был и не вполне был уверен даже в том – какого он сам вероисповедания. Предки его, купленные много столетий тому назад на Старом рынке в Розо, были крещены первыми владельцами. Но семья так до конца христианской и не стала, в доме царили культы предков и духов, вполне уживавшиеся с воскресным посещением католического храма. Но и государственный язык вынужден был уживаться на острове с креольским вариантом французского, а по ряду причин креолу приходилось считать родными еще два-три языка, притом отчасти это были только языки дипломатии и кулинарного искусства.

Дядя Исаак многозначительно выдвинул из-под стола деревянный ящик, сверкавший благородно изъеденной древооточцем резной поверхностью. Достал из него две больших жестяных банки и заранее приготовленный тяжелый пакет. Все это креолу было решительно не нужно, он предпочел бы рассчитаться радужными купюрами или хоть платиной, что ли, но ничего подобного ассириец не взял бы, напротив, навсегда отказал бы от дома даже целым государствам, от имени которых действовал челночный дипломат.

– Тысяча восемьсот.

– Извольте получить.

С трудом подняв банки гуталина и пакет гвоздей, креол попрощался и удалился. Проводив его, дядя Исаак долго смотрел в окно, шевеля губами. на лице его было написано: «Дети вы дети, папу и маму по имени не знаете. Эллины несчастные».

Креол сел в машину с югославским посольским номером и уехал в центр. В Москве он находился более чем временно, неофициально, как обычный ресторатор из крошечного княжества, притулившегося к Балканскому полуострову в северо-западной части Югославии, в Хорватии, на берегу Триестинского залива. Там у него был отличный ресторан «Доминик». Собственно, Доместико Долметчер, креол, посетивший великого ассирийского

сыщика и одновременно генеалога Исаака Матвеева, имел ресторанов с таким названием несколько, но своего имущества не афишировал.

Зря дядя Исаак попрекал Долметчера и всю его цивилизацию недостаточной древностью. Благородные роды почти истребленных вест-индских индейцев переплетались в его генах с древними генами племен овамбо, поклонявшимся в юго-западной Африке великому духе Калунге, да и арабско-иберийская кровь испанских конквистадоров отыскалась бы в его жилах, как и кровь французских искателей приключений шестнадцатого века. Еще неизвестно, чей род оказался бы знатней – Романовых или Долметчеров. Но ни на какой престол ресторатор-дипломат не претендовал, он был доволен положением ресторанным властителем, предлагающего гостям на выбор либо блюда Доминики – рыбы мальки «ти-ти-ти», ассорти из свинины и голубятины – «манику», фаршированные крабовым мясом брюшки черных и красных крабов, – либо что угодно из десятков других возможных меню.

Он и в Москве занимался всем сразу: для него великий дух Калунга и президент латиноамериканского государства Хорхе Романьос были не столько равны, сколько существовали в разных мирах как совершенно абсолютные властители. Если при входе в дом родителей Долметчера гости традиционно обязаны были снять обувь, то не из-за того, что здесь была мечеть, караимская кенасса или жилище буддиста, и не из-за того, что, как в России две трети времени в году на улице то грязь, то снег. Так полагалось поступить из-за традиционного верования овамбо, что если человек в сандалиях войдет в дом, то принесет смерть одному из членов семьи вождя. Трудно сказать, продолжали ли в этом доме так уж почитать законы Калунги, но вреда в соблюдении обычаев предков тут не видели. Уважение к прошлому считалось на Доминике не менее важным делом, чем в Ассирии или России.

Посольство Югославии, формально представлявшей в СССР интересы маленькой Доминики, располагалось в центре Москвы в неоготическом особняке золотопромышленника Ивана Некрасова. Ясный прогноз южноафриканского предсказателя дю Тойта говорил, что к концу века Югославия, если не развалится, то из лоскутной республики превратится в империю, – с императором во главе, надо думать? – и в таком домике помещаться ей будет уже неловко. А вот под ресторанчик посольство подходило очень. Долметчер бывал там не раз. На мысль о покупке дома под ресторан навел его пустяк: в доме до сих пор был цел лифт для доставки кушаний из кухни в полуподвале в столовую, располагающуюся на первом этаже. Пусть даже это будет и не дешево, но такой «Доминик», да еще в переулке с символичным названием «Хлебный» – ради этого стоило повозиться над превращением Советского Союза в надежную, традиционную монархию. Жаль, если столица вернется в Петербург, конечно. Но ведь и в прошлом петербуржцы ездили в Москву ради того, чтобы сходить в трактир Тестова на поросятину, на уху из стерляди, что там еще в России тогда плавало. Увы, «Тестова» уже никто и никогда не купит: на его месте воздвигся уродливый гроб гостиницы Москва. Насчет гостиницы Долметчеру лень было выяснять – когда ее снесут, можно до того и не дожить, а что там ни выстроишь – все будет

новодел. Зачем новодел, если окажется свободным такой милый особнячок, как раз под хороший ресторан на два зала, столов на шестнадцать. Больших «Домиников» не могло быть по определению нигде: стиль другой.

Как было уже сказано, попадал в Москву Долметчер даже не как представитель Доминики или Югославии, он был скромным почетным гражданином незаметного княжества Тристецца, о котором тоже речь шла выше. Ресторан Долметчера в Тристецце был известен в дипломатических кругах, он располагался на крохотном проспекте Марко Поло, который славился ресторанами, из-за розни в кулинарных традициях почти не конкурировавшими. Именно оттуда прибыл креол в Москву и в этот раз, но возвращаться ему предстояло вовсе не туда: посреди сельвы южноамериканского материка в городе Сан-Сальварсане его терпеливо ждал маленький президент очень влиятельной державы, которого сам креол скромно называл «заинтересованное лицо». а старый ассириец не дипломатично, зато правдиво – «президент Хорхе Романьос».

Именно в тристеццианском «Доминике» часто проходили переговоры неофициальных глав почти виртуальных и мало кем признаваемых государств с главами правительств в изгнании государств забытых, в данный момент временно не существующих и особенно пока еще не созданных, лишь могущих быть явленными миру в будущем. Никого не удивляли переговоры, которые вели здесь державы, представляющие себя мировому сообществу вполне законно согласно знаменитому пункту третьему конвенции Монтевидео от 1933 года, – «политическое существование государства не зависит от признания его другими государствами». Кто посмел бы оспорить древность и реальность, скажем, Византийской империи, если двое ее министров (хлеба, к примеру, и зрелищ) заседали сейчас за занавеской над, предположим, «примо» в виде спагетти а-ла тристецца с сыром монтазио и ломтиками сырокопченой ветчины-прошутто, – или каким-нибудь столь же заковыристым «сегундо», непременно возле бутылки светлого «Савудрио» 1974 года? Перед таким «зрелищем» и таким «хлебом» попробуй не признай существование любой империи – прежде всего если это на халяву. А оно точно на халяву, ибо платит за такое президент из Южной Америки, которому нужны государства-союзники, хоть бы юридические. Владелец ресторана задушевно радовался и развлекался всем этим. И готовил закуску в соседний кабинет, куда к шести собирались приехать все три крестных отца семейства Магонов, стоявших во главе правительства, – естественно, в изгнании, – аристократической республики Карфаген.

О подобных государствах ходила шутка, что если в них имеется граждан более одного, то всегда главе державы положено быть готовым к перевороту. Уж кому, как не Долметчеру, было знать, что и это – роковая ошибка, недооценка законов существования таких держав. Даже единственный гражданин, президент республики, мог совершить переворот, провозгласить себя первым консулом, а затем и императором. Могло произойти и обратное, хотя вот этого не бывало почему-то никогда, видимо, вирус империализма был все-таки сильнее республиканского.

Главным же, основательно скрываемым объектом московских интересов

Доместико Долметчера был другой особняк в том же Хлебном переулке – соседний с югославской резиденцией, так называемый особняк архитектора Сергея Соловьева. Двухэтажный особняк в стиле модерн давно был присмотрен в Москве под посольство южноамериканской республики Сальварсан, неофициально даже был внесен залог под приобретение дома, однако установление дипломатических связей между СССР и республикой явно затягивалось в силу неурегулированности отношений между прежними сальварсанскими режимами и Москвой; режимы частью занимали открыто просоветскую позицию, либо же открыто антисоветскую – и в Кремле все никак не могли решить, чьим же правопреемником является нынешний президент республики, коль скоро сам не придерживается ни одной из этих традиционных политических ориентаций.

На Москву ложились снежинки, Долметчер вел машину с предельной осторожностью, и краем глаза видел такое, чего боялся и чему основательно радовался: воздух менялся, сквозь одну реальность просвечивала другая, все более уплотняясь. Лос-Анджелес серьезно размышлял – не отказаться ли ему от будущей Олимпиады в пользу кого-нибудь, у кого денег орланы белоголовые не клюют, президент Северо-Американских Соединенных Штатов с серьезным видом собирался выиграть выборы через пару дней, хотя едва ли на самом деле мог их выиграть; Бранко Микулич, похоронивши весной маршала Тито, уже подыскивал – и все никак не мог найти приличного представителя династии Карагеоргиевичей на предмет возвращения Югославии к статусу королевства. а лучше империи, однако принцу Петру еще и года не исполнилось, да к тому же он одновременно мог претендовать и на византийский и на английский и на русский престол, и предполагать, что он выберет, не стоит, раз уж спросить нельзя мальчика, говорить не умеет. Будущее России пока скрывалось в тумане, зато особняк Ивана Некрасова все более и более преображался в ресторан Доминик... Короче, реальность распалась надвое.

В мире происходила, воцарялась страшная и непонятная никому, кроме писателя Гарри Тертлдава, беда, неумолимая бифуркация. История разделилась на два русла, и один ее поток, мутный и скучный, пустился в путь по глупым долинам между скучными взгорьями лишенной всяких перспектив старицей, другой же поток пробил новое русло и помчал мощным валом по направлениям исторической неизбежности, туда, где Каспийское море – совсем не тростниковое болото, а широкий выход в Индийский океан, осетры еще не на грани вымирания, в Тасмании еще не истреблены последние тридцать три сумчатых волка, в Беловежской пуще, пусть и по слухам, бродит пять-шесть туров, на Реюньоне остались два десятка гнезд земляных гусей и уток, на Маврикии аж сотня дронтов, в уральской реке Рифей отлично живут стеллеровы коровы, по зоопаркам можно отыскать эпиорнисов и моа, а от птицы такахе в Новой Зеландии вовсе спасу нет.

Россия в этой реальности была удивительной страной: не то, чтоб сильно другой, чем ранее, но как-то ярче и убедительней, будто вместо плохого бинокля или старой подзорной трубы с потертыми стеклами мы взглянули на нее сквозь гавайский телескоп с десятиметровым зеркалом. По тонкой тропке от

городка Кимры, славного некогда – и в будущем тоже славного – обувными промыслами, шли на восток Камаринской дорогой переходящие кимряки, груженные мешками муки для куличей, что станут печь будущей весной на Пасху в тайном для непосвященных уральском городе, а из города того в сторону Кимр возвращались другие кимряки, богозаводцы и прочие добрые люди, груженные непонятными в той жизни, что потекла между скучными взгорьями по речной старице, предметами, обычно круглыми, похожими на богородскую игрушку, только без мужика и медведя, но тоже с большими молотками. Великий колумбийский писатель не откладывался получением Нобелевской премии до будущего года, да и вообще эта премия не столь деградировала. как в реальности старицы, даже как-то умудрялась все-таки иметь хоть немного отношения к литературе, даже стеснялась некоторых позорных фактов в общем со второй реальностью прошлым; перестрелка на Хайберском перевале в Афганистане на полгода вовсе стала невозможной, потому как перевал обвалился, задавив обе стреляющих группы; семья наследников византийского престола Ласкарисов отнюдь не вымерла в Париже накануне Коммуны, потомки великого актера Антонио Флавио Гриффо Фокас Непомучено Дукас Комнено Порфириогенито Гальярди де Куртиз Византийского, более известного как Тото, уже играли комедийные роли в фильмах великого итальянского режиссера Джан Луиджи Полидоро, потомки карфагенского властелина Магона Баркида прекрасно чувствовали себя на Сицилии и в Малой Италии в Нью-Йорке в тех наиболее комфортных условиях, в которых наиболее угодно процветать карфагенским и эсторским донам; бактрийский престол, что в городе Балх близ Амударьи, прозябал в первой реальности под афганским гнетом, но во второй глава бактрийского правительства в изгнании Менандр XXXV воспитывал наследника Деметрия на яхте «Балх», спокойствия ради никогда не сходя на берег и лишь изредка посещая очередные плавсредства великого путешественника Хура Сигурдссона, когда те путешествовали из Гренландии в Индонезию с целью доказать возможность заселения то ли Явы эскимосами, то ли яванцами Эскимосии. Отто фон Габсбург тут не отрекся от прав на австро-венгерский престол и поэтому в Вену его не пускали, и поэтому он доселе ютился в одном из родовых баварских замков; его родственник Аугустин VI фон Габсбург, единственный законный император Мексиканской империи проводил время со своим ровесником Карлом-Людвигом, сыном помянутого Отто, преимущественно играя в лакросс за собранные ими группы претендентов на самые разные престолы, от Иерусалимского до Стидно-Сказать-Какого, – имелся среди них и такой игрок, причем неприятно умелый, из молодых да ранний.

Однако мысли ресторатора-дипломата были далеко. Он искал место для парковки, но не мог отогнать видения почти на экваторе расположенного тропического города, где в зеркальном кабинете своего дворца уже сидел за зеркальным письменным столом недавно позавтракавший президент и наверняка дожидался отчета: кого все-таки надо рассматривать как наследника российского престола, а также помимо такового наследника выяснить – кто второй от престола, кто двадцать второй и кто двести двадцать второй.

Президент понимал, что где-то в этом ряду окажется и он сам, и чуть не все население России и Европы, и кто угодно, кроме, пожалуй, австралийских аборигенов, слишком уж давно отселившиеся от Евразии. При этом президент рад бы увидеть на этом престоле какого угодно наследника, а хоть бы даже помянутого незаконного аборигена, лишь бы его самого туда не звали, он хорошо чувствовал себя и в Южной Америке, где, как всенародно избранный пожизненный претендент, никаких наследников не имел и, как следствие, на свое президентское кресло никаких претендентов мог не выдумывать.

Мало ли кого можно назвать наследником. Если, как в одной великой книге, взять да и написать на боку у коровы: «Это корова, ее нужно доить каждое утро, чтобы получить молоко, а молоко надо кипятить, чтобы смешать с кофе и получить кофе с молоком», то корова предстанет впрямь коровой, а кофе с молоком транссубстанцируется именно в кофе с молоком. А вот если на лбу русского Вовочки или испанского Хаймито написать «царь Вовочка» или «царь Хаймито», то аналогичная транссубстантивация может показаться убедительной не всем: для нее основания нужны.

Не только один тропический президент категорически не желал занимать этот престол, были и другие, кто не желал даже больше. Некто и впрямь не такой уж далекий от престола предпочитал Кремлю любимые брянские леса, верховья древнерусской реки Болвы, лежавшие севернее великой прямоезжей дороги из Киева на Владимир. Да и жители приуральской страны-губернии, прижавшейся с европейской стороны к Хребту, занятой важнейшими для Руси кустарными промыслами, все до единого пришли бы в ужас, предложи мы им занять российский престол.

Но мы им ничего не предложим, не будем искушать простодушных.

Никому на свете не важно, волчоночка родила зайчиха или зайчоночка волчиха, если произошло это при свидетелях, а правонаследие по женской линии не запрещено. Плохо представимо другое: чтобы на всенародных выборах зайчоночек победил волчоночка, и даже наоборот. А вот если по закону, да еще по древнему – тогда какие ж сомнения быть могут. Тут уж какой угодно сучоночек.

Долметчер остановился у здания двухэтажной гостиницы, где московские власти селили заезжих дипломатов пятого сорта, справедливо полагая, что лучше их в свободное плавание по «Метрополям» не пускать, там крупная рыба, за ней и присмотра больше, а эти из Габонов-Белизов пусть обходятся присмотром коридорного дежурного. Улица здесь была тихая, не очень престижная – но это со всех сторон устраивало и ресторатора.

Только старые москвичи, – те, что москвичи в пятом-шестом поколении, – помнили, отчего узкая и длинная Петрокирилловская улица издавна носила такое имя. Втиснутая между Пречистенкой и Остоженкой, тянулась она от Бульварного кольца до Садового, и разъехаться на ней могли бы разве что две малолитражки (и то бока друг другу, поди, покарябали бы). В давние времена стоял на Петрокирилловской; на углу Садового кольца, прославленный трактир Строгова, где некогда подвизался знаменитый половой из Углича Петр Кириллович, искусно облапошивавший буквально всех посетителей,

специально ходивших смотреть на его ловкость рук. Теперь в этом здании находился закрытый распределитель неизвестно чего дефицитного. Следом за ним как раз и была втиснута безымянная дипломатическая гостиница, куда приехал от дяди Исаака посол-ресторатор, и где собирался провести ночь, чтобы утром отбыть в Шереметьево.

Между тем дежурный на ресепшене кивнул Долметчеру: в затененной части холла под огромной монстерой в кадке сидел и наверняка дожидался ресторатора ветхий старик с клюкой, аккуратно, но исключительно старомодно одетый.

– Чем могу...

Старик лишь блеснул глазами. Самый пристальный взгляд не различил бы – кивнул он или нет. Потом тихо-тихо произнес:

– О карачунском посте клады во мерзлоте.

Руки старика были обтянуты раздутыми перчатками из оленьей замши. Пальто с пелериной он тоже не снял. Что делать дальше – ресторатор понятия не имел. Тем более не знал, что такое карачунский пост, какие такое клады и при чем тут он лично.

– Это пост православный по-нашему, по-русски, темнота, – назидательно сказал старик, без стеснения уставясь в черное лицо гостя столицы, – пост до Рождества, Филиппов, если по-новому. Все до него сделать надо.

– Может быть, ко мне в номер пройдем?

Старик сделал одолжение и прошествовал. Не прошел, именно – прошествовал.

Не раздеваясь, не снимая перчаток, перекрестился на пустой правый угол двоперстием, опустил в кресло.

– Чем обязан?

– Обязан. Ты, темнота, слушай. – Много молился я, Доська, об утешении великой нужды твоей и великого друга твоего, – медленно проговорил старец, – и вот что. Послезавтра новолуние, так что начинай свое дело: преуспеешь. На цесаревича советую звать синекожину. Можно бы и порфирию, да больно страшен выйдет: не испугать бы семью, отречется еще от упыря. Порфирию оставь его сестре старшей, она лишняя. Другим уж сам смотри, кому что. Килу присади, скажем, князю Игорю. Тетке Александре самый раз падучая будет. Трясучка хорошо князю Егорью пойдет, синга – Димитрию. Сам, короче, выберешь, кому чем богатым быть. – гость долго молчал, собираясь с мыслями.

– Ну, как обычно. Послезавтра однако суббота, дело такое творить нельзя. Стало-ть десятого. Оно и хорошо, Параскева Пятница да Стефан Савваит тебе не помеха, только смеяться нельзя нисколько. Запасешь парсуну на каждого. Иголкой черной проткнешь каждую, болезнь ему нашепчешь. Дале говори тихо, с сердцем говори: встаю не благословясь, твержу не перекрестясь. «Доски сосновые, ложе твердое. Вот что ждет тебя раб божий да земной, имярек несчастный. Коли придешь на поклон ко мне да на колени станешь, тогда легче будет, а до тех пор себя изведешь!» Потом коли каждого черной иглой, выдь на раздорожье, там на полунощник положи по копейке на годы полные каждого, кого извести решил. Ступай домой, молитву отцу земному сотвори.

На столько-то разбирался в подобной ахинее Долметчер, чтобы, вспомнив

родительскую веру в духа Калунгу понять: ему диктуют порядок наведения порчи, притом предлагают навести порчу на царскую семью. «Доська», похоже, означало хамское уменьшительное от имени Доместико. Цесаревич нынче, если верить дяде Исааку, имелся только один. Названия болезней креол не разобрал, но можно быть уверенным – ничего хорошего для императорского дома тут не планировалось.

– Простите... С кем имею честь?...

– Сам думай, честь или беда. Все одно судьба я твоя, да и не только твоя, – старец грозно зыркнул исподлобья, – ты смотри: а ну как лекари кровь бросать начнут хворым? Так ведь и дела не сделаешь, помрут они все прежде срока, либо вовсе здоровы станут, а не ведаю, что хуже.

– Так с кем имею?..

– Ладно, давай без чинов. Тебе я отец Маркел, больше не спрашивай. Не твое дело спрашивать, твое дело делать, что говорю, небось тоже жить хочешь и отцу небесному служить, и отцу земному.

Повисло молчание, гость явно больше ничего не собирался говорить, а что отвечать – довольно-таки бывалый креол не знал. В ресторациях он всякого навидался, перечислять неловко, но чтоб ему приказывали чуть ли не черную мессу служить, да еще прямо идти против собственных принципов, да еще и подчиняться ни за что ни про что неизвестно кому? Но какая-то мощь от старика исходила, просто звать дежурного или кого похуже ресторатор остерегся.

– Так что все-таки...

– И чего? Спрошено: «если козёл убежит, как мне догнать его? Отвечено: «Ты сделай то, что тебе приказано, а козёл уже сам подойдет к тебе и последует за тобою». Вот и вся мудрость. Мудрость эта небесного отца, а у отца земного проще все – кто ж, как не он, того козла посылает великою милостию своей? Вот и веди козла, куда козлу иди на роду написано, так тебе говорю. Не то большая беда тебе, и другу твоему и повелителю. Про синекожину, да порфирию, да килу да прочее твердо все запомнил?..

У креола желание позвать коридорного стало подходить к точке кипения. Но старик больше говорить ничего не собирался. Встал, перекрестился как-то странно, чуть ли не фигой, на другой угол, тоже пустой, и удалился в коридор. Долметчер втянул носом воздух: ему почудился запах серы.

А может – и не почудился.

Старик исчез, даже дверь не хлопнула, креол почувствовал – если спросит он на ресепшене – кто тут был, так дежурный только глаза выкатил и скажет – «никого».

Лучше пока не искушать судьбу. Неприятности умеют находить человека сами по себе, и не надо спешить им навстречу.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 14

Евгений Витковский

Одна из наиболее значительных причин, почему Россия стала величайшей державой мира – баня с паром и веником.

Павел Куреннов. Русский народный лечебник

Сношарь стоял у вделанной в частокол калитки и глядел на реку. С самого утра в холодной, но не замерзшей все-таки Смородине копошились мальчишки, лова раков на вечер, на закуску праздничную под пиво, которое в огромном котле за селом, возле Верблюд-горы, совсем рядом со сношаревым домом, однако за подлеском, так что отсюда не видать, было уже сварено, известная Настасья со вчерашнего дня таковое неусыпно от местных пьянчуг сторожила: миром варили, миром и пить. Хотя ссыпчины по традиции в этот праздник всегда бывали бабы, мужиков на них тоже допускали – однако ж не ранее своего часу. Праздник как праздник, Кузьминки – осени поминки, курячьи именинки, холодно уж вовсе, но мальчишки бесстрашно лезли в ледяную воду и время от времени тащили со дна крупных черных раков, совсем почти снулых по осеннему времени. Молодцы, думал сношарь, не бояться морозцу, крепко мое семя. Все эти мальчишки и впрямь были его семени, дети родные в большинстве и внуки, за небольшим исключением тех, которые правнуки. С удовлетворением отметил сношарь и то, что у берега ребятишки шастают-шастают, а правила знают, в Угрюм-лужу ни один не лезет, даже близко к ней не идет. Угрюм-лужей назывался изрядный затон, отгороженный от собственно Смородины глинистой косой, прямо перед домом сношаря, и использовал его сношарь для потаенных целей, – прямо скажем, сливал в нее жидкость некую, о которой речь ниже, – отчего водилась в луже сказочная рыба – золотоперый подлещик; слух шел, что рыба эта говорящая, а сношарь числил ее под своей охраной и ловить никому не позволял. Были в затоне, конечно, и раки. Однажды, сказывают, еще в то лето, когда бабка Ефросинья кипятком ошпарилась, да так, что всем селом на нее мочились, вылез из затона рак, не соврать вам, ну, с гуся, вылез и полез на Верблюд-гору. Высоко не долез, покрутил усищами, свистнул и опять в затон улез. А был, не соврать вам, с гуся хорошего.

Дом сношарю поставили миром, скоро после войны, когда уж и вовсе на всю деревню, бедную тогда, других мужиков не имелось, по крайней мере таких, какие бабами бы в расчет принимались. И хоть срубили дом не настоящие плотники, а одни только бабы заинтересованные, но избу поставили крепкую: горница шесть метров на семь, сени большие, двор да клеть, в которой, правда, никакого скота сношарь отродясь не держал, не требовалось ему. Баньку с амбаром срубили тоже. Подновляли это все потом уже не бабы, а новонародившиеся мужики, которым мамыши по секрету сообщали, что не Степановичи-Юрьевичи-батьковичи они на самом-то деле, а все как один Лукичи. Не так давно и веранду к дому пристроили, чтобы мог Пантелеич чай распивать, созерцаючи Смородину, то самое место, где когда-то мост калиновый стоял, заливные засмородинские луга и синюю полосу бескрайнего

леса дальше, до самого горизонта, до тех краев, где Брянщина становится чуть ли не Киевщиной. Однако же дневного света сношарь не любил, на веранде разве два-три раза за все лето чай кушал, да и то поздно вечером, если уж очень упаривался за трудовой день, в четыре-пять часов начинавшийся. До такой степени свет дневной ему докучал, что даже в избе попросил он, когда избу-то ладили, окна срубить вдвое меньше против обычного, к тому же высоко, где-то под самой крышей, прежде соломенной, а теперь давно уже крытой хорошим кровельным железом. Так и стояла его изба не с окнами – с какими-то слуховыми окошками. Свету сношарю при его-то ремесле требовалось немного.

От избы сношаря до водокачки, иначе говоря, до бывшей церкви Параскевы Пятницы, по прямой, ежели оврагом, было метров восемьсот и, хотя дорога эта была страсть какая колдобистая, виднелась на дне оврага узкая тропиночка, не зарастала никогда. Ежели идти хорошей тропкой, замечательно утоптанной и зимой и летом, то вдвое дальше. Можно было к сношарю дойти и берегом, но тогда из-за того, что вокруг Верблюд-горы идти приходилось и другие буераки огибать, получалось и вовсе километра два с половиной, тропка там была чуть видная, совсем неудобная это была дорога, ею бабы разве что по первости ходили, чтобы подольше идти, боязно все-таки. Боялись же зря: ласков был сношарь с бабами беспредельно, хотя, казалось, и не отличал одну от другой, с безразличием глядя старыми, но все еще ярко-голубыми глазами на очередную Настасью: на имена память у него была плохая, а скорей всего не хотел он мозги лишними вещами загружать. А уж коль баба очень ему по нраву придется, да ткнет он ее в пупок толстым мизинцем да прибормотнет: “Ух ты, пупыня какая!” – тут и вовсе баба млеет и бегать к нему начинает исключительно через овраг, чтоб скорей.

Собственно, были у сношаря и имя, и фамилия, и год рождения, и приусадебное хозяйство с каким-то количеством приусадебных же соток, и пенсия от государства, отчего-то по инвалидности, – от какой-такой хвори инвалидность он эту поимел, оставалось загадкой; цыганский дурачок Соколя, которого, как поговаривали, сношарь сглазил, бекая и мекая, что-то пытался объяснить, мол, на гражданском фронте оторвали беляки сношарю кусок чего-то там, но это никому не заметно было. Кроме избы и приусадебных соток, имел он еще курицу, любимейшую Настасью Кокотовну, жившую в горнице и сроду яиц не клавшую. Со двора сношарь в последние пятьдесят лет почти не ходил, любил работу свою; что женат почти никогда не бывал, то всем понятно, а вот что почти, а не вовсе, то секрет большой и непонятный, – бабам, впрочем, все равно было, что почти, что не почти, а больше никто не интересовался.

Появился он в селе так давно, до коллективизации еще, до того, как попа кулачили, непротивленца, что никто уж деревню без сношаря и не помнил, древностью он равнялся чуть ли не сгоревшему в последнюю войну Калиновому мосту, над которым, говорят, тот самый Соловей-то разбойник и сидел, не иначе как сверстники они со сношарем были, а то и сродственники. Одна только бабка Феврония Кузьминична, в просторечии Хивря, может быть, могла повспоминать молодые годы, когда сношарь еще только-только в силу входил, но у нее допытываться было бесполезно: баба она была еще крепкая и

об Луке Пантелеевиче имела воспоминания за всю свою долгую жизнь самые отменные.

Была у сношаря, можно сказать, и гражданская профессия, трудовых подвигов за ним числилось видимо-невидимо, но документов к этим подвигам никто из заинтересованных лиц не оформлял, – сам сношарь, то есть, и вся его бесконечная бабья клиентура, – последняя считала, что лучше всего хранить одни воспоминания. Лишь когда кормильцы семей в Нижнеблагодатском, да и во многих соседних селах, подходя к рубежу тридцати пяти – сорока лет обнаруживали, что темя их голо, да и на лбу фланги редеют, тут-то, поглаживая свежую лысину, и задумывался каждый – а не есть ли она самый веский и неоспоримый документ плодотворной и неутомимой деятельности Луки Пантелеевича, сношаря нашего, след, можно сказать, тех тяжелых времен, когда сношарь на своем, то есть на своих, извините, плечах, поднял деревню из военных руин, восстановил, можно сказать, повыбитое войной население края, – о документе каковом лучше, конечно, помалкивать, – не его ли могучей силе, полученной по наследству, обязаны они полным двором ребятишек собственного производства? Впрочем, кто его знает, а не сам ли Пантелеич себе и внуков мастерил? Одни бабы о том знают, а у них не спросишь. Иные мужики, конечно, роптали втихаря, но как его, хрена старого, тронешь, если он тебе, скажем, отец родной? А то и детям твоим отец родной? А ежели очень покопаться, то ведь даже такое можно выяснить, что он, Господи прости, и бате твоему тоже отец родной! Да и не убывало от баб деревенских от того, что к сношарю все они ходили по записи предварительной, со сложными расчетами, ведущимися на куриные яйца. Скорей даже наоборот – посетив сношаря, бабы особенно бывали склонны идти навстречу интересам мужей, видя в них продолжателей, что ли, благородного сношарева дела.

А брал сношарь с баб натурой, денег не признавал вовсе, не видел в них пользы. За час трудов брал он с клиентки пять дюжин яиц. В куриное яйцо ценил сношарь минуту своих трудов. В девять копеек, если по госцене. Бывали наценки разные, диетические, за утреннее время, скажем, за погоду нехорошую, особо же за встречу сверх обычного восьмичасового рабочего дня. Один день в неделю, считалось, баня у него. Баб в этот день, в воскресенье то есть, сношарь к себе не допускал, разве уж совсем неотложное у кого хотение, плати тогда за минуту два яйца. Но не любил сношарь ни в чем горячку пороть, напротив, чрезвычайно любил порядок, как немец какой. На что ему, хрычу старому, две с половиной, считай, тысячи яиц в неделю требовались, ежели не продавал он их никогда – о том, конечно, только самые доверенные бабы в селе знали, к особенному делу сношарем приставленные: рано-рано по воскресеньям приходили они, садились у сношаря в баньке и, не торопясь, отирая белок о холщовый фартук, наполняли желтками большую десятиведерную лохань. В ней сношарь ванну желтковую принимал, по два часа сидел, а потом парился. Желтки же после той бани выливались в Угрюм-лужу. Говорили бабы, что вся сношарева замечательная мужская сила – с тех желтков. Но другие мужики не пробовали. Больно дорого.

Не работал сношарь и по советским праздникам – седьмое там, первое,

восьмое. В эти дни он наглухо запирался (“Замумрился!” – горестно говорили бабы), и достучаться к нему не было никакой возможности. Хоть пять яиц ему за минуту предлагай – не отворит. Хоть все яйца, какие на птицеферме есть. Впрочем, сколько бы яиц у сношаря на его банно-оздоровительные дела ни ушло, в колхозе их оттого не убавилось бы. Уж чего-чего, а яиц в богатом птицеводческом хозяйстве, даром, что в глушице такой, было предостаточно. Даже когда в пятьдесят девятом году название колхоза менять велели, – к тому же “Сталинских путей” в Старогрешенском районе оказалось и без того еще четыре, – стал колхоз именоваться Красная Кура. Продавал колхоз эти самые яйца государству миллионами, чего уж тут мелочиться, – да к тому же яйца сношарю шли не с фермы, а с частных хозяйств. Так, по крайней мере, считалось. Главное же было то, что весьма незаметно уменьшая число яиц в колхозе, увеличивал сношарь тем временем весьма заметно число колхозников. Если кто под совершеннолетие и драпанет в техникум какой, на его место сношарь мигом двоих сработает.

Никто сношаря не трогал. То есть, конечно же, тронуть пытались, но уже очень давно, лет тому пятьдесят назад или сорок. Караулили по подозрению, ловили с поличным, писали доносы, привозили управу на лысую его головушку. Может, конечно, и поставили по темному делу фонарь-другой под очи его бесстыжие, но что именно теми фонарями высветилось – один только сношарь и видел. Милиция деревенская, человек тихий и пришлый, старшина Леонид Иванович, являлся к сношарю раз в год и никогда обиженным не уходил, как и другие редкие гости мужского пола, на которых вообще-то у сношаря глаз был дурной, но уж коли заходил такой гость, то поил его сношарь личной своей, фирменной черешневой наливкой, потому что росло у него во дворе пять корней старой черешни, других плодовых деревьев не было, и еще сверх того носили ему черешню со старых деревьев, не до конца еще одичавших в бывшем парке графа Свиблова, что между больницей и ветпунктом. Даже и на дорогу наливал сношарь гостю четвертинку. Действовала черешневая на мужские организмы однозначно, вызывала интерес к женскому полу то есть, а женский пол, естественно, после того интереса искал утешения опять же у сношаря.

Праздники же древние, народные, сношарь чрезвычайно уважал, хотя и участвовал в них только сторонкой. Сегодняшний, последний праздник осеннего времени, именины курячи, Козьмы да Демьяна, был как бы вовсе уж свой, домашний: нынче девкам натошак сладкого солода испить положено, крутым яйцом заесть, младшим сыновьям везде по куриному сердцу съесть, да и вовсе – будет село всю неделю есть курятину. Вечером за селом все пьют миром сваренное пиво, заедая миром собранной яичницей. Пиво, впрочем, не пиво, а полпиво скорей, светлое; сношарь же любил темное, черное, сладкое даже, и варил себе такое сам, когда редкий свободный денек выдавался.

Сношарь все стоял у калитки, медленно поковыривал в носу и в избу не шел. Словно ждал кого-то. Вряд ли очередную Настасью: не время им еще, они нынче даже не в четыре, как обычно, а вовсе вечером, после братчины-ссыпчины потянутся, зайдут во двор почтительно, пива ведерко принесут, курник большой, потом наскворчат яичницу на всех; потом, опять же, в сени

выйдут, чтобы по одной к нему в горницу заходить, без обиды чтобы, какая за сколько заплатила. Ну, к утру, глядишь, и ему уже спать можно будет. Выйдет он на веранду, отопьет из чашки пивца, съест рака отборного, на звезды глянет: по всему, зима скоро. И раки в этом году последние уже, снулые. Доковырявши обе ноздри, кинул сношарь взгляд в засморозинские дали и уж совсем собрался было в избу, дедовский пасьянс “Могилы Наполеона” раскладывать, как увидел, что от глинистого берега, по девичьей тропке, поднимаются к нему двое мужиков городского вида. Ничего хорошего от таких гостей сношарь не ждал. Но и не боялся тоже никого, ясное дело. А вот прямо за спинами мужиков, совсем независимо от них, двигалась в том же направлении еще одна фигура, женская, небольшая, закутанная в платок. Дело было в том, что из тысячи баб одна вдруг внезапно, без всякого на то повода, вызывала у сношаря отвращение. Об этом немедленно прознавали в деревне, жизнь такой бабы была считай что кончена, иначе как грязнухой никто ее больше не звал, даже мужики; выход для такой бабы был один – все-таки переубедить сношаря, все-таки добиться его расположения. Случалось это, впрочем, за последние полвека со сношарем не чаще, чем раз в десять лет. И вот эта-то Настасья, полгода как зачисленная сельской молвой в грязнухи, поспешала сейчас к дому сношаря, собираясь опять валяться в ногах и подкупать его неизвестно чем, да еще, мать твою, на глазах у городских. Баба шустро обогнала мужиков шагов на пятьдесят, подбежала к частоколу, ухватилась за калитку, как бы на ней повиснув, и огромными, по-настоящему прекрасными глазами уставившись на сношаря, протянула ему узелок.

– Нет, Настасья, – решительно и тихо сказал сношарь, – не могу я. Силы моей на тебя нету. Моченьки.

– Не губи, батюшка, – взмолилась Настасья, глядя на него с мольбой и любовью, – нет мне житья, в омут нешто прикажешь?..

Сношарь почесал в затылке, не хотел он смерти ни этой бабы, ни вообще никакой, только этого не хватало. Но мудрость не покидала его никогда, даром что было ему семьдесят восемь лет, хотя, чтобы не пугать клиентуру, десять лет он себе убавлял.

– Может, гусиных, батюшка, принесть? – с надеждой спросила Настасья.

– Нет, Настасья. С души меня воротит от тебя, сама знаешь! Ну никак не могу! Словом, коль хочешь, давай тогда уж не гусиных, а, – сношарь поглядел на вовсе уж близко подошедших городских, и быстро закончил: – а давай тогда стравусиных! Может, смогу!

– Стра... вусиных? – со страхом отозвалась Настасья. – Да где ж их, батюшка, взять?

– Где есть они, – резонно ответил сношарь, – там, Настасья, и возьми! Точно тогда смогу! Ты не горюй, я бабам скажу, мол, наценку дал тебе большую, мол, согласился! Уймутся, небось...

Настасья залилась счастливыми слезами, ткнулась носом в лапищу сношаря, все еще обнимавшую колышек калитки, прибрала узелок и бегом пустилась в село – не прибрежной девичьей тропкой стыдливой, а напрямки, через овраг. Сношарь же обратил взор свой из-под седых бровей к непрошеным гостям.

Один повыше, другой пониже. Тот, что повыше, точно был не из его детей: лысины никакой, при том, что ему не меньше сорока, видать; нос прямой: вообще, красавчик эдакий с проседью, из тех, что на бабе и сигаретку закурить зазорным не считают. Тот же, что пониже, был как-то роднее, хотя и насчет него сношарь мог бы сказать почти с полной уверенностью, что не его это семени поросль. Поглядел сношарь на гостей вопросительно, не зная, спросить ли, чего им надо, либо же гости это случайные, дороги не знают, тогда пусть первые начинают. Высокий первым и заговорил.

– Добрый день, Никита Алексеевич, – сказал он, – с вашего позволения, разрешите просить вас о гостеприимстве.

Сношарь стиснул колышек калитки. Испортили, гады, праздник. И тут же взял себя в руки: сколько лет уж не тревожили, да и в прежние годы тоже всегда вели себя прилично. Но как не вовремя, нет, чтобы завтра!.. Сношарь открыл калитку и пропустил гостей во двор.

Путь, который привел Павла и Джеймса в это глухое, людьми, но не Богом забытое село, был долог и извилист. С удобного московского поезда где-то на полдороге пришлось слезать: непонятно как, но учуял Джеймс что-то неладное и повез Павла, куда полагалось, не через Москву, а мелкими кружными маршрутами, через Горький, Рязань, Тулу, Калугу – и только уже оттуда в Брянск, где счел, что след запутан достаточно. По пути пили много и душевно, не водку, от нее Павел даже и отвыкать стал, а коньяк, правда, иной раз такой железисто-забористый, что лучше бы уж денатурату. Много раз вламывался в беседу, в бесконечно дополняемую повесть о старце Федоре Кузьмиче, обоими спутниками друг другу рассказываемую, и Джексон – благо повод для его любимого вопроса был всегда налицо.

Там же, в Брянске, открыл Джеймс Павлу и цель их путешествия. Немало потрясен был наследник престола – не сообщением о том, что брат деда, Никита Алексеевич, жив по сей день, и даже не тем, что именно у него предстоит ему и Роману Денисовичу жить все то время, которое понадобится специалистам на подготовку к его, Павла, воцарению, – а самой личностью Никиты Романова, исполинской фигурой “отца народа” – не в переносном смысле, а в прямом. То, что сношарь уже двадцать лет отклоняет предложения института Форбса возвести его на российский престол, Джеймс тоже открыл Павлу, но очень туманно. Сообщил только, что по заключенному с Никитой Романовым соглашению последний обязался предоставить в нужный момент совершенно надежное и верное убежище, хотя и не более чем для трех человек, а за это ему гарантировано полное спокойствие и отсутствие перемен в образе жизни до конца дней его. Об этом пришлось сообщить особо: после занятия престола Павел обязан был всемерно ублажать сношаря, вероятно, даже оставить колхоз “Красная кура” нерасколхозненным, пусть даже последним таковым, в своей новой, возрожденной России. Ибо за это сношарь обещал отречься от прав на престол: как только скажут, в чью пользу отречься, так и отречется. Подобных условий, предупредил Джеймс, Павлу придется принять еще немало, от каждого из наличных претендентов, – видимо, более всего от неприятного американцам Ярослава, которого пока что Павел представлял себе более чем смутно, – и все в

качестве компенсации за отречение каждого в его, Павла, пользу. Павлу эти дела казались чем-то из далекого и малореального будущего, подобные разговоры Джеймса он почти пропускал мимо ушей.

Из Брянска автобусом доехали до Алешни, бывшего Алешинского Хутора. оттуда тем же способом до нужного районного центра, до городка Старая Грешня, древнейшего города на Брянщине, известного еще по норманнским хроникам восьмого века. Впрочем, война сильно искромсала этот древний город, смотреть в нем оказалось не на что, разве только пустой пьедестал перед автовокзалом вызвал у Павла некоторое удивление. Но хорошо подготовленный Джеймс разъяснил, что именно этот самый пустой пьедестал и есть в Старой Грешне самая значительная достопримечательность. Дело в том, что когда в восемнадцатом году установили в Старой Грешне советскую власть, то местное руководство под предводительством известного большевика Бушлатова (Глузберга) первым делом свалило с пьедестала единственный в городе памятник буржую, поставленный на средства другого буржуя, местного миллионера Силы Димитриевича Свиблова, – как на грех, оказался это памятник Пушкину. Но стоял пьедестал, ничего себе бульжничек, на нем Глузберг с ревкомом постановили открыть памятник жертвам мировой революции в форме гильотины, с именами всех революционных жертв, начертанными на топоре. Денег на памятник, ясное дело, не нашлось, а потом Глузберга как троцкиста с томским уклоном и вовсе в расход пустили, потом война стряслась, потом освобождение, а в сорок седьмом году уж и совсем нечто неожиданное, не до жертв революции тут стало: открыл врач Цыбаков у себя, в селе Верхнеблагодатском, которое, на беду райкома, входило в Старогрешенский район в виде колхоза имени Эмпириокритицизма, воды целебные, оказывающие на мужской организм необычайно сильное специально омолаживающее действие. Понятное дело, в два месяца отгрохали возле села санаторий за высоким бетонным забором, а в августе уже встречали первую смену оздоравливаемых: большое начальство из Брянска и не очень большое, на первый раз, из Москвы. Выползло начальство из машин, облобызалось с райкомом и первым делом поинтересовалось – что это за пустой пьедестал в центре города торчит. Никто в райкоме – вот незадача! – понятия не имел, из-под кого этот пьедестал выпростан. На второй же вопрос, проистекавший из первого, – а где же, собственно говоря, в славном и древнем городе расположен памятник товарищу Сталину: над крутым ли обрывом реки, на вершине ли холма посреди города (реки в Старой Грешне не было вовсе, воду брали из озера Кучук, а холм тоже насыпать вовремя не догадались), либо еще где на видном месте, – на этот вопрос ответить было нечего, поставить таковой памятник никто еще пока что не успел, война почитай всего два года как кончилась. Ну, начальство отбыло на курорт на свои двадцать четыре дня, а райком, давший столь исчерпывающие объяснения, тоже отбыл в полном составе – тоже на курорт, северный, очень отдаленный, и на срок тоже на другой, иначе говоря, весьма длительный. Начальство в райком назначили новое, первым делом оно заказало памятник Сталину на уже готовый пьедестал, – ни на что другое у него времени, Впрочем, не хватило: через двадцать четыре

дня спецкавалькада черных машин вытряхнула на центральную площадь Старой Грешни очередную порцию оздоравливаемого начальства, совсем причем другого, более высокого, ибо среди верхов уже пошел слухок о том, что верхнеблагодатские воды мужской организм возрождают, точнее не скажешь, к новой жизни, так что все само собой начинает получаться, – руководство задало прежние вопросы, получило ответы, потом поехало на свой срок на курорт, а райком – на свой курорт и на свой срок. И так повторялось еще раз и еще раз, и еще много-много раз, никакой райком не высиживал из-за этого проклятого памятника больше трех месяцев, а когда через два-три года стало начальство приезжать оздоравливаться по новой и обнаруживать, что воз с памятником и ныне там, кары для райисполкомовцев пошли вовсе непомерные, по двадцать пять лет. Ничего не успевал ни один состав райкома, кроме как аннулировать все дела предыдущего, разоблаченного состава. Ну, и заказать памятник в шинели до пят. А следующий состав начинал с того, что этот заказ аннулировал. Так и тянулась бы череда посадок по сей день, но объект прижизненного увековечивания стал объектом увековечивания посмертного, посадили еще райком-другой, и дело застопорилось, то ли надо ставить памятник, то ли не надо. Очень скоро вышло, что не надо, а еще через год или два оказалась Старая Грешня в центре областного, а на краткий миг даже всесоюзного внимания: в самые страшные годы культа личности в ней так и не был поставлен памятник Сталину! Не был, несмотря на репрессии, применявшиеся к настоящим старым большевикам, возглавлявшим райком!

– А теперь памятник стоит как памятник тому, что памятника не поставили, – понимающе подхватил Павел.

– Где там, – Джеймс усмехнулся и отвел глаза, в которые упрямо лез дым Павловой сигареты, – им теперь из-за этого памятника терпеть приходится не меньше, чем раньше. За них теперь столичные газеты взялись. Докопался-таки какой-то лихой специалист-пушкинист, что у них памятник Пушкину был да сплыл, и они за это ответственные. Они бы рады новый поставить, а денег нет, а фельетоны в центре пишут каждый месяц, так что, может быть, и сажать их скоро начнут по новой, уже не за то, что памятник Сталину не поставили, а за то, что памятник Пушкину не уберегли. Вот вы подумайте, Павел Федорович, что бы вы с этой ситуацией делать стали... – Джеймс потерял интерес к теме: как раз подошел дряхлый автобус на Верхнеблагодатское, сели, доехали до него, обогнули бетонную стену санатория. Оттуда на попутной телеге за трешку добрались до Лыкова-Дранова; от Лыкова оставалось до Нижнеблагодатского еще двенадцать верст: либо пешком топать, либо ждать три дня автобуса, который туда ходил два раза в неделю. Пошли пешком.

Сбив ноги непривычной двенадцатикилометровой прогулкой, поднимался Павел вслед за Джеймсом по крутому берегу Смородины к дому своего двоюродного деда, непонятно как уцелевшего в восемнадцатом году, непонятно как попавшего в этот глухой лесной угол. Впрочем, Павел уже знал, что до революции здесь был край безраздельного владычества последних Свибловых, – издавек он увидел и часть их усадьбы над рекой, превращенную в подобие больницы. Видимо, закопался в эти глухие края дед Никита в расчете на то, что

именно сюда возвратятся и Свибловы, когда придет нормальная власть. Да так и остался тут. Сразу Павел вспомнил, что его собственная прабабка – тоже Свиблова, от этого глухой закут неведомой ему пока еще Брянщины, по которому они сейчас брели с Романом Денисовичем, показался как-то роднее. Места здесь для прятания были и вправду надежные. С болью подумал Павел о Кате, усланной куда-то на Алтай, – там, конечно, еще надежней, там человека найти вовсе невозможно у этих самых немцев-староверов, или как их там, но Роман Денисович сказал, что их место – в европейской части России, в гуще событий. Какая такая гуща событий в брянских лесах – этого Павел не понял, но, поглядев на обретенного родича, первого из тех, что проявились благодаря отцовской банке с рисом, на его кряжистую, косолапую фигуру, на лысину и кривой нос, ощутив какое-то могучее и незнакомое излучение, идущее от этого человека, понял Павел, что какие-то события в самом деле будут. Не допустит этот могучий дед, чтоб не было никаких событий.

Сношарь провел гостей в избу и отворил дверь, ведущую в клеть. Зажглась под потолком лампочка в пятнадцать свечей, в ее тусклом свете, меркнувшем по углам большого помещения, обозрел Павел посыпанный сеном дощатый пол – больше смотреть было не на что. Только еще одна дверь виднелась в противоположной стене, видимо, обращенной к реке, откуда они только что пришли.

– Здесь поживете, – тихо, но властно сказал сношарь, а Джеймс кивнул, видимо, он ждал как раз чего-то в этом роде, – опосля бабы придут, постелят вам. Пиво пьете?

– Пьем, Никита Алексеевич! – гаркнул Джеймс.

– Лука Пантелеевич! – поправил сношарь довольно сердито. – И фамилия моя, зарубите на носу, Радищев! И не ржать! Думаете, легко мне было в шестнадцать лет за прапрабабкину вину самому перед собой ответ держать? Я ж не обращаюсь к вам – “гражданин шпион, хрен мне, мол, и редьку в двадцать четыре часа!..”

Павел испуганно глянул на спутника. То, что Роман Денисович работает на чью-то разведку, – это он Павлу сам говорил. Но слышать слово “шпион” было исключительно неприятно. А сношарь продолжал:

– Без которого харча жить не можете – список давайте. Кормушка вам будет раз в день от пуза – часа эдак в четыре. Сколько жить у меня собираетесь?

– Как условились, Лука Пантелеевич, как условились, – быстро ответил Джеймс, усаживаясь на охапку сена.

– Это значит... сколько надо будет... – сношарь недовольно покосился на Павла.

– Да нет, Лука... Пантелеевич. Ну, год. Ну, два, уж никак не больше трех...

– Ну, тогда добро. – Сношарь вздохнул облегченно, сразу подобрел, срок был явно меньше, чем он ожидал. – Баб которых предпочитаете?

Джеймс замешкался с ответом. Сношарь пояснил:

– Больше двух в день на брата мне вам отдавать не с руки, больше пол-яйца с них за вашу работу брать стыдно, а я свой профит иметь тоже должен...

Павел не понял ничего, но хорошо осведомленный Джеймс, видимо, сообразил, в чем дело, и тоже, как сношарь, повеселел:

– Блондинок, Лука Пантелеевич, и чтоб не очень в теле!.. – Сношарь на последних словах неодобрительно скривился. – У нас с Павлом... Егоровичем вкус одинаковый!

– Знаю я вас, охальников... Не в теле им чтобы... Но чтоб мне сраму из-за вас не терпеть, на бабах чтобы не курили! Располагайтесь пока, поспите с дороги, а то к вечеру осрамитесь еще...

Сношарь вышел. Обширная клеть, с умело поставленной в углу печью-голландкой, хотя и нетопящейся, показалась Павлу прибежищем почти сносным, но подумать, что здесь придется прожить и два, и три года, может быть, даже не выходя на воздух, – перспектива неутешительная. Джеймс прислонился спиной к нетопящейся печи и со вкусом закурил какую-то гадость брянской выделки – сорт сигарет не имел для него значения, лишь бы курить и лишь бы было крепкое. А Павлу от этого приходилось кашлять. Он, кстати, вообще собирался курение бросить.

– Что это за слово такое, Роман Денисович, – сказал Павел, – которым вы его назвали, – сношарь? Оно литературное разве? И значит-то что?

– Что значит... Значит и значит! Сношарь! Трахарь то есть. Неужто я еще и русский язык должен знать лучше вас? А вам бы поспать, вечером ведь он свое обещание точно выполнит, блондинок пришлет.

– И вы, Роман Денисович... будете?..

– И вы, государь Павел, тоже будете. Не отвертитесь. Иначе сношарь вышибет нас отсюда в три шеи, он условием поставил, чтоб селили к нему нормальных, а не чокнутых. А если вы от женщины откажетесь, то ясно же, что чокнутый вы. Так что не рыпайтесь. А бабы у него должны быть неплохие... – Джеймс мечтательно затыкнулся и вспомнил Катю. Павел, похоже, вспомнил ее же. Близился вечер, откуда-то издалека донеслись звуки гармоника и лихое плясовое гиканье. Потом стало ощутимо теплеть, сношарь со стороны сеней затопил голландку. Павел задремал на полу и сквозь сон расслышал, – или это ему приснилось? – как сношарь ворочает кочергой в топке и бормочет что-то невозможное:

Яйца – чистый динамит...

И звезда во лбу горит...

А Джеймс, все так же сидя у стены, курил сигарету за сигаретой и расслаблялся. Сейчас он имел на это право, сейчас он должен был следить только, чтобы Павел не сбежал, чтобы прилежно учился английскому языку и каратэ, чтобы сношарь вовремя и по всей форме отрекся, чтобы никто не пронюхал об их убежище, и еще должен был слушать радио на коротких волнах: слышимость “Голоса Америки” здесь, в брянских лесах, должна была быть приличной – и ждать дальнейших инструкций.

Уже кончался вечерний десятый час, когда скрипнула в ограде калитка, не та, через которую вошли к сношарю Павел и Джеймс, а другая, обращенная к водокачке, и чинно вступили во двор, под сень потерявших листву черешен, не то восемь, не то десять баб; все что-нибудь да несли в руках, одна курник в

полотенце, на доску положенный, другая накрытый черепком кувшин, несомненно с пивом, третья кошелку с яйцами, четвертая тоже кошелку с яйцами, и пятая тоже кошелку с яйцами – гораздо, гораздо больше, чем может быть потребно для еды, и лишь последняя, коренастая и малорослая баба с царской – отчего бы это? – осанкой торжественно тащила ведро, полное громадных, отборнейших раков, не меньше трети, а то и половины всего утреннего улова мальчишек: не очень-то, видать, дали ими закусить прочим деревенским, все больше для него, для отца родного, эту благодать берегли. Сам сношарь стоял на пороге сеней, яркая лампочка горела прямо позади его лысины, отчего вокруг распространялось некое сияние наподобие нимба. Сношарь снова ковырял в носу.

– Растоптухи-то кто выиграл?.. – безнадежным голосом спросил он. Ответа не последовало – только легкий смешок пробежал среди баб, ответ как бы сам собой разумелся. – Ну, тогда давай их сюда.

Кряжистая баба лебедушкой выплыла из-за спин своих товарок и с поклоном поставила ведро с вареными раками к ногам сношаря. Это и была небезызвестная Настасья, та самая, что пиво сторожила. Из года в год выигрывала она в этот праздник традиционное деревенское состязание – растоптухи. Правила растоптух были донельзя просты: брали ведро, наливали его, десятилитровое, всклянь водой и ставили на голову бабе, которая должна была танцевать с ним чечетку до тех пор, пока либо не плеснет, либо не сойдут с круга все остальные состязающиеся; тогда перерастоптухавшая всех других баба получала выигрыш – собранные для такого случая миром сто куриных яиц. Нечего и говорить, что использовались эти яйца в тот же вечер по назначению, сдавались сношарю в уплату то есть, а выигравшая баба имела право посетить по такому случаю сношаря вне очереди, первой. Вот уже двенадцать лет это всегда была одна и та же Настасья, что сношарю, признаться, поднадоело уже. Недовольным взором окинул он баб, заметил что-то и спросил:

– Что-то много вас, бабы, нынче... Небось, без очереди кто лезет опять? Так я вас, охальниц...

Бабы загомонили:

– Уж ты не откажи, Пантелеич! Ради праздника! С наценкой мы готовые!

Сношарь был непреклонен.

– А ну, выходи, кто встрял!.. Вон ты, Настя, да еще ты... Настя... Ну, прочих и так уважу, ради праздника... полпиво ежели достойное...

Две обездоленные бабы остались в сторонке. Сношарь обратил к ним взор, повел бровью и выпалил:

– За наглость такую... ну, прощу вас, дур, да накажу на сегодня! Быть вам нынче под другими мужиками... да нет, мужья мне ваши ни на хрен, под гостями моими дорогими! Цену беру с вас за то половинную, а дальше сами уж старайтесь, ваше дело мужчину разохотить, а то знаю я вас, любите лежать как примерзши... – разговаривая так, пропустил сношарь баб в сени, в том числе двух перепуганных Настасий, назначенных Павлу и Джеймсу. Настасья, та, что растоптухи выиграла, быстро сообразив, что к чему, с позволения сношаря выделила обездоленным харчей на четверых – курника, яиц крутых, пива и даже

немного раков помельче; сношарь отворил дверь в клеть, втокнул обеих баб туда и закрыл за ними, запретив показывать нос наружу прежде времени. Дальше рабочий день сношаря с гостями уже не был связан. Плотнo закусив в горнице, притом в деловом одиночестве, постучал он вилкой в старинный, неведомо от кого доставшийся прежней владелице, Хивре, поднос, который она, ясное дело, дорогому другу молодости подарила еще в годы их наиболее бурной дружбы. Мигом скользнула к нему ласочкой коренастая Настасья. Сношарь поглядел на нее взором мутным, но добрым.

– Скидавай, – коротко сказал он.

Павел и Джеймс тоже закусывали чем Бог послал на расстеленном прямо на полу посреди клетки полотенце. Бабы, довольно привлекательные, сидели поодаль. Джеймс с хрустом ломал раковые шейки, а Павлу, несмотря на голод, кусок в рот не шел: смущало даже не то, что предстояло прямо сейчас вот так взять да и взойти на, скромно говоря, малознакомую женщину, а то, что впервые в жизни предстояло заниматься этим в одной комнате еще с кем-то, на людях, да еще занятых таким же деликатным делом. Джеймс понял его и послал уничтожающий взгляд.

“Государь, не выпендривайтесь”, – красноречиво читалось в этом взгляде.

Павел вздохнул и примирился. Впрочем, при таком скудном освещении и в таком дыму – Джеймс ухитрился накурить полную клеть, а проветривалась она очень слабо – особенно ничего и не разглядишь. Да и зачем разглядывать? Вон, в Японии, говорят, даже общественные сортиры у мужиков с бабами общие. Это же вопрос воспитания – не смотреть друг на друга. Так и заволочло все дальнейшие события густым дымом брянских сигарет.

Глубоко за полночь над всей западной Брянщиной пошел снег. Он падал мелкими звездочками на окончательно захлаждавшую землю и не таял – так обычно и начинается зима, каждая собака, даже летом родившийся щенок, знает об этом. И именно собака, огромный пес с мордой лайки и телом овчарки, опустив на бегу по-волчьи неподвижный хвост, в эти часы одолевал последние километры пути от Лыкова-Дранова до Нижнеблагодатского. Он неслышно, низкочуто, то есть – опустив морду к земле, промелькнул по девичьей тропке, вьющейся вдоль берега Смородины, скользнул по косогору, перемахнул через частокол, окружавший двор сношаря. Лаять в этом дворе на него было некому, а даже если бы и было, то недолго бы на него любое песье создание пролаяло: взял бы по месту, тряхнул раза, мигом бы что угодно заткнулось, разве уж кроме самого крупного дога, – но куда им, силачам этим занюханым, что барахло по квартирам всякой сволочи сторожат, супротив русского морозу, будут они в будке жить, как же. Вообще породистых этот пес не любил, хотя и ценил как племенной материал, и немало сеттерих всяких и пуделих королевских на своем веку понуждал во время склещивания, по сорок пять минут в замке с ними стоя, сладострастно урчать и хрюнчать. И щенки потом всегда бывали отличные, сильные, клыкастые, красноглазые метисы, даже иной раз с невиданными у простых дворняг шнуровыми хвостами по матери.

Так вожак служебных бродячих собак Володя закончил свою многодневную перебежку из Москвы через Калугу, – где его едва не изловили местные

собачники, пришлось прятаться в вагоне товарного поезда, заехать пес его знает куда и добрых три дня потерять, – через Брянск и Старую Грешню, где эс-бе, конечно же, оставил свою метку на знаменитом пьедестале; через Верхнеблагодатское, – конечно же, и на бетонном заборе отметку тоже поставил, – мимо почти вымершего сельца Лыкова-Дранова – прямо к дому сношаря. Володя чувствовал, что поспел как раз вовремя. Он был уже очень стар даже по обычным собачьим меркам, особенно же по меркам собак бродячих. Родившийся в шестидесятых годах на задворках ныне уже закрытого ресторана в Сокольниках, пережил он с тех пор и отравленную конину, которую для бродячих раскидывали по помойкам, пережил отстрелы и отловы, из вивария дважды сбегал, пережил и тот довольно длинный период своей собачьей жизни, когда вожаком стаи в шестнадцать голов переходил вечерами дороги в Сокольниках, соблюдая правила уличного движения, сперва налево глядя, потом направо, все пережил он, и вот теперь был отцом своего народа, и даже, по мнению ученых кинологов, отцом своей породы, пусть пока не очень многочисленной, всего в несколько сотен собак. Служебные бродячие, все как один его дети, внуки, правнуки и т.д., стали первыми бродячими собаками, получившими право на жизнь в обществе победившего социализма, первыми суками-кобелями, перед которыми приотворилась дверь в коммунистическое будущее. К тому же – и это главное – Америка, а уж другие страны и подавно, в деле разведения бродячих отстала безнадежно. Впрочем, КГБ, дав этим собакам право на свободный труд, никак не мог добиться от министерства коммунального хозяйства, чтобы то запретило отловы ценнейшего поголовья: случалось, почтенная, отличившаяся не на одном боевом задании сука-производительница кончала свою жизнь в душегубке, а майор Арабаджев обрывал телефонный провод в тщетных попытках дозвониться до министерства и вызволить ее, министр обычно был на рыбалке, а кому важна жизнь какой-то суки, даже если она имеет звание младшего лейтенанта КГБ. И Володя, который силой своего низкого чутья видел будущее не хуже предиктора ван Леннепа, знал, что сейчас он подошел к дому такого же, как и он, отца народа, отца своей породы. Только человеческого, такого, который сумел многократным инбридингом на самого себя вывести новую породу людей, не служебную и не бродячую, правда, но жизнеспособную, мощную размножительно, замечательную, в общем. Пес знал, что он должен выследить этого человека и по долгу службы выдать его своим хозяевам. Но он очень сомневался, что по соображениям чисто профессиональной солидарности заставит себя это сделать. И очень хотел найти повод к тому, чтобы таковой служебный долг не исполнять, оставаясь, конечно, по возможности верным этому самому священному служебному долгу.

Володя обежал вокруг дома. Из щелей тянуло дымом плохих сигарет – пес недовольно чихнул. Тянуло курицей – во-первых, живой, какой-то вялой, вроде бы старой девой, похоже, единственной в здешних краях. Еще тянуло другой курицей, жареной, точней, запеченной в тесте. Еще – яичницами; тянуло душным и тяжелым запахом полежавших вареных раков, другой едой – отчего пес обронил несколько скупых капель слюны: он-то не ел уже два дня, времени

не было в помойках копать. И еще сильно, резко пахло... вязкой. Не нормальной собачьей, а человеческой. Даже несколькими вязками. Володя знал, что у людей не по-нормальному, мужчина вяжет женщину когда хочет, течки не дожидаясь, наоборот даже, в течку вязать не любит. Но тут вязкой занимались одновременно – Володя понюхал еще – сразу трое мужчин. Женщин было еще больше, девять, кажется, большая часть уже повязанные, а сношарь, хозяин дома, судя по запаху, как раз сейчас стоял в замке с очередной. Двое других мужчин, в особом помещении, тоже вязали кого-то, у одного, кажется, дело шло на лад, другой же наоборот, оказался зеленый совсем – все садки делает, садки, а в замок никак не входит, петлю не находит, что ли, не то просто она тугая оказалась...

Но так или иначе – знал старый эс-бе, что не имеет права мешать уже начавшейся вязке. Легко семеня стертыми лапами по свежему снежку, отбежал Володя к обрыву, присел, поднял голову к затянутому облаками небу и тихо-тихо, по-старчески, заскулил. Нет, он не имел права нарушить свой долг. Он должен был выдать этого отца породы с его гостями. Но – не сразу. Не сегодня и не завтра. А в другой раз, когда удастся застать его не за вязкой. В другой раз... Может быть, к весне. Пока что нельзя.

Словно расслышав вой Володи, в деревне отозвались хриплым лаем местные собаки. Володя лизнул снег и побежал искать пропитание.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 15

Евгений Витковский

XV

Его превосходительство

Любил домашних птиц.

[Лев Камбек]. Современная заметка, 1862

Дед Эдуард встал, как обычно по субботам – ни свет, ни заря, в четыре утра. Рыбуня, самый старый и почтенный из попугаев, тоже проснулся как обычно – вместе с хозяином, зашебуршал у себя на перекладине и объявил совершенно категорически:

– Москва – Пекин! Москва – Пекин!

Эту фразу дед слушал уже двадцать пять лет каждое утро. Рыбуня, здоровенный гиацинтовый ара, весь синий и немножко желтый, совсем еще не был стар по попугаячьим меркам, только-только ему исполнилось двадцать шесть. Когда-то его чуть не подарили делегации пекинского, не то шанхайского, зоопарка, никто уже не помнил какого, но китайского точно – делегация привезла в Москву двух неприжившихся впоследствии панд, – но при первом же знакомстве лихой Рыбуня бодро откусил неосторожному китайцу палец, за что был бит нещадно, кажется, даже с применением приемов ужасной борьбы кун-фу, о которой тогда у нас еще и слыхом не слыхивали, и собирался совсем подохнуть, но случился рядом дед Эдуард, тогда не дед еще, а просто приехал в

Москву к другу, с которым девять лет на Воркуте отдыхал, а друг как раз в зоопарке восстановлен в правах был, над броненосцами южноамериканскими в начальники вышел. Пожалел будущий дед полудохлую птиченьку, тут же получил ее в сактированном виде, короче говоря, стал полноправным обладателем единственного в стране гиацинтового ара-самца, приволок его на квартиру старшей дочери, что уже тогда была замужем за молодым генералом, правда, генерал тогда гостил в Албании, – а потом и выходил птичку-то, и с собой в Ригу увез. С этого случая начался в жизни Эдуарда Феликсовича третий период, самый спокойный и счастливый, когда смог он наконец-то бросить медицину, уйти на пенсию, разводить птичек, сидя под крылом у двух зятьев, растить внуков и так далее. Периоду этому предшествовали два других: первый был ничего, в двадцатые и тридцатые годы жил дед в буржуазной Латвии, входил в правление общества имени Рериха, лечил травами, научившись этому ремеслу у своего отца, очень знаменитого гомеопата, умершего в конце двадцатых, – давал деньги на издание “Тайной доктрины” Блаватской, которую светлой памяти Елена Ивановна перевела на русский язык перед самой войной, двух дочерей завел, потом войну там же, в Риге, пересидел как-то, а в сорок пятом вызвали его в одно место и спросили: вы ли, мол, тот самый Владимир Горобец, что общество памяти Ульманиса возглавлял; Эдуард ответил, что, мол, не я, и вообще такого не знаю. Эдуарду кивнули понимающе и дали десять лет. Сразу после этого начался в его жизни другой период, поначалу тяжелый, а потом тоже не особенно плохой, ибо в лагере на Воркуте попал дед не в шахту, а в больничные врачи, хотя диплом у него был ненастоящий, несоветский (Эдуард Корягин учился в Париже), сразу в старшие патологоанатомы лагеря. Вскрывал. Вынимал “гусака” (все внутренности разом). Свидетельствовал. Не боялся никого: по должности ножи-скальпели имел такие, что всю лагерную администрацию мог бы раз и навсегда освидетельствовать. Да и гравиданотерапия, будь она неладна, очень помогала существовать; рассказал Эдуарду Феликсовичу про эту науку один врач на Вятской пересылке: все лагерное начальство, как один человек, желало лечиться от импотенции, ну, а моча беременных баб всегда была в избытке, благо кое-кто из зеков импотенцией все же не страдал. Кипятил дед эту самую мочу, становилась она “гравиданом”, потом впрыскивал ее куда надо, а взамен мясо получал, сало, сахар, шоколад даже. Тревожился, впрочем, все годы: как-то там его дочки. Старшей, Елене, было девятнадцать, когда он сел, младшей, Наталье, одиннадцать. И – никого у них на белом свете, ни в Риге, нигде. Только и надежд было, что на пробивной характер Елены. Надежды эти, надо сказать, оправдались, да еще как.

Знать не знал в те годы Эдуард Феликсович, что весь остаток своих долгих дней по выходе из лагеря он посвятит такому неожиданному занятию, как разведение дорогостоящих синих попугаев. Еще менее ожидал гомеопат-прозектор, что та самая старшая дочка, на которую он столько надежд возлагал, оправдает их самым неожиданным образом: не успел Корягин выйти на волю с бумажками о реабилитации в кармане, как выскочила она замуж ни много ни мало за молодого генерала госбезопасности, человека неожиданно

положительного, из старой московской семьи обрусевших армян, Георгия Шелковникова. Так в жизни Эдуарда Феликсовича почти одновременно появились действующие лица, в корне эту самую жизнь переменившие: зять Георгий и попугай Рыбуня. Через год друг-броненосник из зоопарка при довольно темных обстоятельствах сактировал деду гиацинтовую самку Беатриссу, от какого-то союза в Риге дед совершенно неожиданно получил кладку – иначе говоря, два больших белых яйца, из которых при стечении обстоятельств должны были бы вылупиться несусветно дорогие гиацинтовые птенчики. Но дочка выписала отца в Москву, поселила его пока у себя на даче, в Моженке, и яйца при переезде побились. Эдуард Феликсович не уныл и через полгода получил другую кладку. И стало попугайное дело не только любимым, но и прибыльным. А в шестьдесят первом, в долгие три зимних месяца, когда по всей стране люди меняли старые деньги-простыни на новенькие – маленькие, не замечая, что пучок лука как стоил десять копеек старыми, так и стоит десять копеек новыми, состоялся медовый месяц и у младшей дочери, Натальи, отчего-то тоже с офицером ГБ. Весть о том, что второй зять тоже армянин, Эдуарда Феликсовича так потрясла, что все остальное, зятьев объединявшее, – а именно ГБ, – от его сознания уже ускользнуло. Дед и вообще перестал обращать внимание на что бы то ни было, кроме Рыбуни и его семейства. Вскорости переехали в Москву и Наталья с мужем, под крыло к старшему зятю, а дед с неудобной дачи перебрался к ним же. Скоро и внук первый родился, Рома, – не Роман, правда, а Ромео, но это уж у армян национальная страсть к Шекспиру. Появился еще один смысл у дедовой жизни. Старых рижских, “риховских” связей дед специально не поддерживал, но кое-какие из них восстановились сами по себе. Зять Георгий, толстевший с каждым годом, отчего-то эти связи очень одобрял, интересовался всякими криптограммами Востока, Жоффруа де Сент-Илером, Успенским, агни-йогой, Махатмами, даже повесил на стену у себя картину художника Сардана, иначе говоря, проявлял внимание ко всему тому, что в прежние времена, когда общение Корягина с госбезопасностью еще не стало семейным, а ограничивалось разве что гравиданотерапией, было ему близко и дорого. Но жизнь деда Эди была теперь полна попугаями и внуками, нрава он и без того был всю жизнь смешанного – угрюмого и жизнерадостного, причем первая часть проявлялась внешне, а вторая внутренне. И познакомил дед старшего зятя кое с кем. Никому от этого знакомства плохо не стало, даже квартиру кому надо и где надо выхлопотать удалось. Ну, и ладно, а попугайчики подросли, и жить в доме с пятью гиацинтовыми стало немислимо, да еще Наталья опять с пузом ходила, собирался родиться внук Тима, не Тимофей, правда, а Тимон; вздохнул дед и повез самого маленького попугайчика на птичий рынок. Думал, полсотни уж наверняка выручит. Но решил постоять и подождать – сколько предложат. Простоял на Калитниковском до часу дня без малейшего толку, только дивилась публика на синего попугая, да шипели конкуренты, толкавшие зеленых волнистых, и так-то спросу чуть, а тут еще бородатый какой-то с синим, не иначе крашеным. А около часу дня подошел дядя в дубленке, тогда еще не модной, и с сильным акцентом сказал, что больше тысячи сейчас при себе не имеет, но, если дед согласится с ним поехать, он

заплатит полную стоимость. Что есть полная стоимость – дед и помыслить не мог, ежели тысячи мало. Но не растерялся и на хорошем французском языке выразил согласие поехать. Пораженный посол Люксембурга, для которого французский язык на птичьем рынке был таким же потрясением, как предложенная цена для деда Эдуарда, купил попугая в итоге за полторы тысячи, и в последующие годы каждое лето по птичке покупал, пока его в семьдесят пятом самого ливийские террористы не похитили. И грузины тоже покупали. Армянам приходилось дарить. Но денег вдруг стало невпрожор. Так вот и получил дед Эдуард от советской власти сперва свободу, а теперь, через посредство зоопарка и птичьего рынка, еще и независимость.

Вскоре семейство младшего зятя, у которого жил дед Эдуард, увеличилось настолько, что ему выдали новую квартиру, в “Доме на набережной” у Каменного моста. В пяти комнатах семь человек помещались, конечно, легко, но, кроме семи человек, в квартире жили еще шестеро попугаев, – три пары, точней. Безукоризненно послушные деду, – ибо талант к дрессировке попугаев у деда открылся совершенно внезапно, вместе с талантом к воспитанию внуков, что, в сущности, одно и то же, – птицы жили в его комнате, в других почти не гадили, хотя иной раз и перекусывали кое-где провода, расклевывали телефонные аппараты, отгрызали ручки у портфелей, съедали Натальину косметику, похищали водопроводные краны, магнитофонные кассеты, кошельки с хозяйственными деньгами, орденские колодки, мыло, посуду, особенно подстаканники, и многое другое. Лишь когда лучший сын Рыбуни, Михася, перегрыз трубу центрального отопления и устроил в доме потоп, терпение Аракеяна кончилось и он пошел к деду разговаривать всерьез: взял да и положил перед ним восемь тысячных пачек десятками, полный взнос за кооперативную квартиру, которую сам же и брался устроить. Дед ничего не сказал, вынул из-под тряпичного гнезда Беатриссы большой кошелек и отсчитал на стол восемьдесят сотенных бумажек, деньги за четырех последних красавцев, которых оптом купил директор бакинского рынка. И подвинул зятю вместе с первой кучкой, – Аракеян понял, что это ему самому предлагают отселиться в кооператив, шестнадцать тысяч наверняка на это хватит. А дед оставит себе внуков и прочее. А дед еще и к телефону, злодей, потянулся, не приведи Господи, позвонит Шелковникову. Аракеян забрал свои деньги, извинился и, весь красный, удалился. Поле боя осталось за дедом, который отныне безраздельно властвовал над квартирой, над попугаями, над внуками, над полковником и даже в конечном счете над Шелковниковым, – тот не только отчего-то безумно дорожил дедом, но, не надо забывать, был еще и под каблуком у жены Елены. Начни даже Рыбуня или Пушиша откусывать пальцы или там еще что-нибудь у Аракеяна и его друзей – и то полковник не сумел бы ничего поделывать. Лечиться-то пришлось бы опять-таки у деда: старик умел какими-то душистыми мазями и приятными на вкус жидкостями вылечивать почти любые болезни. Кстати, когда, нарушая все служебные правила, Аракеян поднял личное дело деда, то узнал, что именно за это свое искусство и сидел дед на Воркуте. И реабилитирован был тоже за него.

Дед прошел на кухню и поставил чайник. Ручка у чайника дрожала в руках и

грозила отвалиться: попугай Пушиша, видимо, точил об нее клюв. Дед перекусил чем-то из холодильника, задал корм попугаям, прибрал “подарочки” – кучки попугаячьего дерьма, неизбежно попадавшие по всей квартире, несмотря на дрессировку, – тщательно осмотрел Розалинду, сидевшую на яйцах. Посадил Михасю в клетку, завернул в войлок и в шесть утра, как только метро открылось, вышел из дома. Дед не имел намерения продавать Михасю, он торговал попугаями как мебелью, по образцам. Да и не было у него сейчас попугаев на продажу, последнего забрал зять Георгий, чтобы подарить кому-то из своих начальников, дед знал, что над Георгием их всего два, не считая Бога, в которого этот толстый человек втайне очень верил. Дед ждал птенцов Розалинды, двух покупателей на очереди он уже имел, с одного даже аванс получил. Нужен был третий покупатель, поскольку яиц было именно столько. Вот и стоял дед по субботам и воскресеньям на птичьем рынке с Михасей, вот и ждал этого самого третьего покупателя. Деду важны были даже не деньги, он знал, что цена гиацинтового ары на самом деле в пять-шесть раз больше тех двух тысяч, за которые он отдавал своих питомцев, – деду важны были хорошие руки. Отлично знал дед, что страшная, гиньольная сказка Пушкина о золотом петушке – не вымысел, а самая настоящая действительность. Еще как и заключает, если в дерьмовых руках окажется. Мысли деда переключились на Пушкина. Какой все же страшный, безжалостный, мрачный писатель, – думал дед. На досуге, несколько дней тому назад, прочел он книгу какого-то провинциального пушкиниста. А потом стал Пушкина перечитывать. И целые дни теперь ходил еще мрачней обычного. Что ни вещь – то кошмар. Взять хоть сказки. В одной детки до смерти друг друга мечами пыряют, а папаню ихнего петух до смерти заклеывает, в другой, самой, казалось бы, светлой, отец сына родного и жену в бочку пихает и топит, потом опять же глаз кому-то выклеывают, еще – человека щелчками насмерть забивают, еще медведиху, кормящую мать, убивают и свежуют; а другие его вещи чего стоят! То полная комната мертвецов, то убийцы, то самоубийцы, привидения всякие, одна кровь и грязь, так что даже бывшему лагерному прозектору и то не по себе. Жуткий писатель, что и говорить. Это ведь ему за насаждение культа жестокости теперь памятники ставят везде. Не иначе.

На Таганской дед вылез из метро и пересел в трамвай. Ходила к Калитниковскому и более удобная маршрутка, но только с восьми утра. А дед любил приезжать к самому началу, хоть и знал, что его место в попугайном ряду неприкосновенно, давно уже примирились с его существованием многочисленные торговцы волнистыми попугайчиками и более редкие, более солидные поставщики сотенных неразлучников и корелл по сто рублей пара. Вообще ценами выделялся дед над рынком, как Эверест над сопками Маньчжурии: редко-редко что вообще стоило на рынке больше ста рублей, разве только в собачьем ряду какая-то высокопоставленная дура вот уже седьмой год пыталась продать по восемьсот рублей все одних и тех же щенков афганской борзой, – хотя за семь лет щенки, мягко говоря, подросли, но цена оставалась прежней, даже за шестьсот рублей дура с ними расставаться отказывалась. Еще хорьки стоили дорого, некоторые породы голубей; однажды

вышел какой-то хмырь продавать обезьяну неведомой разновидности, тысячу рублей просил, но его заулюлюкали, не пошло у нас обезьянье дело. Все, пожалуй. С дорогими попугаями, кроме деда Эди, не стоял обычно никто; только раз в год приезжал из Борисоглебска Федор Фризин, привозил одного-двух изумительных жако, уже обученных говорить десяток фраз, толкал их чуть ли не сразу по пятьсот рублей, а потом весь день стоял с Эдуардом Феликсовичем, зазывая покупателей и нахваливая гиацинтового ару как самонаилучшего попугая-долгожителя и красавца. Фризин и Корягин друг друга глубоко уважали, как уважали друг у друга и попугаев: Корягин уважал жако как несомненно лучше всех говорящего попугая, Фризин ару – как несомненно наиболее красивого и трудного в разведении. Дальше оба старика непременно вздыхали, что не удастся наладить в неволе разведение черного пальмового какаду, не несется, подлец, характер мерзкий и злопамятный и все тут, получил Тартаковер в Сиднее в двадцать восьмом году одну кладку, и все, с тех пор не отмечено, вздыхали еще разок-другой и расходились. А прочие продавцы с годами смекнули, что дед и его двухтысячный, орущий на неприятных типов “Иди отсюда!”, им даже выгодны: придет покупатель, охнет от цены на синего красавца и уже спокойно платит сотню за пару корелл, – раньше, без деда, конечно же, эта сотня казалась большими деньгами, а теперь мелочью стала. Мелочью она стала, впрочем, еще и от времени просто. Но это уж совсем не про попугаев разговор.

Дед встал в ряд и аккуратно раскутал своего красавчика. Михася в большой клетке за толстенным стеклом, с умело встроенной вентиляцией, чувствовал себя на рабочем посту: поворачивался левым и правым боком, точил клюв о специальную железяку, вообще работал на покупателя. Дед же, высокий, с торчащей вперед бородой, зорко вглядывался в толпу, почти из одних зевак да рыбашиков состоящую: не идет ли кто серьезный. За долгие годы научился Эдуард Феликсович безошибочно определять серьезность намерений клиента; даже вопрос, заданный в форме “Сколько этот ваш стоит”, уже лишал деда малейшего интереса к вопрошающему, ибо серьезный человек спрашивает: “Сколько такой будет стоить”, ясно же ведь, что племенной не продается. А справа и слева все бойчее становился слышен обычный треп торгового ряда, где основное развлечение – болтовня с соседями, тертые, плохо рассказываемые анекдоты, сведения вражеского радио – кто что расслышал (особенно теперь, когда опять глушить стали), а также совершенно точные сведения из первых рук – на что нынче следующим делом цены поднимут. Ну, и обычное зазывание тоже.

– А ну, волнистых, волнистых, на разговоры, на племя?! Тридцать пять дней, на разговоры! А ну, кто хочет на разговоры! Волнистых!..

– И что ты, спрашивает, будешь делать, если муж тебе изменит один раз? Я, говорит, отрежу на сантиметр. Ну, а если он еще раз тебе изменит? Тогда, говорит, еще на сантиметр отрежу. А если, говорит, в третий?..

– И сколько такой тянет?..

– Кореллы есть! Кому кореллов?

– Масло будет пять пятьдесят, хлеб – двадцать пять тот, что восемнадцать, пиво

по рублю, а бензин крашенный...

– Птерики! Мадрики! Крусики! Отики!..

– Я, говорит, на тебя кляп имею!..

– Можешь представить, я на тринадцати слушаю, целая передача была, говорят, есть наследник русского престола, законный царь, и будто бы не за горами, что его советская власть признает, ни хрена себе!

– Да отрубись ты со своим мотылем!..

– Гульбадам белоглазый за десять?.. Дик та алив, яманы!

– На племя! На разговоры!

– Да нет, я ее арматурой, и пластиком, вовнутрь такую хреновину разводами, на нее сколько ни нагадит, все кажется, окрас такой, купят, купят!..

– Ишь, говорящего ей за семь рублей, вон, к деду иди, у него говорящие по две тысячи...

– И вот ходят они по Руси: двое, один черный, как ворон, весь в плащ-палатке, а другой страшный совсем и толстый, огромный. а потом бывает страшный без толстого, а с ними толпы видимо-невидимо не таких толстых но туда же страшных...

– Еще студенческое масло будет, как в Новосибирске, по два шестьдесят, жарить на нем нельзя, а мажется хорошо...

– Говорили, будто и княжны великие, и наследник – всех их святые люди на западе выкупили. И до сих пор живут они все в одном чудном монастыре, и государь Николай там же с ними...

– Да ему же лет сто теперь...

– А что, вон спроси у деда, попугаи живут и ничего, а тут человек святой...

– На племя?!..

– Это ж не кенарь, это ж мечта моего счастья!..

Цену у деда спрашивали редко, чаще всего с благоговением, говорившим заранее: я у вас такого купить не смогу, нет у меня таких вот денег, но все-таки, любопытства ради, осведомите, мол, сколько такой красотизм стоит. Дед отвечал охотно, рассказывал о дорогих попугаях, советовал в зоопарк пойти, – уже дважды люди после визита в зоопарк возвращались к нему за попугаем, – в зоопарке гиацинтовые ары уже много лет принципиально не приживались, правильно, кстати, делали, дед Эдя обеспечивал им куда лучшую жизнь. За тем, чтобы в зоопарке они не приживались, зорко следил старый лагерник Юрий Щенков, по сей день командовавший там броненосцами, он твердо помнил об интересах деда Эди, так же, как помнил и мерзлые больничные огрызки, которыми спас его прозектор в сорок седьмом, спас доходягу, погибавшего от пеллагры. А вот сейчас на улице был декабрь, покупателей по холодному времени толклось не особо, да и продавцов тоже. Воздух рынка действовал на деда наркотически, мысли навевал самые приятные: о гиацинтовых ара и еще о внуках.

Около двух часов объявились, кстати, двое старших: Ромео без всяких документов водил отцовскую машину уже больше года и сейчас приехал на ней за дедом. Отец нынче стряпал что-то невообразимое, ждал к шести дядю Георгия. Внуки все как один любили пожрать, и деда тоже любили, хоть и

знали, что отец с дедом в контрах, но допустить, чтобы все было съедено без деда, ясное дело, не могли. Эдуарду Феликсовичу все эти армянские лакомства были до фени, он бы предпочел латышский суп из пахты и цвибельклопс (блюдо сомнительно латышское, но сами латыши в его национальное происхождение всегда свято верили). Но не отказывать же внукам. Да и дядю Георгия, толстого-претолстого, внуки тоже любили: за веселый нрав – и, опять-таки, за его привязанность к деду Эде. Дед укутал попугая, на прощанье буркнул кому-то, что производителя не продает, тем более за триста, сел на заднее сиденье и задремал до самого дома, и видел во сне северное сияние, и слышал мантрамы Елены Ивановны.

А дома внуков и деда ждали запахи. Дух виноградного листа, вымоченного в винном уксусе, ибо полковник, конечно, готовил долму; аромат распаренной баранины, ибо полковник, конечно, и кюфту тоже готовил; тихий запах попугаячьего дерьма, ибо и птички, конечно, не только дремали. И другие запахи, более слабые, но обитателям квартиры, – кому какие, конечно, – весьма дорогие. Дед с порога выпустил из клетки Михасю, тот расправил крылья и коршуном кинулся проверять: не изменила ли ему Розалинда с родным братом, синим до лиловости Пушишей (даром что ары моногамны. но кто ж знает наверняка). А Рыбуня рывкнул приветственное “Москва – Пекин”. А полковник на кухне тихо выматерился по-русски, но дед этого не слышал. Была половина четвертого, через час Георгий выедет со своей дачи в Можинке и не успеет пробить шесть, как с эскортом въедет во двор “Дома на набережной”. А долма к этому времени успеет разве? Одна надежда на деда Эдуарда, будь он проклят, что хоть на полчаса шефу мозги загадит своими попугаями, может быть, и кюфта успеет!..

В назначенный срок, за четверть часа до шести, ЗИЛ Шелковникова и две “волги” с охраной вкатились во двор. Сперва из “волг” вылупились здоровенные охранники, все как один в штатском, но с той самой необманчивой выправкой, выстроились редкой цепочкой вдоль маршрута от ЗИЛа к подъезду; кто-то в лифт забежал, проверил на предмет заминирования, кто-то по лестничным клеткам прошвырнулся, поискал террористов и не нашел. А ЗИЛ тем временем разверзся, и вылез из него генерал-полковник Георгий Давыдович Шелковников, человек совершенно необычайной толщины и во многих других отношениях тоже необыкновенный. Когда-то, в начале века, обрусевшим московским армянам принадлежала в Москве знаменитая красильня. Где-то среди необычными способами уцелевших бумажек хранил генерал у себя и старую рекламку этой красильни и в нетрезвые минуты, особенно в последние годы, когда стало полезно подчеркивать, что ты не из болота родом, а хорошей старой фамилии, лучше всего дворянской с титулом, кое-кому он эту рекламку показывал, прежде всего родственникам, а также и двум своим единственным начальникам: министру-председателю, первым заместителем которого был, – Илье Заобскому, и, конечно, паралитичному премьеру. После этого донести на него было уже некому и некуда, даже если бы злейший враг – а такового, конечно, Шелковников имел, – об его непролетарском происхождении пронюхал. Рекламку Шелковников берег нежно, в ней говорилось, что

“Красильня, пятновыводка и плиссировочная Ф. А. Шелковникова в Москве, с фабрикой на второй Тверской-Ямской и магазинами на Тверской-Садовой, дом театра Буфф, также на второй Тверской-Ямской, также на Домниковской улице; производит химическую чистку и окраску шелковых, шерстяных и бархатных материй, а также красит, чистит и плиссирует всевозможные дамские и мужские платья в распоротом виде, шторы, драпировки, ковры, брюссельские кружева, оренбургские платки, меха и лайковые перчатки, – а также занимается чисткой мебели на домах, и еще ажурной строчкой (мережкой)...” В былые годы, особенно до пятидесят третьего, боялся Георгий Давидович этой бумажки как огня, считал, что не сохранилось ни единого экземпляра ее, а потом, выросши в чине уже до Бог знает каких высот, извлек последний ее экземпляр... из собственного личного дела, которое сподобился увидеть в начале шестидесятых. Все, оказывается, знали в отделе кадров с самого начала. И не трогали. Доверяли, с одной стороны. Проверяли, с другой. По исконным принципам.

Появился на свет Георгий Давидович, впоследствии Давыдович, в бурном девятнадцатом году, когда от красильни уже рожки да ножки остались, вся Россия отплясывала бессмертное “Яблочко”, а семья бедного Давида Федоровича, – Федор-богач умер тремя годами раньше от апоплексии, – уютилась в уплотненном виде в одной комнате на Арбате. Таким нищим и голодным было детство рано осиротевшего Георгия, что даже когда время подошло от своих родителей печатно отрекаться, – даже от этого оказался он избавлен. По происхождению Георгий раз, но, как теперь выясняется, не навсегда, стал сыном малоимущего кустика-одиночки, красильщика. Очень рано приняли его в пионеры, потом в комсомольцы. Стал пионервожатым. С тридцать пятого года в Кратове каждое лето воспитывал юных пионеров. И там-то и приключилось с ним незначительное, на первый взгляд, событие, из-за которого даже теперь, более чем сорок лет спустя, спал Георгий Давидович не совсем спокойно. Мало ли одиннадцатилетних пацанов находилось в те времена у него под началом? Мало ли отвесил он колотушек и пенделей, ловя кого за курением, кого за онанизмом? А того, плюгавого, из-за которого сон имел теперь не совсем спокойный, поймал разом на том и на этом: одной рукой сигарку держал, другой – испытывал, так сказать, самоудовлетворение. Ну, и врезал вожатый Жора этому юноше, причем, видимо, именно тогда, когда ему особенно хорошо было по всем причинам. Тот отлетел с крыльца, штаны застегнул, утер кровавые сопли, сказал: “Я тебе припомню”. И, нет ни малейшего сомнения, рано или поздно собирался свою угрозу исполнить: даже теперь, когда пионервожатый Жора стал ни много ни мало генерал-полковником госбезопасности Г. Д. Шелковниковым, первым заместителем всеильного Заобского, – так ведь и сопливый онанист за эти годы успел стать ни много ни мало как маршалом танковых войск И. М. Дуликовым, первым заместителем всеильного Везлеева, и то хорошо хоть, что здоровье у Ливерия Устиновича крепкое.

В сорок первом году Жора Шелковников был уже в армии и очень быстро полез в чинах, заведуя продовольственным снабжением СМЕРШа на юго-

западном направлении, фронта он, можно сказать, не видел до сорок пятого, когда Берлин занимали. Даже ранен был в предплечье. Правда, осколком кирпича, но считалось – ранение. Тоже потом невредно оказалось. Словом, кончил он войну молодым генералом. Потом пошел по линии безопасной государственности, вовремя стал бороться с культом личности, а затем, когда лучше стало бороться уже с последствиями неумеренной борьбы с последствиями так называемого культа якобы личности, – возглавил и эту борьбу. Потом по специальной линии внезапно удалось доказать свою незаменимость, – совсем как мало ему знакомому и топчущемуся где-то далеко под ногами полковнику Углову. Результаты были теми же: первому заместителю Заобского никогда уже не светила перспектива сесть в кресло шефа, больно уж незаменимым оказался в роли заместителя. А тут еще Дуликов. Вот и отдался Георгий Давыдович страстям чисто человеческим, из которых наиболее человеческой почитал страсть к хорошей еде, прежде всего национальной, армянской. Вот и кушал всегда, когда время позволяло. Здоровье имел хорошее, лишь изредка маялся, после праздников, когда по разным приемам приходилось съесть по четыре обеда кряду. А ведь потом, хочешь не хочешь, ноги, верней, колеса, несли его в дом к младшему зятю, а там попробуй не обожришься. Вот и прихварывал иногда. Но только по праздникам.

Детей у генерала не было. На досуге, с помощью профессионального журналиста Подсосина, написал он и издал свои мемуары о Великой Отечественной – “Смело мы в бой пошли!”, снял потом кинофильм по этим мемуарам, шестисерийный, с партизанами и настоящими танками, с артистом Лонным в роли разведчика Курбатова и даже с самим Резникяном в роли Гитлера. Получил Государственную премию по кинематографии, в которой, правда, не смыслил ни уха ни рыла, но очень этой премией гордился. Хотя о действительных заслугах Шелковникова перед советской властью знали, пожалуй, всего три-четыре человека. Даже всесильный Ливерий, пожалуй, не знал, а лишь узнавал кое о чем от премьера в туманной форме: “Нам стало известно...” А за пределами России о всех его исторически-важнейших делах знали, пожалуй, еще три, не то четыре человека. Но тут уж ничего не попишешь. Пописывать Георгий Давыдович вообще любил, не одни только мемуары числил он в своем литературном активе, хотя пописывал, ясно дело, не собственноручно. Об этом еще меньше людей знало. Но это так, на черный день.

Генерал поднялся в лифте. В прежние годы, еще в семьдесят пятом, скажем, он, иной раз, моциона ради, поднимался и пешком. Теперь – дудки, годы его не те, шестьдесят второй пошел, не был бы генерал-полковником, так был бы пенсионером. Что среди руководства КГБ он был моложе всех – это роли не играло. Дверь в квартиру свояка уже стояла открытая, телохранитель позвонил. Молодец он, кстати, этот Сухоплещенко, чин ему очередной пора. А из квартиры свояка пахло. Долмой. Кюфтой. Больше ничем: за попугаями дед к этому времени чисто прибрал с помощью тихо проклинавшей свою горькую, хотя чрезвычайно хорошо оплачиваемую судьбу Ираиды. Дед Эдуард с Рыбуней на плече; за ним, несомненно как младший по званию, Аракелян,

традиционно для начала в фартучке – мол, только что сервировать закончил, а на кухне даже еще присматриваю. За ним стройная Наталья. Внуки пока что у себя в комнате, их только к столу выпустят. Георгий Давидович осторожно протиснулся в дверь, уже слегка для него узковатую, поздоровался со всеми. Телохранитель, все тот же незаменимый капитан, внес ящик “Еревана”, без этикеток, прямо с розлива. Все как обычно. И сразу – кушать, к столу, все свои, без церемоний обойдемся. Большую часть “Еревана”, кстати, сразу отдали охране, расположившейся вдоль пути от квартиры к машине и еще под окнами, и еще в квартирах у соседей, давно привычных и безропотных.

Кушали и кушали. Лихой Рыбуня только раз за весь обед сорвался и гаркнул, – но не чреватое политическими осложнениями “Москва – Пекин”, а совершенно уместное: “Здравия желаю, господин генерал!” – “И ты будь здоров”, – ответил Георгий Давыдович и, двинувши в воздухе рюмкой в сторону попугая, оную тут же и выпил. А полковник знай себе метал на стол деликатесы, понимал, что для него лично никакого другого пути к сердцу шефа нет. После долмы, за бастурмой, перекурили; дед откланялся, Наталья тоже, Георгий Давыдович ей ручку поцеловал и сказал, что Елена тоже в гости придет, как только с Тайваня вернется. Остались вдвоем и только тогда расстегнулись.

– Врагов читаешь? – напрямую, но очень доверительно спросил генерал, разумея машинописные и размноженные ксероксом тексты передач “Голоса Америки” и “Свободы”. Аракелян кивнул и генерал продолжил: – Ну, и что скажешь? Как тебе эта новость с Романовыми?

– Никак, Георгий Давыдович, кому нужны теперь в России Романовы? – неуверенно ответил Аракелян, у него до сих пор не шел из головы давнишний уже теперь разговор с Абрикосовым.

– А напрасно, Игорь. Все на свете надо принимать в его данности!

Аракелян ничего не понял, но на всякий случай повинно склонил голову.

Шелковников продолжил:

– И Романовых надо принимать в их данности! Мало мы монархистов разоблачили за годы советской власти? Нет, не мало. А что это значит? А это значит, что монархистские настроения все еще сильны как в нашей стране, так и за рубежом, даже, исходя из конкретных данных, все усиливаются в настоящее время и, можно предположить, будут все более усиливаться в дальнейшем. А что это значит? Что, вот скажи мне на милость, если уж ты занимаешь высокую должность в нашем комитете, если уж ты отвечаешь за спокойный сон детей нашей родины, что все это означает?

Аракелян, сердце которого сквозь кюфту, обреченно булькающую в желудке, медленно проваливалось в пятки, на всякий случай непонимающе кивнул, словно бы с повинной пришел. Шелковникова это удовлетворило и он продолжил:

– А следует из этого, дорогой Игорек, что Романовых нам ни в коем случае со счетов скидывать нельзя! Сейчас, и только сейчас, нам предстоит самый последний и самый решительный бой! Законна ли советская власть? Безусловно законна. Достаточно ли законна? Постороннему взгляду, конечно, покажется, что достаточно. Но ничто не может быть признано достаточным в

самодостаточности, когда речь идет об укреплении основ законности советской власти! Законная власть в нашей стране, как ясно, надеюсь, каждому пионеру, должна не просто оставаться законной, она должна неустанно утверждаться в своей законности, становиться все более законной!

– Неужели вы, Георгий Давыдович, всерьез думаете, что за этими самыми старшими Романовыми стоит какая-то сила? – вякнул полковник.

– Ого-го! – заколыхался генерал, раскуривая армянскую сигарету (с виргинским табаком, правда, но это ему лично и еще знаменитому генерал-композитору Мелкумяню такие набивали). – И еще какая сила! Говорю тебе, бой предстоит очень и очень решительный!

Аракелян еще раз склонил голову, выражая готовность на таковой бой идти вслед за свояком. Червь, точивший его сердце, вырос до размеров хорошей анаконды.

– И еще скажу тебе уже не по-служебному, Игорь. Может, это тебя и удивит, но заявляю тебе со всей партийной категоричностью: в другой раз обращаться за консультацией к полковнику Абрикосову я тебе запрещаю! Без моего на то заблаговременного разрешения, разумеется. Кстати, выпей моего личного, – капитан, дайте полковнику пятьдесят граммов!

Возникший из-за двери Сухоплещенко поднес в серебряной стопочке немного темно-коричневой жидкости. Шустовский коньяк десятого года сделал свое дело очень быстро, полковник, начавший терять сознание, пришел в себя. Так вот что за связи отыскал Шелковников через деда Эдю! Так вот отчего он, Аракелян, жил в попугаячьем дерьме. Но делать было нечего.

– А кофе где? – спросил Шелковников бодро.

Кофе через минуту внесла Ираида, – как ни странно, именно кофе она варить научилась. Джезва для хорошего кофе должна быть все время более или менее одна и та же, но в доме Аракеляна это не получалось, их разгрызали и употребляли на заточку клювов попугаи. Однако несколько лет назад генерал подарил свояку две привезенных из секретной поездки на Цейлон джезвы, – их попугаи почему-то оставили в покое. Вот в них-то и внесла кофе Ираида, и, судя по реакции генерала, кофе и на этот раз получился хороший. Сам Аракелян никакого вкуса не ощутил. А Шелковников выпил чашечку, застегнулся, встал и откланялся.

– Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? Так что подумай, Игорь, на досуге над моими словами. Нам, еще раз повторяю, предстоит очень решительный бой, и будет очень печально, если мне в этом бою придется воевать не с тобой, а тебя... Это был бы неравный бой, дорогой... – зловеще закончил генерал и, кивнув, вышел вместе с телохранителями.

Аракелян закрыл за ним дверь и затворился в туалете. И тут же с кухни раздался дикий вопль, почти сразу, шаркая, пробежал туда дед: он-то первый понял, что невоспитанный Пушиша опять клюнул Ираиду. Но Аракеляну было уже не до того.

Потом он с трудом дошел до своего кабинета и затворился там. Налил полстакана забытого телохранителем “Еревана”. Коньяк, с нетипичным количеством градусов – 57, проскользнул по пищеводу, обожженному рвотой, и

не принес облегчения. Тогда Игорь Мовсесович присел к письменному столу, взял себя в руки и включил радио. Раз уж ему велели слушать – он будет слушать их сию же минуту, не дожидаясь утренней расшифровки. Аппаратура, слава Богу, была у него такая, что никакие хилые глушилки “Голос Америки” не удушали. Часы показывали четверть десятого, информационный выпуск он уже пропустил, “События и размышления” шли в программе предыдущего часа. Так что сейчас могло оказаться что угодно.

“...икрофона Аделаида ван Патмос, – бодро прощебетал приемник. Начинаем программу “Из мира коллекционеров”, в которой расскажем вам о редчайшей находке нью-йоркского нумизмата и о происшедшем из-за нее аукционе. После окончания этой передачи наш сотрудник Альберт Пунявский в программе “Меланж за декаду” расскажет нам о загадочном городе, возрождающемся из руин каждые десять лет. И в конце часа новости медицины”.

“Будь ты проклята, – подумал Аракелян. – Ничего о Романовых”. Но решил принять и такое меню – чтоб не оставаться наедине со страшными словами Шелковникова. Прозвучало несколько тактов музыки, вроде того регтайма, под который в “Иллюзионе” немые фильмы крутят. И опять полилась передача, заструился щебечущий голос вечной Аделаиды ван Патмос, уже тридцать лет слушал Аракелян его по радио, и еще два мужских голоса тоже отличал – из них один, впрочем, вещал по Би-Би-Си, – прочие сливались в памяти.

“Может ли стоить рубль – сто тысяч долларов? Этот вопрос многим нашим слушателям покажется, может быть, бессмысленным, чтобы не сказать – глупым. Ведь по официальному курсу рубля, который, как известно, много выше его реальной покупательной способности, – цена советского рубля составляет неполные два доллара. А ведь эта цена сильно завышена, советский рубль не котируется на рынках мировой валюты! Как же может рубль стоить сто тысяч долларов? Кто согласится заплатить эти сто тысяч за него? Ответ на этот кажущийся неразрешимым вопрос прост. Такую сумму за рубль с удовольствием заплатит любой состоятельный нумизмат. Конечно, не за простой рубль. Лишь некоторые рубли – а такую монету чеканят в России с середины семнадцатого века – стоят на рынке по-настоящему дорого, как например рубль 1825 года с профилем никогда не царствовавшего императора Константина Первого...”

“Уж это мы знаем, – подумал Аракелян. – Дед для Ромео еще в позапрошлом году “Гангут” купил за две с половиной, положил неведомо куда и сказал, что к совершеннолетию подарит, – но оказалось, что дедово совершеннолетие – это двадцать один, другого дед не признает, ждать еще Ромке того рубля и ждать...” – Несколько фраз диктора промелькнуло мимо сознания полковника, а голос Аделаиды тем временем продолжал:

“... в американских коллекциях. О своей находке Батлер сделал доклад в Нью-Йоркском нумизматическом обществе, упомянув при этом, что, возможно, предложит обнаруженный уникат к продаже на аукционе в связи с тем, что русские серебряные монеты не входят в круг его основных нумизматических интересов. Как сообщают, еще до окончания доклада Батлера известнейший английский нумизмат лорд Бэнкс прислал Батлеру записку, где предложил ему

двадцать тысяч долларов, – возможно, намереваясь предложить и большую сумму...”

“Совсем как мы с дедом торговались”, – грустно подумал полковник.

“Многие слушатели, возможно, задают себе вопрос: каким образом рубль с портретом и вензелем императора Александра Первого мог быть отчеканен в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году, когда императора уже тридцать лет не было в живых, а на престол только что взошел император Александр Второй, его племянник? Возможно, те из наших слушателей, кто слушает по четвергам программу Людмилы Густер “Среди книг”, уже знают о том, как потрясла в последний месяц умы американцев ставшая бестселлером книга Освальда Вроблевского “Федор Кузьмич: конец тайны”, выпущенная в ноябре издательством “Будрыс”. Возможно, именно потому, что какая-то часть правительства и, несомненно, часть царской семьи знала о том, что царь Александр Первый жив, и после смерти императора Николая ждала возвращения на престол законного правителя, – возможно, императорскому монетному двору были даны инструкции – конечно же, сразу отмененные, – отчеканить рубли, подобные обнаруженному Батлером. Возможен и другой вариант, а именно, что известнейший уральский промышленник Димитрий Свиблов, приверженец негласно отрекшегося от престола императора, отчеканил эти монеты на своем знаменитом “подземном дворе”, раскопки которого были начаты перед самой революцией и до сих пор не доведены до конца, если верить сообщениям советской печати. Но самое важное для коллекционеров то, что обнаруженный уникат безусловно не является подделкой, ибо, исходя из данных спектрального и других проведенных анализов, монета изготовлена из уральского серебра в середине прошлого века и тогда же некоторое время находилась в обращении, чем объясняется некоторая потертость портрета. Именно это и привлекло многочисленных фанатиков-нумизматов на аукцион, состоявшийся в Бруклине двадцать девятого ноября. Единственный пока что в Соединенных Штатах рубль, уже получивший у нумизматов имя “Старший Александр”, был продан в итоге за сенсационную цену в сто девяносто шесть тысяч долларов известному американскому нумизмату и торговцу...”

“И здесь Романовы, и опять старшие”, – с ужасом подумал Аракелян, рука его тянулась к телефону и отдергивалась: последние месяцы он жил в относительном спокойствии, знал, что если уж вовсе ничего нельзя будет понять – можно позвонить Абрикосову. А теперь и этого нельзя. Худосочный телепат внезапно оказался равен ему в чине, и Аракелян чувствовал в сравнении с ним себя примерно так, как презренный Углов по сравнению с ним, Аракеляном.

“...тересно также сообщить и о том, что президент Сальварсана Хорхе Романьос, недавно заявивший в интервью, данному корреспонденту журнала “Шпигель”, что он сам является прямым и законным наследником династии Романовых, сообщил ему также и о том, что в его личной нумизматической коллекции рубль, подобный обнаруженному Батлером, давно имеется, так же как и аналогичный полтинник...”

“Еще один...”, – с мистическим ужасом подумал Аракелян.

“... но об этом вы сможете подробнее узнать из наших следующих передач. В окончании передачи напоминаю, что программа “Из мира коллекционеров” передается по понедельникам...”

Аракелян уже ничего не думал, он тихо, не меняя выражения лица, плакал. События были ему не по росту, они были для него чересчур великими, всемирно-историческими, ему не хотелось вообще никаких событий. Слезы стекали по его каменному лицу и терялись в уголках губ.

– Попка, попка, попка я, попка я несчастная! – заорал в комнате у деда невоспитанный попугай Пушиша. Полковник не слышал его.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 16

Евгений Витковский

XVI

– Сегодня. сейчас зазвонят колокола, и люди будут праздновать рождество, – тихо сказала Баба Яга.

Ирина Сабурова. О сырых и убогих

– ... В случае же вступления России в Международный Валютный Фонд после реставрации дома старших Романовых, однако позднее, нежели в 1986 году...

– Дотянитесь, О'Хара, до клавиши вон там под телефонной книгой и пусть Эриксен оторвется от индейки, пусть кофе сварит. Механический на меня больше не действует.

Форбс опять сидел в своем рабочем кабинете за столом-пультом. На сей раз поверхность стола, обычно девственно-чистая, сплошь была завалена служебными бумагами, распечатками, копиями журнальных вырезок, отчетами, справочниками и весьма значительным количеством светло-зеленых тетрадок – бюллетеней ван Леннепа, среди них попадались и более старые, темно-зеленые, которые выпускал давно покойный предиктор Уоллас. Только вчера пришел последний бюллетень голландца, и со спокойствием, с которым принимал в жизни и величайшие радости и горчайшие неудачи, генерал узнал, что после реставрации в России Романовых, вероятность которой сейчас уже превысила критическую величину и стала вполне возможной, институт оптимизации прошлого в недрах Элберта будет иметь работы еще больше, чем раньше, так что об отставке думать не придется никому, кроме... – Дальше следовал длинный список, но в нем все мелочь одна, даже проклятый Аксентович там не фигурировал. Вся грандиозная операция шла более или менее по плану, но из-за нее больше двух месяцев уже не имел генерал ни минуты личной, древнекитайской жизни. Даже сегодня, в канун европейского Рождества, он вынужден был готовить доклад о ходе реставрации династии Старших Романовых, – иначе не поспеть ко дню инаугурации нового президента. Впрочем, доклад в данном случае играл роль скорее наполнителя времени: чем бы ни заниматься, лишь бы что-нибудь делать. Проклятый

голландец в последнем бюллетене ни много ни мало велел ему, генералу американской армии, человеку почти никому не подчиненному, сидеть нынешнюю ночь на рабочем месте и ждать событий! Когда бы не полная непогрешимость предиктора, – Папе Римскому такая не снилась, – Форбс бы решил, что над ним издеваются. Но сколько раз уже светловолосый мальчик “снял комплексы” у правительства США; случался кризис с заложниками в Иране, а мальчик говорил – не извольте беспокоиться, посидят и выйдут, занимайтесь чем понасушнее, правда, заложники еще в Иране, но меньше чем через месяц будут на свободе; проигрывалась Советам Ангола, а предиктор говорил: плюньте на Анголу, занимайтесь чем понасушнее, этой страной есть кому заняться и без вас, вообще этим другой предиктор занимается, – кстати, о Небо, сколько их вообще в мире всего, предикторов-то? И мальчик спокойно отвечал: кроме меня, всего двое живых на службе, да еще двое на вольных хлебах, но их не берите в голову. Да как же не брать в голову и не психовать, когда, значит, ты сам, Геррит ван Леннеп то есть, второй у буров есть, тоже ведь по происхождению как бы голландец, а третий кто, черт его дери? Голландский мальчик холодно отвечал, что о третьем не беспокойтесь, он скоро самоустранится. Получалось так, что один только пророк из занюханного Хенгело знает – что кому нужно, чем кому заниматься, зачем мы вообще живем, за что деньги получаем. И сегодня, в ночь под Рождество, сидит себе голландский мальчик над гороховым супом с копчушками при кальвинистской елочке, а он, генерал Форбс, слушает доклад, работает, как... не будем уточнять цвета кожи, словом, меланинодефицитный труженик на плантациях. Поневоле начнешь думать об отставке, хотя знаешь, что никто тебя в нее не отпустит и сам ты первый на своем же заявлении крест поставишь. Телепатов среди генералов все-таки маловато!

– Таким образом, золотой паритет будущего рубля Российской Империи, с пренебрежимо малой степенью от прогноза в случае успешной реставрации, в 1990 году составит...

– Проследите, О'Хара, чтоб конечный текст не содержал никаких “в случае”. Еще раз дотянитесь до клавиши, нажмите и не отпускайте, пусть у него индейка в желудке от звонка закудахчет. Жмите сильно, чтоб визжало на всю лабораторию!

Из-за стены, из-под пола, несмотря на все слои изоляции, ползло “Белое Рождество”, Бинг Кросби был вездесущ, – или не Бинг Кросби? Оборотень Теодор Лавери из сектора Аксентовича блестяще умел в Кроссби превращаться. Бедный Лавери, стоит сейчас, превратившись в слониху, и ждет абортистов. В любом другом облике ему уже пришлось бы рожать. А слонихи носят по восемнадцать месяцев, у Лавери пока всего четыре, как раз самый срок для слоновьего аборта. Прочим оборотням предстоит то же самое или что-нибудь похожее, у многих срок беременности оказался меньше, так что, по счастью, сектор трансформации представляет сейчас не один сплошной слоновник, но есть там и тапиры, и бегемоты... Господи, когда же будет инаугурация, когда же этого почетного польского придурка отсюда уберут? А ведь не ровен час, так еще и... не уберут. Вон в Польше что. И предиктор к тому же ничего хорошего в

этом нынешнем польском хозяйстве не сулит. Разве только Романовых удастся реставрировать очень быстро. Но это пока что, увы, далеко от воплощения, наследник-то нашелся, но его будущее место пока что занято, и никто точно не знает, каким образом оно свободным станет, хотя, опять-таки, ван Леннеп не велел на этот счет тревожиться. Попробуй не потревожься. Хотя, когда предиктор говорит: “Не делайте”, это чаще всего означает: “За вас другие сделают”. Кто же, холера им в бок, уберет эту самую ихнюю власть, каким образом расчистится трон для Павла? Впрочем, все, что говорит предиктор, неукоснительно исполняется. Скажем, он предсказал, что генерал Форбс угробит праздничную ночь на слушание идиотских докладов и мнений о реставрации, будет чуть ли не до утра корпеть над докладом для нового президента. Будто не будет в первые дни президентства у этого бывшего конференсье иных забот, как выяснять мнение Международного Валютного Фонда о золотом паритете русского имперского рубля. Впрочем, именно для этого президента дело реставрации Дома Старших Романовых – первоочередное. Ван Леннеп предупредил, что если через пять лет она не будет закончена, то быть Штатам финляндизированным придатком к Советам, если не чем похуже.

– Из всего вышеизложенного следует, что одна четверть квоты, которая будет внесена Российской Империей в Международный Валютный Фонд золотом частично в слитках, частично неполноценной золотой монетой, так называемой бойкотной, иначе говоря, олимпийской чеканки 1980 года...

– Эриксен, сию же минуту варите кофе заново, этот выкипел!..

А кроме того, все равно все не прочтешь и не прослушаешь. Так, для порядка, прочесть нужно основные бумаги с наиболее звучными подписями. С остальным пусть О'Хара сам возится. Кстати, вчера предиктор как бы невзначай обмолвился генералу, что этот самый О'Хара натуральный болгарский шпион, работающий на весь восточный блок сразу и еще на кого-то. Ну, вот и пусть работает, тем более что почти все его силы уходят в Элберте на блокировку от телепатов, – даром они уходят, кстати, от телепатов прикрыться можно, а от пророка? Пусть, в конце-то концов, советские боссы и узнают хоть что-то. Авось будут среди них и те, кто препятствовать реставрации Романовых не очень склонен, они, судя по предсказаниям, даже и службу не должны бы потерять, – хотя Павел Романов, с которым, увы, уже нужно считаться, настроен против них в высшей степени. Ну, а те, что сопротивляться собираются, – пусть тем более знают, недаром у них у всех дачи – у кого под Ментоной, у кого возле Майами. Шеф полиции, милиции советской то есть, Витольд Безродных, насмешил весь западный мир тем, что выстроил себе дачу с искусственным климатом на Земле Фредерика VIII в Гренландии, причем строительство заложил уже давно, когда Гренландия только-только независимость получила, достроил только теперь, но со спутников вся стройка фотографировалась регулярно, а фотографии, как и полагается в демократическом обществе, регулярно выкрадывались и публиковались во всем мире. Не позавидуешь ему, климат там не хайнаньский, впрочем, у него он все равно искусственный... А что референт шпион, так уж лучше добросовестный шпион-труженик, чем

преданный дурак вроде Эриксона, который два раза одинаковый кофе сварить не может.

– Положительное сальдо платежного баланса...

– Налейте и себе, О'Хара. Вы совсем засыпаете. К сожалению, спиртного сегодня нельзя, от Джексона тогда не избавимся.

Бестселлер Освальда Вроблевского, подготовленный, кстати, еще в октябре, а теперь изданный огромным тиражом и спешно переводящийся на основные мировые языки, – перевод на русский уже в типографии, кстати, – тоже валялся на столе Форбса. Автор, профессор Гарварда и довольно известный беллетрист, исключительно бойко разворачивал повествование о жизни старца Федора Кузьмича, начиная с трагических таганрогских дней, со странного прощания с закрытым гробом. Книга изобиловала таким количеством трогательных подробностей, что, пожалуй, следовало ожидать в ближайшее время увеличения числа прихожан в русских церквях. Пусть. Не Форбсу, то ли конфуцианцу, то ли буддисту, он и сам плохо понимал, кто он на самом деле, было бороться с такими вещами. Автор книги, кстати, проводил интересную мысль, что самая прекрасная и законная форма государственного правления – сантократия, форма государства, при которой во главе правительства стоит святой человек. А если не святой, их вообще-то мало, то пусть правит потомок святого. Воздавалось должное и императору Константину Багрянородному, и королю Людовику Святому, заодно уж и мученику Николаю Второму, хотя тот и происходил из младшей линии узурпатора Николая Первого. Мол, уж если б оставались у него сейчас какие-нибудь прямые и законные потомки, то вполне можно бы ставить вопрос так, чтоб в России было два царя сразу, что уже имело место в прошлом, почему бы бы в будущем не быть тому же? Но – увы. Вел повествование Вроблевский убедительно и аргументированно, ссылаясь на подлинные документы, частью давно заготовленные институтом Форбса, частью аккуратно фальсифицированные, – время не терпело, важна была цель, а не средства. Когда Павел станет императором, на место фальшивок можно будет вставить подлинные документы, подготовить новое издание. Вроблевскому, кстати, принадлежала также и богатая мысль о том, что истинной целью русской революции 1917 года было лишь свержение младшей линии дома Романовых, безусловно, с целью возведения на престол царя из старшей ветви династии. Октябрьский же переворот пришлось устраивать потому, что революция начала перерождаться, и, дабы закрепить ее завоевания, дабы выполнить подлинные предназначения судьбы, как раз и встал во главе России кремлевский мечтатель. Разве не писал он о прогрессивности войны 1812 года? А ведь именно старец Федор Кузьмич был в конечном счете победителем армий Наполеона! Ясно, в лучших своих грезах кремлевский мечтатель видел, как в России по окончании голода и разрухи престол перейдет к потомкам Федора Кузьмича. Он ведь уже объявил НЭП! Но – явился новый узурпатор, Сталин. Этот хотел короноваться сам. Однако не посмел, знал о том, что где-то цело, где-то сберегается подлинное семя русских царей. Поэтому он и способствовал массовым репрессиям, надеялся на закон больших чисел – мол, чем больше народу погибнет, тем вероятней погибнут и наследники русского престола. И тысяча

книксенов русскому народу. Пусть его, так надо. Лишь бы не стали американского подданства всей страной требовать. Со дня на день, кстати, должен был выйти на экраны двухсерийный голливудский боевик “Анастасия Первая” – повесть о любви юной сибирской дворянки и старого императора.

– И сама перспектива принятия Российской Империи в Международный Валютный Фонд, несомненно, может рассматриваться только как явление глубоко положительное и для самой организации, и для США в частности.

– Отличная мысль, О'Хара. Полагаю, ее одну только и вставьте в доклад. Интервью Пушечникова постарайтесь сократить раз в десять. Все понятно будет из одного абзаца, почти из любого. Позвоните Эриксену, пусть и нам индейки принесет, что ли...

Некоторые моменты дела Реставрации возникли совершенно случайно, их никто не планировал. Например, коллекционерский бум: спешно повылезали откуда-то “Рубли Старших Романовых”, из которых по крайней мере один, первый, был наверняка подлинным. На рынок филокартистов выскочили тоже ранее неведомые открытки начала века, с золотым обрезом, парижского издания Лапина – портреты старца Федора Кузьмича и даже “цесаревича Алексея Старшего”. Не вызывало сомнений, что и прочие “Старшие Романовы” тоже всплывут очень скоро – на рынках нумизматов, филокартистов, филателистов, коллекционеров автографов и еще неведомо чего. Но всего неожиданней оказалось интервью, данное знаменитым писателем Пушечниковым.

Пушечников, лауреат Нобелевской премии, был посажен в СССР за решетку, ибо отказался от этой премии отказаться. Вскоре, впрочем, советское правительство обменяло его на приличную статую с острова Пасхи: руководитель страны, впадая во все более непроглядный маразм, решил такие статуи коллекционировать. Пушечников обосновался в Штатах, купил кусок леса под Сиэтлом, что-то там себе выстроил под жилье и стал регулярно из этого леса выходить с посохом, везя за собой на тележке рукописи новых романов, а чаще – переработанные и исправленные в безнадежно худшую сторону варианты старых, тех, за которые шведы ему дали премию.

Пушечников давал одно-два интервью, потом произносил пять-шесть пророчеств, обычно свидетельствовавших о его полном незнакомстве с бюллетенем ван Леннепа. А неделю назад вышел он из лесу без всякой рукописи и дал интервью приблудившемуся корреспонденту Эй-Би-Си. Писатель поведал о том, что во время своего краткого пребывания в Дубровлаге, в первый же год после четвертого ареста, он оказался соседом по нарам некоего старого человека, одного из лучших учеников русского историка Ключевского. Что с тем человеком случилось позже, Пушечников не знал и поэтому пока не решался назвать его фамилию – вдруг тот оказался бы жив по сей день, хотя вряд ли, ибо в Дубровлаге в сорок восьмом году ему было уже далеко за восемьдесят. Так вот, вспоминал Пушечников, старик еще тогда рассказывал ему историю Старших Романовых как услышанную лично от Ключевского, и вот именно тогда, как раз тогда – тут Пушечников переходил на пророческую интонацию – особенно буйно возросло в его, пушечниковской, душе чувство боли за Россию, чувство истинно монархистское, чувство стыда за

страну, подлинного царя которой предали те самые декабристы, которые Герцена с теплой койки согнали, из-за которых весь растреклятый коммунизм и приключился!

– Окончательный меморандум Международного Валютного Фонда...

– Да хватит уж, О'Хара. Вы ведь... э... католик, а я вас Рождества лишаю.

Вызовите Эриксона, а то он от сожранной индейки скоро кулдыкать начнет.

О'Хара исчез мгновенно, – сразу видно, что профессионал. На мгновение Форбс расслабился и мысленно вернулся в свой частный кабинет, к китайским свиткам. На сей раз – к висевшему слева от стола “Портрету неизвестного императора эпохи Южная Сун”. Хотя... Увы, последнее время Форбс уже ненавидел само слово “император”, одна радость, что китайское “ди” – это много больше, чем “император”. Да и вообще – куда России до Китая. Древнего. Генерал вздохнул и мысленно вернулся на службу, где ждали своего прочтения сводки монархистских настроений в стройных рядах советского правительства, среди рабочих московских автозаводов, в разных других слоях, экономические прогнозы, прогнозы реакции со стороны КНР, Тайваня, Японии, Англии, Франции, еврокоммунистов, советских диссидентов, израильского кнессета, архаистской фракции гренландского риксадага, князя Лихтенштейнского...

Вошел Эриксен, и одновременно загудел селектор. Звонил секретарь мага Бустаманте, Нарроуэй. Звонил по прямой: значит, случилось что-то важное и Бустаманте не может позвонить самостоятельно. Генерал ткнул в клавишу:

– Что?

Из селектора донеслась мелкая зубная дробь.

– Что случилось, говори немедленно!

Селектор клацнул – на том конце кто-то пил воду. Наконец, донесся голос с почти забытым австралийским акцентом:

– Генерал, на маэстро напали из воздуха!

Форбс все-таки не зря угробил рождественскую ночь на скучные бумаги. Все-таки не зря ван Леннеп получает свой необлагаемый налогами миллион по первому требованию. Корявая рука генерала немедленно пробежала по верхнему ряду клавиш пульта, вызывая в офис к Бустаманте всех основных магов и тавматургов института, нужных и ненужных, – впрочем, из них реальная надежда была только на одного, на Мозеса Цукермана, ибо, что поделаешь, маги, равные Бустаманте, рождаются даже не каждое столетие. Зато, как знал генерал, в какой бы амок не вошел накурившийся опиума Цукерман, – а что ему, еврею, делать в гойский праздник? – через несколько секунд он возникнет в приемной Бустаманте, подтянутый и побритый. Цукерман полностью владел древнебирманским искусством размыкания времени. Не зря в прежние годы, когда он еще перебивался, по собственному его выражению, “с цимеса на цурес”, преподавая астральное каратэ в городе Кеноша, его боялись даже местные гангстеры. На всякий случай вызвал Форбс еще и радиоактивное чудовище, мексиканца Сервальоса, а также “термического престижитатора” – как некогда обозначалось на его цирковых афишах – Рубана-Казбеги, якобы кавказского князя, на самом деле валашского нестинарца-огнеходца, доведшего древнее искусство до логического абсурда, ибо в его руках плавилась даже

огнеупорная керамика. Вызвал также и робкого волшебника по имени Тофаре Тутуила, только-только завербованного где-то в Тихом океане и вообще неясно пока, что умеющего, однако получившего очень благоприятный прогноз от предиктора. Форбс вышел из-за стола и, насколько позволял возраст, заспешил к Бустаманте.

Он вошел в приемную мага, когда все главные события, кажется, уже закончились. В дверях кабинета исчезла спина Бустаманте – секретарь уводил мага полежать на диван, кажется, маэстро нуждался в стакане чего-нибудь изысканно-итальянского. Посреди обитой штофом приемной стоял Цукерман, сгорбленный старый еврей со всклокоченными вокруг сверкающей лысины седыми волосиками. Руки его были разведены так, словно к впалой груди он прижимал здоровенную дыню; никакой дыни, однако, не было, но как бы в центре этой воображаемой дыни без видимой поддержки висела старинная немецкая пивная кружка, фарфоровая, с герметической крышкой и готической надписью: “Привет из Габлонца”. Обычно в этой кружке – только тогда крышка бывала откинута – на столе секретаря в приемной Бустаманте стояла одинокая роза. Сейчас крышечка была накинута, и, видимо, Цукерману стоило немалых усилий поддерживать кружку в воздухе. Он вращал глазами белками. Сервальос, темнокожий, не то мясник, не то бармен, безразлично стоял у стены, он помочь ничем не мог, – между делом Форбс подумал, что уже пятнадцать лет этот маг только переводит средства налогоплательщиков, на кой черт нам искусственная радиация, мало, что ли, той, которая без магии возникает? “Кавказский князь” Рубан-Казбеги, напротив, был занят делом: плавил в ладонях массивную металлическую пепельницу – тоже со стола секретаря – и, похоже, собирался расплавленным сгустком заварить кружечку. Тофаре Тутуила сидел за спиной Цукермана в позе лотоса, видимо, отдавал еврею энергию. Форбс не впервые убеждался, что подвластные маги работают на совесть. Через минуту вернулся секретарь Бустаманте, потрясающе похожий физиономией на О'Хару, Форбс немедленно решил, что это тоже шпион. В воздухе пахло озоном и серой. Секретарь отрапортовал:

– Господин генерал, двенадцать минут назад маэстро приступил к очередной вентиляции стеклококона пана Аксентовича и внезапно испытал приступ асфиксии: неизвестный противник пытался в газообразном состоянии проникнуть в его дыхательные пути и, вероятно, в мозг. В настоящий момент противник обезврежен и заключен в герметический сосуд. Господин раввин предлагает запаять сосуд и бросить его в Бермудский треугольник.

Форбс сосредоточился: сейчас должен заговорить сам Цукерман, а понимать его речь было делом тяжелейшим. Выполняя условия контракта, обращаться к нему полагалось только согласно дипломатическому протоколу – “господин раввин”, никогда не переспрашивать и, хоть лопни, всегда понимать то, что он излагал на чудовищном еврейско-украинско-бессарабско-русском жаргоне прошлого века, с незначительными английскими вкраплениями.

– Господин раввин, вы считаете, что в подлинном облике противник материален? – с предельной осторожностью задал Форбс профессиональный вопрос.

– Герехт, – сипло ответил Цукерман, – алэ тепер ганц гит. Гиб мир, кавказим, а шматок расплавлени платина!.. Шейне рэйне капорем!..

Кажется, тот, кто сидел в кружечке, всю эту галиматью как-то понял, кружечка дернулась и взорвалась, не осколками, а как бы распалась на атомы. Маг отпрянул – у его ног сидел совсем молодой и хрупкий мальчик очень восточного вида, и вся одежда мальчика состояла из черных сатиновых трусов со сборками, чуть ли не до колен. Форбс сделал шаг назад, ибо понял, что, материализовавшись, противник просто сдался на милость победителя.

– Прошу рассматривать меня как официального представителя... – на очень плохом английском произнес мальчик.

– Пока что вы арестованы, – отрезал Форбс. – Господин раввин, помогите мне во имя Иеговы отконвоировать арестованного.

Повернулся и пошел, не глядя. Теперь уж и совсем стало ясно, зачем голландец усадил его, генерала, на рождественскую ночь всякую чушь слушать. Допросить мальчика следовало немедленно. Но когда же, о Небо, найдется время на личную жизнь, на медитации?

Цукерман, шаркая ногами, плелся за восточным мальчиком, а тот, в свою очередь, ковылял за Форбсом. Большой охраны не требовалось: старый и хилый на вид еврей был единственным за пределами Японии каратэком восьмого дана. Был он и недурным магом, особенно же блестяще справлялся с ролью мага негативного, иначе говоря, обладал способностью разрушать чужие чары. При этом он, что весьма странно, не был телепатом и летать тоже не умел, хотя не единожды заявлял, что эти способности обретет, когда отберет их кое у кого. Коридор заметно шел под уклон; Форбс направлялся к барокамерам, как к самому подходящему помещению для диверсанта, обладающего умением переходить в газообразное состояние. Кроме того, Форбс слышал довольно сильное телепатическое поле мальчика, и лишние футы свинцовой изоляции во время допроса помешать никак не могли; пока что единственным телепатом в мире, для которого свинцовые стены были тоньше бумажных, числился Атон Джексон. Часовой возле барокамеры, не выпуская из левой руки ни бластера, ни индюшачьего крылышка, правой отдал честь и пропустил всех троих в люк: допросы такого рода редкостью не были. Кресло внутри оказалось одно, второе по случаю Рождества кто-то куда-то вытащил, вытащили бы и первое, но оно было наглухо впаяно в пол, – в него опустился Форбс, мальчик пристроился на полу по-турецки, Цукерман присел на ступеньку. Магу было очень важно, чтобы обращались к нему только “господин раввин”, просили о чем-либо только “во имя Иеговы”, а вот на чем сидеть – это роли не играло. Мальчику, похоже, было холодно, однако раньше времени снабжать шпиона удобствами генерал не собирался.

– И зачем ты сюда пожаловал? – угрюмо спросил он.

– А вот не скажу. – Форбс, впрочем, уже знал, что мальчик киргиз, что имя у него почти непроизносимое – Ыдрыс, фамилию же он так и не смог разобрать.

– Умералиев, – буркнул мальчик.

Оказывается, мальчик читал мысли по меньшей мере не хуже Форбса, но слишком плохо знал английский, так что большой опасности не представлял.

Генерал мысленно завел пластинку с мелодией “Мост через реку Квай”, чем лишил шпиона возможности читать его мысли. Или не лишил? Затем, с трудом припоминая полузабытый язык, заговорил по-русски:

– Так зачем ты здесь?

– А письмо я вам все равно не отдам.

Все-таки, значит, не лишил. Мальчик не просто напал на Бустаманте, он еще и письмо какое-то с собой приволок. От кого и кому интересно бы знать. Если мальчик киргиз, как показалось генералу, то письмо из Совдепии, это ясно. Кстати, что-то такое очень смутное в бюллетене ван Леннепа предсказывалось, но, видимо, Форбс прочел это место недостаточно внимательно. Но национальность гостя была написана как-то иначе, греческими буквами, сплошные ипсилон в ней значились. Но мальчик опередил его мысли.

– А я не киргиз вовсе. Я кыргыз, так правильней. А прописка у меня московская, а в армию меня не взяли вовсе!

Мальчик явно лез на рожон. Цукерман тихо напевал что-то хасидское, не лишенное благозвучия. Или японское? Каратэк все-таки.

– А прислал меня махатма. Вы про него не знаете.

– Видали мы таких махатм... – Форбс осекся. К ужасу своему он понял, что именно напевает Цукерман: это было “Белое Рождество”... А еще еврей называется. Хотя маг, что для ортодокса немислимо. Вот почему не получилось мысленного блока из привычной мелодии “Мост через реку Квай”, – победно сжигая все мосты, шествовало Рождество. Но все же генерал взял себя в руки.

– Мы кое-что знаем. И про некоторых махатм.

– Не можете вы о них ничего знать про нашего махатму!

Кажется, и русский у мальчика был какой-то необычный.

– Пока что ты сделаешь следующее: отдашь мне письмо, – сказал Форбс. – Именно мне ты его должен передать. Несмотря на все твои умения.

Мальчик сделал попытку снять трусы – очевидно, хотел вывернуть их наизнанку и перейти в газообразное состояние. Форбс пожалел, что это не его сотрудник. Умение было редкое, собственно, генерал даже не припоминал, чтобы оно вообще ему встречалось за сорок лет работы.

Цукерман врезал мальчику под правое ребро, и желание делать лишние движения у того явно отпало. Но он продолжал сопротивление, пусть хоть на словах.

– Махатма велел отдать письмо толстому человеку с усами, который кино любит! Понятно? Махатма велел только ему отдать.

О, не зря Форбс корпел всю ночь!..

– Не зря, товарищ генерал. А вдруг, почему вы знаете, через меня вам продиктуют требование этого человека отдать?

Все-таки плохо, что мысленная блокировка не получалась. Мальчик был очень сильным телепатом. Но вдруг Уоллас ошибся в сроках, вдруг Советы начнут прямо нынче требовать включения в США? Мальчик молчал. Молчал и генерал. И тогда, перейдя на почти понятный русский язык, неожиданно заговорил Цукерман.

– Мальчик-мальчик, а мальчик, ты решил с нас иметь?

Мальчик обернулся с удивлением.

– Ты думаешь, мы не сделаем с тебя водяной пар еще раз? И не нагреем его как следует быть? Ты, я вижу, решил нам фирн а бод арайн, решил крутить бейтцим старому раввину. Это-таки может плохо кончиться. А что, у твоего махатмы большие погоны?

– У него нет погонов, – угрюмо ответил мальчик, – он махатма.

– Ты знаешь, ты совсем наивный. Чтоб ты знал, махатма в штатском очень даже часто бывает. Ты думаешь, старый раввин не умеет читать мысли, так он уже не видит тебя насквозь? Тебе дали московскую прописку, так махатме дали две, на каждый погон!

– У него одна, ему не дали, у него и так есть.

– Ты знаешь, мальчик, когда я был такой же маленький пацан, как ты, один гауляйтер тоже предлагал мне прописку! Брен Лэхтык! Я не был такой поц, как ты, я отлично понимал, что его прописка будет в Аушвиц! Правда, гауляйтер не крутил мне, что он махатма. А твой махатма совсем дурак, он думает, что старый раввин не сумеет забрать у него еще больше, чем уже забрал, что он всегда будет телепат, а старый раввин не будет?

Форбс, передоверив бразды допроса магу, с интересом слушал. Похоже, что газообразный мальчик собирался перейти к жидким процедурам, иначе говоря, разреветься. Старый еврей нашел какое-то его больное место. Нет, и этого мага, со всеми его придурями, тоже невозможно недооценить, – подумал Форбс и мысленно просвистал первые такты “Моста через реку Квай”, что знаменовало переход к победному настроению. Цукерман тем временем встал, оперся руками на перила лесенки, как коршун, навис над мальчиком и продолжил загробным голосом:

– Ты в барокамере, мальчик! Финская баня, градусов сто двадцать, по этому вашему хваленому Цельсию! Нам будет с господином генералом таки нахес, а что будет тебе – возьми в голову! И капурьндл виноват – не говори тогда!

– Господин раввин, во имя Йеговы, одну минутку, – прервал генерал разоравшегося мага, – может быть, мы все-таки приступим к допросу? Или к переговорам?

Мальчик обреченно посмотрел на него и внезапно выпалил:

– Скажите, а в ваших тюрьмах копать заставляют?

– Это зависит от тяжести преступления и добровольного признания вины, – машинально ответил Форбс.

– Что вы хотите знать?

– Все: как ты попал сюда, кто твой махатма, кто его начальник. Кто тебя прислал сюда, к кому, с каким поручением. Говори!

– Тогда я должен говорить с вами... с глазу на глаз.

– Ой, гвулт! Ничего, мальчик, говори смело, раввин закроет глаза и ты с генералом будешь с одного глаза на другой! Зан кейсыр шлугцехнышт! – Цукерман картинно зажал глаза руками. Мальчик помолчал.

– Я должен был передать... – мальчик сильно помедлил, прежде, чем продолжить, собрался с силами и выпалил: – товарищу Хрященко должен был передать письмо от другого товарища генерала, я его фамилии не знаю!

– Сюда! Быстро! – рявкнул Форбс.

Мальчик вытащил из-за резинки трусов помятый серый конверт. Форбс взял его и бесцеремонно открыл. Углубился в чтение. Он не все понимал сразу, но с первого взгляда осознал, что отправитель письма не то поленился письмо зашифровать, не то за этим был какой-то провокационный ход. Письмо было адресовано фальшивому поляку, а вот от кого – пока что неясно.

“Дорогой Тема, – гласило письмо, – ты, значит, жив-здоров. Уже двадцать лет как мы без связи с тобой и думали, ты пошел на мыло. Но теперь узнали, что не пошел, спасибо товарищу Живкову. Ты уже давно генерал-майор и представлен к очередному званию. Через этого мальчика черкни хоть строчку-другую, но только по-болгарски и только левой рукой. Расскажи, что там творится. Думаю, ты знаешь, что у нас скоро будет царь, но кто он, откуда возьмется, мы не знаем, наш предсказатель не видит “левый нижний угол”, а царь, он говорит, как раз там. Нам про царя все знать необходимо, потому что свое место терять никому не хочется и при царе, и тебе, думаю, тоже, так что ты скорее давай сообщи, кто царем будет...”

Форбс дочитал письмо до конца, письмо недвусмысленное, написанное на машинке, без какой бы то ни было подписи. Допрашивать мальчика дальше не имело никакого смысла, он не знал почти ничего из того, что генерала интересовало. Форбс встал.

– Жить будешь здесь, – сухо сказал он, обращаясь к скрюченному на полу посланцу махатмы, – а все, что нужно, тебе принесут. Если поклянешься... Аллахом, кажется? – и... комсомольским билетом, что прекратишь фокусы с выворачиванием трусов, тебе их оставят, нет – отберут. По всем вопросам обращаться к часовому, он вызовет меня, или, – Форбс посмотрел на мага, тот кивнул, и генерал продолжил, – к господину раввину. Кстати, обращаться к нему “господин раввин”, а ко мне – “господин генерал”, никаких “товарищей”! – Я лучше к вам буду, господин генерал, – ответил мальчик. Ненависть к человеку, который, кажется, обхапал его махатму по всем чакрам, сочилась в нем изо всех пор, заглушая даже страх перед копанием земли.

Форбс медленно доплелся до своего кабинета и плюхнулся в кресло. Поглядел на часы: четверть второго. Подчиненные, видать, уже отпраздновали, хотя сквозь пол – это сквозь треть фута свинца, выходит! – все так же доносилось “Белое Рождество”. Господи, бедный Лавери. Бедный я. Интересно, хуже романовское дело, чем аборт, или все-таки нет? Жить бы в лесу... как Пушечников. Землю бы пахать, тоже, кстати, типично древнекитайское занятие. Или чтоб за меня пахали, а я это, луну бы в колодце... Лотосы, драконов хребет горного кряжа, одинокий гусь, летящий со стороны северной границы, следы лебединых лап на снегу, глядение с башни на запад, никаких чтоб ни русских, ни американцев, лучше бы вообще никого!

Перед ним возник О'Хара.

– Генерал, простите: вот это обнаружил Нарроуэй через десять минут после вашего ухода, – он протянул на ладони расписное рождественское, тьфу, не рождественское, а пасхальное! – яйцо, – оно лежало у Нарроуэя под столом. Присмотритесь к обоим концам.

– С Рождеством вас, О'Хара. Вы ведь католик?

Референт выпрямился.

– Воспитывался в обители Св. Брандана в Уолсингеме, генерал!

– Сирота, значит?

– Сирота, генерал.

– Тогда тем более... э... с католическим Рождеством, друг мой. Можете идти. Сегодня ваши услуги больше не понадобятся. Впрочем, скажите Эриксену, чтобы последний раз сварил кофе.

Якобы-ирландец вышел. Генерал устало покатавал на ладони расписную скорлупу; содержимое было аккуратно выпущено через два отверстия, на тупом конце и на остром. Ясно же как белый день: кто-то из засланных болгарами или кем там еще шпионов принес это яйцо, воском запаянное, со стороны. А в нем, газообразный, сидел этот восточный дурачок. Какое счастье, что Бустаманте не дали в свое время покончить с собой! Ведь он собирался отравиться из-за того, что эта самая сука Луиза, кто ее фамилию теперь вспомнит, чего-то там ему не то не дала, не то недодала!

Бинг Кроссби за стеной завел что-то другое – слава Богу, Рождество уже встретили. Скоро и спать пойдут. Неужели!.. Быть может, выпадет возможность сегодня же уйти в древний Китай, ну, хоть на полчаса?

В дверь тихо поскреблись, на пороге возник робкий Эриксен.

– К вам Ямагути-сан, – нерешительно произнес он, понятия не имея, как отреагирует генерал в такой час на визит главного медиума Соединенных Штатов.

– Прошу, – отозвался генерал с оттенком ненависти, но тут же взял себя в руки. В кабинет вошел совсем маленький, едва пяти футов ростом, в европейском костюме с бабочкой вместо галстука, японец. На носу его сверкали толстенные очки, в коих медиум, видимо, почти не нуждался – он шел к столу Форбса, закрыв глаза. Форбс не удивился, он знал, что Ямагути глаза открывает два-три раза в месяц. Японец учтиво поклонился и так же, не открывая глаз, присел в кресло у стола.

– Добрая ночь, генерал, – сказал японец, – простите, другого времени не будет. С вами желает говорить предиктор Джонатан Уоллас.

Форбс подался вперед: Уоллас умер уже десять лет тому назад и никогда не позволял тревожить себя в царстве теней. А теперь вот появился по доброй воле.

– Я слушаю.

– Предиктор Джонатан Уоллас, господин генерал, от всей души поздравляет вас с наступившим Рождеством и желает вам большого здоровья, счастья, успехов в работе и личной жизни.

Японец замолк.

– Я слушаю, Ямагути-сан.

– Это все, господин генерал. Предиктор Уоллас удалился из пределов слышимости. Я не могу тревожить его насильно, он один из посвященных. Надеюсь, что не слишком вас беспокоил.

Генерал посмотрел на закрывающуюся за японцем дверь и вздохнул. Дверь

выходила на запад, туда, где лежал рай будды Амитабы. Ох, как далеко было до него нынче! Генерал залпом выпил холодный кофе.

Почему все-таки Цукерман требует, чтобы все всегда делалось «во имя Йеговы», если евреям Божье имя поминать нельзя вовсе?...

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 17

Евгений Витковский

XVII

Он получил то, чего так страстно желал и к чему так долго стремился и, может быть, нет на свете большего счастья.

Хорхе Луис Борхес. Другая смерть

Роковые одиннадцать часов снова нанесли партии почти непоправимый урон: братья Ткачевы исчезли в направлении магазина, а поскольку дни шли предпраздничные, скоро ждать их назад не приходилось. Так что, даже считая пришлого Петра Герасимовича, да еще Борис Борисович, гадина с трубкой, да еще сам Степан, партия не составлялась, а играть в домино втроем серьезный человек не станет. Пришлось звать к столу дворника, рожу китайскую. Вообще-то в обычных дворах конец декабря, когда чуть не минус двадцать на дворе, холодрыга дай Бог, домино не бывает. Но во дворе Степана был особый, возле котельной, закут, который доминошникам в холодное время служил верой и правдой. Любой другой дворник, конечно, занял бы его под жилье, не ютился бы в неотопливаемой конуре. Но этой китайской рожке холод, видать, был в самый цвет: тренируются они, что ли, на тот случай, если мы, забздев, им Сибирь отдадим по самый Урал?

Вообще-то Степан зиму меньше любил, чем там лето какое-нибудь. Летом к домино человек двадцать выходит, а то и более, все люди интересные, оборонного значения многие, а кто не оборонные, у тех все равно много важного можно узнать. Особенно кто радио вражеское слушает. Эти сведения уж точно полагалось вбирать в оба уха, ничего не упускать. В простоте душевной Степан полагал, что в Маньчжурии, конечно же, об этих передачах ничего не знают, не слышать их там, либо же русского языка не понимают, только один у них переводчик там есть, чтобы его, Степана, письма переводить, как документы самой первой важности, – Степан даже внешне его себе представлял, древний-древний такой старец, лебединое перо в тушь макает, письменами перелагает новости для императора лично. В свое время кто бы, к примеру, доложил императору о факте обмена врага народа писателя Пушечникова на стратегически важную, оборонного значения статую, могущую быть использованной также и в наступательных целях. Даже Хуан, когда это Степаново письмо переводил, был потрясен: статуя, в оборонных, – куда ни шло, но в наступательных – такого даже в Китае пока не умеют. А ведь про Пушечникова Степан и знать бы не знал, ежели бы Борис Борисович эти самые голоса вражьих не слушал день и ночь. И случалось так, что передача “Голоса

Америки”, миновав сперва этап дурного перевода на русский язык, затем, изувеченная глушилками, фильтровалась через проспиртованные мозги Бориса Борисовича, доходила до безумного сознания Степана, а затем, обретя полную неузнаваемость в переводе на бурятский язык, докатывалась до Пекина. Ну, а там, видимо, делали выводы, и даже иной раз далеко идущие.

Никогда в молодости не думал Степан, что можно жить такой содержательной жизнью. Столько интересных вещей, сколько теперь он узнавал ежедневно, не знал даже, наверное, самый культурный человек из тех, с кем Степан по жизни был знаком. Был это врач один, тоже из зеков, он трупы все резал, проверял, чтобы никого из покойников непотрошенным не похоронили, – а сам Степан при нем на подхвате числился, рабочим при морге кантовался. Очень, помнится, хорошо этот самый врач про Маньчжурию рассказывал. Или не про Маньчжурию, а про то, как музыка играет, но все равно за душу очень брало. Даже теперь, как вспомнится – так сразу и хочется все отдать за дело победы Маньчжурии. Над всеми. Звали врача, помнится, Феликс Эдмундович. Или Эдмунд Феликсович? Нет, не вспомнить. Да и к чему это сейчас? Сейчас за пришлым этим самым смотреть надо, за Петром Герасимовичем. На кого сейчас еще донос напишешь, когда партия в ущербе таком?

Перво-наперво: еврей он, не иначе. По всему видать: во-первых, с бакенбардами. Во-вторых – в домино играть ни хрена не умеет, лучше с ним как с напарником не садиться. В-третьих, самое важное: всяких оборонных вещей знает до фига. И про ****ей как рассказывает! Ясно, еврей. И еще одно: стакан в кармане носит. А ведь не пьет, – на хрена и ему тогда стакан? Стало-ть, не только еврей он, а и шпион. “Надо и мне стакан носить тоже тогда!” – окончательно решил Степан и с треском врубил на стол “сильную кость” – дубль “пять-пять”. Дворник, ход которого был дальше по кругу, безропотно и очень тихо положил к ней вялые “пять-один”. Борис Борисович молодецки хряснул по столу “пять-три”. Ну, и шпион Петр Герасимович, понятное дело, не упустил случая зарубить ход своему партнеру, дворнику. Нет, уж лучше бы и не играл вовсе! Такого не только в напарниках иметь страшно, с таким лучше вообще в одну партию не лезть!

Степан раздражался, не понимая причины, – она же была проста: сегодня Петр Герасимович, старик с неопрятными бакенбардами, против обыкновения почти все время молчал. И зорко поглядывал в полуподвальное окошко – ждал кого-то. Рампаль и вправду ждал появления Софьи. С тех пор, как надежда на ее отречение рухнула, почти единственным делом, которое держало оборотня в Свердловске, был присмотр за неистовой царевной, подслушивание ее телефонных разговоров, собирание прямых и косвенных компрометирующих данных, – надо сказать, не совсем безуспешное, – ну, и присутствие “на случай пресечения”: поведи себя Софья совсем уж нехорошо, Рампаль мог ей доказать, что это она сама себе морду набить так вот запросто может, а скажем, уссурийскому тигру морду бить будет уже труднее. Помимо Софьи, Рампаль слегка присматривал и за Михаилом. Касательно этого последнего, в основном полагалось следить лишь за тем, припрется он к запертой романовской квартире, уже совершенно пустой, или нет. Пока что его там видно не было. Да

и вообще видно его было почти только у винного отдела того самого магазина, где Рампаль его впервые встретил: к местожительству Михаила, видать, ближе удобной винной точки не было.

Уже трижды посылал Рампаль сводки в Москву, оттуда они шли дальше, но покамест сомневался, что в Москву ему требуется отбыть именно тогда, когда в туманных выражениях предсказал ван Леннеп, а именно завтра, в субботу, двадцать седьмого декабря, по календарю майя – Цолькин восемь кабан, единственнейший день в году, когда оборотню ни картошки нельзя, ни кукурузы. Рампаль уже знал, какие приключения выпали на долю его коллег по работе в эти рождественские дни, знал и то, что большого смеха его опорос в штате Колорадо не вызвал, скорей слезы. Старик-оборотень Оуэн, тот самый, что еще в сорок третьем вместо известно кого в Тегеран ездил, а потом и в Ялту, осрамился куда как хуже. Собираясь, в нарушение пункта договора о том, что на все время службы у оборотня никаких личных мыслей и вообще личной жизни нет, и в особенности не имеет права оборотень оборачиваться кем-либо без служебного предписания, стал Оуэн небольшой собачкой, – хотел к правнукам в Денвер перед Рождеством наведаться, – и сразу оказался при куче подросших, двухмесячных щенков, ибо собачья беременность – всего два месяца, у старика, ставшего женской особью, месяцев этих было уже четыре, вот и перепрыгнул он через сам факт щенения, попал в положение, когда уже не только поздно делать аборт, но даже щенков топить поздно. Другого пути, как на пенсию, у старика теперь не было, а из его отпрысков полковник Мэрчент собирался воспитать что-то наподобие советских служебно-бродячих; даже Управление Национальной Безопасности признавало, что здесь Советы ушли далеко вперед, что сдавать позиции не следует даже в этом пункте. Это уж счастье такое Рампалью выпало: угодил он на самый момент опороса. Страшно и подумать, что было бы, если бы он превратился в свинью не на земле, а в воздухе, и притом несколькими часами позже – украинское Полесье приняло бы на себя первый в мире поросычий дождь, а мамаша (папаша) безутешная (безутешный) рвала бы на себе, рыдая, парашютные стропы... Где-то они теперь, поросятки? Тут Рампаль резко оборвал ход своих мыслей: об этом думать ему было запрещено. Рампаль был переутомлен до последней степени, и пельмени тоже надоели.

Только сегодня забрезжила для Рампаля надежда. Софья Глущенко заявила в телефонном разговоре с дядей, что едет недельки на три в Москву, проветриться, чистого воздуху глотнуть, а то, мол, совсем закисла в здешней дыре. Дядя сразу предложил ей кучу адресов, пушкинистов из его семинара в основном, которые в столице в немалые люди вышли. Билет на поезд у Софьи оказался на завтра (о-ля-ля! – охнул Рампаль, когда она успела его взять? – нет, он определенно переутомился, мажет на каждом шагу), а сегодня собиралась зайти попрощаться. Заодно и московские адреса взять. И книжки отдать, – на другом конце провода дядя Соломон облегченно перевел дух, судьба книг его уже беспокоила.

Доиграли. Рампаль с китайцем продулись в пух и прах, и с облегчением отвалились от стола, подошли кое-какие старики им на смену, а Софья

протопала чеканным солдатским шагом по двору, поднялась к дяде, провела у него десять минут и ушла опять, так что Рампалю делать здесь было больше нечего. А Хуан и вообще торопился куда-то. Так или иначе, Рампаль желал немедленно испросить у Центра разрешения на немедленное отбытие вслед за Софьей, Господь с ним, с капитаном, никаких Романовых в Свердловске как будто больше нет, так что пусть пасется на здешних тощих нивах, пока не оборзет. Способ немедленной связи был у Рампаля, как и у Джеймса, всего один. А за средством к этому способу полагалось идти в винный отдел. Причем, по предпраздничному времени, отстоять приличную очередь. Рампаль сквозь карман пальто погладил заветный стакан и пошел к магазину. Степан послал ему вслед злобный взгляд: сообщить нынче в Маньчжурию оказалось решительно нечего.

Очередь высывалась из битком набитого винного отдела метров на двадцать, тяжело, уже отчасти опохмеленно, дышала, топала, согреваясь, сплетничала, бурчала и молчала одновременно, а над ней висело густое облако пара вместе с отборными, хотя и однообразными матюгами. Очередь жаждала по четыре двенадцать, не хотела, хотя в принципе и была согласна, по четыре шестьдесят две, уж тем более в гробу видала по пять тридцать, но ясно было, что придется терпеть, а еще очередь добрым матерным словом вспоминала по три шестьдесят две, три двенадцать, два восемьдесят семь и еще какие-то совсем давние «тридцать семьдесят» и «двадцать один двадцать»; ждала в скором будущем по шесть с чем-нибудь и даже еще с чем-нибудь, но за последнее сосед немедленно желал говорившему типун на язык и даже что похуже. Возле хвоста очереди топтались одинокие, быстро находили второго и нелишнего при нынешней цене третьего, скидывались и вступали в общие ряды.

– Слышь, дед, будешь третьим? – окликнули Рампаля, но он гордо мотнул головой. Водки ему вообще по понятным причинам было нельзя, он собирался пить какой-нибудь здешний псевдовермут или псевдопортвейн, а это ж и на одного бутылки мало, очень уж холодно. Да и стакан свой ссужать Рампалю было неприятно, далеко не все русские обычаи он принимал безоговорочно. Так и встал в очередь в печальном одиночестве. К тому времени, как по сантиметру, по два перемещаясь, вдвинулся Рампаль в магазинные двери, на часах было уже почти полпервого, время для длинной очереди и роковое, и чреватое. Окрестные разговоры до сознания Рампаля почти не долетали, но диалог за его спиной вдруг перешел на тему, для него даже слишком близкую. Рампаль насторожился.

– Вот, значит, и стреляли-то их зря. Ни к чему их стреляли, значит. Стреляли, а они, оказывается, незаконные были. А законные были попрытанные, хотя из них тоже кого-то постреляли. Но попрытанных оказалось много, ой много! Один даже в президенты вышел где-то в Африке.

– Не в Африке, а в Америке. У него там хунта, военщина то есть, и они сардины нам продают. Дочка в пайке как раз банку получила, откроем на Новый год. Хорошие, небось, сардины, при царе плохого не делали. И недорогие, дешевле наших.

– Ну, ты даешь. Какие ж нам сардины от них, если он за царя стоит? Сам,

значит, в цари хочет к нам? Хрена с два ему этот престол дали, отношения, теперь, небось, рвать с ним будем, а нам теперь хрена с два сардины дадут, а жалко, закуска, небось, годящая.

– Нет, я все-таки не понимаю. Как так: боролись, свергали, забыли уже, что царь когда-то был, а теперь весь мир говорит, что у нас законный есть и никакого другого быть не должно. Да как такое допускают? Я бы на месте нашего правительства взял бы бомбу да и бросил на все их радиостанции сразу, чтоб думали, прежде чем говорить. Это ж надо, говорят, забастовки у нас и демонстрации, русские люди, мол, все как один требуют. А ты хоть одну видел? А мы как в рот воды набрали, не опровергаем даже. Нет, я точно в газету напишу, спрошу, почему мы западной пропаганде ответа не даем? А мы вместо этого за одну ночь, видал, дом, где Николашку шлепнули, снесли да заасфальтировали, словно так и было место голое, видал?

– Да он же незаконный был, потому и заасфальтировали...

В разговор включился третий голос, весьма и весьма знакомый. Не оборачиваясь – и ни во что не превращаясь – понял Рампаль, что алкогольная нужда настигает иной раз капитанов КГБ и в Свердловске.

– Мало мы их давили, вот что! Я бы, дай мне родная наша партия волю, всех этих Романовых-недобитков к стенке по второму разу поставил. А надо будет – по третьему! По десятому! Ведь какая Россия-то прежде была, нищая, грязная, люди с голоду мерли! А какая красотища стала? Силища какая? Так что ж нам, опять в дерьмо, к лучине? К мракобесию возвращаться? Нет уж! Не бывать этому никогда! Все, все из-за них, из-за Романовых! Мужики, вы думаете, отчего у нас цены растут на водку? Не из-за них, думаете? Точно из-за них! Мало, думаете у государства денег на борьбу с Романовыми уходит? Не мало, нет! Всех, всех их к стенке!

Синельский использовал вынужденно-свободное время так, как полагалось ему по службе: вел пропагандно-разъяснительную работу. Однако сочувствия его речь у очереди почему-то не вызвала. Более того, речь эта пробудила к жизни еще одно, поначалу непримеченное Рампалем действующее лицо: из-за угла огромного штабеля ящиков с бутылками водки, частью задвинутого за прилавок, частью, по недостатку места, выпирающего в проход, поднялся, вращая указательным пальцем в направлении капитана, сухой, высокий и вдребезги опохмеленный человек в драном спецовочном халате, – видимо, рабочий магазина.

– Ты-ты-ты... чего сказал? Романовых, говоришь, к стенке? Да сам-то ты кто такой будешь? Мы с Романовым, с Валерой, душа в душу век жили, молоком одним питались, а теперь что? Нешто жизнь стала? Да я за Романовых рубаху последнюю отдам! А ну, бери слова назад в пасть свою, проси прощения у нас у всех, не трожь Романовых! Добром говорю, не трожь!

Очередь расступилась – рабочего тут, кажется, знали все, и никто не мог упомнить его в таком возбуждении. Видимо, чужак задел его за самые потаенные струны пьяной, однако тонко устроенной души. И, как всегда бывает при конфликте своего с чужим, очередь сочувствовала своему, то бишь рабочему.

– Да брось ты его, Петь, он, не подумав, ляпнул... – послышалось от прилавка.
– Очень даже подумав! – полез в нападение Синельский. – Давить надо и Романовых, и всех их прихвостней-недобитков! А лицо ваше, гражданин, мне знакомое, так что... – Синельский сунул руку во внутренний карман, видимо, за удостоверение; его сосед, решив, что сейчас начнется поножовщина, вскрикнул и повис у капитана на руке. Петя взвыл:

– Плюну и разотру! Гони его, ребят, из очереди, он на наших бочку катит! – потом поднял обе руки, собираясь не то удушить капитана, не то вытолкать его из магазина, и рванулся. Второй сосед капитана, решив, что за руки чужака уже держат, размахнулся и двинул его в грудь, в то заветное место, на котором хранит каждый чистый душой гэбэшник все свое самое дорогое – удостоверение, конечно. Очередь замерла, хотя и не без глухого ропота, – “Закроют, гады, ведь до часу всего ничего!..” – но все это длилось не больше секунды. Синельский вырвался, одной рукой ткнул Петю, другой рубанул по шее первого противника, коленом врезал второму, – по привычке молча, он так и не научился орать, как в каратэ полагается. Еще и потому не заорал, что не хотел общественный порядок нарушать, да в самбо орать и не нужно, хоть в общем-то, конечно, кому теперь нужно самбо. Затем выхватил удостоверение, от вида которого толпа мгновенно увяла. А Петя, с налитыми кровью глазами, ввалился спиной в водочный штабель.

– Да я... за Витяню! – Заорал Петя, словно компенсируя молчаливость капитана, сделал попытку подняться, уцепился за выступающий ящик. Неровно поставленный штабель зашатался, очередь отпрянула. Но Петя продолжал тянуть и тянуть, все стараясь как-то выровнять не то свое шаткое положение, не то штабель, не то, быть может, вообще весь миропорядок своей многострадальной отчизны. Часть штабеля качнулась и, как бы нехотя, давая всем желающим спастись, рухнула под отчаянный визг продавщицы. Никого, кажется, даже не ушибло. Но Петя Петров, когда его наконец-то извлекли из-под груды разбитых бутылок, был уже раз и навсегда ко всему безразличен. Продавщица продолжала выть в голос, колотя Синельского по груди здоровенными кулаками, Синельский отбивался от нее удостоверением, очередь немотствовала до тех пор, пока приехавшая через четверть часа “скорая помощь” не подобрала Петю, чтобы закрыть ему лицо простыней и куда-то увезти. Потом Синельский в кабинете директора магазина разбирался с подоспевшей милицией, которая в полном ужасе стояла перед ним навтыжку. Рампаль быстренько слинял с места происшествия. Выпивки ему здесь, само собой, уже не досталось. Оборотень горестно отправился на вокзал, в ресторан, на что имел разрешение только в крайнем случае. Но случай, пожалуй, как раз и был крайним. Своими глазами Рампаль видел человека, вставшего на защиту дома Романовых. И память о таком человеке не должна была кануть в Лету. Весь этот трагический эпизод нужно было скорейшим образом довести до сведения командования.

Синельский же, отряхнув с себя прах суетных подозрений в преднамеренном, а также в непреднамеренном убийстве, истребовал из личного фонда директора магазина две бутылки наилучшей, по девять рублей “Сибирской” и, несмотря на

это, злой и расстроенный шел к себе в номер ведомственной гостиницы, где все окна выходили во двор-колодец. Он толкся в этом городе без малейшей пользы вот уже несколько недель, после того, как Аракелян разослал по всей Руси великой искать “то, не знаю что”, с одной стороны, и шпиона-телепортанта – с другой. Поскольку в последний месяц по всему белому свету только и разговоров стало, что о Романовых, после небольшого промежуточного совещания с начальством, – если быть точным, то с Угловым, Аракеяна найти было невозможно, ибо он глухо сидел на бюллетене, – решил Синельский проверить собственную бредовую версию: не связана ли засылка телепортанта с этим романовским психозом. Хотя, конечно, нет ни малейшей уверенности в том, что шпион отправился в Свердловск, подумаешь, постреляли там из них кой-кого, – а не в Кострому, не в Камень-на-Оби, не в Крыжополь-на-Амуре, наконец, если такой город есть: Мише отчего-то казалось, что есть. Впрочем, по приезду в Свердловск удалось как будто некоторые следы этого самого Федулова проследить: вроде бы он тут как раз сошел с самолета, получил за хорошую взятку место в гостинице, отдельный номер, вроде бы все время баб к себе водил в номер и чуть в неприятности не влип из-за этого – но дальше следы терялись. От нечего делать, а верней, чтобы делать хоть что-то, чтобы шли суточные, командировочные с надбавкой за вредность и отсутствие выходных, оперативные и пр., стал Синельский по справочным книгам перебирать свердловских Романовых. Таковых оказалось в самом городе и окрестностях чуть больше восьми тысяч, капитан очень от этого огорчился – как могло случиться, что в том самом городе, где Романовых истребили якобы под корень, их опять наплодилось такое количество. Определенно, местные органы работали спустя рукава, надлежало устроить так, чтобы эта халатность им с рук не сошла. И, конечно же, надлежало всех этих нынешних Романовых проверить. Но это как раз Мишу не огорчило – он любил, когда много работы, когда командировка длинная получается.

В те довольно редкие часы и дни, когда Михаил Синельский оставался наедине с собой, а не выполнял, к примеру, оперативного задания по спаиванию группы колумбийских туристов, подозреваемых в завозе и распространении в СССР кокаина, занзибарского пенициллиноустойчивого триппера, нездоровых настроений и еще там чего у них на западе есть, в эти мгновения капитан был совсем иным человеком. Из маленьких поросячьих глазок исчезала муть, обычно приподнятые в раболепии брови опускались, вялым продольным морщинам лба приходила на смену суровая вертикальная складка, служившая как бы надстройкой на базис все такого же, к сожалению, как обычно, картофельного носа. И запой в эти дни бывал у капитана совсем не такой, как во все остальные, когда пил он не для удовольствия и не для поднятия бодрости духа, а просто по долгу службы. В такие дни он, может быть, даже и вовсе не стал бы пить, но боялся, что по выходе на работу записанная за ним четвертая алкогольная форма может на первых порах дурно повлиять на производительность труда.

А ведь жизнью Миша избалован не был, ох, нет. Детство пришлось на голодные и холодные военные годы, эвакуация занесла его вместе с матерью и

старшей сестрой в ненавистный с тех пор город Чимкент, где было много глинобитных заборов, и, пожалуй, ничего больше от тех пор Миша не помнил, разве только бесконечные квадратики и прямоугольники продовольственных карточек разной степени изрезанности, которых в руках у матери было отчего-то всегда очень много; чем тогда мать занималась, за давностью лет Миша вспомнить уже не мог, а спросить у нее теперь, когда она, овдовевшая после смерти отца, успела сходить замуж за генерала авиационных войск Булдышева, успела овдоветь еще раз и занята была только увековечением памяти своего последнего мужа, с которым была так счастлива целых четыре года – спросить у нее теперь... Мамаша, кстати, последнее время была занята вообще только двумя делами: искореняла из рядов ветеранов пятой авиационной отдельной бригады, которой в свое время командовал Булдышев, тех, кого она именovala “примазавшимися”, тех, кто не был истинным ветераном этой бригады и все-таки претендовал, гад, на пайки, льготы, путевки и многое другое, что, по мнению мамы капитана Синельского, вдовы Булдышевой, доставаться должно было одним только чистым душой и анкетой истинным ветеранам таковой отдельной бригады, явившей, как всем известно, в годы Великой Отечественной войны абсолютный мировой, до сих пор непобитый рекорд сброса бомбо-единиц в одну бомбо-минуту на изолированную человеко-единицу, – злые языки говорили, что все свои бомбы эскадрилья разом ухнула на одного какого-то нетрезвого лесника в Богемии, да и то промазала, но то были сплетни врагов народа. Вдова искоренила этих самых “примазавшихся” уже очень много, особенно одного наглого грузина. И было у нее в жизни еще одно дело, даже еще более важное. Поскольку ее мужу, генерал-лейтенанту Булдышеву, как дважды Герою Советского Союза, стоял бюст в Хорошево-Мневниках, она, вдова, не без резона полагала, что и сама когда-нибудь умрет. И вот уже больше двух лет вела она переписку с Хорошевским райкомом: завещала она все свои сбережения на то, чтобы, как умрет она, так похоронили ее вместе с мужем на Новодевичьем, а статую ее, вдовы, отлитую в бронзе, коленапреклоненную, поставили бы у подножья бюста в Мневниках, обнимающую пьедестал и безутешно рыдающую. Райком не соглашался, а вдова требовала и писала дальше. Из всего этого Мише было ясно только одно: что денег матерних ему не видать ни при какой погоде. Он, впрочем, и так на них не рассчитывал. Первый муж вдовы Булдышевой, натуральный родитель Миши, военный ветеринар, состоявший в советской кавалерии вплоть до ее расформирования в пятьдесят, что ли, четвертом, когда стало ясно, что кавалерия против атомного оружия не выстоит, умер от белой горячки за день перед двадцатым съездом, а сыну завещал любовь к лошадям, С.М. Буденному и спиртному. На все эти любви оклада Миши худо-бедно хватало: на лошадях он ездил в манеже, когда раньше бывало свободное время, портреты Семена Михайловича повесил и дома над постелью, и в комнате Тоньки в укромном уголке за шкафом; пил преимущественно на представительские, на остаток денег раз в неделю играл по маленькой на ипподроме. Начальство его ценило, как за умение равномерно поддерживать заданную алкогольную форму номер четыре, так и за удачливость на операциях, да и вообще за высокую производительность. Даже в

Теберду посылали несколько раз.

Михаил выплеснул в горло сто пятьдесят и быстро разжевал кусочек черного хлеба. Он умел пить и с иностранцами, даже глоточками – так пьют, кстати, кроме иностранцев, еще и армяне, а их в начальстве Михаила было больше чем надо. Но наедине с собой дурака валять было ни к чему: Миша пил залпом, даже не считая нужным после этого по-молодецки крикнуть. И портвейны всякие он наедине с собой тоже не пил. Не говоря уже о гадских коньяках, от которых изжога. “Нам подавай ценности нетленные!” – усмехался он про себя в таких случаях. Из нетленных, правда, любил более всего те, что в экспортном исполнении, “Посольскую” особенно. Но и эта, за девять, тоже была ничего. Особенно вот такая, бесплатная. Мертвый Петя Петров капитану больше не вспоминался.

Вот с Романовыми вышло неважно, если честно говорить. Куда их, к лешему, все восемь тысяч перебирать, это ж до пенсии работы хватит! Вон, у них один Романов даже в обкоме. Родственник, наверное, ленинградского. Впрочем, однофамильцем быть тоже хорошо, это Синельский знал на многих примерах. Хотя так же бывает и плохо. Где-то теперь майор Сахаров?

Угрюмо и неожиданно прозвучали в сознании капитана три таких знакомых тяжелых удара. Связываться с капитаном через Муртазова, конечно, никто не собирался, больно честь велика, сейчас он был не ответственный за операцию, а один из двадцати двух таковых. Так что если через девяносто секунд последуют еще два удара, это означало, что его отзывают в Москву ввиду полной бесперспективности дальнейшей разработки порученной ему линии и перебрасывают на другое задание. И такие два удара воспоследовали. Капитан плеснул себе полстакана, выпил, заел чернушкой и, перевернув стакан, погасил о доньшко сигарету. Вроде как сибиряки чашку переворачивают, когда чай допьют, мол, напился, и больше не хочу. Капитан тоже был сыт. И в Москву хотел, в привычную Тонькину комнату, особенно когда операция какая-нибудь идет. Да и опохмеляться тоже хорошо. Там, в Москве. А тут очень одиноко. Нет, нехорошо человеку быть одному. Должен он быть в гуще событий.

Через час капитан был в аэропорту, рейс на Москву тоже как будто должен был уйти через час или два, но уже был отложен – не то погода нелетная, не то керосина на полет не выдали, но, в общем, никаких таких вылетов.

Удостоверение Михаила автоматически обеспечивало ему билет, но керосина из него не проистекало, так же как и летной погоды. Тут уж нужно бы, чтобы приспичило лететь из Свердловска в Москву самое малое какому-нибудь космонавту, керосин бы тут же появился; впрочем, летной погода не стала бы и для космонавта. Даже непонятно, в каком чине надо быть, чтобы получилась летная погода. Так светила теперь капитану Синельскому лишь одна перспектива – торчать ночь, а то и долее, в здании аэропорта, ожидая вылета, – правда, верным собеседником ему оставалась бутылка “Сибирской”, не выпитая даже до половины. А в портфеле лежала вторая, нетронутая. Михаил пристроился в уголке общего зала ожидания: сейчас он был не на работе, прежнее задание кончилось, новое пока не началось, привилегированные залы были для него закрыты. Тяпнул втихаря еще сто тридцать пять, примерно,

граммов из горлышка, съел кусочек черного, втянул голову в плечи и задремал. Скоро проснулся, тяпнул еще, кусочек съел и снова задремал. Так потихоньку бутылку и допил. А потом почувствовал, что пора и до туалета идти, всему свое время.

Михаил подхватил портфель и побрел туда, где еще в прошлый раз, когда сюда прилетел, заметил на одной из дверей стилизованную фигурку мужчины. Дверь оказалась заперта засунутой в ручку надписью крупными буквами: “ЗАСОР”. С трудом отыскал Михаил другую дверь с такой же фигуркой, на двери оказалась этикетка: “САНИТАРНЫЙ ЧАС 20.00–21.15”. Терпеть целый час, да еще такой, в котором, по представлениям здешних сортирщиков, семьдесят пять минут, Михаил был не в силах и пошел на чистый воздух. Выйдя из дверей аэропорта, глотнул он ледяного предновогоднего свердловского воздуха, сошел с дорожки и по снежной целине углубился в девственно нехоженные дебри каких-то не слишком высокорослых кустиков. Кустики, к сожалению, весьма хорошо освещались, идти по ним предстояло довольно далеко, а за ними виднелась и вовсе голая, тоже очень хорошо освещенная полоса свежего снега. Михаил возблагодарил судьбу за свой небогатырский рост и в божественной тишине уральской ночи, которую как раз в эту минуту прорезал гул включаемого невдалеке реактивного двигателя, опустил среди кустиков на колени. Самую бы минуту сейчас Мише Синельскому помолиться, но он не стал, ибо вырос в неверующей семье, да и вообще до того ли ему сейчас было, после целой бутылки и двух запертых туалетов. И, когда чьи-то небольшие и многочисленные руки, появившись у него из-за спины, зажали Мише рот и нос какой-то приторной и мокрой ватой, краткое мгновение после этого Миша отдавался все тому же вожделенному занятию, нимало не противясь неожиданным врагам. А потом для него вообще исчезло все: он был усыплен в лучших традициях детективных романов.

Трое советских солдатиков, все как один в серых шинельках, малорослые, уроженцы, понятно, какой-то из наших обширных среднеазиатских республик, дружно вздохнули и отвалились от тела капитана. Четвертый, в неопределенной одежде, но с низко опущенным капюшоном, наклонился и аккуратно застегнул на капитане брюки: ни одна часть тела у этого небольшого, но тем не менее очень высокого пленника, не должна быть отморожена, – тем более такая часть, от которой зависит продолжение рода. А холод стоял злющий, минус двадцать пять, да еще ветер к тому же. Но мерзнуть пленнику оставалось недолго.

Хуан помог завернуть пленного в брезент, проверил тщательность укупорки, пожал руки всем трем товарищам. Потом незаметной тенью скользнул возле аэропорта, зашел в него, вышел с другой стороны и двинулся в сторону города. Идти туда было ой как далеко, и холодно к тому же, но даже на попутную машину тратиться он не мог, все деньги шли сейчас на Люсю. С одной стороны, конечно, население страны-противника из-за Люси увеличивалось, но с другой – как же забыть о том, что и Урал, и эта самая его столица, Свердловск, в конце концов не что иное, как незаконно отторгнутая ханьская территория? Согрела мысль о том, как гладко прошла сегодняшняя операция. Разве не соответствовало историческим предначертаниям председателя Мао Цзэдуна,

заблуждавшегося кое в чем, конечно, но теперь, когда после разоблачения банды четырех, товарищ Е Цзиньин, укрепил новую высоту полета творческой марксистской мысли, – то, что законный наследник российского престола, которого, как Хуану стало известно и по своим каналам, и из пекинских сводок, Советы собирались в ближайшее время объявить царем для придания видимой законности продолжающейся оккупации исконно ханьских земель, разве не прекрасно было то, что этот наследник находится теперь в надежных и честных руках, через несколько часов будет переправлен в Благовещенск, там аккуратно запакован в брикет кедрового кругляка, а потом, в обмен на махровые полотенца и бывшие английские, ныне китайские авторучки, вывозимые из КНР, попадет к пограничникам в крохотном Хайхэ, городке на китайской стороне Амура: там этого кедрового пакета уже ждут с нужными инструкциями. А после – ведь и сам-то наследник будет как благодарен за предоставленную возможность перековаться в истинного борца с советским социал-империализмом и гегемонизмом! А кормить его там, в Китае, будут исключительно хорошо, сытной китайской едой, даже три раза в день. Китайского императора они тоже хорошо кормили, он хвалил, хотя был маньчжур. Так что и мы их императора не обидим, только вот перекуем. Мы ведь их даже не оккупируем, хотя уже давно пора свое, законное отобрать. Так думал Хуан и тяжелой, долгой, почти ничем не освещаемой дорогой брел в Свердловск, и было ему даже не холодно.

Примерно в эти же часы на берегу заледенелого, лишь кое-где от теплых сточных вод протаявшего озера Шарташ, при столь же скудном освещении, другой капитан, а именно Жан-Морис Рампаль, производил последние приготовления к далекому пути. Присмотревшись к полкам винного магазина, он неожиданно обнаружил способ быстро и почти безболезненно вызывать на связь индейца. Каких только немислимых названий не было на полках: «Аг-Суфре», «Чинар», «Лыхны», «Далляр», «Вольный Дон», «Волжские зори», «Тульский сувенир», причем все это богатство раскупалось очень плохо, аборигены питали склонность к традиционным ценностям. А для Рампаля странные напитки оказались истинным даром небес, с той оговоркой, что индеец, узнав, в какой рай он угодил, требовал, чтобы разведчик дегустации, насилиу его начальство уняло.

Днем, посредством полутора бутылок недорогой загадочной жидкости под этикеткой “Біле міцне плодоягідне”, которую в магазине отчего-то назвали «биомицин», ему с удалось связаться с Джексоном и получить разрешение на сопровождение Софьи куда бы она ни последовала, однако без использования общедоступных транспортных средств. Как всегда, в инструктажном королевстве полковника Мэрчента, причины такого запрета были покрыты мраком. Для Рампаля же это означало, что он волен бежать, плыть, ползти, в основном же лететь за Софьей, но при помощи одной лишь собственной мускульной силы. После окончания связи Рампаль проклял страшными словами покойного Петю Петрова, из-за которого полез на связь, и Софью тоже проклял, и горькую свою оборотничью судьбу – тоже. Летать в такую погоду даже хуже, чем бежать, плыть или ползти, в воздухе еще холодней. А как, спрашивается,

еще доберешься до Москвы в таком случае – распроклятая царевна смотается туда с часу на час!

Но верность долгу Рампаль хранил неукоснительно. Он рассчитал по крайней мере одну трансформацию, позволяющую одолеть расстояние от Свердловска до Москвы в не очень большой отрезок времени, точнее, ночей за шесть или семь, притом относительно комфортабельно и не привлекая ничьего внимания. Комфортабельно, конечно, только в смысле тепла, крыльями махать все одно придется. Для этого превращения, как быстренько выяснилось по пресловутой формуле Горгулова-Меркадера, пришлось, увы, съесть почти триста советских купюр достоинством в один рубль, со средней степенью потертости. Их Рампаль наменял по магазинам за несколько часов, потом собрал в своих жилых руинах нехитрые и немногочисленные пожитки, из коих наиболее ценен был пакет с недорасшифрованной частью рисовых записей, как-то забытый Павлом Романовым при отъезде, – и был готов к отлету.

Советские деньги, хотя и не котирующиеся, по авторитетному мнению Аделаиды ван Патмос, на рынках мировой валюты, оказали свое действие быстро и очень активно. Еще лежал, в брезент завернутый, капитан Синельский в кустах возле здания аэропорта, еще тащился вдоль по темной дороге до костей промерзший многодетный Хуан, а Жан-Морис Рампаль в это время наконец-то согрелся. Приняв облик громадной, белой, невиданной в здешних краях полярной совы, взмыл он в воздух, описал хищный полукруг, облетая стороной залитый предновогодними огнями Свердловск, и взял курс на Москву. Летел он, впрочем, невысоко – для спокойствия души, по большей части; охотники здесь, в этой самой уральской России, похоже, не водились вовсе, а вот военные с самонаводящимися ракетами малого радиуса действия класса “земля-воздух” были распространены, как поганки.

Пролетев под утро над неведомой ему замерзшей рекой, – это была Чусовая, но Рампаль ничего такого не знал о ней, он слушался только врожденного для полярных птиц чувства направления, – капитан устал и надумал заночевать на день, пока не станет достаточно темно, благо день здесь такой короткий, а потом лететь дальше. Он выбрал подходящий лесок над обрывом, опустил на солидную ветку, поклевал кое-чего из благоразумно взятых с собою припасов, решил подремать немного. Однако сон не шел. Перед сном он любил что-нибудь почитать, такая уж сложилась у него, несмотря на необычную работу, привычка. Книги с собой не было никакой, но имелся пакет с рукописями Павла. Рампаль аккуратно, огромным изогнутым клювом расклеил пакет и достал верхнюю пачку листов, скототую огромной скрепкой. Развернул и, тараща огромные полярные глаза, начал читать листки, исписанные круглым, почти ученическим почерком Павла Романова. В темноте Рампаль видел прекрасно. Душа его, перебивавшая за столь краткое время и в свинском, и в обезьяньем, и в лебедином, и в совином обличье, не считая множества человеческих, наконец-то отдыхала.

Ибо все-таки не зря покойный Федор Михайлович перевел на французский язык опальный роман, принесший автору Нобелевскую премию, – хоть один, пусть не самый квалифицированный, читатель, у его перевода все-таки нашелся.

Рампаль сидел на ветке над берегом скованной льдом уральской реки и наслаждался тончайшими нюансами родной французской речи.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 18

Евгений Витковский

XVIII

Для нынешнего времени описаний мало.

Варлам Шаламов. О «новой прозе»

Двадцать второго начальница почты, Алена Сухарева, – собственно говоря, тоже Настасья, но быть не в укор ни молодцу, ни Настасье, – лично по утопанной дорожке принесла сношарю его пенсию, восемнадцать рублей, а ежели переводить в нормальные и всем понятные расчеты, то получалось, что платит государство сношарю двести яиц в месяц, или же как бы за три часа двадцать минут. Не много, конечно, но и не мало. Впрочем, эту самую великую и могучую, от которой восемнадцать рублей получал, имел сношарь не три часа двадцать минут в месяц, а, считай, круглые сутки круглый год. И не столько имел, сколько видал: прибранной и готовой к погребению, в тех самых белых тапочках. Сейчас же в особенности, ибо сношарь наконец-то сообразил, что за странных постояльцев привел в его дом курячий Козьма-Демьян.

К восемнадцати рублям сношарь неожиданно прибавил своих триста шестьдесят: уж сколько годов никто в его руках ни рубля не видел, брезговал Пантелеич, на пенсию чаще всего повелевал попросту яиц прикупить. Он потрепал Настасью-Алену по сочной еще щеке и командировал в Брянск – закупить к Новому Году коньяку, и чтоб не по восемь рублей двенадцать копеек, а хотя бы по девять рублей двенадцать копеек, или, всего лучше, по десять рублей двенадцать копеек, чтобы, стало быть, по пять звездочек. Алена, не моргнув, бросила все служебные дела, требовала в сельсовете газик и рванула в Старую Грешню, не то в Брянск напрямую, потому как откуда в Старой Грешне коньяку взяться. Понимала она, что вовсе не для себя Пантелеич заказывает барский напиток, сношарь и первач-то кушал с неохотой, разве что стопочку на праздник, и все больше предпочитает черное домодельное пиво, даже черешневую разве только пригубливает при гостях, не требуется ему. А про гостей у сношаря уже вся деревня знала больше месяца, с тех пор, как Башкина Полина с курячьих именин пришла наказанная – не пустил ее сношарь к себе, – а все равно довольная. Вторая наказанная, Настасья Башкина, кстати, Настасья настоящая, по паспорту Настасья то есть, не такая как будто пришла довольная, но тоже не пожаловалась никому, даже мужику своему ничего плохого не сказала. Мужикам, впрочем, в делах такого рода вообще голос подавать не полагалось, раз уж сношарь самолично распорядился. Принимает гостей – и пусть себе принимает, хорошие, значит, люди. Хлебосольно принимает, как полагается. И нечего допытываться, раз Полина довольная, и сеструха ее тоже не жалуется. Говорят, не гости они даже, а родственники его, –

ну, а тогда, стало быть, вовсе наши, деревенские. Сношарь без обиды к тому же запись к гостям разрешил, и дешево, вдвое супротив себя. Но специально пока к ним никто не записывался, поэтому визиты в клеть, теперь уже разгороженную и утепленную, происходили лишь тогда, когда из баб кто в наказанных оказывался. То, что это – наказание, ежели смотреть супротив того, чего баба ожидает, к сношарю идя, – то, конечно, наказание, спору нет. А вообще, так ли плохо? Вот и любопытно было многим. Да и Хивря, когда у Бомбардычихи роды принимала, тоже обмолвилась: хорошие, мол, у сношаря люди гостят, привечать их надо. Да и чего плохого, ежели мастер себе подмастерьев завел? Был слух даже, что Полина Башкина уже специально в наказанные лезет.

К вечеру привезла Алена из Алешни три ящика коньяку по двенадцать бутылок в каждом, разгрузила по сумкам и с помощью записанных на этот вечер Настасьи Коробовой, Марьи Мохначевой, Дарьи Телятниковой и старой дуры Палмазеихи доперла нелегкий груз к крыльцу сношарева дома: машине туда было не подъехать, да и обиделся бы сношарь, потому как все только из женских рук брать любил. Деньги же все-таки были от подмастерьев, да и выпивка тоже для них. Неужто так весь век коньяком и поить? Яйцами-то было проще. Ну, да выбирать не положено.

А потом Новый год уж на самом носу оказался, как всегда ничего к нему вовремя не приготовили, завертелись все, не только что про подмастерьев забыли, а и в очередь к сношарю иной раз силы дойти не бывало, – впрочем, сношарь обычно такое прощал, переписывал в конец очереди только. Новый год в колхозе “Красная кура” да и в соседнем “Красном инкубаторе” всегда был самым важным праздником: план по яйцам был выполнен, как всегда, досрочно; знамя переходящее по яйцам тоже получили; председатель сельсовета Николай Юрьевич четвертый день уже как из района вернулся, от радости да от первача в полном невстатии, дел тьма-тьмушая, опоросы пошли один за другим, хоть и маловато было свиней в селе, не любил их Пантелеич, а все же достаточно, успевай поворачиваться. Елку себе сношарь, как знали бабы, саморучно срубил за водокачкой: небольшую, унес и украшает, подмастерья у него на подхвате. Прапрадед его, говорит, так велел, он и блюдет.

Снег шел по ночам, но, как будто сам Лука Пантелеевич велел или другой еще кто-нибудь, кто заведует этим, к утру прекращался, – снегу было очень много. Смородина уж больше трех недель как встала, пешком перейти можно. Только в Угрюм-луже, – видимо, от яичных дел потеплее была, – ледку только по краям намерзло, а в середине чернела здоровенным темным зрачком полынья, и золотоперый подлещик, говорят, иной раз хвостом плескался, – играл, стало быть. На снегу же над Угрюм-лужей, на берегу, все было истоптано собачьими лапами, большими, немолодыми, и другими тоже: течные суки сбегались сюда вот уж больше месяца, как срок приступал, а много было собак в Нижнеблагодатском, оно же “Красная кура”, и в Ефросиньевке, она же “Красный инкубатор”, да и в других селах было много, только в Верхнеблагодатском поменьше, но и оттуда суки бегали. Кобели же не бегали: кто-то, видать, объяснил им понятным собачьим языком, что кобелям сюда ходу нет. Даже волчицы из Засмородинья, судя по следам, приходили. И так же

уходили – похоже, довольные. Месяца через два можно было ожидать немалого увеличения волчьего и собачьего поголовья по всей округе – суки под Новый год, словно тоже по приказу некоего верховного сношаря, текли наперебой.

Тридцатого сношарь полез на чердак. Долго ухал и крикал, переставляя корзины со всяческим барахлом, грохнул что-то, выругался в сердцах, да так, что даже Джеймс и подремывавший с устатку Павел внизу расслышали. Потом прихватил что-то тяжелое, видать, неудобное по форме, и с паровозным сопением спустился назад, в горницу – ход на чердак был прямо оттуда. Сколько-то времени доносились из горницы замысловатая ругань, сопенье, стуканье, потом разнеслась долгая тишина, а затем тюкнул сношарь в гонг четыре раза: звал гостей-жильцов на свою половину. Если бы что неприятное собирался сообщить, пять бы раз тюкнул. Сигналы же от одного до трех раз все были не для гостей, а для клиенток. Клиенткам же еще нескоро было, шел только одиннадцатый час утра, Джеймс уже побрился, а Павел только-только глаза открыл. К здешней жизни, на восхитительном деревенском воздухе, которого сроду-то на вкус не пробовал, Павел привык неожиданно скоро, жратва была много лучше городской, а непременная ежедневная смена баб для него, который всю жизнь себя однолюбом считал и женщин-то знал неполный десяток, включая самые ранние армейско-институтские романы, приводила его эта смена в уверенное расположение духа. Увлекся, честно говоря, этим ежевечерним занятием будущий государь Павел. Хотя – по категорическому требованию Джеймса – при этом и поглощал в невероятных количествах странный кислый порошок, извлеченный из рампалевского саквояжа; разведчик требовал, чтобы Павел съедал в день минимум пять порций этой гадости во избежание появления излишних и неожиданных претендентов на престол. Хотя с точки зрения исторической, как понимал Павел, чуть ли не вся здешняя деревня, да и часть окрестных, имела на российский престол кое-какие права, но все же спокойнее было более законного семени здесь не сеять. Когда же Павел поинтересовался, отчего сам Джеймс этого препарата не принимает, тот посмотрел на него с большим удивлением – не все ли, мол, равно? И впервые в жизни понял Павел, что, сколь ни хороши у сношаря бабы, да, видать, и не только у сношаря, если все сложится, как этот их голландец предсказывает, – но, приступая к ним, нельзя забывать о кислой-прекислой оскомине.

Павел вылез из довольно уютной постели и кое-как оделся. Оба вошли в сношареву горницу и застали деда сидящим посреди пола, перед большим, потемневшим от времени ящиком, с которого только что с истошным гвоздяным визгом была содрана крышка.

– С добрым утром, Лука Пантелеевич, – тихо поздоровался Джеймс. Павел молча кивнул, а его двоюродный дед вообще головы не поднял, однако же мотнул ею в сторону вскрытого ящика. И в самом деле, содержимое, открывшееся взорам, всякие человеческие слова делало ненужными. Завернутые в ветхие тряпочки и слегка пересыпанные опилками, лежали в нем елочные игрушки, стеклянные и фарфоровые, совершенно невиданной красоты. Сношарь бережно разворачивал одну за другой: позолоченных ангелов с тончайшими стеклянными крылышками за спиной, чернокожего волхва

Мельхиора, тоже позолоченного, с большим мешком стеклянным! – полным голубых и красных камней, всякое рождественское зверье – зайцев, медведей, лис, оленей видимо-невидимо. Сношарь не без гордости посмотрел на постояльцев.

– Небось, у меня у одного сбереглись. Свибловские это, с восемнадцатого года остались, бабы после войны мне принесли. Нашли, стало-ть, когда флигель на кирпич разбирали. Много еще чего нашли, все цело... Ни одной не побилось. И звезда шестиконечная. Украшать буду. – Сношарь мотнул головой на пушистую елочку, уже поставленную в красном углу на крестовину. – Хотите, помогайте. Баб до этого дела не допускаю. Побьете хоть одну – живыми не выйдете. Ясно?

– На западе на аукционах такие игрушки стоят больше чем по сотне долларов. И то не найти! – откликнулся Джеймс, неожиданно оказавшийся в курсе дела и по этому вопросу. – Так ведь у вас тут тысяч на десять, если не на двадцать!

– Это в яйцах сколько же? – мигом отреагировал сношарь.

– М-м... – замешкался Джеймс, – ведь у вас, в России, Лука Пантелеевич, яйца много дороже, чем у нас, так что пересчитать почти невозможно...

– То-то же! – гордо объявил сношарь, доставая из ящика изумительную птицу-феникс, сверкнувшую всеми цветами радуги и даже еще какими-то такими, которых ни в какой радуге нет. – Стало быть, не по сто долларов они, а вообще им цены нет. Свибловские это, наши, наследные. – Сношарь покосился на Павла, видимо, сомневаясь – знает Павел о своем родстве со Свибловыми или нет. – Дмитрий Свиблов их для себя выдуть велел, ни одну по два раза работать не позволял! Великий был человек, а кто его помнит... – Сношарь резко оборвал себя и добавил: – Потому и позвал поглядеть. Я и бабам не всем показываю. Сейчас украшать буду. – Последние слова прозвучали совсем обиженно, сношаря, видимо, задела Джеймсова американская меркантильность. Павел выразил желание помочь, Джеймс засомневался, уместно ли присоединиться им к столь священному действию, но старик вдруг подмигнул Павлу и сказал:

– Чего уж там. Это наше с ним дело, семейное; если он, как голоса твои вражеские говорят, слышал, не отнекивайся, радива твоя на всю деревню орет, истинный престолонаследник, но я ж все ж таки, не баран начхал, как его, великий князь, а? Да брось ты психовать, милый, я престол этот самый в гробу урабатывал... Так что ль, Паша? Родня мы с тобой все-таки. И бабы тебя хвалят, мне уж сплетничали друг про друга, а мне что? Крепко семья наше... Первое дело – чтобы довольны бабы были, а остальное на свете все само собой прикладывается и получается.

Джеймс, на которого бабы тоже не жаловались, постарался в монолог сношаря не встревать. И сношарь продолжал:

– Вот будем мы... с государем елочку украшать. К праздничку. Так что ли, Паша?

Павел покраснел и бережно взял в руки волхва Бальтазара. Ниточка, пропущенная у волхва через стеклянное колечко над мешком с дарами, совсем истлела. Сношарь протянул новую, суровую. Павел ловкими, на рисовых занятиях натренированными пальцами, завязал ее, где полагалось, чем явно

вызвал удовольствие старика. Джеймс отсиживался в сторонке. И вдруг его прорвало, может быть, оттого, что и сам сношарь впервые за полтора месяца знакомства был расположен к душевной беседе без экивоков.

– Как же вам, Лука Пантелеевич, как же вам не страшно было все эти годы? – Павлу стало ясно, что сейчас Роман Денисович начнет домогаться у старика неизвестно за каким дьяволом понадобившегося отречения, – хотя старику на этот самый престол и без того плевать было. Разговор такой заходил уже трижды, но старик отнекивался и откладывал разговор на потом, видимо, ему просто доставляло удовольствие испытывать нетерпение Джеймса, нетерпеливых вообще любил старик помучить. Павел же ничего не просил, выдрессирован был родным отцом, – оттого и расположил к себе старика едва ли не с первого дня. Сношарь любил все делать только по собственной инициативе.

– То есть как это не было страшно? Было. В двадцать девятом страшно было. Непротивленца тогда, попа здешнего, кулачили. И меня тоже бить хотели. Вон, дочки его за ветпунктом живут, девы старые. Но обошлось ведь? Обошлось. Меня гробить – все одно как быка племенного на мясо извести. А бабы, они в хозяйстве понимают, племенных берегут, ежели которые не дуры вовсе. А тут все свибловские, а Свибловы дураков крепостными не держали, продавали их, а умных прикупали... Ну, и в сорок первом тоже страшно было, это когда наши... – сношарь, шевеля губами, перебрал несколько местоимений, – “наши”, “ваши”, – выбрал и продолжил: – ихние пришли, а ихние ушли, ну, да понятно, что тогда было. Деньги я тогда еще имел, черт-те на что ухнул все, ну, да это разговор отдельный, с тех пор в руки не беру. Только что рассказываю, это еще раньше было. А как пришли ихние, смех вспомнить, повенчала меня тогда одна дура даже, чтобы я вроде как женатый был и угонять меня в Германию не полагается... – сношарь засмеялся дребезжащим смехом.

– Устинья Зверева, – тихо подсказал Джеймс. Сношарь не удивился.

– Точно. Устинья. Это чтоб, значит, помнил я дотеперь, как ее, Настасью, звать, для одного для этого, не иначе, подвенчалась она ко мне. А сама, курва, чуть ихним назад пехать пришлось, детишек обоих прихватила и с ними драпу сделала. И теперь, слышал я, выродок ейный, Славка, где-то в люди большие выпер и в дети ко мне лезет.

– Так он, возможно, не ваш сын? – поспешно и с интересом спросил Джеймс.

– Да нет... мой, точно мой. Больше сделать было некому, он же в сорок третьем родился. Моих баб, сам знаешь, гость любезный, без моего дозволения не очень-то потопчешь, сам знаешь...

Джеймс поперхнулся брянской сигаретой, а Павел чуть не выронил Мельхиора, вынутого из опилок, – уже другого, мало похожего на первого, зато сильно смахивающего на гибрид Поля Робсона с Анджелой Дэвис, но, впрочем, тоже с мешком даров. А сношарь продолжал:

– Двое их было, двое, и старший мой, и младший, хоть и была она, Устинья, пришлая, когда ко мне подвенчивалась. Да только вот сомневаюсь: точно ли этот ублюдок Славка?

– Как же ублюдок, Лука Пантелеевич, он же, вы сами говорите, ваш законный

сын от законного брака! – Джеймс что-то задумал, а сношарь, беды не чуя, ответил:

– Да нет, добрый человек, оттого и ублюдок он, – ежели он и вправду Славка, – что от законного брака. В законном браке, сам скажи, откуда хотение, а ежели хотение натугой взять, то любовь откуда взять, куда всунуть? А без любви да без хотения дите всегда ублюдистое будет, уж поверь. Вот когда Хивря меня засмоленного шесть дней в дупле таила, то вот ежели б от нее дите получилось – было бы оно ладное да законное, – да ей, вишь, уж тогда шестьдесят было... А Славка – точно ублюдок. Как же не ублюдок, когда делал я его со страху? Старшой-то, Георгий, привенчаный который, вот он законный, я его до войны сработал, а родился он осенью, в аккурат как родился, так меня Настасья и окрутила, смастерил ей еще и Славку. Георгий-то позаконней мне будет, да ведь и старше он! Вот тебе и ответ, добрый человек, насчет “страшно-не-страшно”. На Устинью когда лез, жену законную, как считается, вот тогда страшно было с непривычки. Ох, и злющая ж баба была, хотя, ежели глаза закрыть, то все, кажись, как надо делала... – сношарь помолчал, что-то вспоминая, и продолжил: – А что после вышло – в толк по сей день не возьму. Старшого у ей Георгием, Егоркой, значит, звали, а младшего – Ярославом. А тот, что в дети ко мне набивается, сам говорит, что он Ярослав, хоть и зовут его как-то совсем непонятно. Ну и как же так?

– Хорхе и Георгий – одно и то же, Лука Пантелеевич. Но ведь по старым святцам Ярослав – это тоже Георгий!

– Это я, добрый человек, не хуже тебя знаю, не из болота вылез. Только ежели он Егорка сопливый – где тогда Славка? А ежели Славка – где тогда Егорка? Вот когда предъявят мне их обоих – тогда точно скажу, какого по любви, законно работал! А какого, значит, без любви. Нюх у меня на это! Да что тебе, дитев моих мало? – неожиданно осерчал сношарь, – вон, выдь к водокачке, все село мое, все – мое семя.

– Так вы, Лука Пантелеевич, своим наследником – предположите такой случай – сочли бы только Георгия, а не Ярослава? – Джеймс пропустил гнев сношаря мимо ушей.

– Это... может быть. – Сношарь опять уходил от разговора. Павел глядел на него с чувством, в котором смешивались восторг, страх и почтение. Павел узнавал в сношаре родного отца. И знал поэтому, как с ним себя вести: ничего не просить, ничем не интересоваться, тогда тот все сам выложит. А Джеймс этого не знал, и поэтому точно понимал Павел – ничего Роман Денисович от старика не добьется, пока не переменит тактику. А подсказывать – не собирался, пусть хоть в чем-то останется он в неведении.

Елка тем временем понемногу украшалась. Уже засияла на ее ладной вершине радужно-золотая шестиконечная звезда, – Павел поежился, но вспомнил, что это не еврейский могоендовид, а вполне христианский символ, – уже протянулись вдоль веток ленты уж и вовсе непонятно как уцелевшей, почти нигде не порванной, тончайшей сусали. От обилия паутинчатого, но все же достаточно тяжелого стекла елка словно постройнела, опустив хвойные лапы, как солдат, собирающийся занять стойку “смирно”; сношарь оглядел ее и довольно цокнул

языком.

– И перед дедом не стыдно бы, – сказал он. – А молодцы Свибловы были, и стекло чудесное дули, и серебро отличное лили. Ты уж не забудь, Паша, как, стало быть, царем станешь, верни им, Свибловым, все, что полагается, не пожалеешь, да и кровь своя все-таки. Ни мне бы, ни тебе бы без них эту елочку не украшать нынче.

Павел безразлично кивнул. Куда уж было Джеймсу знать, что только так, и никак иначе, нужно добиваться чего бы то ни было от Романовых. Ничего, мол – все и так полагается. Полцарства тебе? А фигу не хочешь? А вот ежели и на самом деле не хочешь ты ничего, а все мечты твои – из области несмотренной пятой серии, скажем, “Семнадцати мгновений весны”, – вот тогда-то уж, любезный, тогда я тебе эти полцарства в глотку воткну, не отвертисси! Впрочем, Роман Денисович, кто бы он ни был – человек не русский. Откуда ему взять понятие таких тонких, таких чисто российских материй?

Вечером опять были Настасьи. И, как слышал через перегородку вошедший во вкус ремесла Павел, Роман Денисович свою вытолкал минут за десять до одиннадцати, хоть и вякала она, что за дольше заплатила и не успела ничего, и требовать назад будет, и Луке Пантелеевичу жаловаться – Джеймс что-то ей тихо сказал напоследок такое, что она смолкла и прочь потрусилась по прямой через овраг, а Джеймсу было уже не до того: ему в одиннадцать полагалось слушать радио. Павлу же ничего не полагалось, и Маша Мохначева, последнее время уже регулярно норовившая попасть в наказанные именно к Павлу, облегченно вздохнула, когда за другой Настасьей хлопнула дверь в сенях; боялась она, что другая наказанная потребует недобранные минуты с Павла, – впрочем, имен их никто не знал, а различали как “длинного” и “поменьше”, – а заплатила Марья четыре десятка всего, масса чувствий неприятных приключиться могла бы, нешто за час двадцать все успеешь? Наконец, Павел разлакомившуюся Марью-Настасью все-таки выставил и сквозь наползающий сон расслышал ликующий рев Джеймса: что-то, видать, тот извлек из радиопередачи ценное и победное. Впрочем, Павлу это не помешало сразу же заснуть. Сношарь же был занят еще аж до без четверти три – завтра, тридцать первого, баня у него была и день неприятный, вот и набилось баб сверх обычного.

Заснул и Джеймс – с сознанием выполненного долга, ибо из расшифрованной ахинеи Аделаиды ван Патмос, – совершенно особый код был основан на служебных словах и вопросительных знаках в ее монологах по “Голосу Америки”, – узнал, что за отличное выполнение оперативного задания ему присвоено звание, выражаясь в русском табеле об офицерских рангах, подполковника или около того. Узнал, что еще до наступления лета придется ему вместе с Павлом появиться на арене событий. Узнал, что, как и предсказывал ван Леннеп, немалая часть советского руководства стоит за реставрацию Дома Старших Романовых. Узнал, наконец, без всякого кода, просто из текста передачи, что во многих городах Америки состоялись демонстрации в поддержку Дома Романовых, хотя кое-где “младших” пока еще путали со “старшими”, – а во многих городах России состоялись забастовки

против повышения цен на масло, меха, золото, бензин и, стало быть, тоже в поддержку Дома Романовых, которые всем своим домом уговорились эти цены понизить. Узнал еще об историческом визите государственного секретаря на Ближний Восток или еще там куда-то, но это его уже не касалось, все это было другим голосом и из другого мира.

А тридцать первого было холодно, как на Южном полюсе в июле, однако обязательные бабы, приставленные сношарем к банно-яичному делу (кстати, Пантелеич гостям строго-настрога объявил, чтоб об яичных ваннах для них и речи не заводили, это его дело личное, интимное), избу жарко вытопили, принесли первостатейной жратвы, – да в баньку Джеймса и Павла тоже допустили, – конечно, уже после того, как сношарь сам попарился, после того, как бабы по тонкому ледку остатную жидкость в Угрюм-лужу спустили. Джеймс искоса поглядывал на помахивающего веником императора, тихо радовался про себя и подполковничьему званию, и тому, как окреп, как поздоровел еще столь недавно бледный и кисловатый претендент на российский престол: от чистого воздуха, от пусть однообразной, но натуральной деревенской пищи, а также, видимо, и от многократно подстегнутого гормонального обмена, – небось, за всю жизнь не было у Павла Федоровича такого количества баб, как за один этот месяц с небольшим. Джеймсу, человеку западному, все это было приятно, но в усталость, а Павлу, человеку советскому – и в радость, и в охотку, и в поздравление. Только появилась между бровями какая-то новая складка. О чем это он там думает? А ведь думает. Мыслей его читать не имел права Джеймс ни под каким видом. Рискни он это сделать – немедленно разжаловал бы сам себя до рядового. Он и инструкцию имел на этот случай – самого себя разжаловать. А инструкций он слушался.

Павел же и в самом деле сильно изменился, думал в самом деле все больше и больше. Каким-то десятым, меланхолическим чувством понимал Павел, что править Россией, этим чуть ли не в пыль распавшимся колоссом, ему все-таки придется; будь Павел знаком хоть с одним предиктором, он бы знал, что знание будущего, даже приблизительное, и хандра – вещи неразрывно связанные. Хочешь не хочешь, а дикая, непосильная ответственность рано или поздно ляжет на его узкие плечи, придавит залысый романовский лоб не одною только мономаховой шапкой, – цела ведь у них, поди, в Алмазном фонде, если только в Швейцарию не продали да на презервативы в Японии не истратили, с них станется, – придавит страшной, невероятной ответственностью за голодные толпы в сотни миллионов голов. А мусульмане, которых, как он все по тому же Джеймсову приемнику слышал, в СССР больше, чем в любой ближневосточной стране? А евреи – опять же? Не загонять же их в черту оседлости и не выгонять же в Израиль? Но и полную свободу как им дать, как же без процентной нормы: они ведь тогда и впрямь в два счета в стране все ключевые посты займут, как в Турции, говорят, армяне перед геноцидом? А грузины, которые все подряд на Сталина молятся, – так полагал Павел, хотя среди его друзей и знакомых по странному совпадению ни единого грузина не было. А Украина, небось, опять отделиться захочет? С Китаем что делать? Даже с сестрой Софьей что делать-то, она ведь пронюхает теперь, нюх имеет волчий, она же всех продаст и все на

книжку сложит, всех с кашей съест, она же править захочет! Она же кого угодно взбунтует, она ж Мария Спиридонова настоящая, она ж, небось, уже Софьей... Второй себя считает! От совпадения своего порядкового номера с Софьиным Павлу стало неприятно, даже сомлел он малость, но вовремя подоспевший Джеймс вылил на него шайку холодной воды, и Павел снова пришел в себя. Так вот. А с монополией на водку как быть?

Колесо таких вот и подобных мыслей вращалось в голове Павла круглосуточно. Знай об этом Джеймс, или, скажем, Форбс, они не чувствовали бы себя так спокойно касательно судьбы всей операции “Остров Баратария”, касательно всей работы по реставрации Дома Старших Романовых. Но мысли Павла читать было пока некому, кроме ушедшего в глубокий запой Джексона, а тот уже языком не ворочал который день. Знал о них только меланхоличный голландский блондин у себя на ранчо в Орегоне; в Скалистых горах ван Леннеп начинал кашлять, поэтому жил от всего института отдельно, за бетонной стеной высотой в тридцать футов. Впрочем, разглашай эти мысли, не разглашай, все будет, как будет, а только станет уж и вовсе неинтересно. Вот он и не разглашал. Ван Леннеп иногда умалчивал кое о чем. Чтоб со скуки не помереть.

И снова где-то в мире что-то происходило. Где-то на далеких задворках московской Капотни, куда и опытный таксист не знает заезда иначе как с кольцевой автодороги, в большом кубическом здании почти без окон, зато с очень высокой трубой, совсем потерявшийся человечек, в прошлом врач-бальнеолог, а нынче уж и не врач, а черт знает что такое, возглавляющий это самое похожее больше на кенотаф, чем на дом, учреждение, просматривал в предновогодней спешке пухлую папку, присланную из Сухуми с секретным курьером, а в папке лежали сравнительные графики частотности удач получения искусственного инфаркта у южноафриканских бабуинов и бонобо в зависимости от времени года и сортности пищевых бананов, рядом лежали другие папки с графиками по другим обезьянам, и с грустью думал человечек, что вот и еще один Новый год встретит он тут же, на боевом посту, исполняя спешное задание Родины. Где-то далеко в восточно-сибирской тайге лязгал напильник, ударяясь о два других, позванивал, словно древесина промерзшего кедра, рождая эхо дальних голосов, – а примостившийся рядом еще молодой и почти красивый человек, лицо которого портили неистовые глаза и ороговевшие складки по обеим сторонам узкогубого рта, прислушивался к напильничному позваниванию и молчал, молчал уже больше десяти лет, и копил – нет, не копил, некуда было дальше копить, в душе не вмещалось, – а лишь берег в себе, чтобы, не дай Бог, не расплескать ни капли, свою великую ненависть к одной, совершенно определенной части человечества, собирал в клинок свою волю, закаленную, как закаляли некогда клинки в Дамаске, погружая их в тело живого врага, и твердо знал, что отомстит за свою истребленную молодость, отомстит даже не по еврейскому закону “зуб за зуб”, нет, из расчета не меньше как тридцать два зуба за каждый выбитый, выпавший от цинги, сгнивший от вонючей баланды зуб, еще не знал, как именно, но знал: отомстит. Где-то в жаркой и отвратительной североафриканской тюрьме, в камере, не имеющей другого входа и выхода, кроме как через дыру в потолке, задвинутую сейчас

душной деревянной плитой, сильный и большой, преждевременно состарившийся человек вот уже седьмой год ничего не ждал от людей, лишь молился Богу на смеси французского и латыни, да и то лишь потому, что знал и помнил книгу Иова, знал, что стоит Господу захотеть – и все снова вернется к нему, и большой мир, и самолеты, и поезда, и дорогие птицы в клетках, пусть не за бесценок купленные, как раньше, пусть за полную их дикую стоимость, – и не от великого герцога будет исходить избавление, если придет оно, нет, только от Бога, сотворившего весь род людской, а на радость людскому роду – огромных синих с золотом птиц, вот уже много лет реющих над узником, в бреду горячечных снов остужая чело ему взмахами распростертых лазурных крыльев. Где-то в тысячах километров от этой тюрьмы, в просторной, хотя уже давно тесной для жильцов квартире, именно такая птица, огромный синий и золотой попугай с ласковым и смешным именем, сидя на спинке старинного кресла, точил клюв о бронзовую завитушку, вправленную в дерево, но, впрочем, из него почти уже выломанную, а горестный от своего европейского несовершеннолетия мальчик, грустно разговаривая с птицей, мысленно топтался в совершенно неподходящем для отпрыска хорошей советской семьи месте, в круглом скверике, обсаженном деревьями, на которых вызревают к осени кислые и мелкие райские яблочки, фонтан посреди скверика действует редко, зато на скамьях вокруг него почти всегда отсиживается дикое количество транзитных пассажиров с разным барахлом в сумках и саках, но к вечеру транзитчики редуют, вместо них появляются малозаметные постороннему взгляду юноши, ведущие себя умеренно-вызывающе, и знакомство с ними сулит не одни только чудные мгновенья, а и основательное, в случае неосторожности, знакомство со всякими неприятными диспансерами, с уголовным кодексом, и даже, есть слух, еще с чем-то похуже. Где-то на плохо укатанном старенькими шинами единственного колхозного газика проселке, вне пределов видимости для какого бы то ни было человеческого общества, сидела на брошенном возле дороги бревне босая женщина в обносках цыганского вида, хотя и явно не цыганка, с изрядной сединой в волосах, хоть еще и молодая, – уставясь в одну точку где-то в зените, выкрикивала она проклятия пополам с пророчествами, горькие и страшные слова, не слышимые никому в мире, подбородок ее ходил ходуном, в горле застревали слова, по щекам текли быстро замерзающие слезы, а возле ног ее сидела молоденькая свинка, насторожившая, как собака, уши, слушала, похоже, выклики женщины. Где-то в главной больнице не самого большого из южно-украинских областных центров секретарь местного обкома, лежа в реанимационной палате, не видел даже снов, ибо, хотя сердце его продолжало еще работать и никто не имел права отключить заставляющую его пульсировать аппаратуру, не став при этом убийцей, каковой ответственности на себя брать, естественно, никто не хотел, было это просто невыгодно, потому что, пусть мозг секретаря и подвергся необратимым изменениям, да и почки второй год как не работали, о восстановлении двигательных и прочих функций даже речи не могло идти ранее Страшного Суда, в который секретарь, будучи атеистом, не верил даже при жизни, – но все же секретарь не был освобожден от занимаемой должности, местное начальство меньших рангов ездило к нему на

прием за советом, ожидало в коридорах больницы, не допускалось к прихворнувшему начальнику, но все равно считало свои решения одобренными свыше ввиду молчаливого согласия руководства, – промолчал же начальник, не возразил же! – а смотритель медицинской аппаратуры при больном нежно упаковывал в свой портфель обкомовский новогодний паек, собираясь домой к семейному столу, зная, что до послезавтра с секретарем не случится ничего хуже того, что уже случилось, сердце не остановится, потому что и так давно не бьется, а за прочее он, как врач, не в ответе вовсе. Где-то в совершенно пустой подземной лаборатории, удрав из рабочего кабинета, тщательно запершись от нескромных глаз, некий глубоко презираемый начальством полковник с лупой в руках рассматривал поднесенный ему к Новому году почтительными подчиненными коллекционный подарок: редчайший деревенский, конца шестнадцатого века, похоже, деревянный вологодский валец, притом с необычно тонкой резьбой на ручке, жаль, со следами жучка, но жучок это ничего, это реставраторы уберут, а для профударения мы его использовать не будем, пусть такая редкость висит в гостиной, в коллекции, на видном месте, а подчиненных за жучка и пожучить можно, чтоб старались больше, ведь вот могут же и такую редкость найти, ну, а то, что начальство его, полковника, в грош не ставит, так ведь это истинному коллекционеру нипочем. Где-то далеко от этого подземелья, в северном, якобы туманном, а на самом деле довольно солнечном городе, – солнечном, по крайней мере, по сравнению с градом Петровым, – в тесном кабинете сидела и дожидалась оформления кое-каких формальностей немолодая, но на редкость представительная дама, прибывшая якобы с туристическими целями, на деле же – исполняя кое-какую очень хорошо оплачиваемую миссию, направленную далеко не к торжеству правого дела той страны, из которой дама прибыла, а даже напротив, уводящую эту страну на край политического, да и экономического банкротства, чего дама, будучи особой деловой и настроенной реалистически, не боялась нимало, несмотря на свое весьма привилегированное в таковой стране положение, и даже этому банкротству содействовала, ибо считала свое будущее при любом исходе событий обеспеченным, так как и сама была не дура, и муж ее был далеко не дурак, даже напротив, дальновиднее был, чем многие другие мужчины, – даже и уважаемые ею господа, от коих дожидалась она сейчас оформления всех этих ненужных формальностей.

Где-то в неудобно спланированной, но достаточно комфортабельной квартире, в одном из московских высотных домов, немолодой писатель, икарийский татарин, по происхождению – односельчанин и ровесник совсем позабытого им нынешнего подвального телепата, автор знаменитой в годы войны, тысячи раз пропетой с киноэкранов, эстрад, прозвучавшей с пластинок и из репродукторов песни “Тужурка”, неудачливый сценарист и критик в более поздние годы, а еще позже от избытка нереализованного творческого запала начавший писать под нетатарским, но звонким псевдонимом прозу антигосударственного направления и неожиданно высокой талантливости, за которую и был направлен в мордовские просторы, но из этих просторов извлеченный загадочным удельным владыкой, помещен в нынешнюю квартиру и приставлен, как ни

странно, к тому же самому занятию, за которое и пострадал, – но уже в совершенно иной форме и без каких бы то ни было надежд на что бы то ни было в литературе, кроме крупных гонораров, – писатель медленно стучал по клавишам пишущей машинки и время от времени отпивал из бокала ярко-красный напиток своей южной, давно забытой родины. Где-то на огромной, за семью бетонными заборами расположенной даче в Истре под Москвой, выгнав по обычаю всех телохранителей и обслугу вон, по устоявшейся в последние годы привычке, массивный и высокий человек с родимым пятном под левым глазом, стиснув зубы, смотрел на маленький настенный экран, а на экране мелькали в тысячный раз пронзительные кадры документального фильма, стоившие карьеры и свободы не одному десятку людей, всех, кто прямо или косвенно оказался виновен в том, что не должно было произойти никогда, но вот произошло же, и лишило его, человека с пятном на лице, всякой надежды на тихую старость, что несказанно ожесточило его, не оставило в его сердце ни единого человеческого чувства, кроме иступленной, почти на всех окружающих обращенной ненависти, кроме властолюбия, кроме обычного, связанного с почти высочайшим положением в советском обществе, страха за это положение, болезненного страха, сведшего в могилу так много величайших людей в том государстве, преданнейшим без лести слугой которого человек этот себя почитал, – руки его впивались в подлокотники, толстый нос непонятнейшим и противоестественным образом заострялся, и на нижней губе повисала предательская капля, относительно которой его главный недруг, толстый черножопый подлец, острил, говорят, что из нее лекарства готовить надо, как из яда кобры. И где-то, наконец, в какой-то очень грязной столовой, уже закрывающейся, в одном из арбатских переулков, сидели всеми позабытые, совсем опустившиеся, пьяные и похмельные одновременно, четверо очень неопрятных мужчин и трое еще более неопрятных женщин, а на столе перед ними стояли какие-то тарелочки, тоже неопрятные, и перед одним из сидящих, только перед одним, стоял стакан, доверху налитый жидкостью, пахнущей сивухой и хлоркой, а человек, перед которым стакан стоял, до времени состарившийся от запоя немец с тяжелыми отеками под глазами, дрожащей рукой за этот стакан держался – пить ему не хотелось, но по-русски он иначе, как ни силился, не мог вспомнить ни слова, и вот сейчас предстояло, поборов отвращение, этот самый стакан в себя опрокинуть, и шестеро спутников ждали этого мига с последней, как искорка, тлеющей надеждой.

Бабы накрыли на стол и ушли – прибраться можно и утром, а работать нынче даже по четвертной таксе, которую предлагала известная Настасья, чемпионка по растоптухам, сношарь отказался. Он зазвал гостей к себе в горницу и стал зажигать свечи на елке, включив радио, которое что-то буркало о будущих трудовых успехах паралитическим голосом доживающего свои дни в ветхости нынешнего премьера. Куранты братьев Бутеноп еще не звонили, но незаметно для себя самих, для народа и даже для наиболее замешанных во всей новейшей истории лиц, они отсчитывали уже совершенно иное, чем прежде, время. Часы истории неторопливо, спустя столько темных десятилетий, приходили в согласие с этими, нелепыми, которые на Спасской башне, про которые пьеса, да

и та всем надоела.

Джеймс разлил коньяк. Сношарь нелюбезно назад в горлышко свою порцию вылил, ни капли не обронив. Потом достал корчагу с черным пивом и налил себе в литровую чашку – тоже, видать, свибловскую, наследную, такую же, как вся его праздничная посуда, – в невозможной красоты чашку с летящим вокруг нее глупого и синего вида драконом. Сношарь поднял чашку, а гости – рюмки. Куранты зазвонили, звякнули рюмки об чашку и друг о друга.

Обе рюмки, и Павлова, и Джеймсова, жалобно хрустнули и разлетелись вдребезги, а чашка осталась цела. Гости растерянно стояли, держа в руках ножки рюмок.

– Не беда, – сказал сношарь, отдавая Павлу чашку, которую не успел пригубить, а себе и Джеймсу наливая две других. – Не пей ты, государь, эту гадость. Свое, домашнее, оно куда как лучше. Думаешь, у них кухарка государством править научилась, так великий князь на кухне управиться не умеет? Испей, пиво у меня хорошее, не каждого угощаю. – Помолчал и добавил неожиданно, почесав затылок: – А зря я баб нынче всех погнал. В самый бы раз.

Павел III том 1 Пронеси, Господи Часть 19

Евгений Витковский

XIX

Жил некакий мужик гораздо неубого.
Всего, что надобно для дому было много.
Александр Сумароков. Сказка 2

Затылок маршала выражал отвращение, смешанное с презрением. Маршал возвышался у окна, заложив руки за спину и медленно пошевеливая скрещенными большими пальцами. За окном наступали ранние зимние сумерки, несколько мгновений назад дежурный у ворот зажег в аллеях освещение, и ярко-желтый свет калиевых фонарей почетным караулом выстроился вдоль длинной подъездной дорожки. Впрочем, приехать сегодня уже никто не мог. “Не приведи Господи, если бы приехал, да меня тут засек, – думал капитан, – отстреливаться пришлось бы”. Он глядел на затылок маршала и ждал слов одобрения, но, не дождавшись, взял со стола очередной листок и чуть прокашлялся, пытаясь возратить маршала из бездны отвращения, презрения и ликования к реальным, таким трудом добытым фактам.

– Ивистал Максимович, – сказал он, – это еще не все. Успех “Ильича в Афинах” явно вскружил ему голову. Браун объявил о выходе всех четырех романов под одной обложкой в английском переводе, а в марте обещал издать “Ильича в Виндабоне”. Так это будет называться.

– Сволочь, – глухо сказал маршал, – еще и в Бонне. Гнида пятизадая.
– В Виндабоне, – продолжил капитан, – это значит, в Вене. Древнеримское название. Это про то, как его Ильич в поздней Римской империи революцию делает. – И тот же Браун объявил, что шестой роман будет происходить в

Японии девятого века. И нет никакой надежды, что на шестом он угомонится. Он гребет деньги экскаватором. Но в Финляндии его издавать отказались.

– Ну, это земля нашенская, российского владения, – так же глухо сказал маршал, и большие пальцы его, прекратив вращательное движение, уперлись друг в друга и побелели в подушечках. – Но недолго ему. Шестую еще издаст, пожалуй, к лету. А седьмую – хрен. Разве в неоконченном виде. Мы ее тогда сами издадим для служебного, чтобы знали, какая была гнида... О чем у него седьмая будет, капитан?

– Не могу знать, товарищ маршал. Он ведь не сам пишет. Кажется, последнюю книгу он даже и прочел после того, как ему русское издание доставили. Вы же помните, кто за него пишет. Но ведь в этом его решено как раз не уличать?

Маршал не ответил. Звезды на беспросветных погонах наклонились к окну и исчезли из поля зрения капитана. Дуликов скрестил руки на спине – как Наполеон скрестил бы на груди. Маршал знал, что у великих людей должен быть характерный жест – большие там пальцы в прорези жилета, руку за лацкан, мало ли что придумать можно. Для себя маршал выбрал: руки, скрещенные на спине. И вообще любил стоять спиной к собеседнику. Не потому, чтобы был чрезмерно храбр или невиданно доверителен: просто не любил показывать лицо, стеснялся родимого пятна и вечно подтекающей слюны. Перед самим собой стеснялся, но больше – перед грядущими веками. О них маршал думал постоянно. И понимал, что косметологам с этим пятном сейчас уже возиться поздно, раз уж за пятьдесят пять лет руки не дошли, звездный час вот-вот пробьет, не до косметики.

– Кроме того, Ивистал Максимович, – продолжил капитан, – “Ильич в неолите” сейчас экранизируется в Голливуде. Ильича опять играет Амур Жираф. За ту же роль в “Ильиче в 1789” он, как, может быть, припоминаете, получил “Оскара”. И, кстати, за это же мы его летом не допустим на фестиваль. Кстати, еще о кино. В понедельник у американцев в посольстве просмотр очередной гадости, называется “Анастасия Первая”, монархистская чепуха, не совсем безвредная: скрытая агитация в пользу Романовых. Устин Феофилович, вероятно, заявит протест. Свиноматка не реагирует.

– Все у тебя? – спросил маршал, давая понять, что ни министр культуры, ни фильмы в посольствах недостойны его внимания.

– Так точно.

– Тогда езжай. До Наро-Фоминска в багажнике, дальше сам знаешь.

Маршал не обернулся, только раскрытая ладонь, не то правая, не то левая, – иди пойми, когда человек руки бантиком сложил на спине, – дала капитану понять, что на сегодня все. Сухоплещенко собрал бумажки и отдал спине маршала честь, чего, видимо, можно было и не делать. Это потом будут игры в солдатики, когда они власть возьмут. Сейчас не до того, сейчас маршал собирается всех к ногтю. К тому же почти три часа езды до Наро-Фоминска в неудобной позе, оттуда еще больше двух часов до Москвы, так что не раньше одиннадцати вернется капитан к своему шефу. Впрочем, кто из двоих на самом деле его шеф – капитан точно сказать бы не взялся, он честно шпионил за каждым и каждому доносил. С одной стороны, Ивистал был сильной

личностью, импонировал ему лично и обещал больше, но вряд ли оставит в живых, когда нужда отпадет, да и хохлов терпеть не может, – но с другой стороны, ведь провались его затея, так его, капитана, тоже первым утопят. А человек, который в беседах с маршалом непочтительно именовался свиноматкой, мог и пожаловать чем-нибудь, и помиловать, но нешто можно быть вообще в людях такого ранга уверенным. Так и сидел капитан между двух стульев, – на досуге же, насмотревшись на жите-бытье и привычки шефов, закупал антикварную мебель.

Завелся мотор под окном, черная “волга” с капитаном в багажнике и личным шофером Ивистала исчезла бесшумно в услужливо распахнутых воротах. Хозяин дачи остался один. Если бы маршал с тех пор, как его единственный сын погиб в Африке, не начал плести интриги, ему вообще, вероятно, нечего было бы делать. Лишь благодаря интригам жизнь его обретала смысл и была исполнена чувства высочайшей ответственности перед собой, перед грядущими поколениями и перед светлой памятью незабвенного Фадеюшки.

Ивистал, будучи моложе советской власти на девять лет, приходился ей родным сыном. Натуральных родителей, известных в городе Почепе, том, что на реке Судости, партийных работников, вспоминал мало – жили они там, на берегах этой самой речки, по сей день, и никакой роли в маршальской жизни не играли – ни в прежние годы, ни в нынешние. О годах детства и юности маршал вообще почти не вспоминал, хотя, несомненно, многие впечатления тех лет – и особенно кое-какие обиды – наложили на его судьбу неизгладимую печать, кое-кому испортили жизнь, кое-кому пресекли таковую, а кое-кто еще за кое-что должен будет оной расплатиться довольно скоро. Наверняка должен будет – по меньшей мере один человек. С другими уже все закончено. Хотя и то правда, что на покойников маршал Ивистал Дуликов зло тоже таил подолгу, ни одного покамест еще не простил. Маршалом танковых войск был он уже десятый год, два шефа над ним за это время сменилось, – отчего-то именно министры обороны из советской номенклатуры чаще других играли в ящик, всего заметней эти кончины были для населения столицы, когда почти на сутки перекрывалось движение на улицах и очередного маршала Советского Союза в порошковой расфасовке закладывали в очередную, предварительно выбуренную в кремлевской стене нишу. Давно уже снились Ивисталу кошмарные сны; видел он их часто и помногу, желчная мечтательность покоя не давала, любовь к интригам, а также и развившаяся в последние годы привычка вести про себя бесконечный монолог, обращенный к покойному сыну, – виделось ему в этих снах, будто живет он тысячу лет, все заместителем и заместителем, а верховные над ним сменяются чуть ли не каждые полдня, вся кремлевская стена уже облицована плитами и заштукатурена прахами, по периметру, во много ярусов, до зубцов, а потом и с внутренней стороны тоже во много ярусов, до зубцов, и в самих зубцах потом дупло к дуплу, – и, наконец, источенные бесконечным бурением под прахи стены от ветхости рушатся, ветер метет по улицам отчего-то вовсе опустевшей столицы высокопоставленные прахи его бывших начальников и замечает этими прахами его, Ивистала, не удостоившегося почетного прахования, – тогда он кричит и просыпается в

холодном поту, и даже, кажется, в холодной пыли, очень на эти самые прахи похожей. Может быть, именно поэтому маршал даже и не очень лез в министры, не торопился в прахи то бишь. Он хорошо чувствовал себя в живых заместителях, а на повышение был согласен лишь на такое, чтобы сразу через чин.

Войну Дуликов кончил не в мае сорок пятого, а на месяц позже, ибо лежал в госпитале. Закончил полковником, хотя и было ему тогда только девятнадцать лет с маленьким хвостиком, а воевал он из этого времени как раз только хвостик – два месяца семь дней. В первых числах мая он был младшим лейтенантом, но, когда форсировали Влтаву, чуть не утонул, утопил и снаряжение и оружие, все утопил, выплыл все-таки, шестью часами позже, чем надо, но выплыл, притом на тот самый берег, на который направлялся первоначально, – и сам этому очень удивился. А когда вылез из воды, то увидел чей-то бесхозный шмайссер, решил взять его как трофей: человек без штанов, однако со шмайссером – все-таки уже не совсем голый, уважение к нему другое. Взял он шмайссер, и тут на него рухнула какая-то полуголая туша, и тушу эту Ивистал очень удачно двинул под дых. Потом, ясное дело, связал он тушу и отконвоировал в ближайшую часть, причем, на счастье, не в свою, а в чужую. А там оказалось, что арестовал он не простую тушу, а военного преступника, власовского полковника Пенченко, того самого, которого через год во дворе тюрьмы в Москве повесили на рояльной струне, – хоть и говорил полковник, что добровольно уже три дня как борется с фашизмом, да не помогло ему это, – а вот Ивисталу это происшествие в его дальнейшей судьбе очень помогло. Документы у него были утрачены, но проявленный героизм налицо, и на радостях, что такую крупную шишку изловили, согласились смершевы в этой чужой части документы ему восстановить. И когда оформлявший их смершевец звание у Ивистала спросил, тот вдруг побледнел и рухнул в обморок, успев пробормотать что-то странное: “Полковник был...” Разглядели потом, что у парня зрочки разные, – заработал Ивистал сотрясение мозга, ушибившись о толстый живот Пенченко. Смершевец вылил на парня четверть стакана воды, переспросил, а Дуликов коснеющим языком повторил: “Под полковником...” Так подполковником и записали, а когда из госпиталя вышел, от контузии оправившись в июне, Ивистал узнал, что ему присвоен следующий чин и приказ уже утвержден: в самом деле, не век же проявившему героизм подполковнику сидеть в подполковниках. Дуликов спорить не стал и всю занялся сбором репараций. Не он один, правда, усердствовал в освобожденной Чехословакии в этом направлении, но все же отломилось ему немало, по большей части бронза из Градчан, но и красное дерево кое-какое тоже, а его Ивистал полугодом позже очень удачно у одной русской народной певицы опять же на бронзу сменял. А в сорок восьмом, уже не в Чехословакии, женатый уже, так же удачно курочил Дуликов и неразоружающихся львовских униатов, усадьбы гуцульские в тех краях серебряной чеканкой богаты были; тем временем он рос в чинах очень быстро, стал в сорок девятом самым молодым советским генералом. Жена разобъяснила, что не одну бронзу брать надо, что и мрамор тоже вещь хорошая, и картины всякие с живописью; пожалел Ивистал, что картин в прежние годы не брал, а

когда в скором времени попал в Корею, то там картин, увы, как раз не оказалось, только и разжился, что резным деревом и коврами, еще, правда, мехами и золотом, но последнего взять удалось маловато. Только и перехватил картин с полсотни в Венгрии в пятьдесят шестом, когда очередной чин получил, но ими опять-таки с начальством делиться пришлось. Так что по картинам у Ивистала было слабо. Да и не любил он их, не понимал всей этой живописи голой с пастушками и задницами. Когда же снова в Чехословакию попал, то обнаружил, что взять там почти нечего. Зато стал он в тот год маршалом. Отбыл тогда очередной бедолага на Новодевичье, очень старый вояка из ротмистров, не дослужившись даже до звания кремлевской пригорошни праха, так вот и досталось Ивисталу звание маршала танковых войск.

Чем дальше уходила война в прошлое, тем больше вспоминалось маршалу в своей жизни подвигов и проявлений личного героизма. Больше того, в кругу ближайших подчиненных и шпионствующих подхалимов из смежных ведомств любил маршал вспоминать битву на Курской дуге. “Видели ли вы когда-нибудь, как горит железо? Нет? И не представляете, что оно может гореть? То-то же! А я видел! Когда мой Т-34 на Курской дуге...” – и мчался дальше на быстроходной танкетке своей памяти, венчаемой все пышнее гирляндой подробностей. Свидетелей не требовалось, никто его мемуаров под сомнение не ставил, но как, однако же, было ему приятно, когда около семьдесят пятого года принесли ему экземпляр изданных в Тбилиси воспоминаний полковника Василия Джанелидзе, и оказалось, что там слово в слово повторен весь его рассказ о событиях на Курской дуге, где, как выяснилось, они вместе с полковником, оба тогда еще майоры, воевали плечом к плечу. Маршал всплакнул и пожелал увидеть друга своей фронтовой юности, но тот, как сообщили, умер после банкета по случаю выхода мемуаров. Хотел и сам Дуликов мемуары написать, но как-то времени не было. И неприятно было то, что главный недруг свои уже не только написал, но и фильм по ним снял. Не хотелось ничего за ним повторять.

Джанелидзе, кстати, рассказывал о том, как и он, и Дуликов по многу дней не покидали танка, спали в нем и жили. И привыкли, удобно стало, не хотели из танка вылезать, только под Харьковом покинули свой родной Т-34, и разбросал их ветер военных перепутий. Маршалу это очень понравилось, приказал он перевезти на свои огромные истринские уголья танк получше из числа списанных, да такой, чтобы на самом деле дошел до Берлина, – познаменитее танк, у которого имя есть. Велел отделать его изнутри темным деревом, поставить бар и кондиционер, – как-то раз, теплой летней ночью, отпустив охрану, залез в этот самый танк и так славно отоспался, что утром даже прослезился и выпил стопку военной тархунной, вспоминая верного боевого соратника, подлинного сына Советской Грузии, с которым плечом к плечу шел столько долгих лет по дорогам Великой Отечественной. Повторял потом этот опыт не единожды, спалось в танке всегда отлично, – а в другом танке, тоже списанном, который на задворках танковой академии в Москве стоял, тоже спалось ему неплохо, хотя удобств там было меньше. А когда погиб Фадеюшка, спанье в танке стало для маршала обычным элементом жизни, частью его повседневного распорядка. Кое-кто об этом знал, но никто не злословил и не

хихикал: из черт маршала, выковавшихся в горниле военных лет, привычка спать в танке была самой безобидной.

В жизни Ивисталу часто везло, – начиная с того, что в двадцать шестом году догадались почепские родители дать ему редчайшее имя, немало, кстати, помогшее на первых порах военной карьеры. Когда же пришли те недолговременные годы, в которые такое имя могло и повредить, он был уже генералом и на такие мелочи мог позволить себе наплевать с высокой колокольни, – ну, а потом и наши снова к власти пришли. И погоны, и ордена – очень хорошо все в жизни получалось. И несчастный пятьдесят шестой год остался для него навсегда не годом горечи, – а ведь прочие сталинские соколы и по сей день терпеть не могут саму цифру “56”! – а годом величайшей в его жизни радости: родился в этом году у красивой жены Ивистала его единственный сын Фадей. Красивая жена, правда, погибла тремя годами позже вместе с полным самолетом других знаменитых конькобежниц, но сын Фадеюшка остался, рос на славу отцу и на гордость. Ничего не жалел Ивистал для сына, особенно же не жалел казенных денег, – он, человек военный, знал, что средства, когда они в руках у тебя, вообще тяжкий грех экономить. И когда захотел мальчик, которому только-только девятнадцать стукнуло, – совсем как его папе, когда тот так удачно под власовца подвернулся, – захотел мальчик в Африку съездить, поохотиться на слонов, носорогов, крокодилов, бегемотов и тигров, – не отказал ему отец, а поручил своему самому доверенному человеку, подполковнику Чунину, организовать мальчику все, чего душа пожелает. Даже когда подполковник, наведя справки, узнал, что в Африке тигров нет – и тут не поспешил маршал, выделил средства на завоз в Кению эту самую нескольких наших наилучших отечественных уссурийских тигров – раз уж они там, капиталисты, своих хищнически поистребляли. И валюту нечего зря переводить: отличные у нас нашлись тигры, а валюта на другое нужна, вон сколько бронзы-то с аукционов идет. А мальчик пусть в свое удовольствие поохотится, раз в жизни молодость бывает, вот как.

Лучше бы уж пожадничал. Всего двенадцать дней спустя, обогнав даже словно бы завывающую аэрограмму, данную обезумевшим от страха Чуниным, с неба свалились конченные люди – охрана Фадея, принесли, ехидны, весть о безвременной кончине Фадея Ивисталовича, да еще с подлыми подробностями: мол, затоптал мальчика разъяренный белый носорог. Самого Чунина никто с тех пор не видел, буквально через пять минут после смерти мальчика он бежал на джипе в сторону суданской границы, и, сколько ни разыскивали предателя, даже следов его найти не удалось. Так, был слух, что через Малави переправился он в ЮАР, но там иди проверь. Маршал, узнав о смерти сына, опустил в кресло и просидел в нем сутки, не вставая и ни на что не реагируя, потом снял телефонную трубку и отдал полтора десятка приказаний, из которых подчиненные уяснили только то, что рассудок маршала цел, но вряд ли с Ивисталом Дуликовым еще когда-нибудь удастся поговорить о футболе, о выпивке, о бабах. Он, пожалуй, даже не стал бы карать загубившую мальчика охрану, не вернешь ведь Фадеюшку, а преданных дурней не так уж много, на каждого не наорешься, – но на свою беду дурни привезли самое главное

вещественное доказательство: узкую пленку, на которую удалось им заснять гибель того, кого охраняли. После такой новости охрана пошла под трибунал и сгинула, а пленку Ивистал затребовал к себе и никогда больше о ней на людях не вспоминал. А сам ежевечерне садился в кинозальце огромной и пустой дачи под Истрой и смотрел эту пленку три-четыре раза, – вот уже больше пяти лет. Даже научился проектором пользоваться без посторонней помощи. Собственными глазами убедился маршал в преступности охраны, в том, что никакие носороги сына не затапывали, а лягнула его молодая подлая зебра, на которую он, видимо, прохладившись граммов на восемьсот, полез сзади, – кровинушка от этого сложился пополам и влетел головой в ствол дурацкого дерева, отчего и умер пятью минутами позже, святой смертью, не приходя в сознание. Одного носорога, впрочем, кровинушка в Африке подстрелил влет, чучело его, выполненное в натуральный вес, привезла в самолете преступная охрана; теперь этот носорог стоял в боковом крыле третьего этажа дуликовской дачи, разок-другой в месяц Ивистал ходил к нему: маршал знал, что никакие носороги бы его сына не одолели, – знал он, что смерть сына – это цена отцовской высокой судьбы и предназначения, та цена, которую следовало уплатить, чтобы вырвать из сердца все мелкое и человеческое, встать на покорном хребте дуры-России и поворотить ее, зебру послушную и ублаженную, рукою сильного вождя, куда ей следует. Пленка изнашивалась, но у Ивистала было много копий. В саду он поставил сыну памятник, близко от дома: юноша в каске целился их могучего штуцера «Холланд и Холланд» в каждого, кто шел к нему по усыпанной гравием дорожке. Гравий был с коктебельского пляжа, всякому видно, но даже из дачной obsługi никому не сообщалось, что ружье в руках у бронзового Фадея – подлинное, дистанционно управляемое, притом оно только смотрится как штуцер, но деле же это противотанковое ружье Рукавишникова. Впрочем, пользоваться этим орудием расправы Ивистал пока не решался. Вокруг памятника была устроена широкая клумба, за которой летом ухаживал специальный садовый мастер. Пять раз зажигалась эта клумба яркими цветами, – ко дням рождения, ко дням смерти. Как день рождения – так цвет белый, голубой, красный. Как день смерти – черный, синий и опять же красный, но тоном потемнее. Ко дням рождения – как бы пирог именинный, ко дням смерти – как бы костер погребальный, всесожженный. Раньше ко дням рождения разных других родственников клумбы выделяли в саду, а теперь, после смерти сына, оставлена была только эта одна. Только три раза в году – радостным цветом, два раза – печальным. Как-то уж выпало семье, что все пять праздников приходились на летнее время. Кровинушка! Только так называл Ивистал сына в бесконечном внутреннем монологе. И сейчас, в густеющем зимнем сумраке, снова плелась та же нить. Ибо вот уже несколько месяцев, как принял Ивистал все важнейшие решения и всечасно просил на них у сына одобрения. Ивистал решил: во-первых, взять власть в России, во-вторых, жениться. Не просто взять власть, а пожизненно и прочно, не на час-другой поджениться на первой попавшейся бабе, а осчастливить ту единственную женщину, которая могла ему сгодиться в таком положении. Женщину эту он никогда не видел, и найти ее оказалось очень

непросто: лучшие агенты нюхали ее следы с начала осени, а поймать никак не могли; хоть она и безумная, хоть и одержимая, но знала заранее, где ее будут искать и всегда уходила от погони, просто – видела будущее. О женщине имелся давний слух, что бродит она по деревням всей России да будущее и говорит кому попало. Нигде она больше одной ночи не ночует, и все сбывается, и хорошее, и плохое. Но в прошлом году, как передавали, открылась ей в грядущем такая махровая антисоветчина, что пришлось принять оную к сведению, – стала пророчица рассказывать всем и каждому, что скоро царь в России будет. И понял Ивистал, что это лично ему судьба указывает высочайшим перстом, понял, что пора встать и плечи расправить. Заодно уж и наследника нового завести, хватит только о мертвых сокрушаться. Жениться надо: конечно, на этой самой Нинели. А что? Баба, говорят, крепкая, ладная, тридцать ей с небольшим, хоть и выглядит старше от жизни под открытым небом. То, что татарка, – тоже хорошо, многоплодные они, татарки, и матери тоже хорошие, и бабы ласковые, это Ивистал с военных лет знал. Но пока что поймать ее не удавалось. А ведь какие дети должны получиться! Даже, глядишь, переймут способность у матери – будущее говорить. Особенно твердо решил Ивистал эту идею в жизнь претворить потому, что сам до нее додумался. Никто не советовал.

Из чуланца, смежного с гардеробной на первом этаже, в котором принимал он своего шпиона при Шелковникове, маршал вышел медленно и собранно; проигнорировав распахнутую невидимым лифтером дверь освещенной кабины, неспешно стал подниматься по парадной мраморной лестнице. Она вела на второй этаж, по капризу покойной жены была украшена беломраморными статуями, вывезенными из Дрездена, – их маршал все у той же самой русской народной артистки на живопись выменял: девять муз. Четыре слева, четыре справа, а девятая, эротической поэзии муза, Эрато ее название, по центру лестницы, лежала на специальной подставке. Раньше она там же стояла, потом Ивистал решил, что при ее-то позе и сущности ей и лежать не стыдно, к тому же она все норовила упасть при банкетах, – и безропотную музу положили. Вообще и в доме, и в парке мрамора у Ивистала было очень много, еще, правда, и бронзы тоже, но и антикварного резного дерева достаточно, именно дерево покойная жена больше всего в статуях любила. Человеком Ивистал был простым, суровым и даже грубым, а из предметов роскоши только и любил, что мрамор, бронзу, золото и драгоценности. В саду статуи на зиму, конечно же, аккуратно закутывались, – не что-нибудь, все-таки Эрьзю он из третьяковских запасников чуть ли не всего истребовал, где его еще возьмешь, а там он без дела пылился. Очень хорошо резное дерево квебрахо смотрелось вдоль дорожек и по углам мостиков. Мрамором разжился Ивистал очень обильно еще в шестидесятые годы, с одной стороны, из Градчан кое-что вывез, но, конечно, и сменял тоже много на динамит, а с другой стороны – подо Львовом одну усадьбу, буржуев Чарторыйских, раскурочил как следует быть. Ивистал твердо верил, что нет лучшего помещения капитала, как в мраморную и деревянную скульптуру: крушить ее невыгодно. Так – обломки одни, а так – глядишь, миллион, и иди пойми за что. Много по сей день стояло в кладовке, ждало

очередной переустройке. Полагал Ивистал, что скоро, после женитьбы, переустройка эта понадобится.

Поднявшись по лестнице, с полминуты постоял Ивистал на пороге банкетного зала, он же столовая. Раньше, когда вся семья жива была, тут и обедали, и ужинали. Обедали и ужинали иной раз и после смерти жены. Обедал и ужинал тут иной раз и сам Ивистал в последние годы, но совсем, совсем редко. Одиноко ему было в этой здоровенной, дубовыми панелями обшитой зале, с тяжелыми люстрами, с дубовыми же креслами, одно из коих, “тронное”, было в человеческий рост или больше, – хозяйское кресло маршала. Когда сын был маленький, с женой они его, смеясь, на это кресло сажали иной раз. Давно это было. В совсем уже густых сумерках поблескивали в комнате бронза и паркет, тоже дубовый, старый, наборный, звездочками, подлинный паркет графов Шереметьевых из их особняка на Знаменке. Еще был у маршала репарационный паркет Чарторыйских, но он в дело не пошел, так и лежал в кладовке: а вот теперь, тридцать лет спустя, мог и он понадобиться. Ее ведь в Закарпатье не один раз видели... Маршал обвел глазами залу, мельком поглядел в смежные гостиные – налево в китайском духе, направо во французском, в левой по стенам птицы разные и тростник, на полу четыре одинаковых нефритовых вазы из Пхеньяна, а из них стебельки всякие торчат, крупный камыш, опиумный мак топорщится коробочками; направо же гостиная штофная, там по стенам пасторали, пастушки всякие с пастушками, этот... б... Буше. Диваны да кресла, удобные, мягкие, ляг да спи. И витраж в окне. Католический, значит, религиозный. Тоже из Львова, репарация. Вся мебель – музейная, на такую веревочку вешают, чтоб не садились. У Ивистала на нее, впрочем, тоже почти никто не садился. Некому. Неужто ее всю убрать придется? Снова и снова надеялся он, что, когда родит Нинель десять-двенадцать раз, матерью-героиней станет, тогда, может быть, начнет пророчествовать не попусту, а только по личной просьбе мужа, и не что на ум взбредет, а что нужно. Тогда тут, глядишь, такой детский сад пойдет, что всю мебель просидят и переломают в один момент. Поскорей бы.

Маршал помедлил еще немного, пересек банкетный зал и вышел на веранду, полукруглую, зимнюю, застекленную. Это место он любил в минуты душевного покоя, а сейчас, несмотря на все страшное величие задуманного плана, на душе у маршала был несомненный покой, сорваться уже ничто не могло, верные генералы таманцев, кантемировцев и множества других дивизий готовы были в любой момент выполнить любое его приказание; даже предательства генерал не боялся, все, ну буквально все, кто мог ему помешать, были у него в руках. Особенно крепко были взяты в клещи, хотя сами об этом пока не подозревали, два главных врага: нынешний прямой начальник маршала, министр обороны Везлеев, и еще глубоко ненавистный с незапамятных довоенных пор армяшка, заместитель министра госбезопасности. Хоть и не припоминал Ивистал, о чем они с этим армяшкой в довоенные годы повздорили, но полагал, что уж, наверное, какую-нибудь подлость этот гад тогда состроил, теперь уж даже и все равно какую, но сдачу дать нынче и важно, и необходимо. А бить надо так, чтобы тот, кого бьешь, уже ни в коем случае больше не встал. Везлеев попался

грубо и примитивно, на валюте: выяснилось, что уже трижды продавал он латиноамериканским государствам, – одной, собственно говоря, стране, с которой у нас к тому же и отношения традиционно плохие, дипломатических нет и на понюх, – продавал эскадрильи “МИГов” последних серий и клал деньги, все до последнего цента, – точнее, до последнего кортадо, – в свой широкий швейцарский карман. Кроме того, личным оскорблением для себя считал Ивистал то, что министр коллекционирует бронзу и многое другое, что, как воздух, необходимо ему самому. На кой хрен ему бронза, когда из него песок сыплется? Да и гарем из мальчиков надо будет гаду припомнить. Словом, весь он упакованный, от погон до вымени. Подлый армянин, конечно, был намного опасней, ни на чем особо крупном до последнего времени не ловился, но выяснилось вдруг, когда недавно удалось завербовать Сухоплещенко, что вот уже три года издает генерал на западе свои собственные, хотя и не лично им написанные, пошлые антисоветские романы с переходящими из эпохи в эпоху Ильичом и Феликсом, которые в каждой эпохе совершают победную революцию. Все это в ближайшие месяцы собирался Ивистал обвалить на голову своим врагам. И не только перечисленным, ибо ненавидел Ивистал, пусть поменьше, почти все остальное правительство. Шефа внутренних дел Витольда Безвредных, – маршал завидовал его роскошной даче в Гренландии, хотя ему самому гренландские льды были ни к чему, но все-таки в память о жене, когда-то чемпионке СССР по одному из видов конькобежного спорта, маршал ко льдам относился хорошо, и его раздражало, что серая харя Витольда оскверняет их своим присутствием. У самого маршала дача была, конечно, не хуже, да и не одна дача, но, кроме как на подмосковной, он не бывал никогда, – а насчет Икарии он даже вспомнить не мог, одна дача у него там или две, а может быть, что и ту единственную, которая была, он давно подарил шефу страны по национальным вопросам Филату Супову в те времена, когда поддерживал с ним хорошие отношения. Но Филат с тех пор впал в полный маразм и, говорят, с утра до ночи перебирает картотеку с цитатами из классиков по вопросам политики и считает сам себя компьютером, – так что хоть он и компьютер, а вряд ли что помнит, так зачем ему эта дача, даже если подарил? Или же там, в Икарии, было у Ивистала целых три дачи? Иди знай... Зато почти дружеские отношения сложились у Дуликова с прямым начальником Шелковникова, с министром Ильей Заобским, человеком просвещенным и жестоким, – но и его Ивистал тоже ненавидел, ибо оставить его в будущем правительстве было невозможно именно в силу отсутствия у министра какой-либо страстишки, кроме как к власти как таковой. В общем, придется ему поставить на вид то, что столько жидов выпустил из страны, вместо того, чтобы использовать их как рабочую силу. Еще больше не устраивал Ивистала международный министр Миконий Филин: хоть и числится вроде как нашим, а ведь за двадцать лет ни единого приличного государства в Западном полушарии, кроме Гренландии, за соратниками и сподвижниками закрепить не сумел, и кошек у себя на даче триста штук держит, даже в сауне с ними парится. Веранда застелена была цельным ковром, полукруглым, как она сама, тканым на заказ, тут репарация неуместна. Вообще ковров было у Ивистала в досталь, в

кладовке лежали даже драгоценные, эти, как их, ахалтекинские, кажись?.. Есть и шикарные, с длинным ворсом, чтобы босая нога радовалась, ковров сейчас нужно много – уж чем-то угодить жене-татарке надо же ведь! Довольна будет: и с орнаментами есть, и с райскими птицами. Ивистал присел. Пора бы уже идти в бункер, как обычно, посмотреть свой страшный фильм, еще раз попрощаться с сыном, но сегодня, после визита Сухоплещенко, маршал не торопился. Сегодня он был опьянен своим одиночеством и тишиной в доме, он впервые за много лет чего-то хотел и жадно ждал. Одиночество его носило, кстати, характер искусственный, но лелеялось тщательно. Для ухода за домом и гигантской усадьбой требовалась, конечно, уйма народу, для присмотра за одним зимним садом и то не меньше двух человек, а еще горничные, лифтеры, истопники, кухарки, еще много кто. Однако указ был всем этим людям строжайший: на глаза не попадаться. Нравилось Ивисталу не смотреть людям в лицо, поэтому сохранил он до сего дня выдумку покойной жены, нарядившей всю прислугу в гуцульские костюмы, – красивый костюм, посмотришь на человека в нем, так лица и не заметишь. Ну, а ту прислугу, которую все же видишь иной раз, никуда не денешься, нарядила жена-покойница в особую униформу: кофточка белая, юбка черная, наколочка – это для будних дней. Юбка, понятно, до полу. Для праздничных же дней наколочки, кофточки, фартучки – алые. Но это в домашние праздники, в банкетные дни опять же вся форма черно-белая. То-то и оно, что алых передничков и наколочек давно Ивистал уже не видел. Осмелились их однажды надеть горничные в его день рождения, да он так взглянул, что сникли и больше не надевали. Вот родит ему теперь Нинель первую пару-тройку наследников, может быть, и станет ему приятно на красные наколочки смотреть.

Раньше, конечно, вызывался в помощь кухарке повар с поварятами откуда надо, если гости приезжали, а в обычные дни она сама справлялась. Мало было работы на троих, на двоих еще меньше, а уж на одного-то... При жене, правда, Ивистал держал еще специального повара, чтобы готовил ей особые кушанья, для желудка легкие. Однако жена погибла, а на что маршалу были легкие кушанья? Или тяжелые? Или какие там вообще? Пищу он любил самую простую, ел ее в холодном виде, – тарелку вареной картошки, черпак икры из банки, и все, сыт маршал и доволен. Сын-то все больше табаком и коньяком, и еще, увы, кое-чем жизнь свою поддерживал. Тоже ему особо кухарки не требовались. Но “легкого” повара маршал не выгнал, а в память о жене, за угождение ей, вывел его на пенсию, дом определил, словом, всем обеспечил – и забыл, как не было. И живых и мертвых помнил маршал лишь до тех пор, пока не заканчивал с ними счета. Вот и Шелковникова тоже хотел он забыть поскорей.

Ивистал постучал костяшками пальцев по низкому столику, и через мгновение в гостиных и на веранде вспыхнул свет. Время было вечернее. Ивистал поднялся и сделал несколько шагов вперед, передумал и вернулся, собираясь пойти под гардеробную, в бункер, выстроенный стена в стену со складом угля. Бункер был, естественно, противоатомный, на полном самообеспечении, а угля из соседнего погребка должно бы даже без большой экономии хватить самое

малое лет на пять. Во всяком случае, хотя бы до бункера нужно дойти сегодня обязательно, – маршал боялся сознаться себе, что сегодня, пожалуй, мог бы обойтись без кинофильма. Хотя и было в этом кощунство и предательство памяти сына, но чувствовал Ивистал, что сегодня ему всего только пятьдесят пять лет и, Бог даст, впереди еще лет двадцать пять – тридцать нормальной жизни, еще успеет он настояться у кормила самодержавной власти, успеет детей новых нарожать и бронзы набрать вдоволь, особенно в Европе, когда туда войска пойдут; словом, думать нужно больше о живых, чем о мертвых. Но ведь и привычке изменить поначалу очень трудно. Не только кинофильменной, но многим другим. Подумав о привычках, вспомнил Ивистал еще нечто и нажатием кнопки на столе в банкетной вызвал маленькую и немолодую горничную, которую прочая прислуга уважала не от хорошей жизни, а оттого, что раз в три-четыре месяца она бывала приближена к маршалу до крайности. Она возникла перед Ивисталом как бы из воздуха, в позе гимназистки, сдающей контрольную работу – опустив глаза и протягивая на вытянутых руках маленькую и изрядно потертую подушечку, от которой сильно пахло анисом. Но стоял к ней Ивистал, конечно же, спиной, и поэтому буркнул:

– Где думка? – потом опять же, не глядя, взял подушечку и пошел в бункер. К этой думке маршал привык еще в Корее, когда от нечего делать и от малых возможностей в смысле репараций он быстро обрастал привычками. Маршал с думкой не расставался, таскал ее с собой повсюду и даже в министерство потихоньку возил, хотя там думкой пользоваться было стыдно. Он подкладывал ее под ухо в бункере, глядя на экран, и в танке, отходя ко сну, забывал ее там и тут, думка трепалась и вытиралась, но маршал не соглашался взять другую, он привык только к этой, и раз в два месяца, выбрав удобный момент, когда маршал был в отъезде, но думку все-таки забывши, маленькая горничная срочно вызывала химчистку, – думку срочно и на месте чистили, потом обрабатывали анисом. Этот запах Ивистал очень любил с самого далекого почепского детства.

В бункере, в танке и в кабинете висела у маршала на стенке одна и та же фотография: жена, молодая и красивая, сидит в плетеном кресле у фонтана, с трехлетним Фадеюшкой на руках, и оба смеются. А в бункере и в танке, кроме того, еще одна, побольше размером: Фадеюшка. Серьезный такой, печальный даже, может быть, чуть нахмуренный, взгляд исподлобья, вроде как бы с одной стороны говорит: “Что хочу, то и сделаю”, а с другой – “Это куда же вы меня? Зачем?..” И вроде бы даже как – “Чем виноват?..” Брови да глаза Фадеюшка у жены унаследовал, и волосы тоже, светлые, почти пепельные, вьющиеся. Манеру улыбаться тоже. Жену маршал почти забыл, никакой боли давно не чувствовал, только через сына вспоминал, как бы в зеркале, – но получалось все равно, что отражался в зеркале сын. Сомневался Ивистал, правильно ли делал он, когда позволял мальчику все, ну решительно все, чего тот хотел, – у японцев, где-то слышал маршал, такая система воспитания есть. Даже перестраивать свою часть дома позволял, вот и превращалась классная в боксерскую, с грушей на тросе, потом в фехтовальную, после – в гимнастический зал, а однажды завел мальчик у себя, на третьем-то этаже,

борзятню. Не справился, надоело, и собак убрали. Лучше бы уж не убрали. Ивистал не мог слышать об охоте, намеревался, когда у Нинели дети пойдут, положить строго-настрого, чтобы из детишек никто про охоту даже и не знал. Чтоб никаких бизонов, тигров, носорогов, а захочется пообщаться – вон вам ручные, по участку бегают. Ивистал держал в особом домике лесника-дрессировщика, который и лося ему уже приручил, и пару северных оленей, белки корм из рук берут, две лисы возле танка под бузиной поселились. Впрочем, если очень потребуют детишки, нужно будет львенка им подарить. Только когти стричь ему аккуратно и все зубы вырвать, небось кашей на мясном бульоне прокормится. Пусть играют детишки. Но один след от прежнего сына, это маршал точно знал, в его житье-бытье останется еще надолго: любил мальчик скакать по аллеям, и по сей день стояли в конюшне у ворот два его жеребца, в холе и леле. Никто на них с тех пор не садился. Один белый жеребец, Гобой по имени, а другой – чалый. Купили его с мудреным английским именем, а сын переназвал, и стали звать Воробышком. Любимый. И конюх при них специальный. Гулять выводит, а сесть на тех коней никому не дозволено до их смерти, когда ж помрут, решил Ивистал, нужно из них чучела будет сделать, как из носорога. Но лошади живут долго.

В бункер Дуликов тоже пошел пешком, снова проигнорировав распахнутую дверь лифта. Какая-то тень мелькнула в пролете и пропала: видимо, истопник. Можно бы, конечно, и обойтись без этого мрачного типа, который так и не научился быть невидимым; но ведь и это была память о капризе жены, которая была уверена, что “истопник надежней, чем вода горячая”. Пусть его доживает себе, как и лошади, а там поглядим, может, и из него чучело сделаем, мы себе тогда хозяева будем. Дуликов отворил полуметровой толщины дверь бункера. Сделано в нем все было по возможности так же, как в танке, ибо танк и бункер для Ивистала были все равно что близнецы-братья. Одинаковым деревом, не очень темным, оба отделаны, и в обоих видеофон с темным экраном, чтоб прислугу не видеть, больно уж противно. Еще бар стоял в бункере, кровать с тонким одеялом без подушки, коврик на полу. И сейф, где все самое важное, материалы на врагов, ключи от швейцарского банка, – хотя и не любил Ивистал бумажную валюту, а все же миллион-другой в полновесных швейцарских франках на черный день там держал, ну, да так в правительстве каждый делает, – и ключи от государственного банка Республики Сальварсан, – что ни говори, а нет надежней валюты, чем эти самые кортадо, которые еще недавно дерьмом считались, – ключи от еще десятка банков с мелкими вкладами, а главное – драгоценности жены покойной, частью прижизненные, частью подаренные ей посмертно. Из последних наиболее интересным казалось Ивисталу даже не кольцо жены Геринга, не лучшее оно было, лучшее русская народная артистка к грязным лапам прибрала, а большая шкатулка так называемых драгоценностей Кшесинской: когда захотела старушка-балерина дожить век в икарийском раю, обратилась она к консулу в Глазго – мол, дозволейте с приживалками в Икарию переселиться, уделите домик в Ореанде, а я вам за это верну все те брильянты да эпидоты, кои государь незабвенной памяти Николай Александрович за особеннейшие услуги преподнес в дар. Миконий Филин тогда как раз задолжал

Ивисталу много, после поездки в Лас-Вегас, он там все проиграл, что мог, вот и попали брильянты в сейф к Ивисталу. Старушке, впрочем, дали дожить в Икарии, хотя маршал и не мог никогда понять – зачем, раз она брильянты уже отдала. Еще короны русских царей, так называемые “детские”, с голубыми бразильскими брильянтами, тут у него в сейфе лежали, да мало ли еще чего, – любил он делать жене посмертные подарки. Стиль у жены был простой, спартаковский, кажется, или динамовский, так это называется, драгоценностей она не носила, а все же любила камешки-то.

Конечно, на стене в бункере висел экран и стоял проектор. Маршал опустился в кресло, вытянул ноги на ковре и сцепил ступни, под голову привычным жестом сунул думку. Но к проектору его рука не тянулась, он смотрел на темный экран и все думал о Нинели. Что ж она от его дома-то захочет? Вряд ли понравятся ей комнаты покойной жены, да и не привыкла она жить в закрытом помещении. Может, все беседки и фонтаны придется снести, похерить всю аккуратность, а для Нинели выстроить голую дорогу с булыжниками, с репьями и крапивой, чтобы ходила и плакала вдоволь? Медика, видать, нужно наперед приискать серьезного психиатрического, чтобы поспокойнее-то пророчествовала, не так, чтобы слишком. Шалаш ей выстроить, а не то пещеру, как в скиту, заложить, чтобы ей там эти, как их, аскариды с медом. Дело понятное, человек она святой, икры жрать не станет даже с картошкой. Может, и от хлеба откажется. А то, может быть, родит первый пяток, да и оклемается. И будет у Ивистала тогда не дача-имение, а большой детский сад. Кто в песочек играет, кто по танку из игрушечного пистолета стреляет, кто за бабочкой с сачком бегают, а он, Ивистал, по саду тому ходит в свободный день и то того, то другого по головке гладит. А если пятна родимые вскочат на лице, как у папани, то ничего, в Париже мастера своего дела есть, что хошь сведут, не только что пятно, а всю рожу тебе наново сработают. А Париж мы к тому времени, Бог даст, уже возьмем. Не говоря уже про то, что Нинель слушать нужно внимательно, она ж будущее знает, ведь знает, стервь, все до точки. Слушать ее и слушать, день и ночь при ней магнитофон нараспашку держать, хоть во сне, хоть на унитазае разговаривает, ейное дело. Только чтобы все записывалось, расшифровывалось, коли очень уж темно заговорит или вовсе не по-русски, – и наутро каждым днем ему, Ивисталу, чтобы запись на руки. Да, еще для нянек-мамок тогда пристройки нужно будет сделать, большие, новые, двухэтажные. Много рук потребуется, ну, да не экономить же.

Механизм власти маршал в стране менять не собирался. Он понимал, что для того, чтобы пророчество Нинели оказалось верным, короноваться ему не обязательно, главного всегда на русской земле царем зовут. Пока, по крайней мере, не к спеху. К тому же не очень нужно афишировать тот факт, что жена у тебя татарка. Когда вот попривыкнут, почувствуют, насколько лучше и прекрасней жить стало оттого, что у власти стоит сильный человек, тогда, Бог поможет, коронуемся. Православие нам в государстве не повредит, заодно и татарку окрестить можно будет. И Европу, конечно же, тоже не забыть присоединить, до Ламанша дойдем пока – хватит на первое время. Пусть хоть эти русский выучат – уже за одно то, что он, Ивистал, никаким другим

разговаривать не умеет. А дальше поглядим: через океан нам, либо же в Азию. Никакого провала своему плану, как уже говорилось, маршал не предвидел, слишком долго он его готовил, слишком хорошо понимал, что нет иного пути у России – только под твердую, под царскую, под его собственную руку. Под руку маршала Ивистала Дуликова.

Рука маршала сама по себе потянулась к кинопроектору. В который уже раз вспыхнул на экране пейзаж кенийского заповедника, цепочка мыслей оборвалась, глаза впились в медленно меняющееся изображение, а на нижней губе стала набрякать и готовиться к падению капля густой слюны. Отказаться от привычек он был все же пока не в силах.

И все-таки с прошлым нужно будет рано или поздно порвать. Ибо теперь в его жизни появилось будущее. Само собой, в будущем этом – послушная и благодарная Россия. Но не только она. Не только. Будет и еще нечто.

Нинель.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 20

Евгений Витковский

XX

Переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, литературного притворства, заключающегося в стилизации.

Борис Пастернак. Замечания к переводам Шекспира

Кайло воткнулось, однако же не выткнулось. Ни взад, ни вперед. Ни в зуб ногой. Вообще никуда. Ыдрыс со вздохом взял молоток и изо всех своих не слишком богатырских сил вдарил по ручке кайла, надеясь, что и кайло вырвет, и кусок мерзлоты, если Аллах поможет, не такой уж маленький выломает. С третьего удара Аллах помог, но только наполовину, ибо кайло вырвать удалось, а мерзлоты не отковырнулось нисколько. Взяв с бою добытое кайло в руки, Ыдрыс обнаружил, что ручка совсем расшаталась и собирается треснуть. Так что Аллах помог даже меньше чем наполовину. Бормоча молитву пророку, оборотень с трудом снова занес над головой кайло и, не прилагая дополнительного усилия, полагаясь только на собственный вес кайла, обрушил его на мерзлоту. Отковырнулся земляной комок, меньше спичечного коробка. Увы, гора Элберт была определенно не из тех, к которым Магомет ходил бы с особенной охотой. Тем временем над головой Ыдрыса раздался кашляющий смех Цукермана:

– Копай, юноша, копай. Ой, как удобно сидеть на подушке! Твой махатма так теперь уже не умеет! Эр лигн тиф ин др эрд! Хи!

– Он махатма, – буркнул Ыдрыс и снова размахнулся кайлом. Было сыро, несмотря на силовое поле, утренний туман проникал в легкие и больно колотся. Вот уже почти три месяца Ыдрыс Умералиев рыл колодец на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. Вскоре после памятной рождественской ночи выдался у генерала Форбса вечерок личной древнекитайской жизни, который

генерал, конечно, душевно скоротал в своем садике, предаваясь любованию цветущими лотосами; таковые вопреки своей природе послушно зацвели в эту ночь по велению Бустаманте. Они вообще цвели там более или менее когда угодно, разве только Нептун восходил от созвездия Змееносца – тогда, конечно, нет. Предаваясь благому созерцанию, помышлял в ту ночь генерал исключительно о бренности человеческого бытия, о суетной преходящести всех наших желаний, а также помыслил генерал, как обычно, и о том, что хорошо бы оставить придворную должность, удалиться к себе в провинцию, скажем, пахать, например, землю, или совершить что-нибудь другое, благое, почетное и столь же древнекитайское. В этом месте мысли его приобрели неожиданный поворот, всплыло в его памяти воспоминание о том, что надобно в жизни содеять какое-либо величайшее доброе дело, из каковых наипервейшим считалось на Востоке во все времена – вырыть колодец. Ну, почти столь же благим – построить мост. Остальных благих дел генерал не знал, не припомнил он и того, что правила эти впрямь восточные, но отнюдь не китайские, – но сообразил, что от Элберта, скажем, до Хонгс-Пик построить мост невозможно даже при помощи всех подчиненных магов, больше чем полсотни миль тут, а вот выкопать колодец не особенно даже и затруднительно. Далее мысль генерала, заплетаясь в благороднейших завитках лотосовых лепестков, услужливо подсказала, что вовсе не обязательно, имея генеральский чин, копать оный колодец собственноручно, для древнего китайца, для этого, Тао Юаньмина, к примеру, или другого какого-нибудь поэта, которого Форбс не читал по незнанию языка и по презрению к переводам на малопросвещенные наречия, скажем, вовсе не непременно условием было вонзять эту самую, как ее, соху, либо же плуг, черт его там знает что, в эту самую тамошнюю скудную, не то тучную, черт ее тоже знает какую, почву. Не пахание важно как таковое, а чтобы твоей волей пахалось, короче говоря, чтобы за тебя пахали. И в лучах горного рассвета, провожая полными слез глазами быстро опадающие лепестки огненных и белых цветов, скорбя и радуясь одновременно по поводу преходящей их красоты, вспомнил генерал, что совершенно неупотребительно сидит у него в барокамере молоденький и симпатичненький советский оборотенок, который как раз интересовался насчет того, чтобы копать что-нибудь.

Словом, через несколько часов, побрившись и облачившись в мундир, совершил генерал недалнюю прогулку по склону Элберта, вниз от аэродрома, от единственного места выше трех тысяч футов над уровнем моря, где можно было выйти из недр Элберта на поверхность. Непонятно почему, но хотелось генералу, чтобы его колодец располагался как можно выше, а значит – ближе к небу; однако же чтобы был он как можно глубже, давал как можно больше влаги, – кстати, таковая в Элберте совершенно не требовалась, она благополучно журчала в туалетах и ваннах из водопровода, который выстроили еще во времена Айка умелые рабочие руки, говорят, среди строителей и китайцы тоже были, но вряд ли, – все же тогда маккартизм был, – вряд ли китайцам такое дело доверили бы. Но тем более желал генерал колодезного копания. Тут вот еще выяснилось, что кыргызы – близкие родственники

китайцев. Форбс выбрал подходящую расселину, удостоверился с помощью дежурных ясновидящих, что где-то внизу вода в земле впрямь булькает, а грунт, хотя и промерз в доисторические времена, но все же вполне ковырябелен вручную. Генерал передал Цукерману для опекаемого магом кыргыза кирку, она же, кажется, кайло, еще лопату и лом. Помнится, мальчик ведь сам копать вызвался, не то наоборот, но это неважно, его никто не спрашивает, не в том он положении. Расселину накрыли колпаком силового поля: не вырвешься, хоть на всем институте исподнее наизнанку вывороти. Цукерман теперь мог отдохнуть и помедитировать, мальчик мог наконец-то поработать. А Форбс осознал, что столь необходимый человечеству колодец наконец-то роется. За три месяца трудов колодец продвинулся футов на пятнадцать, так что до воды оставалось еще много. Но мальчику теперь приходилось выбираться из ямы по веревочной лестнице. Цукерман за это время откуда-то извлек новое умение и стал помаленьку летать, – Форбс подозревал, что за то же самое время пресловутый мальчигов махатма летать помаленьку разучился, – и, покуда Ыдрыс копал, маг удобно сидел в позе лотоса в воздухе над пленным оборотнем. Лично против мальчигов маг ничего не имел, но персона махатмы была для него бесконечным предметом развлечения.

Зима уже почти иссякла, в мире переменилось многое, переменилось гораздо быстрее, чем шло рытье колодца у Ыдрыса. Время истории отсчитывалось сейчас не одними только часами на Спасской башне, не одними только взмахами Ыдрысова кайла. Отсчитывалось оно и поспешными оборотами пропеллеров маленького двухмоторного самолета, унесшего по неведомой причине одного из главных советских министров на его заграничную зимнюю дачу; отсчитывалось листками еженедельно пухнувших бюллетеней предиктора ван Леннепа; отсчитывалось клубами ладанного дыма, плывущими от кадил в церквях русского зарубежья во славу грядущего императора всея Руси, имени которого, впрочем, никто еще не знал; отсчитывалось скоропоспешными выпусками все новых и новых бестселлеров бывшего гарвардского профессора, ныне простого миллионера Освальда Вроблевского, – а громче всего время отсчитывалось замедляющимся пульсом убогого советского премьера, проводившего в реанимационной камере не меньше двадцати трех часов в сутки, тогда как еще прошлым летом он обходился лишь одиннадцатью. Лишь тем единственным, что Форбсу было сейчас всего важнее, время человечества никак отсчитываться не желало: шелестом отречений от российского престола тех, от кого генерал вот уже который месяц этих отречений ожидал.

Там, внизу, советский оборотенок копал за Форбса колодец. А сам Форбс стоял сейчас на краю аэродрома: так гордо именовался крошечный забетонированный альпийский луг под самой вершиной горы. Под ногами Форбса проплывали облака, были они очень плотными и густыми и вызывали отчего-то кулинарные ассоциации. А над головой простиралась высокогорная мартовская голубизна, в которой только что растаял самолетик личного представителя президента по вопросам магии, предикции и ближневосточным делам – знаменитого еще в позапрошлом президентстве Филиппа Кокабзаде. Представитель проторчал в недрах Элберта более двух суток и находился сейчас в уверенности, что

получил полный и положительный отчет о работе института оптимизации прошлого над реставрацией русской монархии, – на самом же деле он провел эти двое суток в состоянии гипнотического сна, навеянного на его ресницы Тофаре Тутуилой, незаменимым властелином погоды, болезней и человеческого сна, только что сменившего самоанское гражданство на американское пятидесятизвездочное. На магический подлог пришлось пойти потому, что именно окончательных обобщений правительству Форбс предоставить не мог никак: без отречения хоть какого-то числа “лишних” Романовых предиктор не только не сулил успеха в делах, но ставил весь проект под сомнение вообще. До вчерашнего дня ни вероятный Никита Первый, ни возможная Софья Вторая, ни очень неприятный Ярослав Второй, ни безвестный Иоанн Седьмой, ни покуда еще не Романов, но, увы, лишь “покуда”, как утверждал предиктор, отвратный Гелий Первый – никто, короче, совсем никто не отрекся от наследных прав на российский престол. А вчера вместе со сводкой ван Леннепа появилась пьянограмма Атона Джексона, и положение от нее только еще больше запуталось: к проблематичным Софье Второй, Иоанну Седьмому, Никите Первому – или Полуторному? – прибавился нынче никому еще не известный, но хотя бы, слава Конфуцию или кому там еще, совершенно безвредный Хаим Первый. России грозили смутные времена, и московские резиденты доносили, что уже зарегистрирован по меньшей мере один лже-Павел Второй и, стало быть, далеко ли до второго лже-Второго и третьего лже-Второго? Предиктор же, как назло, со вчерашнего дня не отвечал на вызовы: по авторитетному мнению Бустаманте, принял снотворное и спал без задних ног, чтоб никакого будущего не видеть, либо, по мнению самого Форбса, опять нажрался гашиша. Но стоило одуроченному послу президента отбыть в направлении, противоположном раю будды Амитабы, расторопный О'Хара принес весть, что предиктор ждет генерала у видеофона. Он же, то бишь О'Хара, сообщил, что мнение мага не подтвердилось, ибо голландец со вчерашнего вечера просто тискал какую-то безотказную орегонскую фермершу, которая в поисках своего заблудившегося самопрограммирующегося трактора перелезла к предиктору за десятифутовый забор. Новость эта, крайне необычная применительно к голландскому меланхолику, генерала весьма обнадежила. Ох уж эти европейцы! Дался ему морской климат. Сидел бы здесь, в Элберте, фургон бы ему этих фермерш привезли. Не то вон целый сектор трансформации сидит без дела, каждый фермершей может перекинуться. А то и трактором. Заблудившимся. И что же все-таки хотел сказать ван Леннеп на прошлой неделе, когда ни с того ни с сего объявил, что, мол, еще не грянет новогодний звон двухтысячного года, как русские примутся выдалбливать гору Улахан-Чистой в хребте Черского? Припадая на каблуки, генерал потащился к лифту. С ван Леннепом можно было говорить только из рабочего кабинета. У лифта толпились оборотни, уже по большей части в своих основных обликах: только что, по приказанию посмирневшего с некоторых пор Аксентовича, они изображали караул морских пехотинцев на проводах Кокаб-заде. Почти все оборотни выглядели осунувшимися и постаревшими, – и то сказать, ведь почти все – после аборта, а вот на службу вышли. Оборотни расступились и почтительно пропустили

генерала.

В кабинете горел экран, а с экрана глядело на генерала лицо – увеличенное больше настоящего размера, с растрепанными и слипшимися волосами, словно ван Леннеп только что вылез из моря. Камера показывала кроме лица только шею и плечи, не было сомнений, что по крайней мере на верхней половине тела предиктора не надето ровно ничего.

– Простите, генерал, – не здороваясь, тихо сказала изображение, – я немного отвлекся и развлекся.

Генерал, тоже не здороваясь, кивнул в знак того, что ничего не имеет против.

– Еще до послезавтрашнего вечера ваши сомнения исчезнут: вне зависимости от моих ответов на ваши вопросы. Ваши сомнения в правильности моего прогноза на реставрацию всего лишь пагубно скажутся на вашем здоровье. А оно для государства и для вас лично дороже восьми сокровищ, не так ли?

Ван Леннеп видел не только будущее, он отлично видел и настоящее, ибо много ли усилий требовалось ему на то, чтобы узнать мысли собеседника, скажем, на секунду наперед? Китайский термин “восемь сокровищ Шаолиня”, видимо, должен был вот-вот прийти в голову генералу, ван Леннеп извлек его из будущего и пихнул в настоящее. Генерал несколько обиделся, – насколько это вообще возможно для древнего китайца.

– Вам знакомо название “Ласт ринг”? – продолжил голландец, неестественно нависая над камерой, отчего у Форбса никак не исчезало впечатление, что не то предиктор смотрит на него с потолка, не то он вообще лежит под предиктором.

– Вилла Пушечникова, – тем не менее ответил он.

– Совершенно верно. И еще до окончания нынешнего дня, повторяю, нынешнего дня, вам необходимо эту виллу посетить и побеседовать с ее владельцем.

– А он снизойдет до того, чтобы к нам пожаловать?

– Увы, генерал. К русским писателям принято ходить на поклон. В данном случае на поклон придется лететь. А в противном случае лауреат не позже завтрашнего вечера потребует встречи со мной.

– Простите, не понял вас. Следует ли из этого, что лауреат имеет сообщить мне нечто ценное?

– Он вообще ничего не имеет сообщить и разговаривать с вами не желает, вас ожидает невежливый, неприязненный, холодный и недружественный прием.

– А?..

– Даже более того: будьте готовы к тому, что с вами вообще не станут разговаривать и откажут от дома в самой грубой форме.

– И... надо?..

– Надо, генерал, надо.

Откуда-то снизу на экране появилась женская рука, тоже больше натурального размера, обвила шею предиктора и потянула ее вниз. Предиктор не сделал попытки вырваться, видимо, все, что он хотел сообщить, было уже сказано. Он дотянулся до расположенного выше камеры переключателя, отчего камера в короткое время убедила генерала в худших подозрениях, а именно в том, что предиктор беседовал с ним, лежа на фермерше. Экран погас. Ох уж эти

европейцы! Кто, скажите, в странах Востока стал бы заниматься делами и любовью одновременно?

Генерал нажал клавишу. Из воздуха возник О'Хара.

– Соедините меня с Нобелевским лауреатом Пушечниковым. Видимо, возможна будет только телефонная связь.

– Минуту.

Из селектора, вслед за потрескиванием десятка набираемых цифр, послышались гудки вызова. Очень нескоро кто-то в штате Вашингтон удосужился снять трубку.

– Частная резиденция “Ласт ринг”, – произнес незнакомый тенор удивительно противного тембра.

– Правительственный вызов. Тридцать пятый сектор УНБ вызывает мистера Пушечникова. Включите аппаратуру против подслушивания.

– Включена круглые сутки. Точней, никогда не выключалась. А у аппарата доверенный секретарь господина Пушечникова. К вашим услугам Мерлин Фейхов.

– Генерал Форбс желает говорить лично с господином Пушечниковым.

– Господин Пушечников такого генерала не знает.

– Все равно. Вызов УНБ.

В телефоне затрещало, наконец, засветился экран. С него смотрело бесполое свиное лицо – возраст экс-диссидента, ныне прибывшегося на секретарскую должность к лауреату, можно было оценивать от тридцати до ста лет, – с возможной погрешностью в любую сторону на любое число таковых. Словом, возраста этот Мерлин не имел. Кажется, от злоупотребления гормональными впрыскиваниями. Автобиографический роман “Я, опущенный” принес экс-диссиденту не меньше миллиона, но впрыскивать себе гормоны он так и не прекратил. Как следствие – мерзкий голос, резавший слух Форбса.

– Господин Пушечников может принять вас завтра, если вы прибудете в его резиденцию сегодня, – наконец изрек Фейхов. – Хотите побеседовать – милости просим. Русская душа господина Пушечникова так рассудила. А она для вас, американцев, – потемки. – Экран погас, в трубке послышались короткие гудки. О'Хара начал набирать номер снова.

– Не надо, О'Хара. Придется лететь. Готовьте мне самолет. Вызовите Ямагути, полетит с нами. Свяжитесь с Тутуилой – пусть обеспечит летную погоду.

...Горные кряжи Колорадо, просторы Вайоминга и Айдахо проскользили под крыльями самолетика Форбса и остались позади. За ними последовали леса штата Вашингтон, и в самом конце их, почти уже у Тихого океана, донесся с окраины национального парка Олимпик мелодичный пеленг, – звучала какая-то странная мелодия, что-то вроде “Боевого гимна республики” в пентатонной гамме. “Хоть что-то человеческое”, – подумал Форбс, понимая под человеческим – китайское. Аэродром частного владения “Ласт ринг” был готов принять самолет. И на том спасибо: хоть не “отказали в самой грубой форме”, как обещал предиктор. Самолетик сделал круг над парком и почти вертикально пошел на посадку. Через иллюминатор Форбс увидел что-то непонятное: в огромный неправильный четырехугольник пушечниковских владений,

отрезанный от прочего мира полосой безлесья, было вписано почти столь же огромное кольцо, точней, много колец, вложенных одно в другое и больше всего напоминавшее мишень для стрельбы. “Это еще что такое?” – успел подумать генерал, но тут шасси коснулось бетона, самолет тряхнуло – и полет окончился. Пока что благополучно.

Первое, что бросилось в дальнзоркие глаза генерала, было дуло зенитного орудия. Смотрело это дуло прямо на Форбса, а раньше, видимо, следило за посадкой самолета и готово было дать залп в любой миг. Не очень старой модели было орудие, – страшно подумать, сколько оно стоит в твердой валюте. Но валюты у здешнего хозяина было, видимо, достаточно. Вдоль взлетной полосы тянулись бараки, за ними шли двадцатифутовые заборы с колючей проволокой, с громадными прожекторами, с вышками, – хотя, кажется, пустыми. За посадкой самолета следило, видимо, лишь первое орудие. Но генералу и на него смотреть было неприятно. Как неприятен был и весь этот вылет из уютных скалистых гор, и вся инструкция предиктора казалась очень несерьезной. Сам-то предиктор никуда не полетел, забавляется там со своей заблудшей... трактористкой.

– Добро пожаловать в “Ласт ринг”, – с ужасающим произношением сказал динамик, но голос был знакомым, это был подлинный голос “ястреба” Пушечникова. Форбс понял, что говорить придется по-русски – да и то, если лауреат вообще достоин его беседы.

Над аэродромом кружили редкие мартовские снежинки. Дверь наиболее закопченного барака отворилась, сгорбленная фигура высунулась из него и как будто приветливо помахала рукой. Генерал сделал шаг в сторону барака – тут же вспыхнули дополнительные мощные прожекторы, с ближайших вышек затарахтели короткие автоматные очереди, разнесся оглушительный собачий лай – правда, ни собак, ни автоматных пуль генерал поблизости не ощутил. В воздухе всего лишь повисли выплевываемые динамиками отборные, хотя и однообразные русские ругательства, никакого смысла, кажется, не имевшие. Человек из барака, ни на что не обращая внимания, пролез под проволокой – тоже, оказывается, бутафорской, – прыгнул на бетон и наполеоновской походкой направился к самолету. Гости не двигались: высокий, сухой, немигающий Форбс, тоже высокий, но ссутулившийся и неприметный О'Хара, и – как полная им противоположность – маленький, независимый, не отверзающий очей ради такого пустяка, как созерцание липового концлагеря, японский медиум.

– Милости прошу, – произнес невыносимым голосом Фейхов и пожал генералу руку, которую тот и не думал протягивать, так вот просто взял да и пожал. – Я тут президента спросил, куда вы летели, что за индюк этот самый Форбс, да и вообще мало ли всяких Форбсов в Америке, как собак невешаных их тут, – и, каюсь, пристыдил меня президент. Я и не знал, что занимаетесь вы нашей отчизной, стонущей в цепях коммунистического рабства. Пристыдил меня Арнольд. Пришлось с повинной к отцу нашему идти, а он меня и слушать не стал. Третий день как ничего не делает, хмурится да ваяет, ваяет... Зубилом все по мрамору, по мрамору, только щепки летят. Серчает. Сколько ни призывает

маршала Дуликова свергнуть советскую власть – как об стенку горох, маршал будто его и не читает. Грустно отцу нашему, вот он и ваяет. Ваяет все да ваяет.

Форбс припомнил, что Пушечников – довольно известный в прошлом скульптор, в ссылке рисование преподавал в школе, а потом в годы оттепели подрабатывал надгробными памятниками. После перемещения в Штаты он свои скульптурные дела как будто забросил – но, оказывается, не до конца. А Фейхов, осторожно ведя гостей между двух обвисших колючих проволок, продолжал:

– Сокрушение советской власти – исторически неизбежно, но Арнольд говорит, что вы эту неизбежность приблизить стараетесь. Честь вам и хвала, если только вы не из мафии. Но Арнольд говорит, что плодотворно вы работаете, плодотворно. Плодотворно, а?

У Форбса от голоса Фейхова начинала разламываться голова. К тому же говорил автор “Опущенного” по-английски бегло, но с таким количеством диалектизмов, что казалось, будто учил он этот язык сразу у всех героев “Гекльберри Финна”. Под аккомпанемент сирен, бутафорской стрельбы и Фейховских разговоров гости пролезли под неколющейся проволокой. Закопченный барак внутри оказался вполне комфортабелен: вдоль стен тянулись нары в два этажа, чистые, мягкие, с поролоновой простежкой в матрацах. Посредине стоял стол с огромным чайником; возле чайника на цепи свисала кружка-разливалка и стояла стопка мисок. У торцовой стены стоял другой стол, письменный, а на нем, полностью дисгармонируя с лагерной обстановкой, возвышался компьютер с экраном в добрый десяток квадратных футов. Форбс с удивлением обозрел его и отчего-то стал переводить в уме футы в европейские метры. Он уже не пытался даже приблизительно понять – за каким дьяволом он сюда прилетел.

В диковатом декоруме барака имелась еще одна деталь – большой фарфоровый камин, в глубине которого разгорались два больших полена, аккуратно уложенные одним концом на третье, пока еще даже не затлевшее. Владелец барака явно пытался придать жилищу уют.

– Летняя резиденция тут, господин генерал, – словно прочтя в мыслях Форбса удивление, просвиристел Фейхов, – в основную усадьбу вас, увы, никак допустить не можем. Там – гости высшей секретности, показывать их отец наш никак не велит, да они и сами не хотели бы светиться. Мало ли что...

Генерал даже не сделал попытки понять – что за секретность может быть от него, когда шефы ЦРУ и ФБР от него секретов не имеют, в силу специфики работы его института и некоторых особенностей Атона Джексона. Он уселся на поролоновые нары и стал смотреть в камин.

– А я тут вот, именно тут работаю, – продолжал верещать Фейхов, – вот сейчас книгу пишу: должен же кто-то, наконец, поднять свой международный голос в защиту советских негров!

Генерал удивленно перевел взгляд на писателя.

– Разве в России есть негры?

– Неужто нет, генерал? У нас там литературу всю сплошь одни негры сделали, и музыку, про мемуары говорить нечего... Вы хоть этого тухляка возьмите

покойного, которому шведы подлые со страху премию-то дали, Петра Подунина: за него “Встать и пойти” один негр писал, “Взмахнуть папахой” другой, а на шедевр свой, “Начать и кончить” в четырех томах, он семерых позвал и всех потом в лагере сгноил... Книгу я об этом задумал. Писать, впрочем, может быть и не сам буду... но неважно, было бы слово сказано. Негры – сила!

“Это уж точно, увы”, – подумал генерал и вспомнил о своем австралийском происхождении. Отчего австралийцев считают расистами?

– А вы располагайтесь, не стесняйтесь. С утра отец наш родной, может быть, уделит минутку-другую вам. Сегодня он с устатку целый день ваяет, да что там, он ведь каждый день в шесть утра встает и ваяет, ваяет... Подвижничество настоящее! Подвиг! А когда писать возьмется – то снова в шесть утра – в кабинет, а там у него книга новая на шести столах разложена, он и пишет, и пишет. Ложитесь, все равно сегодня вас не примет. Пить захотите – вот кипятик в чайнике, других услуг, жаль, не предусмотрено. Меня позвать захотите – в потолок стреляйте.

Генерал совсем опешил. Из чего бы он мог выстрелить? Огнестрельного оружия он не держал в руках с самой корейской войны. Представить что-либо стреляющее в руках медиума было вовсе невысказанно. Вот разве О'Хара. Форбс подумал – а не запротестовать ли. В его намерения входило сегодня же, поговорив с лауреатом, возвратиться в Колорадо, тем более что в ночное время у Тутуилы хорошая погода отлично получалась. Но Фейхов и слышать ничего не хотел, спешно попрощался и покинул барак, да еще навесил на дверь солидный амбарный замок, – видимо, так полагалось по этикету. Генерал, секретарь и медиум остались втроем. Повинуясь невысказанному желанию генерала, О'Хара подошел к чайнику и нацедил чашку. Поскольку пар от чашки не повалил, генерал сделал вывод, что чайной церемонии даже в ее деформированно-русском варианте не предвидится. Увы, в кружке была водка. Форбс пожалел, что не взял с собой ни одного мага: глядишь, пригодилось бы теперь умение превращать вино в воду. Пить русскую водку генерал, ясное дело, не стал, по-стариковски сгорбил на нарах и стал разуваться.

– Отбой! – рявкнул невидимый динамик. Генерал это слово понял.

– И в самом деле отбой, О'Хара. Все равно нам до утра отсюда не выбраться. Ложитесь вон там, напротив. И вы, господин Ямагути.

Медиум, как выяснилось, уже обосновался в неуклюжем кресле у камина, на вопросы не отвечал и, возможно, спал, не сняв, конечно, очков. Впрочем, можно ли быть уверенным, что человек, вся жизнь которого протекает в общении с покойниками, в самом деле спит? Генерала это уже не интересовало. Как только его щека коснулась суконной, пахнувшей какими-то химикатами подушки, он заснул. Ночью его дважды будила сирена. Вероятно, в главной усадьбе Пушечникова что-то происходило. Но генерал засыпал снова и все время видел один и тот же сон: ему снился рай будды Амитабы.

Когда генерал открыл глаза наутро, угли в камине уже догорели, их плотно укрывал серый пепел. В бараке было жарко. О'Хара осоловело протирает глаза, похоже, всю ночь не спал, японца в кресле было не видно и не слышно, однако

жесткий черный хохолок над спинкой все-таки выдавал его присутствие. Не торчи этот хохолок, Форбс, может быть, и не вспомнил бы, что взял медиума с собой. Зачем взял – генерал уже не помнил. Может быть, имел какое-то предчувствие.

– Подъем! – рявкнул репродуктор, и это слово генерал тоже понял. Несомненно, за баракком велось наблюдение: отбой был провозглашен тогда, когда генерал собирался ложиться, подъем – когда собирался вставать. “И то спасибо, что не по часам”, – подумал он, и в это время загремел снимаемый замок. На пороге стоял свежий, как огурчик, Фейхов – насколько вообще может быть похож на огурчик молодящийся гибрид совы с вороной.

– С добрым утром! – пропищал писатель, спешно пожимая непротянутую генералову руку. – Чайку, кофейку? По-простому, не стесняйтесь!

– У меня чрезвычайно мало времени, господин Фейхов, – ответил Форбс, просовывая ноги в сапоги. – Когда мы все же сможем побеседовать с мистером Пушечниковым? Я просил бы обойтись без церемоний.

Фейхов с сожалением просеменил к столу, с трудом наклонил чайник и нацедил водки в кружку. Выпил, гремя цепью, и встал позади стола, держась за ручку чайника – из-за чего превратился в полное подобие вороны на ветке.

– Генерал, вы ведь монархист? – внезапно ляпнул он.

Форбс ответил не сразу.

– В Соединенных Штатах монархия невозможна. Я американец, к вашему сведению.

– Да нет, я не о том. Куда Штатам до монархии, не дозрели вы еще, молодая страна, горячая. Вы, кстати, австралиец, если уж на то пошло, простите за прямоту.

“Ну и длинный же у Арнольда язык”, – нехорошо подумалось Форбсу о новом президенте. Привыкнуть к нему было трудно, больно уж много профессий сменил тот в жизни – но выбирать не приходилось. Сам же Форбс, повинувшись указаниям предиктора, за него и голосовал.

– Так когда же все-таки нас примет Пушечников?

– А хоть сейчас. Только не лично. – Фейхов мотнул птичьей головой в сторону экрана.

– Ну, давайте, – сдался Форбс. Пусть хотя бы так, лишь бы скорей домой. Неуютно американскому генералу сидеть в русском концлагере, хоть и бутафорском, и дожидаться, что какой-то литератор-скульптор снизойдет до беседы.

Фейхов переместился к экрану и чем-то щелкнул. Экран замерцал всеми красками, потом на нем проступили контуры каменного человека. Впрочем, не совсем человека. Экран демонстрировал статую, автор которой обладал незаурядным дарованием. Персонаж, коего изображала статуя, был немолод, показавшийся усат, облачен в пиджак, а под пиджаком просматривалась расшитая узорами рубашка навыпуск. Но на этом собственно человеческое в нем исчерпывалось. Из-под верхней губы торчали огромные, свисающие ниже усов и подбородка вампирские клыки; густую шевелюру прокалывали кончики завивающихся рожек, да и все лицо искажала гримаса дикой злобы и жадности.

С одного из клыков свисала капелька каменной слюны – или яда? Брюки заканчивались не ботинками, а широченными копытами наподобие ячьих, сами же копыта словно бы тонули в болоте – хотя были всего лишь немного утоплены в низкий постамент. Все тело каменного человека было изогнуто: одна рука, выброшенная далеко вперед и в сторону, вцепилась когтистыми пальцами в книгу, другая, заложенная под фалду пиджака, похоже, почесывала поясицу. Правдоподобие искусства доводило эффект до жути: отчего-то зрителю сразу было ясно, что не кладет каменный вампир каменную книгу в отдельно изваянную в сторонке торбу – а именно тащит книгу из нее. Под торбой просматривалось стремя, до которого тщетно пытался дотянуть упырь свое правое копыто. И в завершение всего за спиной чудовища возвышался столб, к которому оно было приковано каменной цепью, зашелкнутой на талии поверх пиджака. Форбса передернуло.

“С таким талантом – еще и книги писать?” – подумал он. На Западе никто скульптурным экзерсисам лауреата не придавал внимания. То ли претил натуралистический стиль, то ли вообще казалось всем ваяние Пушечникова чем-то вроде пресловутой “скрипки Эйнштейна”. Да и не продавал писатель своих скульптур никогда и никому.

На огромном экране пока что живых персонажей не было, и со скуки генерал стал рассматривать неживые, выстроившиеся в довольно правильный круг возле вампира. Ближе всех возвышалась серая глыба, раздваивавшаяся футах в пяти от земли, образывавшая какое-то подобие кентавра, с той разницей, что лицо изображенного и весь торс были обращены в сторону крупа, а сам круп представлял из себя письменный стол простейшей конструкции, почти пустой. Впрочем, на нем виднелась стопка каких-то одинаковых бумаг, одну такую бумагу кентавр держал перед собой, прижав краешком зажатого в левой руке стакана, и, видимо, собирался поставить на ней подпись дулом длинноствольного револьвера, кажется, маузера – из-за дальности Форбс не мог точно разглядеть систему оружия, – сжимал его кентавр все равно как авторучку. Лицо кентавра, светлое, нетрезвое, с зачесанными назад волосами, генералу было абсолютно незнакомо, и он перевел взгляд на следующую статую.

Тут было что-то совсем несусветное. От огромного каменного пня прямо в сторону изваяния вампира тянулся длинный сук, сильно прогибавшийся под тяжестью пристроившегося на нем персонажа. У этого очередного чудовища было тело какой-то огромной, но невзрачной птицы, – так, наверное, выглядел бы увеличенный в миллион раз воробей, – а может быть, и соловей. Голова у чудовища была человеческая, с явными кавказскими чертами лица, усиками и стрижкой ежиком. В одной лапе человекоптица держала далеко отставленную пенковую трубку, так что Форбс даже подумал на секунду – не Сталин ли? Нет, сходства в грустном лице не обнаруживалось ни малейшего. Зато под статуей, на широчайшем пьедестале, виднелась надпись, как-то остервенело-глубоко врезанная в него, и надпись эта отчего-то была сделана на культурном английском языке:

WAIT FOR ME.

Кто тут кого должен был ждать – скульптор птичку, или наоборот? Второе казалось вероятней, и была в этом загадочная сила изобразительного дарования Пушечникова.

Форбс попробовал обозреть следующую статую, но обнаружил, что вместо нее на соответствующем месте высится необработанная каменная глыба, да и за ней стоит такая же. Похоже, лауреат далеко еще не все свои художественные замыслы воплотил в камень, не всех своих врагов разместил на кругах литературного ада. Впрочем, за двумя неотесанными камнями, уже несколько расплывчато из-за расстояния, виднелось еще одно изваяние. Насколько мог различить генерал, там немолодой, обрюзгший человек в пенсне сидел верхом на исполинской бабочке с развернутыми крыльями, сидел не совсем верхом, потому что бабочка была изображена повергнутой навзничь, лишь брюшко ее высоко выгибалось под каменным стариком. Тут Форбс ничего понять не мог, даже догадок строить не стал. Но в это время ракурс изображения на экране изменился.

В поле зрения камеры теперь находился живой человек в крылатке, с седой шевелюрой, изрядно напоминавший Маркса с обритой бородой. В руках у человека было несколько зубил и молоток – похоже, с помощью подобных резцов был изваян весь каменный пандемониум. Человек стоял перед каким-то каменным стариком и явно примеривался – глаз ли выбить идолу, ухо ли отхватить. Сходство каменного старика с самим скульптором наводило на дикую мысль: не собирается ли художник изувечить автопортрет. Руки изваяния были заложены за пояс и словно связаны: казалось, автор заранее опасался мести со стороны статуи.

– Федор Михайлович... – пролепетал Фейхов, но тут же перешел на обычный визг. – Вот! Великий учитель сейчас рубит все, чему прежде поклонялся, конечно, поклоняясь тому, что рубит! Ведь всю свою жизнь учитель проверял и проверяет по единственному барометру честных людей – по Федору Михайловичу. Что бы сказал нам сейчас Федор Михайлович, обратись мы к нему с любым вопросом? Одно можно сказать с уверенностью – мы не можем знать, что ответил бы нам Федор Михайлович, не можем. Но что, собственно, мы вообще хотим узнать? Известно ли нам это?

– Нам это известно, – ответил генерал, у которого от Фейховского визга уже изрядно болела голова. – Мы хотели бы узнать, кого господин Пушечников, всеми уважаемый писатель, историк и... скульптор, кого он благоволит считать истинным наследником российского престола?

Пушечников на экране ожесточенно мусолил резцы, размышляя, как бы побольней уязвить статую, – но при этом, видимо, слушая и разговор в бараке. Фейхов тем временем возгласил:

– А вот на этот вопрос, конечно же, есть ответ, и он совершенно ясен. Законным царем в России может быть единственно только такой человек, который будет всеми единогласно признан как наследник русского престола. Такой человек, в природном наследном праве которого на то, чтобы возглавить Российскую Империю, не было бы ни малейших сомнений! Такой человек, в жилах которого текла бы неразбавленная, чистая и освидетельствованная

кровь... – Фейхов запнулся. Пушечников косил одним глазом в камеру, но взгляд его был недобр.

– Чья кровь? – спросил генерал, переждав паузу.

– Законных русских императоров! Такой человек, который вернул бы помятые коммунистическими тонтонамакутами свободы... Впрочем, и так понятно. Согласны ли вы, господин Форбс, с этой точкой зрения господина Пушечникова, уже не единожды, впрочем, изложенной им на страницах его романов? Вот я лично не сомневаюсь, что и Федор Михайлович, обратись мы к нему с этим вопросом...

Фейхова несло по стремнине красноречия в какую-то невнятицу, Пушечников на экране перебирал резцы и все косил недобрым глазом. Больше не происходило ничего, но генерал помнил, что для истинного сына древнего Китая всегда было великой добродетелью – хранить терпение.

– Я просил бы вас, мистер Фейхов, если вы действительно излагаете мнение господина Пушечникова, выразиться ясней и короче. Поскольку он заявил миру о своей приверженности к монархическому устройству государства, поскольку к его голосу прислушивается весь мир... – Форбс подавил желание прибавить “и даже вы”, чуть запнулся и продолжил: – то я, как человек, в силу служебного долга заинтересованный в реставрации законной власти дома... российских императоров, хотел бы узнать: кого конкретно считать законным наследником престола. Хотя бы – имеют ли право на этот престол именно Романовы.

Фейхов не то пожевал губами, не то пощелкал клювом. Он явно запутался, а Пушечников на экране только шевелил резцами. Генерал медленно переводил взор с “опущенного” на лауреата, с лауреата на золу в камине и снова на “опущенного”. Ни генералу, ни болгарскому шпиону, ни японскому медиуму терпения было не занимать, хотя времени они истратили и так уже слишком много. Фейхов все же заговорил, даже как-то тембр голоса у него переменялся.

– Так вот. По-русски – нуте-с. История беспощадна, она неподкупна и неумолима. Никому не дано остановить ее поступательное, тактильное, так сказать, и моторное движение, даже, не боюсь этого слова, ее фрикционное начало! Желаете ли вы, как всякие разумные люди, признать российскую монархическую основу? Бог в помощь! Разве этого самого по себе недостаточно? Строй православный, строй монархический представляется единственно мыслимым для обустройства грядущего нашей многострадальной отчизны! Родина! Россия! Сколько пето о ней песен! Сколько сложено сказок! Какие были слагались в веках, когда мрачный топор азиатского ига...

Не выдержал человек, от которого этого можно было ожидать всего меньше: не выдержал медиум. Он тихо встал и прошел к монументальному чайнику; генерал слышал его телепатически и потому не обернулся. Перебивая Фейхова, медиум сказал – глаза его, понятно, оставались закрыты:

– Федор Михайлович и другой дух, не называющий имени, русский дворянин очень древнего рода, имеют нечто сообщить вам, господин лауреат, и вам, господин генерал.

На экране Пушечников, кажется, услышавший последние слова, как-то ожил и уставился прямо в камеру, отчего его сходство с бритым Марксом

уменьшилось, но взгляд остался знакомым: так обычно смотрел оборотень Кремона, когда превращался в серого волка.

– Вы предсказатель? – выдавил из себя Фейхов. – Господин Пушечников очень вами интересовался, даже говорил Арнольду, чтобы тот вас к нам прислал...

– Мистер Ямагути – могущественный медиум нашего времени, – веско ответил Форбс, – и он оказывает нам величайшие честь и внимание, связывая вас, а также и нас, с душами умерших. Ни я, ни президент ничего не можем ему приказать.

– Но ведь господин лауреат столько раз заявлял публично, что всякий великий русский писатель советуется с ним ежечасно, ежеминутно, строит жизнь по нему, душу им очищает... А второй дворянин кто? Говорят-то чего? – голос Фейхова, истончаясь, грозил уйти в область ультразвука.

– Имя не названо... – медиум с видимым усилием прислушивался к чему-то в себе, – приношу извинения. Я не слишком хорошо знаю английский язык. Дух Федора Михайловича говорит по-русски. Его слова переводит другой дух. Он весьма хорошо знает русский язык. Вы должны меня извинить. Японский язык почти не имеет ругательств. Русский язык чрезвычайно богат бранными словами. Вы должны меня извинить. Еще несколько мгновений.

И Фейхов, и Пушечников всем своим видом выражали недоверие к тому, что язык, не имеющий ругательств, вообще может существовать.

– Собственно говоря, – с трудом заговорил Ямагути, – общий смысл речи духа Федора Михайловича сводится к следующему. Он настоятельно советует господину лауреату Пушечникову, а также мистеру генералу Форбсу и всем другим присутствующим лицам... я вынужден повторить буквальный перевод, я ничего не понимаю – не совершать вывернутый половой акт? Или же не совершать половой акт в обратную сторону? Или же не совершать половой акт наизнанку? Не понимаю. Кроме того, своим наследником дух Федора Михайловича недвусмысленно называет своего сына Павла и заявляет, что все права на российское престолонаследие передает именно ему.

– То есть какого Павла? – вдруг выпалил Пушечников прямо с экрана. Форбс приблизил к нему лицо и дал обстоятельные разъяснения, хотя мнение Пушечникова уже потеряло для него актуальность. Визит сюда, видимо, был все же нужен: быть может, лишь поблизости от адских кругов, заполненных пушечниковскими статуями, медиум мог вступить в беседу именно с теми покойниками, общения с которыми жаждал генерал.

– Федор Михайлович Романов, – сказал Форбс, – сообщил нам сейчас через посредство почтенного медиума Ямагути, что своим наследником, а следовательно, и наследником русского престола по линии старших Романовых, он считает своего сына, Павла Федоровича Романова.

Генерал так близко наклонился к экрану, что писатель отпрянул и спиной ударился о статую.

– Уф, – сказал он, – да что это вы, генерал, в камеру так и лезете... прежде времени?

На игру словами генералу было глубоко плевать. Он понял, отчего писатель скрылся за телеэкран: президент явно не утаил от лауреата, что Форбс какой-

никакой, а телепат все же. “Ну, приложись у меня к спиртному!..” – злорадно подумал он.

– Приношу извинения, – сказал генерал, отодвигаясь от экрана. Пушечников взял себя в руки и заговорил бархатным баритоном.

– Романовы! Трехсотлетний дом... Почти четырехсот!... Им ли не жаждать реставрации? У них есть это право. Но ведь княжили и володели Русью и другие славные роды. Кстати, более древние, нежели Романовы. Так что вряд ли отречение одного Романова в пользу другого – такое уж важное событие, все это было, было, было. Что, впрочем, не может и отменить идею монархии как единственно возможного для России пути!

Его прервал медиум:

– Федор Михайлович недвусмысленно заявил, что его законным наследником является его сын Павел. – Японец чуть кивнул и сел в кресло, явно считая беседу исчерпанной.

– Стонущая в ярме коммунистической деспотии страна не может не приветствовать своего самодержца, – продолжал писатель, – а кто им будет – вправе решать один только русский народ, только он и больше никто!

– То есть, – подхватил генерал, – если бы, предположим, все-таки Павел Романов занял русский престол под именем Павла Второго, то вы бы его признали? Приветствовали бы?

– Что в имени? Сколько хороших русских имен есть, не на одну тысячу лет нашим императорам хватит. Император – это идея, а не имя! Идея государственной русскости – не пустое перемешивание имен! А имя... – писатель замешкался и вдруг обратился прямо к медиуму, притом голос его заметно дрогнул: – Скажите, а что хотел сказать Федор Михайлович именно мне? Я ведь всегда считал себя его наследником...

– Федор Михайлович, – безучастно ответил японец, не поднимаясь из кресла, – сказал, что наследником считает только своего сына Павла Федоровича.

– Ах, да, – запнувшись, произнес писатель, – у вас другой Федор Михайлович...

– И у него другой наследник. – Форбс как бы ставил точку в разговоре. Он посмотрел в окно: небо посветлело, Тутуила уже приготовил для них летную погоду. Пора было домой, в Скалистые горы. Генерал отступил от экрана.

– Приношу глубокую благодарность, господин Пушечников, – сказал он, – за гостеприимство и содержательную беседу. Если из-за нашего визита пострадало ваше финансовое положение, убытки будут компенсированы вам из федеральных средств.

– Скажите, – ответил лауреат странным голосом, бархат его баритона весь как-то облез и превратился в дерюгу, – а что, вы всерьез надеетесь, что у нас будет снова монархия? И я смогу вернуться?..

Генерал, наконец-то услышавший хоть одно отречение от престола – пусть отречение покойника, но ведь отречение! – чувствовал, что большой беды от разглашения тайн уже неизбежного будущего не приключится. Древний китаец в его душе на миг исчез, а сама душа была как-никак душой американского генерала, которого уж больно нелюбезно принял какой-то русский мастер пера и зубила.

– Вероятно, да, – ядовитым голосом выговорил генерал, – его величество император всея Руси Павел Второй, вероятно, дозволит вам въезд на историческую родину. Засим еще раз благодарю вас за беседу. Разрешите откланяться.

...И опять было возле взлетной полосы отвратительное зенитное орудие нацелено прямо на самолетик Форбса. И опять летели из динамиков заунывные русские ругательства пополам с собачьим лаем. Опять завелся двигатель, и почти вертикально в небо, совсем уже по-мартовски синее, унесся Форбс на восток со всей свитой. А минут через пять на взлетную полосу вышел, мягко ступая, великий русский писатель, остановился посреди бетонного островка и уставился вслед самолету, уже невидимому, – на восток. В руках у него были все те же инструменты, с которыми примеривался он к статуе своего бога Федора Михайловича. Взгляд его был и пронзителен, и печален, как взгляд древнего иудейского пророка, которому дано лишь взглянуть с горы Нево на землю обетованную, но не дано в нее войти. Подобное сравнение сам Пушечников наверняка бы отмел как мерзкое и дерзкое, он себя ни с каким евреем, даже древним, не сравнил бы. Он долго смотрел вслед самолету, а потом рука его дрогнула, сжала в троеперстии одно из зубил и поднялась. Медленно-медленно писатель нарисовал в воздухе благословляющий крест, чуть склонил голову и быстро, словно стыдясь самого себя, ушел с аэродрома.

Синева мартовского неба оказалась обманчивой. Над Айдахо самолет Форбса увяз в неведомо откуда взявшейся туче, из которой пилот, сколько ни старался, выйти так и не смог, покуда Форбс не догадался, что туча эта противоестественна и вообще невозможна метеорологически, поскольку самоанский волшебник гарантировал хорошую погоду. С большим трудом пилот посадил самолет на Элберт, и лишь тогда туча, вся-то футов сто в диаметре, отплыла в сторону и растворилась в горном воздухе. Ревнивый Бустаманте намекал Форбсу, что использование услуг новозавербованных магов не столь уж необходимо в тех случаях, когда свободен от срочной работы он сам.

Прямо с аэродрома Форбс узнал от дежурившего здесь битых полдня Нарроуэя пренеприятную новость: в шестом часу по местному времени выполнявший трудовую повинность арестованный Умералиев, копая свой колодец, наткнулся на водопроводную коммуникацию, прорубил ее киркой, и оттуда фонтаном ударила вода, даже господин раввин Цукерман, несмотря на все свои уникальные способности к размыканию времени, промок до нитки. И покуда ругающийся на всех языках чудотворец переодевался в сухое, киргизский мальчик тем временем предательски наплевал на все магнитно-силовые поля Соединенных Штатов, вывернул наизнанку свои черные трусы, превратился в водяной пар, растворился в воде, утек в трубу и был таков. И попробуй теперь сделать Цукерману выговор за упуск поднадзорного, когда раввин и без того промок. В душу несколько опечаленного Форбса закралось подозрение: не Бустаманте ли подсунил мальчику эту самую водопроводную коммуникацию, чтобы еще больней уязвить за связи с самоанскими шарлатанами. И впрямь – что стоило обратиться за хорошей погодой к самому итальянцу? Да какая

разница теперь-то. Форбс ныне имел право ввести в действие все самые неприкосновенно-резервные мощности плана реставрации Дома Старших Романовых, даже “Гамельнскую Дудочку”, в непобедимости которой не сомневался никто, пусть даже ван Леннеп и отмахивался от нее неизменным “О да, ее никто не победит”, что звучало как-то неуважительно, если вспомнить, сколько денег было в эту дудочку пущено. Так что большой ли потерей был советский газообразный оборотень? Хватит. Пора реставрировать.

Бредя от лифта к своему кабинету, перебирая в уме сотни дел, за которые теперь предстояло взяться, увидел Форбс дальноточными глазами невероятное зрелище. Там, в конце коридора, размахивая руками и что-то воинственно-радостное выкрикивая, висел в воздухе господин раввин, могущественнейший тавматург Мозес Цукерман. Напоминал он человека, в первый раз едущего на велосипеде, наконец-то научившегося при этом держать равновесие и оттого ликующего. Он перебирал в воздухе ногами, хватался за него пальцами, а волосы вокруг сверкающей лысины, серовато-седые волосы шевелились, как змеи Горгоны. Тавматург нимало не был раздосадован утратой поднадзорного, он был опьянен только что обретенным умением летать, – пусть еще не очень хорошо, пусть полет его и впрямь походил на вихляние начинающего велосипедиста, но ведь велосипеда-то под ним не было, это он сам, своими силами ехал-летел на высоте двух футов, вращая невидимые педали и выкрикивая что-то победное.

Обуянный ликованием, вовсе не замечая генерала, чудотворец пролетел мимо. Форбс тоже не удостоил его никаким особенным вниманием, даже не подумал ничего, через секунду вовсе о нем забыл. Настал самый важный час в жизни Форбса. Он приступил прямо к реставрации Дома Старших Романовых. Чем-то дело обернется?

А кто его знает.

Павел II том 1 Пронеси, Господи Часть 21

Евгений Витковский

XXI

Собакою быть – дело не худое.

Григорий Сковорода. басня 1

Настроение у сношаря было совсем плохое еще позавчера. Евдокия-плющица, Евдокия-свистуха, Евдокия-подмочи-пирог пожаловала все грядущее лето препоганейшим прогнозом погоды; сыро было, противно, шел мокрый снег и дул северный ветер, все крыльцо заснежил; бабы-то, небось, ночью разбредаясь, промерзли, как цуцики, хотя простудиться не должны бы: чай, не городские, чай, закаленные. Вообще-то о городских, пусть не о бабах, так о мужиках, стал за последнее время сношарь мнения вроде бы немного лучшего: все же в среднем худо-бедно, а четыре-пять сотен яиц они ему вот уж четыре месяца как наработывали каждую неделю, так что, можно считать, не бесплатные

получились постояльцы, не дармоеды, все же работают за кров свой и за стол, а четыре сотни яиц в банно-воскресном деле – число немалое. Да к тому же непривередливые, тихие, знай, сидят в клетки, без надобности носа наружу не кажут, правилам хозяйским не перечат, бабы тоже не жалуются, довольны, значит, а это главное. Но вот погода, погода, ни дна ей, ни покрышки, ведь отколь на Евдокию ветер, оттоль и на все лето! Даже ласточек не видать, чтоб им щепоть земли на гнездо бросить. Ведь коль холод на Евдокию – скот кормить лишние две недели, это ж сколько забот лишних у баб, о своем удовольствии опять времени не найдут подумать, а это дело разве? Чем бы их таким порадовать, чтоб не очень печаловались-то? Объявить разве на праздник, это двадцать второго который, сороки святые когда, по сорок жаворонков когда печь полагается, колобаны, стало быть, золотые, древний праздник, весенний, уважаемый, – объявить разве им, бабам, праздника ради – половинную таксу? Оно бы и славно, так ведь полсела тогда к вечеру припрется, а всем за ночь нешто послужишь, даже и с подмастерьями? Подмастерья, впрочем, ничего себе, но ежели за свою работу такса половинная будет, то за их работу сколько тогда брать? Четверть яйца, что ли? Ну нет, нечего инфляцию разводить. Довольно будет в работу праздника ради души побольше вложить. Да только как гостей-то обучить? Не научишь ее, душу эту самую, в работу вкладывать, талант на то нужен врожденный, а его кабы все имели, так разве такая бы жизнь нынче на земле была? Совсем бы, совсем другая жизнь тогда на земле была бы, совсем. Да тут вот еще погода.

Потом, за сороками святыми, другой большой праздник деревенский уж и вовсе на носу будет: Никита Вешний. Никто не помнил, отчего этот праздник стал в деревне таким почитаемым, тогда как про осеннего Никиту, Гусепролетного, скажем, и вспоминал-то мало кто. А сношарь о причине никому не докладывал, – так, внушил бабам втихую, что важный это для них праздник, наиважнейший; причина же была в том, что в этот день праздновал сношарь тишком свои настоящие именины, – хоть и жил он для баб как Лука, а природный был все-таки Никита. А потом уж и Пасха скоро, двадцать шестого. Яиц-то, яиц-то!..

Допровожав под утро на евдокийную холодрыгу пятерых довольствованных клиенток, еще удостоверившись, что гости дорогие спят в клетки без задних ног и своих, кажись, четверых, давно уже по хатам разогнали к мужьям подале, – обнаружил сношарь, что спать совершенно не хочется. Вообще-то бессонницами великий князь не страдал, но ежели впадал в тристесс по случаю плохой погоды, то иную ночь мог по собственному желанию провести и без сна. В такую ночь обычно шел сношарь гулять. И хотя дул омерзительный ветер, хотя из-за Смородины, затянутой грязным льдом, доносился вой чем-то не очень довольных волков, хотя и вообще-то небольшая радость гулять в потемках, ни свет ни заря, не развиднелось еще ничуть, да и снег и ветер к тому же, – сношарь все-таки выпил маленькую чашку черного пива из корчаги – даже и пить не хотелось, так обижала его погода, – накинул тулуп и пошел по девичьей тропке к реке.

Кряжистый и большой, топал сношарь по тающей, оттого совсем плохо утоптанной, почти забытой в такое время года тропинке, и оставались за ним

следы совсем уже ветхих его мокроступов, все никак Витьке-чеботарю приказать справить новые не вспоминалось, а ведь баба евонная чуть не по два раза на неделю захаживает с яйцами, не скупится. Нынешние пока еще не текли, но осенью их уж больше не наденешь, Соколе их отдать надо будет. Видно сейчас кругом было только чуть-чуть, однако сношарю это было без разницы – столько лет провел он в темной горнице, даже лучины не зажигая, что разглядывать-то такого нового ему было, чего он допрежь не видал? Так что видел сношарь в темноте, как сова, и даже лучше. Дорогою глядел он только под ноги, чтоб ненароком не сковырнуться об какую-нибудь подснежную хреновину либо корягу, – но был под ногами только грязный, протаявший мартовский снег, наводящий уныние на любого человека, кроме тех самых махровых оптимистов, которым покажи подосиновик, так им сразу родное знамя видится. Человечьих следов на тропке вовсе не попадалось, но вся она, ну буквально вся, была растоптана собачьими и волчьими лапами. Где-то тут, похоже, как раз и творились с конца прошлого года те бесконечные свадьбы, подвывание, рыканье и хрюнчанье коих доносились до сношаря ночами, нимало не озлобляя его не по-старчески острого слуха, ибо всем тварям Божиим свое удовольствие иметь надо, и слава Богу, коли есть от кого это удовольствие возыметь. Видел сношарь мельком, раз или два, чужого, неизвестно зачем забредшего в нижнеблагодатские края огромного рыжего пса, который, похоже, и был виновником всех этих свадеб. Заметив, что пес довольно-таки стар, сношарь одобрил его окончательно и передал через баб деревне, чтоб не смели всю эту псарню-волчатню не только что стрелять, но и вообще тревожить, потому как старый пес борозды не портит, а курей все равно сторожить собаками надо, так пусть будут псы получше, этот старик приبلудный новыми кровями им породу укрепляет. Интуитивно попадал сношарь в этом случае в самую десятку, не догадываясь пока что лишь о причине, по которой появился здесь рыжий великан. Сношарскую породу ценил Пантелеич во всяком образе, кроме разве что летнего комарья, хотя, пожалуй, встретить он однажды некоего комара-сношаря, такого, чтоб сомнений не было в сношарском его естестве, – даже и к комару этому отнесся бы он с уважением, не только не прихлопнул бы его морщинистой лапой, а просто с миром и почтением отпустил: лети, множься.

Сношарь без определенной цели дотопал до реки, поглядел с минуту на изъеденный чернотой, готовый со дня на день тронуться лед, потом побрел далее, вдоль берега в сторону Верблюд-горы, собираясь для моциона подняться на ее ближайший горб, вдохнуть верхнего воздуха пяток разов, а потом назад пойти, авось сон нагуляется. Был это чистый самообман, в таком дурном расположении духа никоторый сон, ясное дело, сношарю нагуляться не мог, должно бы тут событию какому ни на есть случиться, непременно с положительным оттенком, даже лучше с примесью чуда – вот только тогда бы сон, глядишь, и навеялся. Да где ему, событию, событься-то в глуши старогрешенской. В такие минуты мысли сношаря раздваивались, вел про себя старик нечто вроде диалога, персонажами которого были “Пантелеич” с одной стороны и “Лексеич” с другой, ясней говоря, Лука Пантелеевич Радищев,

сношарь села Нижнеблагодатского и прилежащих, и Никита Алексеевич Романов, великий князь и возможный наследник престола Всея Руси, каковые оба в сумме и составляли гармонически двойственную натуру старика. Диалог этот, как правило, состоял из подтрунивания Лексеича над Пантелеичем и наоборот, но бывало, в особо трудные и важные минуты, Лексеич с Пантелеичем советовался: например, когда американцы с очередными пропозициями лезли. Но бывало, что и Пантелеич у Лексеича просто даже помощи просил, – когда, скажем, заваливалось на двор к сношарю сразу два десятка не желающих отлагательства баб; ну, и с Божьей помощью вдвоем управлялись как-то, случая не было, чтобы не смочь смогли.

По щиколотку утопая в киснущем снегу, сношарь поднимался к ближней вершине Верблюд-горы.

“Ну и вот, Пантелеич, – говорил в нем один внутренний голос, – вот и способностей твоих всех не хватит, чтобы люди, бабы то есть, довольны стали, когда ненастье на весь год и недород снова. Что надумаешь-то, хрен старый?”

“По-перво, не старее тебя, дубина дворянская, – отвечал оппонент, – а по-друго, и тебе, княже, стихии не подвластны. Либо же подвластны, тогда почто от престола почитай что отрекся? Был бы ты царем, да приказал бы: на Евдокию, мол, ведро во всю небесулю, да радуга без дождя для увеселения почтенной публики. Слабо, княже? То-то же. Кидай претензиев своих к той бабуле, да давай помогай дело делать, уж сколько-нисколько радости-то людям я добывать в силах, а ты помогай, помогай, не брезговай, чай, все наши предки дворянские не брезговали, аль ты иначе думаешь?”

“Да помогу, помогу, Пантелеич, не лезь ты в бутылку поперед деда Федора. Нешто с работы-то одним только бабам радость? Нешто сам ее оттуда не потребляешь, или я не оттуда ж пользуюсь? Так что не гордись, не гордись, Пантелеич, что счастье, мол, умножаешь людское, чай, ведь и себя не обижаешь?”

Пантелеич на Лексеича обиделся и замолчал на какое-то время. Лексеич, похоже, понял, что перегнул палку, и заговорил снова.

“Не дуйся ты, не дуйся. Ну, чего киснешь-то, старче? Подумаешь, не в силах ты погоду исправить. Так ведь и времени ты назад не поворишь! Ну, сам-то посуди, семьдесят девятый тебе пошел. Ну, будешь ты в силе еще десять лет, ну, двадцать...”

“А не тридцать отчего?” – вспетушился Пантелеич.

“Ну тридцать там, даже сорок пусть, – а далее кому дело-то оставишь? Со своего семени работника негоже будет ставить, породу попортишь, многократный инбридинг называется это по-научному...”

“Не по-научному, княже! Не по-научному! – взвился Пантелеич. – По-научному называться это будет многократный инцест! Или инцухт”

“Да хоть салат оливье, смысл один и тот же. Где сменщика-то возьмешь, голова твоя капустная?”

“А вон... этот у меня, который длинный”, – буркнул Пантелеич, оступаясь на коряге.

“Длинный, короткий – люди пришлые, не привяжешь ты их к деревне. Да и

силы твоей в них нет, чужие они...”

“И вовсе не чужие. Который короткий, Паша, тот мне племянник внучатый”.

“Ха, ха! Так тебе он и останется в деревне, он же царем будет, владыкой твоего живота всемогущим! На Москве воцарится! Ему там и фрейлинам-гофмейстерам дай-то Бог потрафить, а ты ему баб немытых!..”

“А шел бы ты, Алексеич, к той именно бабушке Насте! Где ты у меня видел немытых? Нешто хоть единый перелой за всю жизнь отловил, нешто еще что? Гнилая твоя порода, княже, гнилая, не зря весь твой корень истребили да с корнем вырвали!”

“Нет, Пантелеич, ты корень свой, мой тоже, между прочим, не хай, корень у тебя покуда мощный, твердый, годящий в дело, некоторая баба на слаботу не пожалилась. И уж конечно не вырватый он ни с каким корнем, весь при тебе, пощупай сам-то, волки чай не съели!..”

– Волки... – произнес сношарь вслух, глядя на волчьи следы, которыми был испещрен подтаявший снег на Верблюд-горе, очень грязный снег. Но вдруг над самой головой сношаря совсем другой голос – хриплый, женский – непонятно, молодой или старый – словно повторил:

– Волки! Волки!

Сношарь обалдело остановился. Никаких волков сейчас вокруг не было, носом это сношарь чуял, уж скорей свинарником тут пахло – а все же голос-то откуда, да к тому же женский? Женщина была наверняка чужачка, все голоса своих сношарь на память знал, даром что имен их в голове не держал, были они для него все, как одна, Настасьи. Что за баба? Голос тем временем продолжил:

– Волки! Волки! Волки, Доня моя, волки! Придут волки, и с запада придут, и с востока придут, Донюшка моя, на реку вот на эту и на другие реки! Ясно, ясно вижу, Доня, как волки придут! Лед весь на реке поедят, Доня! Воду всю до донюшка изопьют, хоть бешеные! Берега все погложут, всю даль засморозинную железным зубом изгрызут! Волки, Доня!

“Что за бред?” – подумали Алексеич и Пантелеич разом. Сношарь сделал еще несколько шагов к вершине и в чуть светлеющем сыром воздухе различил на вершине Верблюд-горы фигуру. Хоть и трудно было в этой бесформнице опознать женщину, но слух обмануть не мог, да и вообще баб чуял сношарь издалека, не пользуясь органами чувств вовсе.

На вершине, на том самом валуне, на который деревенская молодежь летне-весенними ночами ходит обниматься, – что называется “на горку”, покуда парням лоб не забреют, а девки под Верблюд-горою стыдливую девичью тропку к сношарю не разведают, – на этом самом валуне сидела босая женщина неопределенного возраста, не то двадцать ей, не то пятьдесят, сидела почти спиной, только немного профилем к сношарю. Волосы женщины были непокрыты и растрепаны, хоть и было видно, что сверху, через лоб, перехвачены какой-то темной лентой. Одета женщина была во что-то непостижимое, не то в мешок, не то в звериную шкуру, руки ее оставались при этом обнажены до самых плеч, и женщина то и дело заламывала их почти над головой. Что странней всего, прямо перед женщиной, оборотив к ней рыло, сидела небольшая, заморенная, вовсе по сельским кондициям негодящая, худая,

короче говоря, свинья. “Породы ландрас, датской”, – механически отметил про себя сношарь, хотя какой породы был этот заморыш – с точки зрения салобеконной, – явно не имело значения. Свинья сидела перед женщиной, собачьи наставив уши, и, несомненно, слушала. Видимо, это и была “Доня”. Женщина продолжала говорить, то переходила на несвязный крик, то впадала в бормотание, то начинала как бы новое повествование, рокоча на звонких согласных, – а потом взвизгивала и снова бормотала, бормотала. Сношаря она игнорировала, и речь ее была обращена к свинье, к насторожившей уши Доне. – А под воду-то! Под воду! Сила какая... Слабая, слабая, Доня, сила пойдет под воду, а ведь пойдет, вера в ней какая сидит, и ведь во что вера, умом того не понять, была бы вера, все смогут, все своротят, только дядьки с ними не будет морского, помрет он от своей же глупости до того, до того... Раньше помрет, Доня. А волки-то воду поедят всю, не ту воду соленую поедят, эту поедят... ата... ата... папа, и тот встанет и пойдет, когда лютый-то лицом наизнанку оборотится при нем... Ису... Ису-пророка вспомнит, папу святым скажет, такое увидит, чего там и не было никогда и не будет, но день ему выпадет особый, вот он, глупеньш, босиком-то побежит!... А прибежит куда... Мы бы с тобой того есть не стали, чем его там кормить будут... А потом другие сгорят по пьянке, мы там будем, но ты не бойся, родная, уведу я тебя тогда и другую, с дитем, тоже уведу, и человек хороший с нами будет, не пропадем, Доня. Ничего, ничего от него, дурня, не останется, ишь, чего захотел, ни семени его, ни фотографии даже любимой, ни чучела, ни чумичела, дурак он, Доня, ну его совсем, скушный он, скушный, думает только, что детей любит, никого он не любит, Доня, себя только самую чуточку. А сын-то его за это и надул, да он сам-то не узнает... Падать будет только большое, Доня, прямо с целый дом и больше, а разбиваться не будет. Только нам это с тобой уже все равно будет, Доня. У нас другие заботы отыщутся. Ты не бойся, милая, что трудиться занадобится, ты сильная, Доня моя, все сможешь, да и я не старуха буду, да и дура наша благословенная, поятая, посуду мыть может, на худой конец. Не знаешь ты ее, Доня, не знаешь пока, не слушай ты меня, это я все волков вижу, волков, застыт они мне все... Ты не бойся, я куда надо иду, нас совсем в другом месте ищут, не такая дура я, как та, про которую в древлести сказывали, что все другим говорила, а ее не слушали, я никому почти не говорю, о себе да о тебе, Доня, забочусь. Знаю, без пшенки жить не можешь, будет пшенка тебе, даже там будет, где она спокон веков не росла, вырастит ее тебе умный человек, не как толстый лысый, что пшенкой всю Россию прокормить хотел. Хрен ему до небес, да памятник со слезами да пшенкой! И тому бедолаге, что ящиком убили, тоже памятник будет, ящик на плече. И старинному портному будет, за что про что никто не поймет, да и снесут почти сразу. Танк вот не снесут, так далеко не вижу, Доня, сдохнет он, дурак, в танке. Счастье ему, дураку, что отца не знает настоящего, а то он бы от счастья удавился, нет, вру, он бы от счастья отца удавил. Только и думает он, как хорошо ему будет, когда Европу возьмет, да меня возьмет, Доня. Ничего не возьмет, пшенку ему и спереди и сзади, да на него и пшенку-то жалко, разве кочерыжки, Донюшка милая моя...

Вконец обалдевший от такого монолога сношарь не смел двинуться ни вперед,

ни назад. Свинья тоже сидела не шевелясь, даже кончиками ушей не повела ни разу. Но сношарь успел приглядеться к женщине. Он обнаружил, что у нее широкие скулы и раскосые глаза, что фигурой она недурна и, видать, совершенно несчастна в личной жизни, никого на целом белом свете у нее нет, кроме тощей свиньи. Однако же, как только родилась в сношаревом сознании мысль, что несчастную бабу надо бы ублаготворить, пусть бесплатно, безъячно, гуманитарно, лишь бы не была она такая несчастная, обогреть надо и покормить, там со вчерашнего дня почти целый курник есть и еще щи в печи, и пиво есть в корчаге домодельное, – как только наверху на его старческие голубые глаза слезы счастья от сознания того, что он, кажись, и тут помочь сможет, – женщина без всякого перехода, не оборачиваясь, заговорила прямо с ним, и никакие ответы ей не требовались.

– Вот и ты, Никита, я уж Донюшке все про тебя рассказала, как ты, считай, двадцать лет над речкой пахать будешь с помощником, а ведь втрое раньше все исправить, вот и вышло по глупому. Вот стоишь ты, старый дурак, и думаешь, что мне, мол, удовольствие доставишь. Себе ты, дурень, доставишь удовольствие, а я отряхнусь да побреду, мне Донюшку в люди вывести, мне дуру поятую из огня вывести, мне корень новый вывести, вывести, вывести, охранить. Ну, дам я тебе, старичина, ежли под горло всперло, да только ты прямо сейчас же, со слов моих, и отступишься. Ничего ты, дурачина, старичина, не можешь корнем знаменитым своим, тычь, не тычь, все обман один до рассвета, а он ой как скоро...

И вправду начинало светать.

– Думаешь, болван, Настасья я тебе... – продолжала женщина, заломив руки и уже их не опуская, – дурак ты, и все дураки, дураки, одна у тебя Настасья была, да ты ж сам от нее отрекся, струсил, Никита, струсил, себе-то не лги, струсил ты великую свою Настасью, Россиюшку, бабой своей взять, прирожденную невесту поять, на мелочь разменялся, думал, количеством качество искупается, ан нет, Никита, ан нет! Отдал ты Россию, дурак, волкам отдал, придут волки с севера, с с юга волки придут, лед поедят, воду попьют, зубы у них железные. Доня моя родная...

Сношарь уже перестал занимать женщину, она снова обращалась только к свинье. Слова женщины становились все менее и менее понятны, потом женщина заломленными руками как-то исхитрилась поправить волосы и встала, сразу утонув в тающем снегу по щиколотки.

– Они их хлебом, хлебом, а им за то веником, веником! Церкви, скажут, на село на каждое, и мечети вместо водокачек, а тот лютый, что уже почти как подосвободился, злой, страшный! Спустили черта бесов разгонять, а он их помелом, сам-один останется и скажет: вот я, бесов поистребивший, черт главный отныне, буду теперь новых чертенят выводить, и дурак наш молодой сглупу ему разрешит, только не бойся, Доня, не нам все это, нам их и не видать будет, нешто не знаю, докуда рука их длинная достать может, глядишь, уже достала – ан мы на вершок подале. Бояться, Доня, только сглаза надо, а я по небесам не шастаю, мне чего бояться, так и тебе чего?

И тут женщина пошла. Прямо к обрыву, почти отвесному, – только парни

молодые, казотясь перед девками, в хорошую погоду по этому обрыву лазали. И тем не менее женщина прямо по отвесному склону стала спускаться вниз – вонзая в почву пятки так, словно вбивала альпийские крюки. Полностью потерявший самообладание сношарь, как мальчишка, взбежал на вершину, рывком одолев три метра по вертикали, застыл у обрыва и увидел, как, продолжая жестикулировать и что-то говорить, подошла женщина к берегу, нимало не смущаясь, ступила на гиблый лед и пошла на другой берег, – то же за ней сделала и верная свинка. Восьмое какое-то чувство подсказало сношарю, что женщина эта очень точно ведает, что творит, что не утонет она ни в коем разе, не подломится под нею лед, былинка не дрогнет, волос не упадет с ее головы, пока она сама того не захочет. И на этот раз он был прав, Пантелеич с Лексеичем благоговейно примолкли в его душе, и в сумерках наступающего рассвета побрел сношарь назад к избе. Покоя душевного не обрел он нисколько, но мыслей о погоде больше не имел в голове никаких. До погоды ли ему теперь было. С одной стороны, было ему куда как нехорошо от сознания, что не всякую, оказывается, бабу утешить и утешить может он своим единственным искусством. Но с другой стороны, разливалось по всему его телу благоговение перед увиденным. И ведь, поди, не зря увиденным. Подходя к избе, заметил сношарь, что волчьих следов на снегу здесь нет совсем, но очень много собачьих. Все того же огромного пса, видать. Однако до пса ли сейчас, даже до свиней ли, до курей ли, даже до яиц ли, даже до людей ли, даже до вообще чего там еще есть на белом свете. Что же это, отцы мои, шуры и пращуры, за видение такое на старую мою, на лысую голову?

Сношарь вошел в горницу и плотно затворил за собой дверь. Настасья Кокотовна, любимейшая, что-то квохнула с печи, не разглядевши сослепу, что хозяин не в духе, но тут же смолкла. А хозяин скинул тулуп и мокроступы, больше ничего с себя не снял и повалился на широкую рабочую кровать. Лежал, закрыв глаза, и сам точно не знал, спит он или нет, знал только, что допросился он своего чуда и получил, что называется, “много более просимого”. Так и пролежал до полудня, никем не тревожимый.

* * *

Джеймс проснулся очень рано, – ежели, конечно, считать по меркам сформировавшихся здесь привычек: около девяти. Баб у него вчера было две, больше, как теперь выяснилось в процессе опыта, он вообще на-день-на-вечер и не хотел, да и справлялся при большем количестве неважно, ежели с женской точки зрения посмотреть, – а он с этой точки, конечно, поглядывал. Получилось вчера все как-то легко, просто и приятно, не устал разведчик совсем, вот и проснулся рано, и настроение неплохое. Государь Павел, напротив, тяжело всхрапывал за перегородкой, его вчера Марья-Настасья посещала, вообще она что-то именно к нему повадилась, все приходит сверх списка, так чтоб оштрафовали да к Павлу отправили. Попала она как-то не к Павлу, а к нему, к Джеймсу, так только дверь затворила, мигом из юбки кошелку с яйцами извлекла – сотня, не меньше! – и стала сбивчиво просить, чтобы сменял он ее,

Марью, с Нюркой, которую к Павлу запустили. Джеймс из любопытства чуть было не воспротивился, но потом вспомнил, что инструкции велят ему доставлять советским женщинам максимум удовольствия, вздохнул и согласился на обмен. Сейчас, понятно, ничего уже не помнилось, но, кажется, жаловаться было потом не на что. А будущий император доволен тем более. И тогда, и теперь. Вот он и храпит. Надо будет носоглотку ему полечить.

Пошлость ведь какая средневековая: храпящий император. Никуда не годится.

Разведчик выполз из-под овчины, к которой, кстати, успел за последние месяцы привыкнуть, как к чему-то очень родному, напялил на себя что под руку попало и вышел в сени, – даже и туда храп императора доносился довольно громко. Ополоснулся из бадьи, больше уже не подернутой ледком, как бывало по утрам зимой, утерся, повис в воздухе на минутку – для тренировки. Найплю сегодня было определенно хорошо. Не далее как позавчера ночью выловил он из очередной брехни Барри Мак-Суини в программе “Голоса Америки” – спортивной, что ли? – что нынче утром предстоит ему вцепиться в сношаря мертвой хваткой: похоже, нынче Никита-Лука будет склонен хоть от чего-нибудь отречься, так ван Леннеп думает. А впрочем, хрен его знает, по-русски говоря. Делать надо, что велят. Вот и все.

Однако сношарь ни на стук, ни на голос Джеймса не отозвался, лишь Кокотовна, чутко оберегавшая хозяйскую дрему, что-то недовольно проклекотала по-своему, по-куриному. Осознав бесплодность попыток, возвратился Джеймс в свою берлогу, позавтракал приличным отхлебом коньяка, – очень полюбил он в последние месяцы пить здешний дрянной бренди натошак, особенно ежели с вечера на сношареву баню прилично заработал. Нынче так и было, – ну, а дальше залег разведчик за самое нудное занятие, какое можно было вообразить: по приказанию ван Леннепа еще в начале января Джеймсу была телепортирована пачка учебник эскимосского языка, точнее, всей группы языков, которые так называются. Языки были трудны невероятно, слова в них сливались в одно целыми фразами, к тому же, выучив один диалект, следующий приходилось учить почти с нуля, общих слов-корней было в них на диво мало. За каким лешим уроженцу Ямайки эскимосские наречия? Говорят на них в Гренландии, Демократической, будь она неладна. Ну, туда вряд ли пошлют – если б туда, ван Леннеп еще и датский зубрить заставил бы. В Канаду? На Аляску? Так там вроде бы по-английски понимают. А если на проклятую Чукотку – так там эскимосов всего ничего, меньше, чем у сношаря баб в деревне. Джеймс терялся в догадках, ругался, но зубрил, зубрил. Тут не скажешь “увольте”, – кто ж уволит раньше пятидесяти пяти, вербовали еще при Кеннеди, а контракт неизменяем.

Два, три часа упорствовал разведчик, борясь с тоской агглютинативных словообразований. Но вот наконец-то обозначился в стрелках часов полдень, государь перестал храпеть, так что, значит, проснулся, – да и звуки какие-то из далекого внешнего мира тоже стали доноситься. Разведчик снова выполз из постели, запахнул под подушку ненавистный учебник. Снова постучался к сношарю.

– Чего, зараза? – глухо донеслось из горницы.

– Лука Пантелеевич, к вам уже дозволяется?..

Последовало молчание, прерывающееся какими-то прихрюкиваниями и неким вяканьем, но наметанное ухо Джеймса распознало в этих странных звуках нечто вроде нехотя высказанного согласия. Джеймс проскользнул в еще теплую с вечера горницу, где обнаружил хозяина лежащим на рабочей кровати и каким-то нездоровым с виду. Уголки рта сношаря были капризно опущены, губы поджаты, глаза прикрыты. Ясно было, что, мол, выкладывай, гость дорогой, какое-такое дело у тебя, и поскорей оставляй меня печали мои печаловать. Джеймс, хорошее настроение которого по сей час сохранялось в неприкосновенности, – не без воздействия утреннего глотка бренди, – решил брать быка за что его там берут серьезные люди.

– Уж простите, Лука Пантелеевич, что тревожу, но нашего пребывания в вашем гостеприимном и, не боюсь этого слова, хлебосольном во всех отношениях доме осталось не столь уж много...

Сношарь резко отхлопнул левый глаз, словно кингстон на судне отворил в отчаянную минуту. Джеймс осознал, что, кажется, пришел сюда вовремя.

– Но, увы, нам никак невозможно – мне и вашему внучатому племяннику, подлинное имя которого вы и сами сразу угадали, – никак невозможно покинуть вас без окончательного вашего решения...

Сношарь отхлопнул и второй глаз.

– ...касающегося ваших наследных прав на всероссийский престол.

– Я и так на него не претендую, – буркнул сношарь, мрачно уставясь на Джеймса. Кокотовна на печи зашебаршила, – может быть, ее не устраивал такой ответ хозяина.

– Но ведь вы никогда не отрекались от него формально. Понимаете, важна именно формальная, чисто формальная сторона.

– А я и не наследник вовсе. Мой старший брат погиб, знаю. Но наследник-то у него остался? И у наследника тоже сын. Какие такие у меня права? А?

– Да... Если бы брат ваш законным образом взшел в должное время на престол – возможно, ваше отречение бы и не требовалось. Но ни он, ни даже ваш и его батюшка, Алексей Федорович-Александрович, такового престола никогда не занимали. А в России более или менее любой член царской фамилии может претендовать на престол, хотя ваш прадедушка и урезал некоторым образом права женской части царской семьи, однако же указ его легко мог бы быть изменен или даже перетолкован. Да что там – просто для вашего же спокойствия, как нам кажется, вы должны были... отречься от прав на престол. В пользу того, кого, как вы только что сказали сами, считаете законным наследником, настоящим царем.

Сношарь сел на постели.

– Это мало ли чего я считаю, – буркнул он, – так что из всего из этого?..

– Нужно подписать документ об отречении – ничего больше.

– Ну, пиши: отрекаюсь...

– Нет, тут определенная форма требуется. У меня все приготовлено, только лучше бы вы все это написали собственноручно. Мы бы вас перестали тревожить совсем, окончательно бы перестали.

Сношарь посмотрел на него тем самым взглядом, которым, наверное, Соловей-Разбойник смотрел некогда на Змей-Горыныча.

– Это мне и писать самому?.. Впрочем, давай, зараза, стило.

Джеймс, ликуя каждой поджилкой, вытащил из нагрудного кармана сложенный вчетверо черновик, чистый лист бумаги и шариковую ручку. Сношарь все это взял, пристроил бумагу на колене, отказавшись подложить под нее хоть что-нибудь, отчего его и без того корявый – с непривычки – почерк стал вовсе нечитабылен. Но на это Джеймсу было плевать.

– Судьба России, честь героической нашей нации... – соловьем разливался он, диктуя. Сношарь что-то писал, потом вдруг остановился. Джеймс умолк и посмотрел вопросительно.

– Вот что, – произнес тихим, но твердым голосом сношарь, – мил человек, сколько уж кусок хлеба да все прочее с тобой делю, а имени твоего не знаю. Раз такой важный документ пишу – должен я знать, как тебя звать, чье имя свидетельское внизу положить. И настоящее, без пантелеичей.

Джеймс замешкался. Получалось так, что об эту приступочку можно разом обломить все отречение. Он решился и сказал правду.

– Аким Нипел. Это по-русски правильной всего.

– Ага... – довольно буркнул сношарь, – Аким – это лучше будет Хаим. Вон у... Настасьи мужик ейный, Аким-кровельщик, дерьмо, а не мужик. А Хаим звучит. Джеймс, видать, по-вашему. Нипел. Ну, и ладно. Диктуй дальше.

– В эти решительные в жизни России... Пишете? – сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных...

Сношарь быстро-быстро карябал по бумаге. Закончив, подмахнул ее совершенно разборчивой подписью: Никита Романов – и швырнул листок в руки разведчика.

– Все! Все! Хватит с тебя и со всех вас? А теперь поди. Не до того мне. И не трожь, пока сам не покличу.

Джеймс с непостижимой быстротой дотянулся до лапищи сношаря, государственным образом чмокнул ее, правда, в тыльную сторону не вышло, в ладонь чмокнул, – и скрылся за дверь. За спиной у него грохнула щеколда и послышался звук вздохнувшей под тяжестью сношаря кровати.

Государь все не подавал признаков жизни, – кажется, он снова закемарил, – а Джеймс ужом скользнул к себе и на радостях высадил давешний коньяк до дна. И лишь потом, забравшись с ногами на лежбище, развернул изрядно мятое отречение от престола, отречение великого князя Никиты Алексеевича. С удовольствием разобрал несколько первых строк, а потом замешкался, глазам не поверил – и едва не взвыл белугой. В отречении сношаря стояло буквально следующее:

“...Не желая расставаться с любимым племянником нашим Павлом, каковой для домашнего дела мне совершенно необходимый, мы передаем наследие наше брату нашему по духу, инородцу знатных кровей Акиму Нипелу, он же да будет наречен по коронации императором, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем духовному брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями

народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу во имя горячо любимой родины...”

Джеймс, наконец, удостоверился, что сей сон никак не есть сон, и с размаху ударился лбом в стену, потом, для порядка, ударился еще раза три. Наваждение не проходило. Сношарь выполнил его просьбу. Он отрекся. В чью пользу хотел, в ту и отрекся. Джеймс босиком вывалился из своей каморы и рванул на крыльцо – хоть голову в снег сунуть, если больше ничего поделать нельзя.

Тяжелый и влажный воздух ударил в лицо. Джеймс бросился в снег и покатился по чуть наклонной земле в сторону, противоположную реке. Ударившись о калитку, сел он и обхватил голову руками, тихо, сквозь зубы, скуля. Хотя он понимал, что не получит в данном случае от начальства даже выговора – ибо строго исполнил инструкции, в которых действительно обозначалось, что отречение – непременно, а в чью пользу – безразлично, – тем не менее чувствовал Джеймс, что подобной срамотищи с ним не приключалось никогда. Попасть на роль русского императора – что может быть позорней для американского разведчика? Он тихо выл, зарывая босые ступни в грязный сугроб. А когда отскулил свое, когда утер лицо рукавом и поглядел вокруг, обнаружил, что весь спектакль дал, что называется, для зрителей. Или, по крайней мере, для одного зрителя. За калиткой стояла большая, неведомо как подъехавшая сюда ветхая телега, запряженная таким же ветхим сивым меринном. Возница, несомненно, женского пола, хотя и до глаз закутанный, стоял возле телеги и оправлял рогожу, которой была прикрыта высокая груда клади. Хотя в закутанном существе для простого глаза едва-едва опознавалась женщина, Джеймс немедленно понял – по мелочам, которые привык профессионально запоминать, – что женщину эту он уже некогда видел. Видел наверняка: в ноябре прошлого года, за несколько секунд до того, как, поднявшись от Смородины по девичьей тропке, заговорил с великим князем-сношарем, подложившим ему нынче такую исполинскую свинью. Звали эту женщину, надо полагать, Настасьей, тут можно было ошибки не бояться. Кладь на телегу была уложена с предельной аккуратностью, но далеко не столь аккуратно прилегала к ней рогожа, и по странным округлым выступам на ней заподозрил разведчик что-то нехорошее: ежели не дыни привезла сюда Настасья, то неужто снаряды? Джеймс вышел за калитку и решительно взялся за рогожу. Настасья не реагировала, суется с упряжью. Под рогожей величественной пирамидой лежали страусиные яйца. Глаза у Джеймса полезли на лоб, и он спросил у закутанной бабы:

– Где взяла? – только и вымолвил он тихо.

– Где взяла, где взяла, – сердитым и простуженным голосом отозвалась баба, – купила. Где смогла, там и купила. Ясно? Хозяин-то дома? Ты пошел бы, милоч, доложил: Настасья-грязнуха свой долг перед батюшкой и Богом цилком сполнила!

Джеймс, опять механически реагируя на давние инструкции, пошел докладывать сношарю, на это мгновение ставшему для него начальством. Он стукнул разок для порядка в дверь сношаревой горницы, деревянным голосом

выкликнул сквозь нее последнюю фразу закутанной бабы. Потом из-за двери раздалось: хрясть, бам, трах, барабах, возмущенное ко-ко-ко, дверь отворилась, щеколда обломилась, и на пороге, в одних розовых подштанниках до колена, явился великий князь. Словно от удара по лысине, мотая головой, даже не мыча, а как-то просто задохнувшись на выходе, вылетел сношарь, в чем был, – как явилась нынче утром пророчица в своем босоходстве, так, видимо, на весь день всем и предвещано было снежное босохождение, – и вылетел к калитке. Обошел телегу, подошел к Настасье, оцепеневшей возле мерина, заложил большие пальцы за резинку трусов, откинулся назад и сказал что-то, Джеймсу было не слышать, что именно. Потом пошел в избу, не оборачиваясь, а дрожащий, трясущийся ком тряпок по имени Настасья – за ним. Проходя мимо Джеймса, тряпичный ком лепетал что-то наподобие: “улестила, угодила, сподобил, удостоил”, – а потом и дед в розовом дезабилье, и ком тряпок удалились в сношереву горницу, и мир совершенно опустел. Сивый мерин стоял неподвижно, а легкая ночная наметь на покрывавшей телегу рогоже быстро таяла в лучах проклюнувшегося солнца. Воцарилось нечто вроде тишины.

Джеймс, довольно сильно опьяневший задним числом, продрогший и посрамленный, хотел было вернуться к себе в конуру, но, повинувшись внезапному душевному порыву, вломился в незапертую конуру Павла. Будущий государь сидел на постели в голом виде, лишь слегка прикрывшись овчиной. Позу эту он, видимо, принял только что, когда слышался шум из сеней по поводу явления стравусиной Настасьи. Император курил местную вонючую сигаретку, хотя курить почти бросил, – так, две-три в неделю “смолил”. С восхищением глянув куда-то вверх, бросил он Джеймсу вместо приветствия:

– Вот женщина! Нашла ведь!.. – и мечтательно затынулся.

Джеймс присел на чурбан, на тот, на который обычно складывали одежду Настасьи, такие, которые не очень торопились и вообще соглашались раздеться, – и тоже закурил. Закурил не такую вонючую сигарету, как император, а еще более вонючую, ибо мокрую от валяния в снегу. И сразу полез на чурбан, где, как он знал, в “затаене” у Павла всегда лежала дежурная бутылка коньяку. Сам Павел пил теперь мало, ровно столько, сколько требовалось для его единственного нынешнего активного занятия, перенятого, можно констатировать, у хозяина. Занимались они с Джеймсом и каратэ, но редко и с прохладцей, Павел усвоил всего один смертельный прием и решил, что с него уже довольно. Смертельный тык средним пальцем куда-то в грудобрюшную область был почти его собственным изобретением, уразуметь прием до конца Джеймс никак не мог, а потому и нейтрализовать не научился, – а легко ли тренироваться с императором, который, к месту и не к месту, все норовит свой коронный “тык” провести и оставить тебя чуть ли с порванной диафрагмой, – а дать за этот прием императору по морде по-простому, без каратэ – позволительно ли? Но коньяк Павел у себя все же держал, бутылку в неделю все же истреблял (у Джеймса шло полторы в день), даже пристрастился к дурной манере поить Настасий. Сношарь ему за это уже пенял. Павел, видать, потому, что уже в какой-то мере чувствовал себя государем, вел себя в общем-то правильно, пить императору много нельзя, а другие вокруг пусть пьют от пуза.

Да только нетрезвому Джеймсу все трудней становилось управляться с подопечным Романовым.

– Ехать нам скоро отсюда, государь, – сказал разведчик, – готовьтесь. В Москву. Уже для самого главного.

– Это зачем еще? – ответил Павел, – подождали бы лета. Тогда, глядишь, и поехали бы. А у меня еще тут дел недоделанных куча.

Сильно пьяный Джеймс, не желавший нынче жрать никакие стимуляторы и вообще захотевший просто так человеком побыть, помолчал немного и взорвался:

– Каких дел, Павел Федорович? Каких дел? Вы Машу Мохначеву недотрахали или Настю Коробову? Или Дашу Батурину, или Клаву Лутохину? Какие у вас дела тут, государь, кроме этих? Какие? Россия вас ждет, государь, Россия, и ей совершенно не все равно, когда именно, сегодня или посреди лета, вы ее в руки возьмете! О ней же ни один черт не думает, на нее всем плевать, особенно тем, кто треплется о ней с утра и до ночи! Кто думать о ней будет – я, что ли? Так у меня, к вашему сведению, русской крови нет ни капли! Вам до коронации всего-то полгода, если хотите знать!

Павел поглядел на него недоверчиво.

– Так уж прямо... Вам бы проспать, Роман Денисович...

– Не Роман я! Не Денисович! Вот я кто, смотрите! – Джеймс рванул из кармана чистый – впрочем, довольно грязный – лист бумаги, и, в точности как сношарь, пристроившись на колене, стал писать – только еще худшим почерком – свое отречение, отречение императора Акима Первого в пользу истинного наследника престола, Павла Второго Романова. Написал, подписался по-английски, вместе с бумажкой, нацарапанной сношарем, сунул Павлу в руки.

Павел с интересом изучил бумажки, и погасил сигаретку, не докурив ее даже до половины.

– Он что, любезный наш хозяин, соскребнулся, не знаете случайно? – полюбопытствовал Павел, начиная одеваться. Джеймс поглядел на него глазами, полными слез.

– Нет, государь! Это лишь оттого, что любит он вас, государь, как сына, как внука, как наследника, как царя, хочет при себе сохранить, а всю эту исполинскую грудю дерьма, которую вы как хотите называйте, всю империю вашу, короче, свалить на плечи лишь бы кому, – а хоть бы и мне, чем не кандидат, раз уж под рукой? Экономика развалена, все разворовано, моря отравлены, реки пересыхают, одно оружие штампуются на славу, да и тем воевать нельзя, вы его... – Джеймс опять сглотнул непритворную слезу, вспомнил кое-что из плохо известной ему русской литературы, и брякнул: – кирпичом чистите! Вы что ж, как сношарь, думаете той радостью единственной от народа откупиться можно, что всех баб вы умело перетрахаете? Так ведь и того не сможете, больно много баб, да и чуть не у трети венера всякая, как мы тут ее только не словили по сей день, секрет хозяйский, не знаю уж. Ведь вы принимаете страну, в которой ничего, ну буквально ничего не достанется вам отлаженного и целого, все поломанное и краденное будет, разве тысячу-другую казнокрадов от прежнего аппарата пригреть придется, что сейчас для вас трон

бархатами обивают. Вы – император, государь Павел, а я – червь у подножия славы вашей, хоть и умереть готовый для блага этой вашей проклятой...

Джеймс пьяно разрыдался. Павел, искренне потрясенный, встал и, как ребенка, погладил разведчика по чуть седеющей голове. Все, что говорил разведчик, он вообще-то знал и сам, давно уже взвесил множество грядущих обстоятельств, думал на эту тему почти ежечасно, – и вот надо же такому случиться, что был он пойман в тот самый миг, когда никаких иных мыслей, кроме сношарских, в голове его не обозначалось. А Джеймс еще и добавил:

– Вы хоть о жене подумайте, государь! Ведь пятый месяц ничего о ней не знаете, ведь у вас не жена, а чудо, и все ваши здешние подвиги никогда ее вам не отменят, не заменят... Словом, государь, вы вспомнили, зачем работу в средней школе бросили?

– Протрезвейте сначала... дорогой Аким, – попробовал защищаться Павел. Джеймс поднял голову, и какое-то время на него было страшно смотреть, он собирал крохи своего накачанного спиритусом духа. Потом сделал какое-то движение, наподобие того, как собака, из воды выйдя, отряхивается, встал и наклонился к низкорослому Павлу. И... дыхнул ему прямо в лицо. Ни малейшего запаха алкоголя не исходило из его по-американски полнозубой, без единой пломбы, пасти.

Вовек веков так и осталось тайной – был пьян в тот день Джеймс Найпл или действовал согласно инструкциям. Выпить еще раз ему все же довелось попозже, и довольно крепко, пришлось-таки выходить на связь с Джексоном, просить кое-каких указаний. На следующий день таковые поступили, однако кое-что приключилось в доме сношаря еще того намного ранее.

Часов около шести заметил Джеймс, выходящий в сени хлебнуть воды все из той же кадки, – потому как устал от длинного и несвязного разговора с Джексоном, – что бывшая Настасья-грязнуха, ныне, надо думать, Настасья-стравусиха, уже сношаря покинула и, счастливо перебирая крепкими ножками, бегаёт по двору – от телеги к баньке, от телеги к баньке, перетаскивая заработанную сношарем несусветину, по две штуки за пробежку, больше одного яйца пальцами не удержишь. Вскоре груз иссяк. Настасья села на телегу, стегнула мерина и отбыла неведомо куда, кажись, прямо в знаменитый поспешный овраг, в котором, конечно, никакого проезде быть не могло и не было, но так уж разведчику показалось. Джеймс поглядел ей вслед, махнул рукой и ушел к себе договаривать с индейцем и с генералом.

А еще через часок, когда завалились во двор обычной гурьбой не то шесть, не то девять очередных Настасий, выкатился к ним на крыльцо сношарь Лука Пантелеевич, озаренный позади лысины нимбом в шестьдесят свечей. Вид его не предвещал бабам ничего хорошего, так оно и оказалось.

– Шли бы вы, бабоньки, по домам, – сказал сношарь, ковыряя в левой ноздре, – неохота мне ныне. – Повернулся и ушел к себе в горницу и наглухо “замумрился”. Оказывается, даже щеколду починил, то ли это ее сама Настасья-стравусиха починить умудрилась? Кто там знает. Так или иначе, сколько ни толкались Настасьи, сколько ни предлагали сношарю многократные таксы, крича сквозь дверь, – все было глухо. Оба помощника тоже забастовали по

хозяйскому примеру, и очень огорченные бабы повлеклись по домам вместе с яичными припасами. Лишь Марья Мохначева возвратилась через час, почему-то со стороны реки; обливаясь слезами, заскреблась к Павлу, сердце которого не выдержало, и пришлось разведчику заканчивать утомительную беседу с Джексонном под аккомпанемент несшихся из-за стены рыданий и прочих мешающих звуков.

А под утро, в воскресенье, когда в силу вступил Федот-ветронос, сношарь снова встал, снова уходил к реке – но очень скоро вернулся: знать, не случилось больше никакого чуда. И никакая подвода со страусиными яйцами не подкатила к дому. Видно, невероятности сбываются все же не каждый день. Ближе к вечеру зашел к старику в горницу Джеймс, быстро, по-военному, одной головой, отдал поклон и заговорил:

– Дорогой Никита Алексеевич! Простите, скоро вам не надо будет скрывать свое имя. Мы бесконечно благодарны вам за оказанное гостеприимство и хотели бы как-то компенсировать ваши затраты.

Сношарь, сидевший сгорбленно возле гонга, поднял голову.

– Ничего мне, ничего, Акимушка, не надо. Скажи Паше, когда воцарится, пусть Свибловых только не забудет. Мне уж ничего не надо.

Джеймс еще раз сдержанно поклонился.

– В таком случае, ваше высочество, прошу вас от имени государя о чести украсить вашим присутствием его коронацию. Через несколько месяцев, конечно, но вам будет доставлено специальное приглашение.

– Нет уж, дорогой Акимушка, – ответил старик, – хотите, чтоб я присутствовал, – присылайте за мной этот... поезд присылайте. Стар я сам-то дергаться. Чтобы мне с собой клиентуру тоже взять можно было, она тут без меня загнется.

Словом, как мне по должности, по чину то есть, по рангу там, положено. Но главное – Свибловых пусть не забудет. Не поеду иначе.

Распрощались и отбыли – ни слез, ни лишних слов; обменялись с хозяином сухими фразами, такими же рукопожатиями. И уехали – нет, ушли пешком, как и пришли, тою же девичьей тропкой вдоль глинистого берега Смородины, начинавшейся возле того самого места, где до последней войны достоял все-таки исторический калиновый мост, мимо того места, где до позапрошлой войны достоял-таки исторический девятиствольный дуб Соловья-разбойника. Ушли – Бог их знает, куда ушли. Откуда пришли, туда и ушли. Старик остался один.

Снова склублились сумерки, заранее предупрежденные бабы не посмели носу сунуть к сношаревым угожьям. Старик вышел на крыльцо и посмотрел в темноту, – может быть, все-таки поджидая потрясшую все его чувства стравусиную Настасью, может быть, еще кого. Так и стоял какое-то время, покуда не сверкнули из мрака два огонька и огромный рыжий с проседью пес, с мордой лайки и телом овчарки, поздоровевший, но и постаревший за зимние месяцы, не вышел прямо к его крыльцу. Пес бесстрашно подошел вплотную, поднял голову и, свесив язык, задышал на сношаря.

– Чего уж... – миролюбиво бросил сношарь псу, словно старому знакомому, – пришел, так заходи. Голодный – накормлю. Посиди у меня, все одно не придет

никто. Пусть бы не приходил, неохота видеть никого.

Пес уронил на снег каплю слюны и прошел за сношарем в горницу, но по обычаю поднял ногу возле ножки кровати, на что хозяин ничуть не обиделся, ибо порядки собачьи знал и понимал. Пес уселся посреди горницы, тяжело, словно палку, уронив хвост, и снова уставился на хозяина. Ясно было, что есть он не хочет, играть не хочет тем более. “Пора, – говорил он всем своим видом, – пора, княже. Теперь ты не за вязкою, теперь я выдать тебя должен. Ты прости меня, княже, я в Москву побегу, мне доложить о тебе положено. Долг есть долг. Попросить если о чем хочешь – проси, если долгу моему это не противоречит. Проси, княже. Вот все, что могу. Пора”.

Сношарь телепатом не был, но собачий внутренний монолог, видимо, в основном понял, долго теребил в руке край скатерти, потом тихо-тихо, совсем не к псу обращаясь, заговорил. И пес сидел перед ним, наставив уши точно так же, как свинья Доня наставляла их, слушая пророчицу. Кокотовна на печи шелохнуться не смела, с языка пса капала изредка слюна, сгущалась темнота, и только журчала и журчала речь великого князя Никиты.

– Старые мои годы, псина, длинные ужасно. Наш век длиньше вашего, куда как длиньше, в пять разов я небось тебя старше, а разве умнее? Несправедливость это. Впрочем, вся тварь живая живет как назначено, роптать на век ее – все одно что на Бога, я на него сроду не роптал. Сроду ничего для себя не брал, сроду. Все для других, весь век свой прожил. До войны, правда, дурнем когда был, деньги еще копил, любили бабы мне, молодому, вроде как бы подарки дарить, им они, мол, ненужные, вроде как бы муж меньше выпил, так вот и ей радость бабья, и мне, мол, такое сокровище. До фи́га, знаешь, псина, денег-то накопил, чуть не мешок, правда, все бумажками очень мелкими. А председатель тогдашний, еще не моего семени, собака был он, впрочем, не обижайся ты, это он собака был, а не ты, ты, впрочем, тоже собака, но только ты собака, а он подлюга был, то есть. И как поперли на нас в июне немцы-то, так он, чтоб выслужиться, приехал ко мне пьяный, знаешь, будто десять лет не пил и теперь поправку делает. Говорил, знаешь, долго, так долго, что понял я – не отскребется он от меня, докуда я все деньги, сколько есть у меня, на дело какое-нибудь не пожертвую. А у меня народ в очереди, сам понимаешь, неудобственно при мужиках, уходи уж поскорее, только свободному труду не мешай. Ну, и подмахнул я ему бумажку, мол, жертвую все трудовые свои сбережения на постройку танка. Да еще он, гадюка несемнная, подмахнул мне слово одно – именного, мол, танка. А мне какого ни удумай, все годится, только сматывайся скорее, мне работать пора, терпения ни у кого нет. Ну, а день спустя приперается ко мне дура старая Палмазеиха, вон живая еще, слава Господу, ума решилась, не помнит уж этого никто, только Хивря одна, да из той хрен что вынешь, молчит она, баба золотая, – так вот, приперается Палмазеиха с газеткой районной: стахановец Лука Радищев пожертвовал все свои сбережения на постройку танка. Именного! По имени, значит, “Лука Радищев”. А мне сразу ясно стало – сейчас нагрянут репортеры с автопаратами, морду мою засветят и в газетах тиснут, а там и смикитит кто, на кого я схожий, пронеси, Господи! Мордою-то я вылитый прадедушка, толще только вот теперь стал, а тогда

вылитый был, одно счастье что лысый, а дед парик носил! Ну тут, слава Богу, ихние пришли, и решил я – отцепился и от танка и от репортеров, теперь все полюдски будет, работать как надо смогу, деньги, кстати, до конца жизни закаялся в руки брать, все яйцами теперь беру, яйцами, все для здоровья только, чтоб работалось-то способнее. И достигла тут, как ихние-то пришли, достигла меня... она меня достигла, неладная. Господи, храни ее, коли жива, спасла она меня, гадина подколодная, вот как есть по сей день люблю ее, морду гадкую! Тина меня достигла, она самая, никто другой!

Сношарь надолго замолк. Пес, не меняя позы, немного расслабился и свесил голову набок. Он ничего не говорил, он все уже сказал, он, исполняя просьбу сношаря, готов был слушать хоть три года. Впрочем, пес знал, что пешком-то, своими лапами, до Москвы он добежит слишком поздно, что арестовать тогда сношаря и его постояльцев никто не только не сможет, но уже и не захочет. Сношарь кашлянул, сцепил пальцы на пузе и снова заговорил – так же тихо, как раньше, так же обращаясь только к псу.

– Пришлая она была... С востока откуда-то, не помню уж откуда. Дочка у ней уж была от мужика какого-то, не то от мужа подневольного, сама объяснить не могла. До войны пришла еще сюда, ко двору покойного Фрола прибилась и жила, ко мне, как другие, с рублевками бегала, тут и под немцами других денег не ходило. Как все, в общем, жила. Родила от меня этого, Георгия, уж потом, поневоле когда, в сорок третьем, еще одного родила... Ярослава, будь он неладен, великий человек, приветы мне нынче передает. А как случилось? Как пришли ихние, заявился ко мне такой в форме, дурак дураком, и спрашивает, бумажка возле глаз, видать, близорукий: “Зинд зи ферхайратет?” А я совсем унферхайратет, если понимаешь, неженатый то есть, и не помышлял о том никогда. Он мне тогда объясняет, что в таком разе я ин Гроссе Дойчланд в смысле арбайтсгехюльфе марширен должен, арбайтен у немцев то бишь ни за что ни про что. Я тогда объясняю, что я не совсем унферхайратет, потому что как завтра уже ферхайратеюсь. Он закивал: мол, понимаю, гратулирую вас с кисточкой, тут вежливо и убрался. А мне что, сорока лет нет, обферхайратеюсь с кем попало и назад в горницу, как требуется, без моей работы село не выживет. Ну и... обженился. В ту же ночь повенчала меня Тина на себе... Да нет, под себя повенчала, и попа откуда-то взяла! Но любила. Любила, гадина, как любила! Я вот ее не любил, правда, но ведь неважно, только страшна была с лица уж больно, а так ничего. Все-таки. Спасла ведь меня, не загехюльфали, в глаза не видал я Великой Германии, да и войны никакой не видал, – так, отступали наши, так прошли шесть человек каких-то да пушчонку зачехленную прокатали; правда, ихние когда прошли – тут сила была большая, танки всякие и динамиты. И два года было так, и я тогда женатым числился, еще сына одного Тине смастерил, не ей одной, конечно, но она согласная была, лишь бы у нее законный был, гадюка благословенная. Ух, напоила она меня как-то раз, как этого второго принесла, а я ей все и расскажи – кто я такой, поздний, мол, ребенок в семье, папаше моему шестьдесят семь было, когда я родился, говорят, он с того, с этого, так рано и помер, всю силу мне ране времени вдвойне отдал. И тут я все возьми да и выложи – чей я сын, чей внук, чей я правнук, а сам

пьяный был. А этот ихний, который всех пьяных слушает, индей, все взял да и услышал. Ох, как полезли после войны ко мне, задолдонили: наследник, наследник, роль историческая... Так вот я с тех пор только пиво и пью одно, ничего больше, а пиво индею неинтересное... Любишь, пес, пиво? Может, налить? Не хочешь... А потом вдруг ушли ихние и, представляешь – Тина с ними вместе. Зачем? Так и не понял я, говорили, мол, с гауляйтером каким-то общнулась более положенного советской властью, – а плохого в том что? Гауляйтер, чай, тоже тварь Божия, небось проверили бы сперва, убивал он кого, либо шкуру с кого живого снимал, а вдруг нет? Ну, улепетнула Тина, дочку с собой взяла да моих двоих. Ихние солидно так отступили, танки проехали, динамиты все увезли, а наши опять словно и не армия – так, человек шесть, тех самых вроде бы, прошли да все ту же пушчонку зачехленную прокатали. Я тогда шесть дней со страху в дупле засмоленный просидел. Хивря смолила, стало быть. Сказывали потом, и танк моего имени тоже через наше село проезжал, только думаю, байка это пустая, шесть только человек тут было, да пушчонка зачехленная, никаких танков. Про меня вот и вправду, жаль, не забыли, приносила потом Хивря газетку какую-то: мол, танк имени Л. Радищева какой-то берлинский квартал первым раздолбал, другие его потом уже по второму разу долбали, а он – первый. Я-то смекнул, что за “эл”, моего, стало-ть, имени танк, будь он проклят вместе с тем председателем. Тот-то наш, старый, погиб уж не знаю в каких Магаданах, не помог ему ни танк мой, ни кураж собственный, ни билет партийный во всю грудь, ничего не помогло. Много у нас председателей-то с тех пор перебивало, вон, нынешний, Николай Юрьевич, двадцать шесть ему всего, даже помню, как работал его Настасье Баркасниковой, матери евонной, редко она ко мне ходила, да в охотку, оттого и помню. Так вот, пес, какой у нас председатель, глупый у нас председатель, значит, пьет потому как, много пьет, две в день высаживает, и охотиться еще любит. Ружья, впрочем, уже не держит, хоть двадцать шесть всего, а купил он на деньги с птицефермы у части той, что за Верхнеблагодатским стоит, танк. Списанный танк, проверял я, не моего имени, другой, гораздо хуже. Садится он на танк и едет на болото, – там, знаешь, есть за Горыньевкой в бору. И, знаешь, вылезает он там из танка, подают ему складной стульчик и винтовку на треноге. Иначе с пьяных глаз и не прицелится. А потом ему через трубу, что под болотом на болото выведена, уток пускать начинают, он их и стреляет, это, значит, охотится. Раньше диких пускали, теперь он и домашних в охотку стреляет, довольный, не различает с пьяных глаз, птицефермовские премии празднует. Глупый он, и прежние все глупые были. Потому как призвания не знают. Ты слушай, я дело говорю, может щенкам расскажешь. Я вон и рад бы щенку своему законному, Ярославу, не то Георгию, ум-разум вправить, да только кто мне пояснил бы, Георгий он или Ярослав? Если он Ярослав, то где Георгий? А наоборот? Помог бы ты мне, пес, век бы тебя не забыл. Тут ведь и народу нет никакого, все дети мои, прибудных по твоим лапам счастье можно, разве вон, дурачок Соколя, ероплан который сделал из фанеры. Ничего, ездит ероплан, на Верблюд-гору покатит и остановится, летать – ни-ни, а ездит, бабы дивятся, умный, говорят, Соколя, хоть дурак-дурачок. И все думают, что моего семени,

раз умный. А я что ль, скажи, умный один? Ты вон, псина, тоже умный, вижу. Да ты уж спишь, псина...

Пес в самом деле начинал подремывать, хотя глаза держал открытыми. Сношарь погасил свет и решительно запер дверь; псу, ясное дело, торопиться было тоже некуда. Пес лег на голом полу, сношарь – на кровати. Одна только Кокотовна все шебаршила на печи, ничего не понимая ни в речах сношаря, ни в молчании пса: ей ли, старой деве, понять было этих двух стариков одной породы? Постепенно все в избе заснуло, и кто его знает, чем был чреват завтрашний день, но в нынешнюю ночь никаких событий более уже совершенно справедливо не ожидалось.

1980–1981,
Москва